Александр
МЕЛИХОВ

ЗАСТЫВШЕЕ ЭХО

ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Кажется, нет ни одного мучительного вопроса современности, о котором писатель и публицист Александр Мелихов не высказался бы на страницах этой книги с безжалостной ясностью – терроризм и наркомания, Сталин и Солженицын, Израиль и Казахстан, антисемитизм и сионизм, – и со временем его суждения не утратили ни глубины, ни остроты, ни блеска. Главное положение социальной философии автора: человек всеми силами стремится преодолеть чувство собственной ничтожности, все остальное – только средства этого преодолении. В свете подобного взгляда привязанность к тиранам и национальная вражда превращаются из бессмысленных иррациональностей во вполне рациональные способы достижения вожделенной цели. Которые и преодолевать можно вполне рационально.

- Александр Мелихов
  -
  - Состязание грез
  - Рассуждая по-дилетантски
  - Романтикой по романтике!
  - Обида побежденных
  - Недоучки и джентльмены
  - И. Грозный как литературный прототип
  - Где митинги в защиту гениев?
  - Анна и Нора, Марфа и Мария
  - Кто следующий?
  - Улица поджимает
  - Самозащита без оружия, или новое изгнание из Эдема
  - Направления главного удара
  - Самозащита без оружия
  - Каленый клин
    - 1. Устами младенцев глаголет национальная вражда
    - 2. Не надо дразнить детей
    - 3. Три послания
    - 4. О национальной стыдливости великороссов
    - 5. Двойные стандарты и народное перевоспитание
  - Завал обид на пути к общей сказке
    - В уяснении
    - В уяснении уяснений
    - Этапы большого пути

- Чего же все-таки хочет Солженицын?
- Голиафы против Давидов
- Тираны и любимцы
- Патриот тысячи отечеств
- Гром и молния
- Творческий консерватизм
- Чего хочет террорист?
- Корейские чудеса
- Терапия успехами
- Борьба с протезом
- День стыда и бесстыдства
- Что ныне лежит на весах?
- Империя свободных зон
- Сталинизм по-английски
- Сто лет без компаса и тормоза
- Закваска Брейвика
- Слишком человеческое
- Мужчины без женщин и государство без семьи
- Последняя беспредельность
- Евреи-гении и евреи-вожди
- Прогрессивное бесплодие
- Требуется невиданное
- Остановиться, оглянуться
- Соблазн сверхчеловечности
- Слуги дела и жертвы свободы
- Пророк и пропагандист
- Меж гибельной трезвостью и гибельным опьянением
- Ствол и семя
- Империя: придите в мирные объятья
  - Либерализм как прибежище завистника
  - Плата за вход
  - Сионизм по-русски
  - Обличители «унешние и унутренние»
  - Имперский дух и толерантность
  - Национальное самоопределение
- Второсортные европейцы

Александр Мелихов
Застывшее эхо

© А. Мелихов, 2017
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2017
© А. Веселов, оформление, 2017

* * *

Состязание грез

Один из многих парадоксов демократии заключается в том, что она нежизнеспособна без аристократии, готовой жертвовать нуждами сегодняшнего дня ради того, что понадобится лишь будущим поколениям (а может быть, и тогда понадобится лишь немногим, да и то в качестве всего лишь прекрасного, всего лишь величественного, не приносящего ощутимой пользы).

Жизнеспособно ли общество, состоящее сплошь из аристократов, готовых жертвовать полезным во имя отдаленного или прекрасного, – вопрос сложный, хотя и несколько академический: законченный аристократ всегда редкость, а уж в наше время особенно. Но то, что без аристократии у любого общества исчезнут всякие мотивы осуществлять какую-то более или менее длительную стратегию, плоды которой будут пожинать другие поколения, – это представляется довольно очевидным. Отдаленного или прекрасного… Почему «или», а не «и»? Кто же станет жертвовать во имя отдаленного и безобразного, отдаленного и скучного? Но по-настоящему прекрасной бывает только греза, реальность всегда слишком противоречива, пестра, контрастна, чтобы воодушевлять; любить до самозабвения человек способен лишь собственные фантомы или, по крайней мере, реальные предметы, преображенные и украшенные фантазией (чаще, пожалуй, чужой, если речь идет о социальной реальности). Дар ценить плоды фантазии выше материальных фактов и делает человека человеком: только человек способен жертвовать во имя того, чего нет, что существует лишь в его воображении. Собственно, это и есть определение аристократизма – готовность жертвовать наглядным во имя незримого. И без толики служения незримому невозможно даже самое демократичное и прагматичное общество.

Общество – это и семья, и промышленная корпорация, и нация, и человечество. Но осуществлять сколько-нибудь продолжительные и ощутимые в историческом масштабе программы совместной деятельности во имя будущего пока что могут почти одни только нации (имеются в виду так называемые политические нации, включающие в себя всех граждан одного государства), другие сообщества почти не располагают наследственными институтами, осуществляющими историческую преемственность (у промышленных корпораций, кроме того, и с бескорыстием чаще всего бывает слабовато – не для того они создаются). Поэтому целенаправленную деятельность исторического масштаба с древних времен и по нынешнее обычно

осуществляет национальная аристократия. (Надеюсь, в свете вышеизложенного излишне разъяснять, что национальная аристократия образуется не по крови, а по готовности жертвовать близким и ощутимым во имя отдаленного и незримого.) Но поскольку всякая коллективная наследуемая деятельность вдохновляется коллективными наследуемыми фантомами, то и деятельность национальной аристократии должна неизбежно вдохновляться фантомами главным образом не личными и не общечеловеческими, а национальными. Иначе говоря, национальной аристократии (а и никакой гражданин невозможен без доли аристократизма) необходим идеализированный образ своей страны, страны, не просто обеспечивающей комфорт и безопасность, но трогательной и эстетически привлекательной, – без этой поэтической архаики, по-видимому, не может обойтись ни одно самое демократическое и либеральное государство: государства стоят не столько на корысти, сколько на поэзии. *«Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья»,* – написал я когда-то в «Исповеди еврея», и при всей намеренной заостренности этой формулы сегодня я не вижу в ней ничего унизительного: всякая любовь зиждется на идеализации, то есть на замалчиваниях, приукрашиваниях и даже прямых выдумках. Попытка построить жизнь исключительно на правде обернулась бы злейшей антиутопией. И одна из самых трудноразрешимых проблем сегодняшней России – отсутствие сколько-нибудь общепризнанного воодушевляющего ее образа, коллективной грезы, которая не была бы опасна для нее самой и окружающего мира. Грезы, которая порождала бы гордость, пускай скорбную гордость, за свою страну, порождала бы готовность переносить какие-то тяготы ради ее будущего и не порождала бы внешнюю агрессию и внутренний деспотизм, – эти требования к «национальной идее» в российской истории столь часто (вплоть до нынешней минуты) противоречили друг другу, что временами их совмещение представляется столь же неосуществимым, как мечта построить круглый треугольник. Кроме того, взыскуемый образ не должен слишком уж явно противоречить известным фактам, а поскольку в разных социальных группах считаются твердо установленными факты не просто различные, а иной раз и прямо противоположные… Речь может идти скорее о создании внутренне противоречивой системы, в которой каждая социальная группа могла бы найти чарующий ее аспект, к чужим аспектам («иллюзиям») относясь хотя бы без вражды, а еще лучше – с отеческим снисхождением. Построение такой системы – дело не одного года и не одного человека, но, во всяком случае, это работа скорее для художников, чем для идеологов; это нашему

брату законы не писаны, это мы свободны от обязанности непременно сводить концы с концами. *Но если* в истории страны прежде всего бросаются в глаза то великие победы, то великие поражения (все равно отзывающиеся во всемирной истории), возникает соблазн и дальше двигаться путем наибольшей простоты – путем исторической инерции: то выбиваться чуть ли не в мировые лидеры, то скатываться на грань исчезновения – тут же, впрочем, начиная грезить о новом витке. Чтобы выбраться из этой опасной спирали – можно однажды достичь таких высот, падение с которых окажется уже несовместимым с жизнью, – великим народам иной раз можно поучиться и у народов малых (я не вкладываю в слова «малый народ» того сакраментального значения, которое им придал И. Шафаревич). Малым народам неизмеримо легче выйти из положения, в которое они никогда не имели ни соблазна, ни возможности попасть. Финны для меня – самый загадочный народ в Европе (я бы даже сказал: в мире, если бы мое европоцентрическое невежество не обязывало меня держаться скромнее). Не имея ни собственного государства, ни изолирующей религии или образа жизни, ни воображаемой всемирно-исторической миссии, без всяких видимых истерик сосредоточиваться, воодушевляться смесью вымыслов и правды, крепнуть, становиться на ноги, выстаивать, обустраиваться – во имя чего?.. В чем они видят свое величие (невозможное без примеси ужаса)?.. Века под властью шведов, неудачные восстания, переход под власть российской короны – снова не по собственному решению, а по договору между шведами и русскими, – независимость, опять-таки дарованная Лениным в явной надежде вскорости забрать ее обратно, одну или вдвоем с Парижем (не тут-то, правда, было), гражданская война, которую, кажется, только советская власть сумела возвести из величайшего бедствия в предмет национальной гордости, и наконец-то зимняя война с Советским Союзом – едва ли не первая за бог знает сколько веков страница канонически (в привычном нам смысле) героическая: вооруженная борьба с внешним агрессором. Борьба, кто спорит, геройская, однако все же проигранная, приведшая к потере десятой части и без того отнюдь не обширной территории. Затем компрометирующий союз с Гитлером… Оно, конечно, куда было деваться, и все-таки союз с нацизмом есть союз с нацизмом – обстоятельство, гораздо более взывающее к замалчиванию, чем к романтизации.

Затем разгром (при многократно превосходящих силах противника, но все-таки разгром), выход из войны, потребовавшей военных действий против вчерашнего союзника… Оно, опять же, куда было деваться, да и союзник-то был таков, что

с ним чем хуже, тем лучше, но ведь для национальной легенды в привычном вкусе требуется не прагматизм, а бескорыстие, и неважно, что в международных отношениях оно еще большая редкость, чем в отношениях межличностных. Нет-нет, я очень даже верю в бескорыстие народов, тем более что народы и не могут действовать иначе как бескорыстно, покуда они остаются чем-то целым, а не грудой разрозненных прагматиков. Но народы всегда действуют во имя своих, а не чужих фантомов (не обращая внимания, что большинству их граждан как частным лицам эти фантомы выходят боком). Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, и лучше всего воодушевляет, мне казалось, вранье героическое. Притом воодушевляться самой расхристанной победой все-таки гораздо легче, чем даже самым геройским поражением. Как же устроились с этим делом финны, думал я, направляясь в исторический музей города Хельсинки. Какие победы они раскапывают в своей истории унижений и поражений? Дело началось, как всегда, издалека – чьи-то кости, древний кнут… Затем какая-то история с этнографией, но даже и без языка было ясно, что о доблестях, о подвигах, о славе там если даже что-нибудь и есть, то разве лишь в самых гомеопатических дозах. И, наконец, роковой момент – 1809 год, переход под власть российского деспотизма. И что же? Раззолоченное кресло Александра Первого при коротенькой табличке: присоединение к России было полезно в таких-то и таких-то отношениях. И все. Затем снова какие-то трудовые будни – будни, будни, будни – и еще раз, наконец, скромное отсоединение от России. И опять никакого пафоса – ни торжества, ни вдохновенья: отделение от России было полезно для того-то и того-то; и присоединились – хорошо, и отсоединились – тоже хорошо. А как же победа белофиннов над Красной гвардией – со всеми положенными казнями и тюрьмами? Ни-че-го-шеньки! Я, по крайней мере, ничего не высмотрел. Зимняя война, правда, немножко есть, но без всякого нажима на вечную русскую угрозу: повоевали, мол, и хватит, пора заняться делом. И дальше снова идут дела, дела, дела… Как прикажете это понимать? Пресловутое историческое беспамятство? Или финская элита хочет превратить простых людей в пресловутых манкуртов, в Иванов, вернее, Ханну, не помнящих родства? А может быть, это мудрое стремление держать простого человека подальше от трагических вопросов, чтобы не плодить фашизм всех цветов радуги? Ибо в психологическом основании фашизма всегда лежит стремление к простоте: людей, не выносящих противоречивости и непредсказуемости, я и называю простыми.

Разумеется, в либеральнейшей Финляндии выходят книги на

самые болезненные исторические темы, но чтобы прочесть эти книги, ты должен сам захотеть, а просто раскладывать, просят не просят, у всех перед носом раздражающие факты, способные вызвать непредсказуемую реакцию, не принято… Впрочем, почему «не» – вполне предсказуемую. Реакции простого человека всегда однотипны (в противном случае он уже не простой). И уместны, разве что когда неприятель стоит у ворот. «Прошу прощения, – робко обратился я к своим спутникам-финнам, – в древние, дескать, времена, финнам, не имеющим своего государства, как будто не приходилось вести особенно много войн – насколько мне известно, хотя и я могу чего-то и не знать (беседуя о всегда щекотливых национальных вопросах, полезно топить прямой смысл в тысячах оговорок. – *А.* М.), так вот, где же они, финны, если без обиняков, берут национальных героев, которых проще всего творить, конечно же, из полководцев, притом победителей?» (Где, иными словами, их Александры Невские, Суворовы и Кутузовы?) «Финны совсем немало воевали, – без промедления ответил самый пожилой из моих спутников, – шведы всегда вели войну до последнего финского солдата. И нашим героем является именно он – неизвестный солдат. Который все выдержал, не надеясь даже на посмертную славу». – «Нашими героями являются крестьяне, воспетые поэтом Рунебергом, который, хотя и писал по-шведски, все равно является финским национальным поэтом, его лира яснее всего звучит для финских ушей», – поэтически выразился спутник помоложе. «Многие из нас считают национальными героями ветеранов зимней войны, – потупливая взор, сказал третий собеседник. – А вместе с ними и женщин, которые держали на себе тыл. И еще мы гордимся тем, что сумели выплатить военные репарации и восстановить нормальную жизнь, – прибавил он, – и вообще мы умеем быстро выходить из кризисов». – «А как у вас в школе ведется патриотическое воспитание? – вспомнил я свое детство. – У вас учат, что вы лучше всех, – и в чем лучше?» – «Нет-нет, – заспешили они хором, – у нас учатся дети разных национальностей, такое говорить нельзя». Тем более что шведский язык – просто второй государственный (в расписаниях поездов, и правда, каждый город имеет два названия, иногда совсем непохожие, типа «Турку-Або»). Но в семьях многие учат: ты финн, ты должен быть стойким. «Меня воспитывали в большом преклонении перед зимней войной, – снова, уже грустно, сказал третий собеседник. – Но нынешней молодежи на это, по-моему, уже плевать». При этом все невольно покосились на самого молодого. Он заалел, как умеют алеть только блондины, и заговорил с очень облегчавшими работу переводчицы

запинаниями, но явно обдуманно и убежденно. «Мы, финны, – примерно так я могу пересказать его сбивчивую речь, – гордимся не тем, что кого-то победили, а тем, что не дали победить себя. Выстояли между агрессивными гигантами Востока и Запада, сохранили свой язык и свою культуру. Но если мы чересчур сосредоточимся на военных подвигах, то можем не заметить совершенно новое испытание, которое уже не требует ни оружия, ни храбрости. В нашу страну прибывают тысячи людей, принадлежащих другим культурам, равнодушных к будущему нашего народа, а часто даже раздраженных против него из-за того, что они чувствуют себя здесь людьми второго сорта.

Но если когда-то казалось естественным, что человеком первого сорта можно сделаться, только приспособившись к доминирующей нации, то теперь представляется естественным, наоборот, приспосабливать доминирующую нацию к себе. Причем та даже не решается открыто протестовать, поскольку сама же вместе со всей Европой много лет провозглашает, что не личность должна приспосабливаться к обществу, а общество к личности, что все культуры имеют равные права. Но те, кто к нам приезжает, вовсе не считают, что все культуры равны, они убеждены, что их культура лучше. Когда финка выходит замуж за араба, вы думаете, она будет готовить ему финские блюда? Нет, она будет готовить арабские блюда! И ходить в платке – многие уже ходят!» – «Он у нас расист», – пояснил мне первый собеседник, улыбкой показывая, что шутит, но одновременно словно бы гордясь не то смелостью, не то экстравагантностью своего молодого коллеги. Однако тот возразил почти гневно: «Я не расист, я считаю, что все люди любого цвета кожи имеют право делать все, что делаем мы. Но если они не любят то, что люблю я…» – «Считается, что любовь можно вызвать хорошим обращением», – осторожно заметил я. «Да, наши левые тоже думают, что любовь можно купить, – горько усмехнулся молодой. – Они уверены, что наш образ жизни настолько идеален, что отворачиваться от него можно только по недоразумению: стоит нашим недоброжелателям открыть на него глаза, и они сделаются такими же, как мы. А на самом деле многие из тех, кто у нас поселяется, чем лучше нас узнают, тем сильнее ненавидят. И с этим ничего не поделаешь. Все предпочитают любить свое, а не чужое. Поэтому мы должны научиться обходиться без чужаков. Мы должны начать сами выполнять ту работу, на которую сейчас пускаем иностранцев. Мы должны производить на свет столько же детей, сколько производят они». – «Сегодня самое главное стратегическое оружие – мужской член», – завершил первый собеседник, и все с

облегчением рассмеялись, радуясь возможности выбраться из безысходной серьезности.

При совместном жительстве народов, в который раз подумал я, в конце концов одолевает тот, чье воодушевляющее вранье воодушевляет сильнее, чья греза сильнее чарует, пьянит: состязание технологий сменяется состязанием грез. Уж кто-кто, а мои собеседники – наркологи по профессии – знают, что трезвыми глазами смотреть на жизнь невозможно, жертвовать человек способен только грезе: трезвая рациональность, наоборот, подсказывает ему все использовать в своих интересах. Но для мира требуются совсем иные грезы, чем для войны. Принцип «не одолевать других, а сохранять себя», по-видимому, актуален сегодня не только для финнов, но и для русских: наша доля в мировом народонаселении, мировом производстве такова, что не хочется даже лишний раз произносить ее вслух. Правда, опасность превращения в национальное меньшинство русскому народу пока что, кажется, не грозит. Хотя… Однако более актуальным для него выглядит другое испытание, или, как теперь принято выражаться, вызов: это соблазн граждан устраивать свою судьбу отдельно от него. Если все, кто достаточно квалифицирован, энергичен, смел, станут стремиться в более благоустроенные страны, а в России будут оставаться лишь те, кому некуда деваться, – это и сделается поражением России в состязании грез (деликатнее выражаясь – культур), за которым неизбежно следует и поражение технологическое. Да-да, думал я, остановить движение людей от менее преуспевающих народов к более преуспевающим, от абсолютной корыстности к относительному бескорыстию могут только грезы. Теоретически остается, правда, возможность удержать беглецов силой, но это потребует столь жестокого подавления всех внутренних потенций, что лишь ускорит и усилит проигрыш. В этом новом состязании – состязании грез – от аристократов требуется уже не готовность без рассуждений обращать свою шпагу против того, на кого укажет власть, а готовность отказываться от соблазнов более приятной жизни – даже и для своих детей и внуков – ради продолжения русских грез, русского языка и всех порожденных ими ценностей. И тут нельзя не вспомнить тот народ, который очень много творил на русском языке и из любви к русскому языку, русской культуре, но постоянно подозревался в недостатке преданности воинственным преданиям, в недостатке вражды к народам-соперникам, – я говорю, разумеется, о еврейском народе (эти, как всегда, о своем, как однажды обронил Солженицын). Сегодня подвергается испытанию не вражда к чужому, а привязанность к своему, и в этом испытании очень многие евреи

тоже выполняют функции русской национальной аристократии. Ибо очень многие из тех, кто начиная с конца восьмидесятых остался в России, предпочли незримое ощутимому, предпочли грезу факту. Что и есть главное свойство аристократа. Национальную безопасность сегодня (как, впрочем, и всегда) определяет не только прочность границ, но и прочность грез. И если бы я был президентом, я бы считал одной из важнейших стратегических задач поддержку национальной аристократии. При этом я бы вкладывал деньги не в аристократию какой бы то ни было крови, а в аристократию духа. То есть в творцов и хранителей грез.

Рассуждая по-дилетантски

«Для чего люди одурманиваются?» – сурово вопрошал пьющую Россию великий моралист Лев Толстой и сам себе отвечал еще более сурово: чтобы заглушить указания совести. Менее строгий Глеб Успенский рисовал более снисходительную картину: когда полунищему мастеровому перепадают кое-какие деньжата, перед ним встает вопрос: отнести их домой к своему разрушенному хозяйству, где они не принесут ему ни капли радости, или отправиться в кабак, где они доставят ему хотя бы несколько часов веселья? За которым, безусловно, явится расплата, но это же будет только завтра! Ну а классик мировой психиатрии Эмиль Крепелин пришел к совсем простому выводу: алкоголь снижает внимание и критичность.

Поэтому пьяные способны игнорировать не только сигналы совести, но и сигналы бережливости – всем известная пьяная щедрость, пренебрегать не только требованиями стыдливости – справлять нужду где попало, но и требованиями осторожности – известна и пьяная щепетильность в вопросах чести вплоть до мордобоя по самым незначительным поводам. Пьяные теряют возможность отнестись критически даже к собственному отчаянию, а потому больше половины самоубийств совершается в пьяном виде.

Иными словами, услуги, оказываемые алкоголем, более чем сомнительны, если учесть плату за то, что им ненадолго оказывается повержен «тиран – рассудок хладный» (Шандор Петефи). Но почему же поэты сложили в честь него столько гимнов? «Так пусть же до конца времен // Не высыхает дно // В бочонке, где клокочет Джон // Ячменное Зерно!» Ведь поэзия – душа народа, и как же мог Пушкин – наше все – написать столь бравурные строки в честь очевидного яда: «Подымем стаканы, содвинем их разом!» Мог, потому что за этим немедленно следует противоядие – иные формы упоения: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

Человек не может смотреть на жизнь трезвыми глазами – она становится слишком тягостной, и если он утрачивает культурные формы самозабвения, он начинает добивать до нормы психоактивными препаратами. «Есть упоение в бою // И бездны мрачной на краю» – упоение риском известно и сегодняшним любителям экстрима. Зато упоение в труде («Раззудись плечо! // Размахнись рука!») сегодняшнему среднему работнику – исполнителю чужих замыслов, вероятно, почти незнакомо. А вот тот же Глеб Успенский чрезвычайно убедительно показывал, что

труд для крестьянина был вовсе не каторгой, но составлял смысл и красоту его жизни.

И вообще, радость – это достижение цели: кто не имеет целей (или они оказываются недосягаемы), тот не имеет и радостей. Каждому из нас необходимы хотя бы мелкие достижения, сигнализирующие нам, что и мы чего-то стоим, но сегодняшняя жизнь оставляет простор для личной инициативы лишь немногим. И тогда мы подкрепляем себя достижениями тех, с кем мы идентифицируемся, в том числе и по национальному признаку: достижениями наших спортсменов, наших ученых и так далее. Оттого поддержка наиболее одаренных и наиболее романтичных есть в существенной степени и профилактика алкоголизма: личным пьянством люди тщетно пытаются исцелить среди прочих и общенациональные неудачи. Тот же Шандор Петефи писал о своей покоренной Венгрии: «Когда б на самом деле хмель // Мог родине помочь, // Я б согласился б вечно жить // И вечно за отчизну пить, // Вот так – и день и ночь!»

Но действовать гораздо сладостнее, чем просто искать забвения: «Блаженны те, кому дано // В короткой этой жизни // Любить подруг, и пить вино, // И жизнь отдать отчизне!» Надо ли разъяснять, что способы служения отчизне бесчисленны, и лучше всех сегодня ей служат труженики гуманитарной сферы – учителя, врачи, библиотекари, внезапно обретшие воодушевляющее имя «бюджетники», как бы намекающее на некий их социальный паразитизм. Но ведь не только красивое имя – высокая честь, но и некрасивое – бесчестье. Скажите на милость, сегодняшняя культура хоть как-то воспевает, простите за выражение, человека-труженика? Кидает ли ему победившее лакейство хоть какую-то косточку со своего стола? Жива ли еще романтика хоть какой-то деятельности, кроме грызни за собственность и популярность все равно за какие заслуги? Я имею в виду романтику в искусстве, в жизни-то ее по-прежнему несут одиночки – которые только и наполняют нашу жизнь смыслом и красотой.

Только романтика жизни – упоение жизнью – может вытеснить романтику пьянства. Однако в нашей жизни все упоительное успешно вытесняется прагматизмом – нелепой уверенностью, что физические ощущения гораздо важнее психологических переживаний, хотя дело обстоит ровно наоборот. Правда, вместе со всякой романтикой, мне кажется, пошла на убыль и романтика пьянства. То есть люди по-прежнему пьют, но этим уже не бахвалятся, и вакхическая поэзия на общем горизонте решительно не блещет. Если это действительно так, то нами незаметно одержана важная культурная победа: пьянство

продолжает жить в качестве факта, но не в качестве идеала. И, значит, отныне оно станет признаком не лихости, но слабости.

Надеюсь. Однако с наркоманией, мне кажется, этого еще не произошло: в каких-то субкультурах она представляется делом, конечно, опасным, но романтичным. А потому именно на деромантизацию наркотиков и нужно бросить культурные силы. По крайней мере, лично я в своем романе «Чума» старался показать, что наркотики не просто ужас, но еще и мерзость. А вот, скажем, у Берроуза они выглядят не менее романтичным атрибутом разочарования в жизни, чем ром у Ремарка. Я отнюдь не предлагаю запрещать подобных классиков жанра – я предлагаю составить библиотечку, в которой правда о наркотиках рассказывается не только на уровне физиологии, но и на уровне психологии.

Даже одна вовремя прочитанная исповедь матери «Мой любимый наркоман» Елены Рудниковой отвратила бы от наркотиков тысячи юных душ. Эта вещь в свое время получила премию в журнале «Нева», но никакие компетентные органы ею с тех пор не заинтересовались.

Это понятно, что у серьезных людей много других дел, кроме как следить за дилетантскими охами и ахами, но ведь юношество-то наше тоже состоит в основном из дилетантов, оно пока еще способно и ужасаться, и сострадать – почему бы не составить для него библиотечку типа «Правда о наркотиках»? Только правда не медицинская, а художественная.

А если серьезным людям не до того, автор этих строк готов был бы по-дилетантски взять этот труд на себя. Он, к сожалению, кое-чего повидал.

В конце концов, во времена Минина и Пожарского Россию спасли дилетанты.

Романтикой по романтике!

Страсть опьяняться была присуща даже самым высокоинтеллектуальным и героическим культурам. У Платона есть упоминание, что добродетельные люди в Аиде будут награждены вечным опьянением. Пьяные оргии Римской империи расписаны многократно, но при этом Тацит разглядел в чужом глазу древних германцев тот позорный факт, что они способны пить целый день и целую ночь. Храбрые викинги мечтали вечно бражничать в Валгалле, освещенной блеском мечей, в компании бога Одина, который вообще пил без закуски. Но был ли известен этим воинам и бражникам алкоголизм как физическая и нравственная деградация? Они ведь трусов топили в грязи и могли казнить бойца, прибежавшего по тревоге последним…

Чем внимательнее ученые изучали жидкость, в Средние века именовавшуюся «вода жизни», тем меньше полезных свойств они в ней обнаруживали, но ее потребление все росло и росло. В начале XX века лондонский рабочий тратил на выпивку пятую часть своих доходов (петербургский – четверть), хотя еще в 1720 году была попытка ударить по пьянству антиалкогольным Джин-актом. Питейные же расходы тогдашних немцев превосходили государственный бюджет. Энгельс объяснял алкогольные увлечения рабочего класса в Англии, разумеется, капиталистической эксплуатацией: «Пьянство перестает быть пороком, ответственность за который падает на его носителей». Поэтому при социализме пьяницы несли уже личную ответственность в лечебно-трудовых профилакториях (кто эксплуатировал вольных германцев, остается тайной).

Люди всегда лучше видят соломинку в чужом глазу: с XVIII века по Европе гуляла поговорка «Пьян, как швед». Может быть, именно поэтому к концу XIX века на весь мир прогремела «готенбургская (гетеборгская) система»: водку полагалось пить лишь с горячей закуской, с которой только и должна была взиматься прибыль; взыскивать алкогольные долги воспрещалось; распивочные должны быть просторными и светлыми и располагаться вдали от ярмарок, воинских учений и т. п. С 1919 года «готенбургская система» была заменена системой Брат-та – знакомыми нам талонами: около четырех литров на семью в месяц. Нечто в этом же роде практиковалось в Норвегии, Финляндии. В ответ, естественно, росла контрабанда, но катастрофических последствий с массовыми отравлениями, с организованной армией бутлегеров, к счастью, не возникло. Но говорило это лишь об относительной зрелости населения и

относительной неподкупности контролирующего аппарата.

В начале XIX века Соединенные Штаты Америки стояли на первом месте по потреблению рома, а общеамериканское общество трезвости возникло в Бостоне почти одновременно с восстанием декабристов. Однако после первых успехов воцарилось уныние. В середине века по Америке прокатилась волна «женских крестовых походов», варьирующих методы воздействия от публичных рыданий до погромов распивочных (без завоевания женщинами политических прав едва ли состоялась бы и грядущая победа «сухого закона»). Приблизительно тогда же многие штаты попытались загнать зеленого змия в аптеки, чтобы выпускать его оттуда исключительно для медицинских и технических нужд. В итоге пьянство скрылось в семью, в тайные притоны (Джек Лондон вспоминал, как его зазывали выпить в парикмахерские и мебельные магазины), расцвели подкуп, контрабанда, отравления суррогатами – незнакомы нам здесь, пожалуй, лишь продающиеся на улице полые трости с пинтой доброго пшеничного виски.

Авраам Линкольн, после Гражданской войны подписывая спасительный для бюджета закон о высоких налогах на алкоголь, опасался, что эта мера будет «похуже рабства». Но одним из главных аргументов в пользу отмены глухих запретов был признан все же моральный ущерб: массовая привычка к нарушению закона представлялась тогдашнему обществу более опасной, чем алкогольные злоупотребления (при этом в 1883 году был принят закон об обязательном преподавании в школе специального антиалкогольного курса). Однако в результате ряда политических комбинаций двадцатые годы в США сделались эрой «сухого закона», так знакомой нам по гангстерским фильмам. А унылая статистика уже к 24-му году зафиксировала почти прежнее число задержаний в пьяном виде и отравлений алкоголем, конфискацию полумиллиона литров «аква виты», арест 68 тысяч бутлегеров…

К слову сказать, полный запрет спиртного впервые был испытан Исландией в 1913 году, но вскоре был отменен под давлением Испании, пригрозившей отомстить за свои вина отказом от исландской рыбы. Виноделы всегда стойко боролись за счастье не только собственных народов: по условиям Версальского мира разрешалось ввозить в Германию алкогольные «произведения почвы» на льготных условиях; в 1907 году Франция угрожала отказать русскому правительству в кредитах, если оно позволит принять «сухой закон» Финляндскому сейму.

Сама Россия перед Первой мировой войной стояла на шестнадцатом месте в мире по потреблению абсолютного

алкоголя – около 3,5 литра на душу (на первом месте была Франция – 23 литра), и даже по водке лишь на восьмом месте – 6,25 литра (чемпионка Дания выпивала 10,5 литра пятидесятиградусной водки на душу). Правда, если исключить детей, магометан, евреев и тому подобную непьющую публику, то душевое потребление водки подскакивает под 30 литров. А если взглянуть на количество ежегодных смертей «от опоя» на 1 миллион населения, то во Франции их окажется лишь И, а в России – *55*. В Петербурге за появление в пьяном виде задерживалось ежегодно 50–60 тысяч гуляк, а в более многолюдном Берлине – в 10–11 раз меньше. Мы всегда любили пить с размахом.

С тех пор как святой Владимир отверг магометанство знаменитым афоризмом «Руси есть веселие пити, и не можем без того быти», Русь пронесла это веселие и через церковные проклятия, и через царские указы. Есть свидетельства, что еще Иван Третий закрыл корчмы по Москве, а его преемник Василий позволил бражничать в специальной слободе лишь слугам великого князя да иностранцам (чуть не приписалось: «в валютных барах»). Овладев Казанью, Иван Грозный исключительно для опричников завел на Балчуге «царев кабак», по образцу которого начали заводить кабаки и в других городах, искореняя частный сектор (в отличие от татарских кабаков, еды там не полагалось). Как утверждает автор «Истории кабаков в России» И. Г. Прыжов, появление таких питейных домов отзывается на всей последующей истории народа.

Монастырям, правда, разрешалось курить вино «не для продажного питья» – «таких не заповедью надо смирять, а кнутом прибить». И в XIX веке «высшего чину духовным людям» разрешалось лишь «отдавать питейные их домы и винокурни» в аренду, но не торговать самим. Зато высшая власть сама многократно жаловала духовенство казенным вином.

Право держать кабак было важной разновидностью и дворянских «кормлений». Указом 1756 года винокурение дозволялось дворянам для домашнего употребления, но строго по чину: от 1000 ведер в год чинам первого класса до 30 чинам класса четырнадцатого. Указом же 1758 года по 1000 ведер в год собственной выкурки даровалось гофмейстерине, статс-дамам и фрейлинам. На каждый кабак как источник дохода был положен свой «оклад» (планировалось от достигнутого), выборным кабацким головам и целовальникам предписывалось «питухов не отгонять», а в случае недобора шли на правеж сначала они сами, а если взять с них ничего не удавалось, то их избиратели: праветчиков ставили босиком у приказа и, покуда не отдадут

долг, поочередно били палкой по икрам, занимаясь этим ежедневно, кроме праздников, по часу в день, но не долее месяца. Однако иногда битье продолжалось с утра до вечера, и здесь могло пригодиться гуманное исключение из закона: дворяне и бояре могли выставлять вместо себя своих людей. Посредством правежа кабацкие сборы дожимались даже при Екатерине.

Правительства всегда раздирались между желанием искоренить вредоносный порок и желанием на нем заработать. В первые годы крутой и аскетичной советской власти водка в ресторанах подавалась исключительно в чайниках (см. Зощенко). За первое полугодие 1923 года было конфисковано приблизительно 75 тысяч самогонных аппаратов и возбуждено около 300 тысяч уголовных дел (примерно по 5 аппаратов и 20 дел на тысячу крестьянских дворов). По прикидкам Госплана, в том же году население Дальнего Востока и Закавказья потребило около 24 миллионов ведер двадцатипятиградусного самогона. (Виной всему были, разумеется, кулаки и подкулачники.) Было подсчитано, что фабричная «выкурка» потребовала бы в семь раз меньше зерна, не говоря уже о потерянных налогах. В итоге товарищ Сталин констатировал: «Мы не можем пойти в кабалу к западноевропейским капиталистам… Тут надо выбирать между кабалой и водкой, и люди, которые думают, что можно строить социализм в белых перчатках, жестоко ошибаются». С 1925 года было решено положиться на то, что пьянство отомрет само собой вслед за уничтожением эксплуататорского строя и культурным ростом народа, а покуда в 1925–1926 годах на душу в рабочей семье пришлось 6,15 литра водки в год (класс – он тоже выпить не дурак), а на прочее городское население – примерно 3 литра. Кое-кто пытался завлекать рабочих в клубы «товарищескими беседами за кружкой пива», так что самому товарищу Троцкому пришлось разъяснять культпросветработникам, что отвлекать пивом от пивных все равно что изгонять черта дьяволом. Либо водка опрокинет культурную революцию, либо культурная революция победит водку, пророчествовал товарищ Бухарин, но схватка, однако, длится до сих пор.

И все-таки одна важная победа, повторяю, мне кажется, одержана: народ выпивает, но уже почти не воспевает алкоголь, а это значит, что вино из пленительного культурного символа превратилось в скучный, как выражаются наркологи, «адаптоген», опасное обезболивающее для нестойких душ. По крайней мере, что-то не припоминается современного «Подымем стаканы, содвинем их разом!»…

Да и в пушкинскую пору гусарский культ Вакха уравновешивался культом Марса и Венеры – культом храбрости и

любви, абсолютно несовместимым с алкогольной деградацией. Это и есть самый надежный победитель алкоголизма – захватывающее дело, с которым алкоголизм несовместим. *Деромантизация пьянства,* еще раз с робкой надеждой констатирую я, в значительной степени уже произошла. Мне кажется, пьянством уже не бахвалятся, не принимают его за удаль.

Но если я даже и впадаю здесь в чрезмерный оптимизм, то по отношению к наркотикам таких иллюзий у меня гораздо меньше: их не просто употребляют – их романтизируют, видят в них некую «крутизну», а со стремлением молодежи быть крутой бороться гораздо труднее, чем с пороками по-настоящему всеми презираемыми. И вот в этом пункте, на мой взгляд, и таится самое слабое место антинаркотической пропаганды.

Мне случалось (хотя и очень немного) видеть фильмы, изображающие страшные последствия наркотиков (ломки, язвы…). Но ведь если показать медсанбат, картина окажется ничуть не менее устрашающей, и, однако же, романтическая молодежь, несмотря на риск, все равно тянулась и тянется к подвигу. Потому что подвиг – это действительно красиво! И по этой же самой причине нужно показывать, что наркотики – это не просто смертельно опасно, но еще и *омерзительно.*

Убить романтику по силам лишь другой романтике, убить художественный образ по силам лишь другому образу. Но искусство-то как раз меньше всего задействовано в борьбе с наркотической субкультурой…

Обида побежденных

Наша жизнь полна конфликтами, в основе которых – зависть. Вот лишь несколько.

Гражданка Р-ва, живущая в Петербурге, узнав, что дочь ее давней, можно сказать, сердечной подруги удачно вышла замуж – за москвича! – расстроилась. Во-первых, потому, что москвич – владелец трехкомнатной квартиры на Тверской. А во-вторых, потому, что ее собственное незамужнее чадо так и застряло в «провинции», то бишь в Питере. Р-ва представила, как ненавистная теперь дочь ее подруги обживает московские хоромы, и резко, без объяснений прекратила общение с ее мамой. С которой, между прочим, дружила… двадцать лет!

А вот ситуация – из мира науки. Будущий классик чистой математики П-н попросил уже наполовину состоявшегося классика К-ова дать ему проблему для научной работы. К-ов предложил некую задачу из топологии косых произведений, и П-н в течение недели решил ее. «У вас ошибка!» – радостно вскричал уязвленный столь быстрым решением К-ов, едва только П-н начал излагать ему свои выводы. П-н однако легко разбил возражения своего наставника, но тот продолжал ревностно выискивать несоответствия. И нашел: «А вот тут у вас сбой, смотрите!»

Но и эту придирку молодой математик немедленно опроверг. И так повторялось много раз, пока К-ов наконец не признал задачу решенной, сокрушенно кивнув: «Проблема оказалась не такой сложной, как я предполагал». Оба участника этой истории – крупнейшие ученые XX века.

А сколько эпизодов – смешных, нелепых, трагических – может привести каждый из читающих эти строчки. Примерно таких: провалившийся на экзамене абитуриент недавно уверял меня, что теперь поступают только за бабки, которых у него не оказалось; довольно известный философ сочинил убедительнейший трактат о том, что вся жизнь есть зло, только потому, что у него лично она не задалась; знакомый журналист рассказал мне, как полгода назад в сельской глубинке соседи подожгли усадьбу преуспевающего фермера. В этом ряду и трагические эпизоды, когда шахиды, ненавидящие тех, кто живет иначе (и лучше!), чем они, приводят в действие свои пояса смертников, истребляя вместе с собственной жизнью *инакоживущих*.

Что общего между всеми ними? И те, и другие, и третьи, и четвертые мстят за поражение. Мстят за униженное самолюбие, за утраченное ощущение первенства, удачливости, принадлежности к избранному народу, за утраченную веру в женскую верность и

справедливость мира – и кто-то «опускает» обидчиков (обидчиком может сделаться и все мироустройство) только в собственном воображении, тем или иным способом обесценивая их победу, а кто-то готов истребить их и физически, хотя бы и ценой собственной жизни.

Обида побежденных – вот источник всякой зависти, переходящей в ненависть, и всех философских и социальных теорий, оправдывающих эту ненависть. Отвергнуть мир, отвергающий то, что тебе дорого, – что может быть естественнее?

Когда эту ненависть испытываем мы сами или симпатичные нам люди, мы называем ее жаждой справедливости, в людях несимпатичных мы называем ее завистью, но суть от этого не меняется – речь идет о жажде реванша. Правда, когда мы оскорблены и стремимся к компенсации не для себя лично, а для своей социальной группы, это чувство в большей степени заслуживает высокого имени Справедливость.

И тем не менее *коллективный реваншизм* является причиной несравненно более ужасающих бедствий, чем зависть индивидуальная. Поэтому, создав мир, где нет побежденных, мы уничтожили бы и все мировое зло. Ибо проигравшие всегда будут питать неприязнь к победителям и сочинять для самооправдания утешительные сказки насчет того, что проиграли они исключительно из-за своей честности и великодушия, а их враги взяли верх только подлостью и бессердечием. Побежденные всегда будут восхвалять себя и клеветать на своих обидчиков, если даже в качестве обидчика выступит целая цивилизация.

Но ведь побежденных нет только там, где нет борьбы, нет соперничества. А соперничество, конкуренция и порождаемая ими зависть могут быть изгнаны из жизни лишь вместе с самой жизнью.

Большевики изгнали конкуренцию из экономики – и люди начали ненавидеть друг друга за место в очереди или в коммунальной кухне, за должности, за привилегии… И все это безо всякой пользы для человечества. Тогда как *конкуренция и порождаемая ею зависть не только источник взаимного раздражения, но также источник прогресса,* могучий стимул всяческих усовершенствований!

Пушкин когда-то заметил, что **зависть – сестра соревнования,** а стало быть, дама хорошего рода, но я бы назвал зависть не сестрой, а скорее **дочерью соревнования.** Ибо всякое состязание рождает двух дочерей – Радость и Зависть. И первой, цветущей веселой красавицей, наслаждается лишь горстка счастливчиков, а второй, уродливой злобной горемыкой,

приходится утешаться всем остальным (надеюсь, этот образ не покажется излишне смелым, если не понимать его чересчур буквально). Поскольку абсолютно в каждом состязании подавляющее большинство участников оказываются побежденными – на пьедестале почета могут разместиться лишь немногие, иначе победа потеряет всякую ценность. Каждое состязание порождает горстку победителей и толпу неудачников.

Но почему тогда неудачниками, лузерами себя ощущают, слава те, господи, далеко не все? Скорее даже меньшинство. Да потому, что разновидностей состязания чрезвычайно много: проиграешь в одном – выиграешь в другом, которое при желании и можно признать самым главным. Бегун не завидует штангисту, а штангист шахматисту, но каждый имеет полную возможность поглядывать на остальных свысока: я самый быстрый, я самый сильный, я самый умный… Каждый уверенно стоит на собственном пьедестале почета.

Но ведь и в социальной жизни пьедесталов почета огромное множество! Домохозяйка может тешить себя тем, что у нее самые ухоженные дети, сельский житель – что дышит самым чистым воздухом, рабочий – что может спать спокойно, не беспокоясь о происках конкурентов, – и так далее, и так далее. В принципе каждой социальной группе необходима собственная субкультура, собственный пьедестал почета, у подножия которого даже проигравшие могли бы чувствовать, что по сравнению с остальным миром они все-таки удачники, все равно они или быстрее, или сильнее, или умнее всех за пределами своей избранной группы. Для этого-то субкультуры и создаются – для самовозвеличивания и самоутешения.

И рождаются они естественным порядком, без специальной организации, ибо заниматься самоутешением дело для человека более чем естественное. Он и выжил-то исключительно потому, что от начала времен скрывал от себя собственную мимолетность и бессилие всевозможными иллюзиями, начиная от самых наивных сказок и магических ритуалов и заканчивая изощреннейшими философскими системами и великими шедеврами искусства.

Первейшая функция нашей психики – самооборона. Поэтому человеческая фантазия рождает утешительные субкультуры так же непроизвольно, как слизистая оболочка желудка выделяет желудочный сок, – в самых простодушных народных сказках барин всегда оказывается идиотом, а мужик молодцом. И все, что требуется для того, чтобы утешительные образы сделались коллективными, охватили всю социальную группу, – это

возможность делиться ими более или менее широкоохватно, а не только частным образом. Грубо говоря, каждой социальной группе необходимы собственные творцы утешительных грез – собственная литература, собственное кино, собственное телевидение…

Но предоставляет ли сегодняшняя жизнь что-либо хоть отдаленно напоминающее эту картину? Нет, она действует ровно противоположным образом. Шкала успеха чудовищным образом упрощена, унифицирована. **Прибыль сделалась почти единственным критерием успеха.** Критерием, обрекающим, как и любой монокритерий, подавляющее большинство людей на ощущение жизненной неудачи: если ранжировать человечество по любому монокритерию, подчеркиваю – по любому: по росту, весу, щедрости, красоте, известности, умению вычислять или играть на скрипке, – все равно половина сразу же окажется ниже среднего. Вместо того чтобы максимально увеличивать число пьедесталов почета, средства массовой информации, напротив, сосредоточиваются на одном-двух наиболее примитивных – **деньги и популярность** (обычно, впрочем, тоже конвертируемая в деньги).

Рассмотрим всю окружающую нас символическую продукцию от телесериалов до уличной рекламы – много ли вы найдете «месседжей», сигнализирующих обычному человеку: «Ты счастливчик, тебе выпала удача родиться именно в своем регионе, обрести именно свою профессию, жениться именно на своей возлюбленной»? Напротив, большей частью она делает все, чтобы разрушить все локальные воодушевляющие субкультуры, создавая впечатление, что *счастье можно обрести лишь на микроскопическом столичном пятачке, и тем самым наводняя страну массами неудачников. А следовательно, и завистников.*

Когда я в своей повести «Исповедь еврея» изобразил нищий шахтерский поселок как некий Эдем, это была не только ирония: в каждом таком Эдеме был свой силач, свой мудрец, свой богач – никто не состязался со Шварценеггером, Бором или Биллом Гейтсом.

Ностальгия по Советскому Союзу связана вовсе не с тоской по равенству, а скорее с тоской по избранности, ибо глобализация, унификация ценностей разрушила и продолжает разрушать множество уютных субкультур (национальных, профессиональных, региональных…), внутри которых люди могли ощущать себя удачниками.

А между тем надо понимать, что от мести униженных и оскорбленных защититься невозможно: даже те из них, кто не

решится или побрезгует мстить победителям материально, неизбежно станут отвергать, обесценивать отвергнувший их социальный мир. И ничто не помешает им изобразить этот мир мерзким и несправедливым; сделавшись же таковым в глазах большинства, он неизбежно окажется обреченным на упадок, а в конце концов и на гибель. Дураков чем-то жертвовать ради его защиты больше не останется.

Сегодня мы много говорим об укреплении государства, долженствующего заботиться прежде всего о тех коллективных наследственных ценностях, которые не входят в круг приоритетных интересов индивида, – территория, природа, культура, демография…

Но воображаемая картина мира, в которой большинство населения чувствовало бы себя уютно, ничуть не менее важное общественное достояние, чем чистая вода и чистый воздух. Чтобы государство начало оказывать поддержку тем, кто, сам обладая психологически комфортабельной для своей социальной группы картиной мира, получил бы возможность делиться ею с другими, – это греза, конечно, совершенно несбыточная. Если бы оно хотя бы перестало поддерживать разрушителей – уже и это было бы необыкновенно мудрым государственным решением.

Недоучки и джентльмены

В просвещенном обществе необходимость героев и героизма ставится под сомнение так давно, что даже образованные люди, случается, принимают за пословицу цитату из брехтовской «Жизни Галилея»: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях».

Что естественно: если советская власть превозносила героизм, значит, мы должны его опускать – герои-де постоянно прикрывают бардак, глупости и преступления власти. Если, скажем, какой-то парень спасает девочку из кипятка, надо прежде всего вспомнить, что в цивилизованных странах таких аварий не бывает. А если кто-то геройски погибает на войне, надо напомнить, что у хороших генералов солдат не убивают. И к тому же умные политики вообще не доводят дело до войны: ведь войны выдумала советская власть, до нее люди никогда не воевали.

Разве что в варварские времена. А в XX веке войны затевают только фанатики-недоучки, образованные же джентльмены, управляющие цивилизованными странами, все решают за столом переговоров. И если фанатикам-недоучкам все-таки удается втянуть джентльменов в войну, те берегут своих солдат и уж никак не воспевают такую варварскую доблесть, как самопожертвование. Совсем недавно «страна-изгой» взяла в плен военное судно цивилизованной державы без единого выстрела, и пленники, освобожденные путем переговоров, были встречены как герои (герои все-таки нужны для телешоу). А вот за полтораста лет до того, в ту пору, когда упомянутая держава, звавшаяся владычицей морей, оказалась в состоянии войны с Россией, российские офицеры на фрегате «Паллада», понимавшие, что им не уйти от более быстроходных английских судов, постановили в случае столкновения сцепиться с английским кораблем и взорвать свой пороховой погреб.

А казались воспитанными людьми… Нет, варвара не переделать в джентльмена! Вот и почти через сто лет, когда практически вся цивилизованная Европа работала на Гитлера, сохраняя свое население и достояние, да еще и создавая новые рабочие места, Россия варварски взрывала собственные заводы, сжигала собственные поля, а уж кто тогда думал о людях, если их не щадили и в мирное время!

Сталинские репрессии и сегодня повергают в недоумение своей нелепой избыточностью. Что это – фанатизм, садизм, паранойя? Ведь на любой работе приходится что-то выбирать, с кем-то ссориться, но уволили и забыли, убивать-то зачем?

А зачем в военное время расстреливают солдата, оставившего свой пост, если в мирное время его лишь сажают на губу? Почему в мирное время за неуплату налога штрафуют, а в военное за сопротивление реквизиции вешают на воротах? Да потому, что на войне у каждого стоит на кону собственная жизнь. Свирепость расправ – плата за страх. Я не хочу сказать, что это правильно, но это естественно. Было бы слишком утешительно все списывать на то, что Сталин и Гитлер были чудовищами, – чудовищ рождает любая достаточно продолжительная и жестокая война. Они оба были выдвинуты и правили во время войны.

И это была никакая не идейная или гражданская, это была единственная Тридцатилетняя мировая война с двадцатилетней передышкой, когда все стороны лихорадочно нащупывали вождей, с которыми был наибольший шанс выстоять, а лучше победить. На карте стояли не правый или левый уклон, а жизнь и смерть целой армии, собравшей самых храбрых и честолюбивых, для кого поражение сделалось бы изгнанием из Истории, сладость участия в которой они только успели вкусить. После 18-го джентльмены показали недоучкам, что будет с побежденными (немцы и поляки побывали в Киеве, японцы – во Владивостоке), – те и сплотились вокруг самых последовательных…

Я отнюдь не подвожу к какой-нибудь пошлости типа: с меньшими жертвами выстоять было нельзя – еще как можно. Но страх, рождающий безумие и у тех, кто его творит, и у тех, кто его оценивает, никогда не считается со «щепками».

Искать причины сталинских ужасов у нас означает оправдывать сталинизм: зло должно порождаться самим собой. Но я рискну утверждать, что «жертвы культа» были в том числе и жертвами Тридцатилетней войны, учиненной джентльменами с дипломами самых сверхпонтовых университетов в кармане смокингов. И если в эпоху, когда рыцарская честь осмеяна, льются еще невиданные реки крови, то ради какой такой Гекубы, что стоит на карте? Если отбросить всякий мусор типа рынков и ресурсов, из-за которых ни один безумец не пойдет на смерть, придется признать, что борьба шла за право править историей.

И неужели же кто-то может думать, что эта борьба закончена, что три четверти или четыре пятых мира согласятся навеки отказаться от права оставить и свой след в веках, отказаться от главной доступной смертному иллюзии бессмертия? Тем более что джентльмены хорошо потрудились, чтобы сделать «открытыми», то есть осознавшими свою историческую второсортность, все общества в мире. И трудно представить, как мир джентльменов будет противостоять тамошним героям, не возрождая культ героизма…

В будущих войнах, объявленных и необъявленных, хуже всех придется тем странам, которые недостаточно цивилизованы, чтобы исчезнуть без скандала, и слишком велики, чтобы спрятаться за чужие спины.

Но кто знает, возможно, случится чудо, и воинская доблесть, готовность к жертвам цивилизованному миру больше не понадобится. И все равно та страна, которая перестанет нуждаться в героях – героях науки, техники, спорта, – обречена на гибель.

От скуки. Советский Союз ведь и убила прежде всего скука.

И. Грозный как литературный прототип

За четыреста с лишним лет можно забыть кого угодно, но Ивана Грозного народ забыл гораздо раньше. Перечитаем «Вступление к Былевым песням» Петра Васильевича Киреевского: «В песнях об Иоанне Грозном народ сохранил воспоминание только о светлой стороне его характера. Он поет о славном завоевании Казани и Астрахани; о православном царе, которому преклонилися все орды татарские; об его любви к Русскому народу и его радости, когда Русской удалец, на его свадебном пиру, поборол его гордого шурина, Черкасского князя; но не помнит ни об его опричниках, ни об других его темных делах. Такая память народа, во всяком случае, заслуживает полное внимание историков».

И не только историков: любовь народа к своим тиранам или как минимум нежелание отнестись к ним критически раздражает гуманистическую мысль от Грозного до наших дней. Еще школьниками многие из нас читали диалог в бессмертном «Одном дне Ивана Денисовича»:

«"Иоанн Грозный" – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!» – «Кривлянье! Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции!» – «Но какую трактовку пропустили бы иначе?..» – «Ах, *пропустили* бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!»

Но Михаил-то Юрьевич Лермонтов был бесспорный гений и уж никак не выполнял ничьего заказа, а до чего величественным выписан грозный царь Иван Васильевич в его «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»!

Ну хорошо, юный Мишель следовал законам эпического жанра. А что заставляло благороднейшего Алексея Константиновича Толстого в как бы даже и реалистическом «Князе Серебряном» изображать Ивана Грозного жестоким, но величественным владыкой, а не мелким грязным садистом? С пятого класса помню, каким высоким слогом обращались к нему призраки казненных бояр: здрав буди, Иване, се кланяемся тебе, иже погубил нас безвинно…

А у Булгакова Иван Васильевич наделен неким даже почти трогательным простодушием: «Увы мне, грешному!.. Горе мне, окаянному!..» А это ведь подлинная цитата из Послания в Кирилло-Белозерский монастырь – из того послания, где великий государь, царь и великий князь всея Руси именует себя псом смердящим, обретающимся вечно среди пьянства, блуда, прелюбодеяния, скверны, убийств, грабежей, хищений и ненависти, но при этом надеется найти Божью узду для своего невоздержания в иночестве. А потому заранее сетует на упадок строгости в монастырских нравах: дашь ведь волю царю – надо и псарю; дашь послабление вельможе – надо и простому. «А ныне у вас Шереметев сидит в келье словно царь, а Хабаров и другие чернецы к нему приходят и едят и пьют словно в миру. А Шереметев, не то со свадьбы, не то с родин, рассылает по кельям пастилу, коврижки и иные пряные и искусные яства, а за монастырем у него двор, а в нем на год всяких запасов».

Дипломатическая переписка Грозного тоже просится в какую-то умилительную комедию: «А до сих пор, сколько ни приходило грамот, хотя бы у одной была одинаковая печать!» – пеняет он английской королеве Елизавете. «Мы думали, что ты в своем государстве государыня и сама владеешь и заботишься о своей государевой чести и выгодах для государства, – поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести, и о выгодах для страны, а ищут торговой прибыли» – прямо-таки первое столкновение либерализма и государственничества! «Ты же пребываешь в своем девическом звании как всякая простая девица» – в оригинале «пошлая».

Примерно в это же время один из подданных этой пошлой девицы, Уильям Шекспир, канонизировал манеру изображать исторических злодеев могучими, а потому обаятельными. Ибо история, какой она только и может существовать в культурной памяти народа, не наука, но художественное произведение. Карамзин тоже прекрасно это понимал: «История в некотором смысле есть священная книга народов, главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего». «Вымыслы правятся (исправляются), – соглашался он, – но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина».

Однако насчет иоанновых потех он обмануть себя не сумел – эти ужасы не вписывались в поэтику сентиментализма. Но в сегодняшнюю культурную память чернейший царский юмор,

пожалуй, уже можно было бы ввести: привязывать жертвы к саням и загонять лошадей в воду, жарить «изменников» в муке, словно карасей, кликать среди пира добровольных палачей: «Ну, кто мне разрежет этого гуся?» – в этом есть какой-то чудовищный, но все же размах. А народная память, равно как и всякая память культурная, **романтична.** Она легко примет ужасное, переведя его в разряд величественного, но отторгнет мелкое и унизительное. Даже в сегодняшнюю национальную культуру вряд ли удастся загнать образ Грозного-маньяка, хотя есть немало свидетельств, что он выходил из пыточных застенков разрумянившимся и повеселевшим. И наверняка не задержится в культурной памяти та пытка с эротическим оттенком, которой он подвергал женщин-ЧСИР (членов семьи изменников родины): таскать их взад-вперед в обнаженном виде, усадив верхом на жесткий канат.

Жертва умирала в страшных муках, а удали, юмора здесь невозможно высмотреть даже сквозь самую снисходительную лупу. А значит, им и не задержаться в национальной культуре. Ибо назначение любой культуры – преображать мерзкое и унизительное в трагическое, то есть ужасное, но все-таки высокое. Видеть своего правителя, оставившего несмываемый след в истории, грязным и мелким садистом, означает для каждого народа испоганить свою священную книгу. И ни один народ на это не пойдет, сколько бы его ни упрекали те, чей собственный возвышенный образ питается какими-то другими вымыслами (жестокой же и мерзостной правдой о себе не живет никто).

Потому останутся тщетными и все наши попытки пигмеизировать образ Сталина, сколь бы чудовищными ни были его злодеяния. Этого не позволит сделать вовсе не рабский дух народа, но дух романтический. Да и память о сталинских жертвах тоже оскверняется этим снижением жанра, для которого гибельны не ужасы, но пошлость. Это прекрасно чувствовал такой романтик, как Пастернак: прежде нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья. Подобные критерии вроде бы невыгодны были для него самого, но ведь поэт не ищет выгод!

А всякий народ – поэт.

Где митинги в защиту гениев?

Когда после нашумевших выборов еще за неделю до того политически неозабоченные люди вышли на митинги, мой первый вопрос был: а где они были раньше? Почему целые годы молчали? Почему их не выводила из терпения наглая коррупция, оскучнение газетных полос, опошление телеэкранов и прочая, и прочая, и прочая? Мешали стеснения свободы слова? Бросьте – у людей всегда есть возможность вести подрывную словесную деятельность посредством кухонных разговоров, анекдотов, слухов, сплетен, а уж возможности «протаскивать идейки» в художественной литературе сегодня поистине безграничны, однако лишь очень немногие культурные писатели работают в жанре так называемого критического реализма. А ведь именно словом и мнением, да, мнением народным была если не свергнута, то «опущена» советская власть. И опускали мы ее не корысти ради (не так уж плохо нам жилось), а токмо волею ущемленного достоинства: мы перестали себе нравиться в декорациях советской власти, а потому возжелали их переменить. В последнее же десятилетие я не замечал ни намека на «революцию языков» ни в застолье, ни в литературе – нигде не просвечивало никакой новой грезы, новой сказки, из коих только и рождаются политические движения.

А значит, у поствыборных митингов причины были не политические, а психологические или даже эстетические: люди вышли защищать не образ будущего своей страны (такого образа ни у кого из них не было и нет), а красивый образ самих себя, стараясь отмыться от понесенного унижения. Практического результата от перевыборов вряд ли кто-то серьезно ждал, если бы даже каким-то чудом у партии Сидорова отняли десять-двадцать-тридцать-сорок мандатов в пользу партии Петрова, поскольку как Сидоров, так и Петров люди с полной очевидностью ординарные, а чтобы бросить вызов сложившемуся равновесию, нужно быть очень храбрым человеком с командой таких же смельчаков.

Ведь вступить в реальный бой хоть с той же коррупцией означает покуситься не на такие мало кого колышащие фантомы, вроде Справедливости, Конституции и т. п., но на самые что ни на есть шкурные интересы наиболее сильной, умной и организованной корпорации – из такой борьбы есть очень много шансов не просто выйти побежденным, но и вообще не выйти живым. Творец южнокорейского чуда генерал Пак Чонхи пережил несколько покушений, а последнего так даже и не пережил.

Однако значит ли это, что наше дело безнадежно? И красоты

нам не видать, как своего отражения в железобетонном зеркале? Это было бы именно так, если бы красота создавалась исключительно чистотой.

Расписывая (и совершенно справедливо) коррупцию как опаснейшее социальное зло, обычно говорят о том ущербе, который она наносит экономике. Но не случайно, я думаю, слово «коррупция» переводится не как ущерб, а как порча. *Главный ущерб коррупция наносит не экономике, а идеальному образу страны, красоте ее облика.* А следовательно, и красоте нашего облика, какими мы себя хотим видеть хотя бы в собственном воображении: трудно чувствовать красивым себя, будучи связанным судьбою с некрасивым отечеством.

Однако и любить отечество, гордиться им, считать его прекрасным только за то, что в нем низок уровень коррупции, невозможно. Мы восхищаемся и людьми, и народами, и государствами не за их чистоплотность, а за их свершения, за позитивное, а не за отсутствие негативного. И меня тревожит то, что за борьбой – точнее, за разговорами о борьбе со всевозможными национальными пороками – мы почти забыли о приумножении национальных достоинств.

«Что делают в России? Крадут». Россия золотого века, века Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Блока была классически коррумпированной страной. Но эта язва только мелькала где-то на периферии их творчества, у них были цели поважнее – кажется, только в такой многофигурной панораме, как «Анна Каренина», имеется сценка, в которой Стива Облонский устраивается в некую железнодорожную фирму на несообразно высокое жалованье. И все-таки их век, век наших гениев, их творения остаются и поныне самым главным, чем мы гордимся и благодаря чему ощущаем себя единым народом. В центре нашего (и всемирного!) образа русского золотого века остаются и останутся его достижения, а не его махинации.

Можно, стало быть, сделаться великой страной, великим народом и при высоком уровне коррупции!

А что оставим потомкам мы? В чем наши более важные цели? Каковы будут великие достижения, по которым нас запомнят?

Все-таки векам остается здание, а не чистота…

И хотя наводить чистоту в доме чрезвычайно важно, это все же не может заменить возведения блистательной кровли – исторических свершений, поражающих воображение потомков: кровельщики важнее, чем дворники. Но об этом мы совершенно забыли, лихорадочно обустраивая дом без крыши, защищающей нас от ощущения исторической ничтожности. Разве что иногда мы отвлекаемся посмеяться над понятием национальной идеи:

живут же, мол, все приличные народы безо всяких идей, а грязи (коррупции), между прочим, у них изрядно поменьше, чем у нас. Хотя еще большой вопрос, живут они или доживают, большой вопрос, что заставит их приносить серьезные жертвы, если, избави бог, на них навалится какое-то серьезное испытание.

А вот на нас оно уже навалилось. И потому нам остро необходимо видеть в своей стране источник не просто удобств и чистоты, но источник высоких переживаний, питающих нашу связь с вечностью, которых одна лишь чистота и порядок породить не могут.

Однако, как я уже не раз повторял (не слыша сколько-нибудь заметного отзыва), восхищать, поражать воображение своих граждан великими свершениями государство не сумеет без возрождения национальной аристократии, без творцов и служителей наследственных («бессмертных») мечтаний. Именно аристократы духа, настроенные на служение бессмертному, творят великие дела, порождая и в остальных чувство собственной неординарности, собственной долговечности. Весь комплекс устремлений аристократического слоя и оказывается той самой национальной идеей, которая не декларируется, но осуществляется. И важнейшей составляющей нашей национальной идеи всегда было производство гениев.

Прогрессивная печать немало и во многом даже справедливо потешалась над склонностью советской власти создавать коров-рекордисток, быков-рекордистов, однако в мире людей это было бы жизненно необходимой политикой. Я имею в виду всемерное расширение – особенно в провинции – сети школ для наиболее одаренных и наиболее романтичных в науке, искусстве, военном деле, спорте…

Ставка на самых одаренных должна сделаться первым лозунгом дня, а борьба с коррупцией только вторым.

Мне случилось побеседовать с тройкой активистов, по доброй воле отправившихся на избирательные участки в качестве наблюдателей, и впечатления они оттуда вынесли скорее бардака и базарного хамства, чем продуманного политического цинизма. И все, чего они желали бы от власти, это сигнала ее низовым агентам: орудуй того, потише. Людей сильнее ранит грубый отъем пятисотрублевых китайских часов (грабеж), чем деликатное хищение десяти тысяч из кармана (кража). И если бы они решились открыто выразить свои чувства в виде лозунга, они бы вышли на митинг с призывом перейти от грабежей к кражам.

Но, кажется, еще никому не приходило в голову выйти на митинг за то, чтобы Коле и Маше из Новоурюпинска и Ленинохренска был открыт путь к развитию и реализации их

дарований. Чтобы мы могли сказать, как это было в эпоху Пушкина и Толстого: да, мы живем не очень чисто, но зато поставляем миру гениев.

И вот Дума уже работает и гремит, но интересы особо одаренных мальчишек и девчонок в ней никак не представлены. Может быть, помимо всех демократических, нам пора обзавестись еще и Аристократической партией?

Анна и Нора, Марфа и Мария

Ибсеновскую Нору и толстовскую Анну породила одна и та же социальная греза – мечта о равенстве женщины и мужчины. Только наш матерый человечище считал эту утопию опасной вовсе не из-за того, что женщина не может заменить мужчину, но из-за того, что мужчина не может заменить женщину. Величайший консерватор всех времен и народов постарался показать, что, покинув классическую, признанную миром семью, женщина не только не приобретает счастья, но и теряет материнские чувства к рожденному в любви ребенку, старается влюблять в себя каждого встречного мужчину, а ее возросший интерес к серьезному чтению не более чем попытка заглушить тоску по утраченному раю.

Ибсен же покидает свою героиню как раз в тот миг, когда она оставляет этот рай, внезапно воспринятый ею как «кукольный дом»: она была всего лишь «любимой куколкой» мужа, она хочет «набраться опыта», «стать человеком» – только тогда она что-то сможет дать своим будущим детям. Гордая Нора нашла немало подражательниц, драма «Кукольный дом» оказала заметное влияние на феминистическое движение, и все же дозволительно усомниться, можно ли «стать человеком» за пределами семьи – единственного коллектива, где люди стремятся не получать, но отдавать.

Решусь утверждать, что никакого неразрешимого конфликта между семейным и «общественным» долгом нет: сотни тысяч, если не миллионы российских женщин сумели и набраться опыта, и стать людьми, не сбрасывая никаких традиционных обязанностей. Они умеют и работать, и зарабатывать, но в любимых куколок превращаются лишь в редкие часы беспечности – в остальное время они надежные друзья и соратники своих мужчин, если даже те не слишком этого достойны. Они гениально сочетают в себе хлопотливую Марфу и возвышенную Марию: в театрах, в музеях, в библиотеках – всюду они. Они поразительно сочетают мудрость и детское простодушие («будьте как дети»), робость, основанную на отвращении ко всему грубому и безобразному, и героизм, они могут бояться мышей и войти в горящую избу.

Часто сетуют, что женщины слабо присутствуют в политике: как было бы хорошо для детей, если бы их мамы набрались политического опыта – научились улыбаться, держа камень за пазухой, спокойно перешагивали через вчерашних друзей, давали уверенные обещания, ни мгновения не предполагая их

выполнить…

А ведь политическая жизнь без этого невозможна, те, кто не станет следовать этим правилам, погубят свое дело…

Короче говоря, в женском вопросе я тоже консерватор – я не хочу, чтобы женщины сравнялись с мужчинами, я хочу, чтобы они оставались лучше нас, порождая в нас желание бороться за их расположение, защищать их, прощать и делиться с ними последним куском. Не будет настоящих женщин – не будет и настоящих мужчин, они порождают друг друга.

Прогресс последних десятилетий слишком часто уничтожал лучшее и сохранял худшее, но пока у нас есть главное наше национальное достояние – наши женщины, – Россия не погибнет. Какое бы свинство ни навязывал им большой мир, свое гнездышко они будут устраивать по законам чистоты и доброты, и их детей, с пеленок усвоивших эти законы, будет нелегко расчеловечить даже российскому телевидению.

Я готов повторять снова и снова, что считаю интеллигентную российскую женщину одним из высших достижений мировой цивилизации и надеюсь, что даже Лев Николаевич простил бы ей избыточную тягу к культуре и склонность к брючным костюмам, к «неприлично обтягивающей одежде» – по-моему, она им очень к лицу и ко всем прочим частям тела.

Нищие духом, полагающие главным человеческим стремлением не мечту о красоте и бессмертии, а жажду комфорта, уверяют нас, что когда-де от семьи не будет материальной пользы, она и скончается. И люди утратят последнюю ячейку, где их ценят не в обмен за услуги, а просто так. Чего нам в глубине души хочется больше всего на свете.

И главная сила, хранящая этот уголок бескорыстного тепла, – женщина. Пока мы ее бережем, она тоже будет беречь нас.

Кто следующий?

Любой конфликт люди благородные стремятся прекратить, а люди циничные – использовать в своих целях. Но конфликт израильтян с палестинцами тянется так долго, что уже надоел и тем и другим. Этих других раздражает, что их арабские братья никак не могут покончить с такой мелочью, как израильская военщина, чтобы наконец всерьез приняться за ее заокеанских хозяев – сделав тем самым решительный шаг к мировой войне. И что же мешает – тоже сущая ерунда: еврейское лобби в конгрессе США, не позволяющее предоставить Израиль его собственной судьбе.

Хотелось бы поверить, чтобы еврейское меньшинство оказалось способно на такое чудо – подчинить могучее «белопротестантское» большинство Америки своим мизерным национальным интересам. Однако поверить в это трудно: когда жизнь европейского еврейства по-настоящему висела на волоске, это большинство не выказало ни малейшей зависимости от погибающих. После 1933 года, когда евреям в Германии уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов (пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса) требовали полного запрета на въезд беженцев, а их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением, да, мнением народным за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. По некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже «Новый курс» Рузвельта называли «Еврейским курсом» (New Deal – Jew Deal); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные соглашались только отнестись к этому с пониманием.

Сегодня же дети и внуки этого большинства с какой-то радости вдруг согласились плясать под еврейскую дудку вопреки тому, что всякое национальное меньшинство, слишком усердно отстаивающее интересы иного государства, теряет в глазах большинства всякое влияние. Но, повторяю, хорошо, если бы это чудо стало реальностью, поскольку серьезных людей гораздо больше пугают собственные мессианские настроения американских консервативных лидеров, их слишком уж буквалистическое отношение к «проекту Просвещения» – проекту создания единой цивилизации либерального образца. И если эта великая химера всерьез столкнется с исламской всемирной

химерой, то сегодняшний мир, искрящий локальными конфликтами, покажется совершенной идиллией.

Однако благородных людей, не догадывающихся, что эти локальные конфликты – столкновения периферий мира рациональности и мира пламенных грез – предотвращают столкновения ядер этих миров, – благородных людей раздражает невозможность безоговорочно стать на чью-то сторону, чтобы безмятежно наслаждаться собственным моральным совершенством. Конфликт-то, увы, трагический – в нем у каждой стороны есть своя безупречная правота… Конечно, прогрессивная западная интеллигенция с ее вековым опытом лицемерия старается найти красивый выход из безвыходного положения, твердой ногой стать на какой-то исчерпывающий принцип типа «Слабые всегда правы», но в глубине души и она чувствует, что Израиль, противостоящий огромному исламскому миру, тоже трудно изобразить Голиафом, нависшим над маленьким беспомощным Давидом…

Трагическую неразрешимость арабо-еврейского конфликта прекрасно понимал еще идейный лидер российского сионизма Владимир Жаботинский. Когда первые еврейские «гастарбайтеры» встретили в Палестине не слишком ласковый прием арабского большинства, не желающего превращаться в меньшинство, либеральные сионисты принялись горячо обсуждать, как бы евреям так деликатно себя повести, чтобы пробудить в арабах столь вожделеемую и в сегодняшней России толерантность. И Жаботинский еще тогда со всей отчетливостью ответил: никак. Каждый народ считает свою землю собственным домом и не потерпит никаких других хозяев. Мы не сможем подкупить арабов никакими чечевичными похлебками цивилизации именно потому, что они народ, а не сброд. А значит, их сможет остановить лишь полная физическая невозможность, «железная стена», и наше дело выстроить эту стену.

Время, однако, показало, неосуществимость этой метафоры: под каждую стену можно сделать подкоп. Люди, готовые не щадить себя, обладают страшной силой: вспомним, как горстка народовольцев без всякой посторонней помощи поставила на уши всю Российскую империю. А палестинцам готовы помогать целые государства. И значит, покуда они стоят и покуда выстаивает Израиль, конфликту не будет конца.

И каждая из сторон будет оставаться безупречно правой с точки зрения собственных национальных интересов. Чем они и могут утешаться и воодушевляться до прихода Мессии.

А вот чем может утешаться Россия? В чем заключается ее безупречная правота? Да в том же, в чем и у всех, – в праве тоже

ставить на первое место собственные интересы, – пускай самоотверженная Америка наживает в чужом пиру похмелье, а мы уже сосредоточили на себе достаточно вражды, защищая униженных и оскорбленных по всему земному шару. И потому, прежде чем давать волю сердцу, которому не прикажешь, мы должны хорошенько вдуматься, какое развитие арабо-израильского противостояния пойдет на пользу российской национальной безопасности, а какое во вред. Спокойнее ли сделается наша жизнь, если победит, скажем, Израиль?

Ясно, что вопрос этот совершенно праздный. Победа израильского островка над арабским морем полностью исключена, сколько бы операций «по принуждению к миру» он ни осуществлял: каждая такая операция будет на короткое время ослаблять материальную инфраструктуру террористов и очень надолго усиливать их решимость – их главный стратегический ресурс. И в конце концов победа арабов в долговременной перспективе дело вполне возможное. А следовательно, подумать о том, что их победа принесет России, следует вполне серьезно.

Когда одной ближневосточной горячей точкой станет меньше, что приобретет Россия – мирного соседа, с которым приятно вести общие дела, или скрытого агрессора, который станет поддерживать сепаратистские и экстремистские движения внутри России в надежде поставить их на службу панисламистским химерам? Предсказывать поведение любого народа гораздо правильнее не по его декларациям, а по его реальным интересам, и стратегические интересы наиболее пассионарной, романтической части исламского мира, на мой взгляд, радикально расходятся с интересами России, если даже в данный момент ни мы, ни они этого не сознаем. Ибо Россия, как ни крути и ни выкручивайся, все равно живет уже не великими грезами, а более или менее реалистичными целями. И, следовательно, принадлежит миру рациональности, самое существование которого являет собою смертоносный соблазн, разрушительный для тех базовых иллюзий, на которых покоится существование сегодняшних врагов Израиля, – угроза которым не исчезнет и после его исчезновения.

А потому после поглощения этого периферийного островка мира рациональности его враги будут просто вынуждены отдавать высвободившиеся силы борьбе с его ядром. Россия, конечно, не принадлежит к такому ядру, она больше тяготеет к периферии – зато она под рукой. И весьма значительная часть ее населения, принадлежащая мусульманской традиции, не может не возбуждать пропагандистских надежд защитников ислама, проигрывающего цивилизационное состязание все с тем же

миром индивидуализма и рациональности. Хочется верить, что эти надежды окажутся тщетными, что Россия проявит себя как настолько уютный многонациональный дом, что ни одна существенная национальная сила внутри него не откликнется ни на какие призывы извне. Верить хочется. Но попыток расколоть Россию по конфессиональному признаку нам не избежать.

И покуда эти жаждущие раскола силы поглощены Израилем, до тех пор у них остается значительно меньше возможностей и особенно желания приняться за Россию, поскольку не следует наживать нового врага, покуда не покончено с предыдущим. Таким образом, Израиль, сам того не желая и, возможно, даже не ведая, сегодня сосредоточивает на себе часть тех сил и аппетитов, которые после его исчезновения обернутся против России. А потому Россия заинтересована, чтобы этот форпост рациональности держался как можно дольше, – он защищает нас, за ним наступит наша очередь.

Разумеется, эту заинтересованность не следует проявлять открыто, наживая в чужом пиру похмелье, – солидные господа используют чужие трагедии, для того чтобы продемонстрировать собственную рассудительность и великодушие: с одной стороны, осуждать терроризм, с другой – пенять на чрезмерное применение силы, взывать к разуму, оказывать пострадавшим всех лагерей гуманитарную помощь… Словом, вести себя, как все зрелые цивилизованные державы, расчетливо и лицемерно.

Улица поджимает

Эхо бирюлевского погрома в Петербурге мне пришлось обсуждать по «Эху Москвы» в Петербурге с одним из самых умных либеральных экономистов Дмитрием Травиным. «Визовый режим со Средней Азией ничего не даст, – сказал Травин, – потому что народ больше всего раздражают выходцы с Северного Кавказа, а они российские граждане; и потом, без дешевой рабочей силы цены заметно вырастут, а это народу тоже не понравится». – «Но государство, – возразил я, – не коммерческая корпорация, оно предназначено для сохранения и развития неделимого общего наследия – этак можно было бы продать Сибирь, распродать Эрмитаж и погулять хорошенько годиков тридцать – сорок, а там хоть потоп; да, пара отвязанных джигитов может взбесить целый город, но ни для русской культуры, ни для демографии они никакой опасности не представляют, их слишком мало, демографическую опасность представляют как раз кроткие и трудолюбивые выходцы из Средней Азии, тревога за которых и заставляет меня желать для них предельно строгого визового режима, чтобы они когда-нибудь не сделались козлами отпущения, ибо никакой рост цен не вызывает такой ненависти, как страх национального унижения, поскольку после ослабления религии только принадлежность к нации защищает большинство людей от раздавливающего чувства собственной мизерности и мимолетности. Что же до дешевой рабочей силы, то она больше развращает наших предпринимателей, позволяя не беспокоиться о модернизации, – мы ведь когда-то проходили, из-за чего пал Древний Рим: неподъемный приток чужеземцев из колоний и рабский труд, допускавший лишь самые примитивные орудия».

«Да, – согласился Травин, – таким и сделается главное партийное разделение в XXI веке: "партия Травина" будет напирать на экономические выгоды иммиграции, а "партия Мелихова" на более высокие и долгосрочные задачи государства – так народ и будет колебаться: отлежав один бок, станет переворачиваться на другой».

Но ведь визовый режим никак не решает проблем с теми мигрантами, которые уже прочно поселились в России? Тут самое время вспомнить уроки империй – нужно управлять национальными меньшинствами руками их собственных элит. Титульные нации всегда раздражает склонность меньшинств к обособлению, к образованию неких квазигосударств в государстве, но иначе и быть не может, ибо меньшинства особенно остро нуждаются в экзистенциальной защите, в

причастности к чему-то сильному и долговечному. Зато именно такие общины – лучшее средство держать в узде отморозков.

Разумеется, лишь в том случае, когда их возглавляет по-настоящему авторитетный лидер, а не интеллигентный старичок, выбранный компанией других интеллигентных старичков. Такому лидеру предоставляются серьезные преимущества в бизнесе, в карьере, но если отмороженные соплеменники выходят у него из-под контроля, он этих преимуществ лишается.

Правда, чтобы назначать и снимать таких лидеров, нужна имперская аристократия, остающаяся неподкупной, поскольку и без того считает государство своей собственностью. А с аристократией у нас дело обстоит неважно. Оппозиция упрекает власть в том, что она превратила государство в свою собственность, но кто же обращается с собственностью так недальновидно, как будто вовсе не думает о наследниках?

А между тем улица уже начинает поджимать, по Интернету уже гуляют компактные отряды молодых людей, которые трясут рыночных и уличных торговцев: требуют каких-то бумаг, которые те предъявить не могут, опрокидывают лотки… И возглавляет их не шпана, а молодые мужчины с правильной речью, умеющие уверенно разговаривать с начальством и ссылаться на законодательство. Такой ли мы хотим видеть нашу национальную аристократию? И таких ли преемников желает наша нынешняя власть?

Ведь уличные вожди не склонны тонко различать правых и виноватых, фашизм – инстинкт самосохранения народа, грубый и неразборчивый, как все инстинкты.

Самозащита без оружия, или новое изгнание из Эдема

Любовь свинопаса

Эту книжку – брошюру, в сущности, – необходимо пересказать подробнее, ибо при своем солидном тираже 100 (сто) экземпляров до Москвы она еще доедет, тем более что выпустившее ее в 2013 году издательство «Время» в Москве и располагается, но до Казани вполне может и не доехать.

Название на обложке принадлежит, вероятно, составителю Илье Васильеву: «Александр Печерский: прорыв в бессмертие». Сам же автор назвал свой прорыв скромнее: «Воспоминания». Хотя начинаются они почти ритмической прозой: «Семеро нас теперь, семеро нас собралось на советской земле: Аркадий Вайспапир, Шимон Розенфельд, Хаим Литвиновский, Алексей Вайцен, Наум Плотницкий, Борис Табаринский и я – Александр Печерский. Семеро из сотен штурмовавших 14 октября 1943 года заграждения страшного гитлеровского лагеря истребления на глухом польском полустанке Собибор.

Здесь пойдет рассказ о безграничных человеческих страданиях и о безграничном человеческом мужестве».

Однако, словно почуяв, что имена Вайспапир и Розенфельд плохо вяжутся с эпическим слогом, автор тут же переходит в самый скромный регистр: «Сперва немного о себе».

Александр Аронович Печерский родился в 1909-м в Кременчуге, окончил семилетку и музыкальную школу в Ростове, работал «служащим», в день нападения «гитлеровской Германии»… Не просто, заметьте, Германии, но «гитлеровской», и лагерь был не просто немецким, но гитлеровским, как и у нас лагеря были не советские, но исключительно сталинские, а еще лучше бериевские: коллективную вину удобнее всего сосредоточивать на уже отработанных фигурах.

В общем, мирный совслуж был мобилизован, аттестован интендантом второго ранга, работал в штабе батальона, затем в штабе полка, после «беспрерывных боев с напирающими полчищами немецко-фашистских армий», после череды окружений, прорывов и новых окружений в начале октября после тяжелых боев под Вязьмой «попал в лапы гитлеровцев».

В плену заболел сыпным тифом, за что полагался расстрел, чудом сумел скрыть болезнь, в мае 42-го пытался бежать, но был

пойман и отправлен в штрафную команду, где на медосмотре наконец-то было обнаружено, что он еврей, после чего его отправили под Минск в «лесной лагерь», а там бросили в «еврейский подвал».

Кромешная тьма; лишь на пятый-шестой день, когда больше половины народа вынесли ногами вперед, удалось прилечь на пару часов на голой сырой земле. Но когда охранник предложил: «Хватит вам мучиться, давите друг друга», – интендант второго ранга бросил ему: «Не дождетесь». А затем в непроглядной тьме принялся рассказывать истории, как он когда-то чуть не сгорел, чуть не утонул, чуть не разбился, но в последний миг что-то его спасло. Темнота немного просветлела – «пошли рассказы о всяких неслыханных случаях, посыпались и перченые анекдоты».

А в трудовом лагере Сашко Печерский записался столяром и попал в одну из мастерских для обслуживания начальства (на будничные ужасы отвлекаться не буду). Начал примериваться к побегу и вскоре узнал, что совсем недавно здесь расстреляли группу в сорок человек за побег двоих. Но тут еврейских «специалистов» отправили в Собибор.

«Вдруг мы почувствовали, что стало трудно дышать. Более чем на полкилометра расстилался густой черный дым. В воздухе появились языки пламени, поднялся страшный шум. Гоготали сотни гусей».

Затеи сельской простоты – так изобретательные немцы заглушали вопли тех, кто подвергался «особому обращению».

Ну про то, как еще живых людей заранее обливали хлоркой, про раздробленные черепа младенцев, про куски мяса, вырываемые собаками, про дубинки и розги по любому поводу и без, – подобную рутину можно пропустить. Впрочем, случались и эксцессы: «Восемнадцатилетняя девушка из Влашима, идя на смерть, крикнула на весь лагерь:

– Вам за все это отомстят! Советы придут и расправятся с вами беспощадно!»

Не успела, бедняжка, разобраться, что нацизм и коммунизм – это одно и то же.

Нельзя пропустить и еще один нерядовой случай: на колке дров какой-то голландский еврей остановился протереть очки и тут же получил удар плеткой от самого начальника лагеря Френцеля; очки разбились, несчастный начал колотить топором вслепую, а Френцель принялся хлестать его, как выбившуюся из сил лошадь.

«На какое-то мгновение я даже опустил топор. Френцель тут же заметил это и подозвал меня:

– Ком!

Делать нечего, пришлось подойти. Я хотел одного: чтобы этот выродок видел, что я его не боюсь. Я выдержал его наглый, издевательский взгляд. Он грубо оттолкнул голландца и произнес на ломаном русском языке:

– Русский солдат! Я вижу, тебе не нравится, как я наказываю этого лентяя. Так вот, даю пять минут, чтобы ты расколол этот чурбак. Если расколешь – дам пачку сигарет. Если опоздаешь хоть на мгновение – получишь двадцать пять ударов».

Печерский, валясь с ног, управился за четыре с половиной минуты, но от сигарет отказался. А потом отказался еще и от половины буханки с куском маргарина.

«Френцель судорожно сжал в руке плетку, но что-то удерживало его от того, чтобы ударить меня, как он это делал обычно по сто раз в день. Он стиснул зубы, резко повернулся и ушел».

Забыв завет древних римлян: убивайте гордых. За что и поплатился: именно Печерский возглавил организацию побега. Но когда один еще больший гордец с компанией решили сами идти в отрыв, Печерский поговорил с ним очень серьезно:

«– Тебе с друзьями на всех наплевать? Так я везде расставлю своих людей, и если будет необходимо…

– Так что ты сделаешь? Убьешь меня?

– Если потребуется».

Бежать нужно было либо всем, либо никому: интендант второго ранга еще не дорос и до современного индивидуализма.

И вот 14 октября 1943 года Печерский и его команда в назначенное время заманили несколько немецких офицеров в швейную, сапожную, мебельную мастерскую якобы посмотреть заказы, там в течение часа их всех по очереди прикончили заранее приготовленными топорами и завладели их оружием.

«Заранее было выделено семьдесят человек, почти все наши, советские военнопленные, которые должны были напасть на оружейный склад. Поэтому они шли в передних рядах колонны. Но сотни людей, которые только догадывались о том, что что-то в лагере происходит, но не знали ничего конкретного об операции, теперь в последнюю минуту поняли и стали напирать и толкаться. Каждый боялся остаться позади и стремился вперед».

Начальника караула удалось взять в топоры, но удержать толпу было уже невозможно.

«Тогда я громко крикнул:

– Товарищи, вперед к офицерскому дому, режьте проволочные заграждения!

– Вперед! – кто-то поддержал меня.

Как гром раскатились по лагерю смерти выкрики людей.

Шестьсот человек, измученные, истосковавшиеся по свободе, с криком "ура" рванулись вперед. В этом едином порыве объединились евреи России и Польши, Голландии и Франции, Чехословакии и Германии.

Лишь теперь охранники на вышках спохватились, что в лагере происходит что-то не то, и открыли стрельбу. Бывший майор Пинкевич и большая часть лагерников следом за ним кинулись к центральным воротам. Охранник у ворот был сметен и раздавлен под напором людей. Восставшие открыли стрельбу из имевшихся у них нескольких винтовок, в фашистов полетели камни, в глаза им бросали песок, и все бежали, бежали к лесу. Но до леса многие не дотянули. Одни подорвались на минах, других догнали пули…

Советские военнопленные, следуя за мною, бросились на оружейный склад, но ураганный пулеметный огонь охранников прижал нас к земле. Оставшиеся в живых фашисты бросились отбивать склад. У восставших было всего несколько винтовок и пистолетов, и этого хватило, чтобы заставить фашистов ползать на четвереньках, но оказалось недостаточно, чтобы захватить оружейный склад. Захват склада не удался.

Почти у самых дверей склада я заметил начальника лагеря Френцеля, когда обершарфюрер пытался подняться с земли. Я в него выстрелил дважды, но не попал: видно, дало себя знать нервное напряжение».

В столь же нейтральных выражениях выдержано все повествование: нервное напряжение, не более того. Френцель, наверное, тоже испытал порядочное нервное напряжение. То-то, поди, потом каялся в своем неуместном гуманизме (единственная разновидность пресловутого *покаяния,* в искренности которого сомневаться невозможно).

«За офицерским домом мы прорезали себе дорогу в заграждениях. Мой расчет, что поле за офицерским домом заминировано только сигнальными минами, оправдался. Но вот недалеко от ограждений рухнули трое наших. Возможно, они погибли не от осколков, а от пуль, так как с разных сторон немцы вели по нам беспорядочную стрельбу.

Сам я вместе с несколькими вооруженными лагерниками немного задержался, чтобы прикрыть безоружных беглецов.

Кто-то ко мне обратился:

– Товарищ командир! Пора отходить.

Какой внутренней радостью откликнулись во мне эти слова "товарищ командир", которых я давно уже не слышал».

И ему благородные люди тоже не успели разъяснить, что привязанность к советским символам есть признак совка и

быдла, – не дожил Александр Аронович до светлых дней истинной свободы. Но Френцель, возможно, и дожил, успел получить моральную компенсацию за свою ошибку: он, оказалось, не так уж и ошибался, полагая, что имеет дело с трусами и рабами.

«Мы стали уходить. Заграждения теперь остались по ту сторону минного поля. Пробежали метров сто, еще сто… Скорее бы проскочить вырубленную полосу леса, где ты как на ладони и являешься хорошей мишенью для пуль преследователей. Поскорее бы достичь леса, чтобы скрыться там.

Большей части беглецов удалось вырваться из лагеря. Но многие погибли в этой просеке между лагерем и лесом.

Постепенно уцелевшие стали собираться вместе. После кипящего котла, откуда мы только что выбрались, показалось, что укрывший нас лес дремлет. Из лагеря все еще доносилась стрельба. Никак нельзя задерживаться, надо бежать дальше, и в разные стороны, небольшими группами. Польские евреи пошли на запад, в сторону Хелма. Они и язык знали, и с местностью были знакомы, конечно, их тянуло туда. А мы, советские, – направились на восток. В тяжелом положении оказались евреи из Голландии, Франции, Германии – нигде на громадной территории, окружающей их, они не могли объясниться».

Дальше кому-то местные поляки помогали с риском для жизни, кого-то старались погубить, иногда тоже с риском для жизни, – Печерский и тут не склонен разводить идеологические турусы на колесах, требовать невозможных покаяний одних за других, он просто рассказывает, что знает. Восемь беглых евреев прятались в лесном блиндаже (вероятно, имеется в виду землянка). «По-видимому по следам на снегу сюда добралась группа вооруженных националистов-аковцев. Из шести человек, не успевших скрыться в блиндаже, пятеро были убиты, одному удалось бежать. Гранатой, брошенной бандитами, был убит еще один человек. Бандиты стали разбирать бревна, которыми был накрыт блиндаж.

У Розенфельда в кармане было три патрона. Он их наскоро связал и положил на бревна, а под ними пристроил горящую свечу. И, представьте себе, патроны выстрелили. Этого было достаточно, чтобы бандиты разбежались».

Печерский снова проявляет политическую незрелость – если бойцы собираются убить тебя или твоих друзей, так они сразу уже и бандиты! Надо же, как сталинская пропаганда умела промывать людям мозги! Не разглядеть в бесстрашных бойцах Армии крайовой борцов с тоталитаризмом! Вот я не в пример этому

совку десятки лет сострадал аковцам за то, что они потерпели поражение и были гениально воспеты Анджеем Вайдой. Я и сейчас считаю, что у них была своя правда, только я перестал понимать, почему мне их правда должна быть дороже, чем моя?

Похоже, наконец и я начинаю дорастать до мудрости индивидуализма: не искать авторитетов выше себя, а с кем легче себя идентифицировать, на ту сторону и становиться. Легче же всего мне себя идентифицировать со своей русской мамой и со своим еврейским папой и далее по цепочке со всеми, кто на них похож, и чем дальше, тем меньше за них «болеть».

После своего фантастического прорыва Печерский побывал и партизаном, и штрафником, и тяжелораненым, и безработным космополитом, но на последних фотографиях выглядит добрым и достойным еврейским дедушкой. Совершенно непохожим на чистенького Рутгера Хауэра в отглаженной косоворотке с погончиками, получившего «Золотой глобус» за донельзя фальшивый образ Сашко Печерского в фильме «Побег из Собибора» (избави бог и нас от этаких друзей). Кстати, получить свою долю восторгов на премьере 1987 года родная советская власть Печерскому тоже не доверила. А он организовывать побег из СССР уже не стал. И вообще не протестовал. Что, это было страшнее, чем в Собиборе? Горбачев был страшнее Френцеля? Нет, просто Александр Аронович советскую власть считал какой ни есть, но все-таки своей, хотя ее казенный антисемитизм отталкивал от государства тех, кто готов был ему служить верой и правдой.

Это ей и простить труднее всего – ее не только антиеврейский, но антироссийский, антигосударственный, антиимперский характер. Сталину ставят в заслугу возрождение Российской империи, однако он, увы, оказался совершенно не на высоте имперских задач, а вместо этого принялся строить из многонациональной России национальное государство, чем тоже подготовил распад страны: ведь сколько ни сажай и не расстреливай «буржуазных националистов», национальные сближения могут происходить лишь в области неконтролируемых внутренних чувств, а всякую неприязнь любые угрозы лишь обостряют, ибо она страхом и порождается.

Действенным орудием ассимиляции является исключительно соблазн, да только предложить что-либо более ценное, чем национальная принадлежность, в материальном мире невозможно: после полураспада религий эмоциональная включенность в нацию служит главнейшим средством экзистенциальной защиты, защиты человека от ощущения собственной мизерности и эфемерности. В моей «Исповеди еврея»

(в «Новом мире» она публиковалась под названием «Изгнание из Эдема») герой-отверженец стремится всячески высмеять и опорочить все национальные Единства, все национальные дома, в которых ему не нашлось места, но в конце концов признается, что счастлив бывал лишь на стадионе, где *вместе со всеми* орал: «Го-ол!» – *каплею лился с массой.*

Человеку не дано искренне презирать то, что неизмеримо сильнее и долговечнее его. Если бы мой герой свою презрительную формулу «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья» применил к себе (что непременно следует делать, обличая других), то при минимальнейшей интеллектуальной честности неизбежно обнаружил бы: он и сам еще не покончил с собой от ужаса перед мировым хаосом единственно потому, что тоже укрылся от него в какие-то воодушевляющие сказки. Именно за сохранность своих сказок люди готовы убивать, ибо именно от них, а не от жалкого имущества зависит наше счастье. Именно поэтому национальное чувство неподкупно – ничего равноценного включенности во что-то великое и бессмертное материальный мир предложить не может.

А потому человек способен отказаться от своей национальности (от своих национальных сказок) лишь в обмен на какие-то более высокие и пьянящие сказки. И сказки имперские как раз таковы – они предлагают включенность в еще более великое и многосложное целое. Это серьезный соблазн даже для полноправных обитателей национальных жилищ, ну а для полубездомных это просто спасение – не зря ассимилированные евреи в таком числе и с такой страстью ринулись служить советской империи, покуда она декларировала интернационализм.

Влиться в чужие национальные сказки невозможно, сколько ни притворяйся, – каждый народ создает красивую родословную для себя и собственных предков, к которым чужак не имеет отношения, сколько бы он ни пыжился. А зрелая империя создает интернациональный пантеон, включающий героев всех ее народов. Правда, если эти герои враждовали друг с другом, объединить их в общей воодушевляющей истории нелегко, но возможно, только не в жанре мелодрамы, где добро борется со злом, а в жанре трагедии, в котором каждый по-своему прав и по-своему красив. И чего бы было не включить в пантеон героев вместе с Александром Матросовым еще и Александра Печерского? Но вот когда редактор газеты «Биробиджа-нерштерн» Борис Миллер (на идише, для воодушевления земляков) опубликовал список евреев – Героев Советского Союза, он

получил десять лет за буржуазный национализм. Это хуже, чем подлость, – это ошибка. Гордость за своих героев, превознесенных Империей, ведет к слиянию с ней, а вовсе не к сепаратизму. К сепаратизму, к отдалению ведет пренебрежение нашими подвигами и страданиями, от кого бы оно ни исходило.

Несколько лет назад один немецкий гуманитарный фонд собрал в Гамбурге десятка полтора публицистов из разных восточно-европейских стран, включая Россию, чтобы обсудить, как бы так изложить историю Второй мировой войны, чтобы никому не было обидно. Ведь все те народы, которые считают себя ни в чем не повинными жертвами, в глазах некоторых других жертв сами являются агрессорами, и, более того, вовсе избежать клейма агрессоров удалось лишь тем, кто был для этого недостаточно силен. Ибо, как писал Стефан Цвейг, покончивший с собой, не выдержав зрелища любимой Европы, обнажившей свою скрытую натуру, «нет ничего опаснее, чем мания величия карликов, в данном случае маленьких стран; не успели их учредить, как они стали интриговать друг против друга и спорить из-за крохотных полосок земли: Польша против Чехословакии, Венгрия против Румынии, Болгария против Сербии, а самой слабой во всех этих распрях выступала микроскопическая по сравнению со сверхмощной Германией Австрия».

И вот нам предложили как-то ублажить их всех, в чем я вполне готов был участвовать: только ощутив себя до конца незапятнанными, народы перестанут обвинять друг друга. Но я обратил внимание, что среди претендентов на ублажение не оказалось евреев. А ведь все пострадавшие народы тем или иным образом приложили руку к их истреблению…

Об этом я говорить не стал (любые национальные обвинения способны породить лишь рост самооправданий, ибо признание национальной вины для любого народа есть крах экзистенциальной защиты, ради которой народы и существуют), я всего лишь предложил дополнить список евреями. После чего приятные выражения лиц сделались натянутыми, глаза обратились к столу, однако только двое самых смелых решились произнести вслух, что о евреях сказано уже достаточно и что некоторые другие народы пострадали ничуть не меньше.

Иными словами, нас уже ревнуют к нашему званию самого многострадального народа: все тоже хотят быть «самыми-самыми», это понятно. Но вот когда в «Прорыве в бессмертие» на фотографии памятника героям Собибора оказались надписи на английском, на идише, на иврите, на голландском, немецком, французском, словацком и польском языках, но не оказалось

надписи на русском, том самом, на котором говорил Сашко Печерский и его ударный отряд, – тогда я немного прибалдел. Ведь именно это советские антисемиты и вменяли в вину евреям – русский язык для вас-де не родной, – и памятник в Собиборе как будто нарочно решил подтвердить их правоту.

Авторы памятника последовали за советскими идеологами и в том, что попытались скрыть имя Печерского от потомства, – на памятнике нет его имени, и на этот раз, видимо, уже не за то, что он еврей, а за то, что советский: *евреи никому не интересны, если их нельзя использовать в собственных политических аферах и авантюрах.*

Одно из перестроечных изданий «Черной книги» открывалось предвоенной речью Гитлера, в которой он обличал либеральный Запад: если-де они так жалеют евреев, то пусть и забирают их к себе, но они же их не впускают, потому что на самом деле знают им цену. Да и Стефан Цвейг, идеализировавший европейскую цивилизацию (что его в конце концов и погубило), очень впечатляюще пишет о том, как вчерашние профессора, врачи, адвокаты, предприниматели тщетно просиживают штаны во всевозможных консульствах: кому нужны нищие!

На Эвианской конференции гуманнейшие и могущественнейшие державы мира тоже беспомощно разводили руками. Как пишет Википедия, подавляющее большинство стран – участниц конференции заявили, что они уже сделали все возможное для облегчения участи около 150 тысяч беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии. Представитель США заявил, что по въездной квоте 1938 года для беженцев из Германии и Австрии США приняли 27 370 человек и этим исчерпали свои возможности. Аналогичную позицию заняли Франция и Бельгия. Канада и страны Латинской Америки мотивировали свой отказ в приеме беженцев большой безработицей и экономическим кризисом. Нидерланды предложили помощь по транзиту беженцев в другие страны. Великобритания предложила для размещения беженцев свои колонии в Восточной Африке (Эйхман одно время тоже надеялся выселить евреев на Мадагаскар), но отказалась пересмотреть квоту на въезд евреев в подмандатную ей Палестину (75 тысяч человек в течение 5-летнего периода – сотая часть нынешнего населения). Австралия отказалась впустить большое число беженцев, опасаясь возникновения внутриполитических межнациональных конфликтов, но согласилась принять в течение трех лет 15 тысяч человек (при плотности населения меньше трех человек на квадратный километр). Из 32 государств только богатейшая Доминиканская Республика согласилась принять большое число беженцев и

выделить необходимые земельные участки.

Заметьте, для страны со 150-миллионным населением 150 тысяч человек – это одна тысячная еврея на душу населения, и все-таки даже эта тысячная доля оказалась неподъемной ношей…

Я об этом и сказал на презентации «Прорыва» – не надо обольщаться любовью Запада, мы ему интересны лишь в качестве жертв, которыми можно колоть глаза своим собственным конкурентам, – и снова выражения лиц (одни евреи, никакого прорыва в русский мир не произошло) немедленно сделались настороженными. А один пожилой человек (впрочем, других там почти и не было) начал обиженно говорить, что нужно больше писать о советском антисемитизме.

Ясно, что каждому более важным представляется то, от чего он пострадал лично, но почему он заговорил об этом именно сейчас и притом в тоне протеста? Потому что если и Запад не слишком надежный союзник, то, получается, что и Советский Союз был не хуже всех…

Успокойтесь, хуже, хуже, кто нас обидел, тот и есть самый мерзкий. Жаль только, *из этого не следует, что его конкуренты будут нас любить.* Воспользоваться-то нами в своих целях они всегда будут готовы, но любить нас бескорыстно, кроме папы с мамой, не будет никто. Когда-то, разочаровавшись в советском Эдеме, где «за столом никто у нас не лишний», мы перенесли Эдем в «цивилизованный мир», и так не хочется признать, что Эдема нет нигде, что столы повсюду накрывают только для своих.

Это так горько, что вопреки всему хочется верить, будто где-то за горами, за морями живут благородные люди, готовые помогать нам безо всякой выгоды для себя (что мы и сами делаем чрезвычайно редко – но в сказке ведь все и должно быть не так, как на земле!). Поэтому я не удивился, когда после презентации хрупкий старичок подошел попенять мне, что я напрасно когда-то назвал европейскую цивилизацию движением от дикости к пошлости. «Ведь антисемитизм – это только от дикости! Россия была дикая – евреев преследовали. Польша была дикая – евреев преследовали! А в цивилизованных странах…» – «Как по-вашему, Германия была цивилизованная?» – как можно более ласково спросил я (разрушать чужие сказки для меня так же мучительно, как, вероятно, для хирурга делать первый надрез, но ведь он же сам напросился…). «Я знал, что вы это скажете! Это было минутное помрачение, а потом Германия покаялась и вернулась в круг цивилизованных стран!»

У него уже тряслась реденькая седая головка, и мне стало совестно: пускай уж он доживает в сладостной иллюзии, что все вежливые, гигиеничные, богатые и могущественные люди – его

естественные союзники. Но вот от тех, кому предстоит жить, а не доживать, у меня нет оснований скрывать, что преклонение перед так называемой цивилизацией представляется мне всего-навсего преклонением перед силой и богатством и что в отношениях с нами даже самые благовоспитанные люди все равно будут руководствоваться своими интересами, а не своими хорошими манерами. Попробуйте по-хорошему изъять пару квадратных метров жилплощади у самого благовоспитанного господина, – пропустит ли он вас вперед так же любезно, как при входе на научную конференцию? (Где, кстати, далеко не все доценты с кандидатами удерживаются от нарушения регламента – от кражи чужого времени, если к тому имеется возможность.)

К сожалению или к счастью (ибо без этого они бы просто не выжили), даже цивилизованные люди остаются людьми. То есть животными, у которых страх *автоматически, роковым образом* вызывает агрессию, и чем выше «цена вопроса», тем сильнее ненависть, а следовательно, и озверение, в какие бы рациональные и благородные одежды они ни рядились. Озверение, спешу подчеркнуть, это не просто немотивированная злобность (таковой не бывает, причиной злобы всегда бывает страх), но прежде всего некритичность, готовность набрасываться на все, что хоть чем-то напоминает источник опасности.

Звери поступают именно так.

Но, может быть, интересы цивилизованных народов с ростом образования действительно перестают требовать какого-либо объединения против евреев? Наряду со многими другими пошлостями, молва приписывает Черчиллю и такой афоризм: «В Англии нет антисемитизма, потому что мы не считаем евреев умнее себя». Знаменитый американский писатель Филип Рот, десятилетиями разрабатывающий еврейскую тему, тоже признает, что в британской академической среде еврею вполне достаточно немножко стыдиться своего происхождения, и ему его за это тут же простят. А все потому, что в пору самого бурного зарождения наиопаснейшего антисемитизма – религиозного – англичанин-мудрец прибегнул к самой гуманной версии окончательного решения еврейского вопроса – к изгнанию. Вот как это излагается в энциклопедии Брокгауза и Ефрона:

«Приготовления к третьему крестовому походу оказались роковыми для английских евреев, пользовавшихся до тех пор сравнительно с другими государствами довольно сносным положением. Особенно пострадала тогда богатая еврейская община в Иорке. Судьба англ. евреев не улучшалась и при преемниках Ричарда, пока все они, наконец, после неимоверных

страданий не были совсем изгнаны из Англии (1290). Лишь спустя более 350 лет им опять дозволено было селиться в Великобритании. Все эти преследования евреев христиане оправдывали ссылками на разные их прегрешения. Их стали считать проклятыми за то, что предки их за тысячу с лишком лет перед тем не признали и распяли Иисуса Христа. Привыкши видеть в каждом отдельном еврее богоубийцу и приписывая ему ненависть к Спасителю, многие объясняли находимые в гостиях красные пятна, признанные новейшею наукою своеобразным микроскопическим грибком, как кровавые пятна, происходящие якобы от уколов, сделанных евреями, – и за это страдало множество евреев. Когда стране угрожал неприятель, никто не сомневался, что лишенные отечества евреи служат ему соглядатаями и лазутчиками, и их признавали виновными без дальнейших доказательств. С таким же основанием евреям ставили в вину нашествие монголов (1240). В каждой беде виновных искали среди евреев. Исчезал ли где христианский ребенок, сейчас начинали ходить слухи, будто евреи умертвили его для употребления его крови в пасхальных опресноках, хотя еврейский закон в течение тысячелетий внушал и привил им глубокое отвращение ко всякой крови. Много бедствий причинила, напр., мирным еврейским общинам в Германии случайная смерть мальчика Симона в Триенте (1475), в которой, как положительно доказано, евреи были совершенно неповинны. Когда в XIV столетии (1348) так называемая черная смерть, перешедшая в Европу из Азии, похитила четверть европейского населения, придумана была нелепая сказка, будто евреи из ненависти к христианам отравляли колодцы. Ни светские, ни духовные государи, ни папские буллы (Иннокентий IV издал в 1247 г. в Лионе буллу, в которой он строжайшим образом осуждает все нелепые обвинения против евреев, в особенности в употреблении христианской крови), ни императорские охранные листы не могли спасти оклеветанных. Суеверие и предрассудки постоянно служили предлогом к грабежам и убийствам. Во многих местностях Германии евреи были поголовно истреблены (например в Силезии в 1453 г.).

…Так как наветы против Е. действовали как заразительная болезнь, переходящая с места на место, то положение Е. в Англии, Франции, Германии, Италии и на Балканском полуо-ве представляло одинаково печальную картину. Преследуемые Е. бежали на восток, в новые славянские государства, где царствовала веротерпимость. Здесь они нашли убежище и достигли известного благосостояния. Гуманный прием Е. нашли и в государствах магометанских».

Так вот, оказывается, почему славянские варвары столкнулись с еврейским вопросом – потому что народы цивилизованные свалили его решение на них. Чтобы потом выставлять им оценки. Как правило, неуды.

Но, может быть, я неправ и прогресс цивилизации все-таки вел к исчезновению антисемитизма, а холокост был лишь случайным протуберанцем, внезапно прорвавшимся рудиментом варварства? Попробую перечитать классическую «Историю антисемитизма», том второй, «Эпоха знаний» (Москва – Иерусалим, 1998) Льва Полякова, родившегося в Петербурге и состоявшегося как крупный историк во Франции, – перечитать, выделяя те суждения о евреях, которые, несомненно, можно считать представляющими одно из лиц европейской цивилизации благодаря либо популярности этих суждений, либо авторитету их авторов.

Итак…

Джон Толанд, «первый свободный мыслитель в истории Запада», в 1714 году уже укорял англичан в «ненависти и презрении» к евреям – в презрении, заметьте, не в зависти к их уму. Квазичерчиллевский афоризм лестен для нас и уже по одному этому не может быть верным: истина всегда причиняет боль; только боль, только ушибы и ожоги вынуждают нас более или менее правильно ориентироваться в мире, психика же изо всех сил стремится хоть как-то смягчить мучительные открытия, и если мы дадим ей волю, она полностью окутает правду утешительными обманами. Борьба знания с утешением – трагическая борьба, в которой гибельна победа любой стороны. Когда в своем казахстанском Эдеме я безмятежно расцветал в окружении гопников, у них тоже не наблюдалось ни признака зависти к нашему брату: еврей был труслив, жаден и хитер, но и хитрость его говорила не об уме, но исключительно о подлости, которая хозяевам жизни была просто в падлу. Устами гопника глаголет архаика: веками, тысячелетиями человеческий ум не был предметом поклонения – люди всегда поклонялись храбрости и щедрости. Мудрый законодатель, вроде Ликурга, еще мог войти в какой-то национальный пантеон, но тем, кто умеет хорошо устраивать сугубо личные дела, не ставили памятников ни тогда, ни сейчас.

Научный ум (но не социальный интеллект) обрел право на память потомства только где-то с эпохи Ньютона, а уж нашему брату еще лет триста было не до того. Нищая, но гордая Джейн Эйр так отвечала возлюбленному, предлагавшему ей половину

своего огромного состояния: «Уж не думаете ли вы, что я еврей-ростовщик, который ищет, как бы повыгоднее поместить свои деньги?» Где тут видна зависть? И почему бы этой почти святой страдалице, готовой скорее умереть, чем поступиться принципами, не сказать просто «ростовщик», не еврей? Тем более что евреи в романе больше ни разу не поминаются?

В век Просвещения Мэтью Тиндал в нашумевшей книге упрекал евреев не только в жадности, но и в кровожадности: даже испанцы не могли бы перебить такую массу индейцев, если бы не находили примера в ветхозаветных преступлениях евреев, а Уильям Уорбертон доказывал истинность Откровения тем, что Всевышний избрал для этого «самый грубый и подлый народ среди всех народов мира». Однако ни среди хулителей, ни среди защитников евреев об их уме никто ни разу даже не заикнулся.

Любая опасность обостряет и антисемитизм – своего рода неспецифическую реакцию вроде повышения температуры. Наполеон, сосредоточивший в своей личности героическую грезу французского народа («хочет того же самого, что последний из его гренадеров, только в тысячу раз сильнее»), имел еще меньше причин завидовать евреям, чем моя родная шпана: «Евреи – это подлый, трусливый и жестокий народ», – но хотя бы ослабить «поразившее его проклятие» можно лишь путем смешанных браков: «Большое количество порочной крови может улучшиться только со временем». Однако для этого нужно разрушить изоляцию евреев, сделав их обычными гражданами, что и побудило Наполеона даровать евреям гражданское равенство. В поисках нового органа, посредством которого он мог бы влиять на евреев разных стран, новоиспеченный император задумал собрать в Париже *Великий Синедрион;* из затеи ничего не вышло, но звон покатился. «Англия была также основным центром пропаганды французских эмигрантов, решительно настроенных, как и все эмигранты, выступать в роли политических подстрекателей. Главный печатный орган эмиграции "ЛАмбигю" в 1806–1807 годах посвятил целую дюжину статей Великому Синедриону» и в конце концов открыл, что «узурпатор сам был евреем». А через пятьдесят лет более пятидесяти английских и американских авторов независимым образом «пришли к выводу, что Антихрист уже пришел в образе Наполеона III и что он уже заключил союз с евреями!»

Правда, в самой Великобритании периода расцвета «навязчивый страх "еврейского завоевания" был несовместим с блистательной уверенностью подданных королевы Виктории, хозяев морей и мировой торговли». Тем более что «британские евреи никогда не проявляли со своей стороны никаких

поползновений связать свои интересы с "левыми" или "трудящимися классами"»: пока у англичан не было опасений за свое доминирование, не повышался и градус антисемитизма. Да и в художественной литературе еврей был всего только мерзким, как диккенсовский Фейджин, или трусливым, как вальтер-скоттовский Айзек, но не агрессивным.

Правда, когда Дизраэли начал открыто упрекать христиан в том, что они, получив свою религию из рук евреев, не испытывают к ним никакой благодарности, «Карлейль возмущался его "еврейской болтовней" и задавал вопрос "как долго Джон Буль будет еще позволять этой бессмысленной обезьяне плясать у себя на животе?" Он также называл оппонента "проклятым старым евреем, который не стоит своего веса в свином сале"».

Словом, мелочи. Но вот когда Джон Буль почувствовал не просто досаду, но реальный страх…

Уже 23 ноября 1917 года в лондонской The Times можно было прочесть, что «Ленин и многие его соратники являются авантюристами немецко-еврейской крови на службе у немцев». И далее любые антисемитские фальшивки немедленно перепечатывались в солидной английской и американской печати, обретая недоступную им прежде респектабельность.

Начало, впрочем, юдофобской волне положила куда менее страшная, в сущности, пустяковая угроза. Немецкий банкир-еврей Эрнст Кассель, любимец беззаботного Эдуарда VII, в 1907 году вступил в контакты с придворным евреем Вильгельма II Альбертом Баллином, вследствие чего могла возникнуть некая линия срочной связи, оставляющая в стороне оба двора и дипломатический корпус. И потому, когда Кассель после младотурецкой революции был приглашен в Константинополь для реорганизации османской финансовой системы, в английской печати разыгралась кампания, приписывающая турецкую революцию «иудео-сионистскому заговору, по мнению The Times, или иудео-масонскому заговору, по мнению The Morning Post… В 1918 году британский посол в Вашингтоне сэр Сесил-Райс распространял эту информацию как совершенно достоверную и сравнивал в этом отношении Октябрьскую революцию с младотурецкой».

Когда в 1912 году разыгрался рядовой финансовый скандал «дело Маркони», к коему оказались причастны два высокопоставленных еврея (впоследствии полностью оправданных), Честертон даже в 1936 году уверял, что «"дело Маркони"» является водоразделом в английской истории, который можно сравнить лишь с Первой мировой войной».

Это уже похоже на психоз: мировая катастрофа с десятками миллионов убитых и какая-то жалкая афера! Но, увы, в ситуации опасности *именно психоз становится нормой,* а душевное здоровье исключением. Неудивительно, что уайтчепелская еврейская рвань сравнивалась с захватнической армией, – видно, еврейские портные с перепугу показались умнее англичан.

Разумеется, начало военных действий удесятерило уровень страха, а следовательно, и юдофобии, хотя в Англии евреи кричали о своем патриотизме ничуть не менее пылко, чем в других странах, а торпедирование «Лузитании» в мае 1915-го и вовсе «привело к слиянию массовой ксенофобии с изысканным антисемитизмом элиты». Остановлюсь лишь на паре наиболее элитарных эпизодов. Лорд Роберт Сесил писал о будущем первом президенте Израиля Хаиме Вейцмане, что его энтузиазм «заставлял забывать о его отталкивающей и мерзкой внешности», а Джозеф Чемберлен, вероятно, упустив из виду, что имеет дело с евреем, заявил итальянскому министру иностранных дел Сиднею Соннино, что он презирает лишь один народ – евреев: «Они все по природе трусы».

Декларация Бальфура о возрождении еврейского «национального очага» в Палестине тоже была принята с оглядкой на воображаемое могущество евреев, которое в отношениях с Гитлером им впоследствии почему-то не помогло. Высокопоставленные чиновники даже утверждали, что если бы декларацию опубликовали чуть раньше, то евреи бы не устроили революцию в России. «С весны 1917 года газета The Times стала выступать в качестве посредника между черносотенцами и британской элитой», а через два года ее российский корреспондент сообщил, что большевики установили в Москве «памятник Иуде Искариоту». Знаменитый же эссеист Честертон предостерегал английских евреев, что если они «попытаются перевоспитывать Лондон, как они уже это сделали с Петроградом, то они вызовут такое, что приведет их в замешательство и запугает гораздо сильнее, чем обычная война». Пусть они говорят что хотят от имени Израиля, «но если они осмелятся сказать хоть одно слово от имени человечества, они потеряют своего последнего друга».

Но ведь мы это больше всего и обожаем – говорить от имени человечества или хотя бы от имени его «цивилизованной» части. Для нас нет дела слаще, чем служить чужой совестью, выступать от имени тех, кто не подозревает о нашем существовании, стыдиться за тех, на кого мы не имеем никакого влияния. Да, глупость, да, спесь, да, позерство, но какая уж такая в этом пустозвонстве опасность? Увы, в ситуации массового психоза

(нормального, естественного, неизбежного психоза – еще бы, из огня войны да в полымя красной заразы!) может оказаться опасным каждый чих.

«Лондон возглавил антибольшевистский крестовый поход. Естественно, британские военные и агенты пытались найти поддержку у своих прежних русских братьев по оружию и мобилизовать их на службу общей цели; понятно, что британцы при этом прониклись их взглядами и методами. Летом 1918 года британские войска, высадившиеся на севере России, разбрасывали с самолета антисемитские листовки; в дальнейшем эта практика была запрещена. Но взгляд на коммунистический режим преподобного Б. С. Ломбарда, капеллана британского флота в России, был включен в официальный доклад, немедленно опубликованный по обе стороны Атлантики». В докладе говорилось, что большевизм направляется международным еврейством, а национализация женщин уже в октябре 1918-го являлась свершившимся фактом.

В 1920 году «официальными типографиями Его Величества» были напечатаны и «Протоколы сионских мудрецов», и в том же году главный столп британского консерватизма Уинстон Черчилль опубликовал большую статью, в которой разделил евреев на три категории: лояльных граждан своих стран, сионистов, мечтающих восстановить собственную родину, и международных евреев-террористов. «То, как Черчилль описывал эту третью категорию, граничило с бредом, и самые исступленные антисемиты могли здесь что-то для себя почерпнуть. Так, евреи, относящиеся по Черчиллю к третьей категории, обвинялись в том, что начиная с XVIII века готовили всемирный заговор. В поддержку этого обвинения он цитировал сочинение некоей Несты Вебстер об оккультных источниках Французской революции. Он уверял также, что в России "еврейские интересы и центры иудаизма оказались вне границ универсальной враждебности большевиков". Оставив в стороне бесцветных ассимилированных евреев», Черчилль приписал Троцкому проект «коммунистического государства под еврейским господством». Гитлер в «Моей борьбе» выразил полное согласие с этой версией.

Чтобы избежать более чем заслуженных обвинений в юдофобии, Черчилль во вступлении к его борьбе исполнил короткий гимн во славу евреев: они представляют собой самый замечательный народ из всех, известных до нашего времени (неужто они умнее даже и англичан?!), однако нигде больше двойственность человека не проявляется с большей силой и более ужасным образом, и вот в наши дни этот удивительный народ создал иную систему морали и философии, которая настолько же

глубоко проникнута ненавистью, насколько христианство – любовью.

Этот гимн тоже можно включить в памятку юдофоба, ибо источником антисемитской химеры в ее современном варианте является греза о еврейской исключительности. Чрезмерная ненависть – следствие страха перед преувеличенным могуществом. И страх перед могуществом далеко не то же самое, что зависть к уму: любой интеллигент считает себя умнее своего президента.

Примеры можно и дальше множить и множить, но все они иллюстрируют одну и ту же закономерность: ни ум, ни талант, ни образование, ни уважение к законам, ни чистоплотность, ни вежливость и никакие другие достоинства, которые нам будет угодно включить в джентльменский набор цивилизованного человека, не уничтожают антисемитизма, но лишь отыскивают для него все новые и новые респектабельные формы.

Пробежимся хотя бы по самым громким именам и острым ситуациям.

Франция. Мадам де Севинье: «Поразительна та ненависть, которую они вызывают. Что является источником этого зловония, заглушающего все остальные запахи?» Вольтер: «Вы обнаружите в них лишь невежественный и варварский народ, который издавна сочетает самую отвратительную жадность с самыми презренными суевериями и с самой неодолимой ненавистью ко всем народам, которые их терпят и при этом их же обогащают». Мишле: «Они не догадываются, например, что в Париже есть десять тысяч человек, готовых умереть за идею» (это о еврейском корыстолюбии). Тьер: «Они имеют в этом мире гораздо больше власти, чем сами это признают, в настоящее время они выступают с требованиями, обращенными ко всем иностранным правительствам». Гюго: «Больше нет презрения, больше нет ненависти, потому что больше нет веры. Огромное несчастье!» (Ну с тем, что больше нет ненависти, главный французский романтик явно поспешил.) Фурье – о нежелании евреев есть некошерную пищу даже в высшем обществе: «Этот отказ принимать пищу со стороны главы евреев разве не подтверждает подлинности всех гнусностей, в которых их обвиняют, среди которых есть и принцип, что красть у христианина не воровство?» Лебон: «У евреев не было ни искусств, ни наук, ни промышленности, ничего, что образует цивилизацию». Баррес: еврейские финансисты составляют тайное правительство и торгуют самой Францией (это притом, что евреи не составляли и двух десятых процента населения Франции).

Этот список можно длить и длить, переходя из страны в страну. Кант: «Палестинцы, живущие среди нас, имеют

заслуженную репутацию мошенников по причине духа ростовщичества, царящего у большей их части». Фихте: «Чтобы защититься от них, я вижу только одно средство: завоевать для них землю обетованную и выслать туда их всех». Гегель: «Трагедия евреев вызывает лишь отвращение. Судьба еврейского народа – это судьба Макбета». Шопенгауэр: «Родина еврея – это другие евреи». Гердер: всевозможные еврейские заправилы – «это бездонные болота, которые невозможно осушить». Гете – о еврейском равенстве: «Последствия этого будут самыми серьезными и самыми разрушительными… все моральные семейные чувства, которые опираются исключительно на религиозные принципы, окажутся подорванными этими скандальными законами». Бисмарк: «Я признаю, что одна только мысль о том, что еврей может выступать в роли представителя августейшего королевского величества, которому я должен буду выказывать повиновение, да, я признаю, что одна эта мысль внушает мне чувство глубокого смущения и унижения». Вагнер: «Я считаю еврейскую расу прирожденным врагом человечества и всего благородного на земле; нет сомнения, что немцы погибнут именно из-за нее». Ницше: «Я еще никогда не встречал немца, который бы любил евреев». Трейчке: «Евреи – это наше несчастье».

Первая мировая война вместе с патриотической экзальтацией евреев всех стран, как и всякий военный психоз, произвела и взрыв юдофобии, вовсе не порожденной, но лишь доведенной до государственной откровенности Адольфом Гитлером в расовых законах 1933 года. В статье «Томас Манн в свете нашего опыта» («Иностранная литература», № 9, 2011) Евгений Беркович приводит запись из дневника Волшебника, сделанную через три дня после их публикации: «Евреи… В том, чтобы прекратились высокомерные и ядовитые картавые наскоки Керра на Ницше, большой беды не вижу; равно как и в удалении евреев из сферы права – скрытное, беспокойное, натужное мышление. Отвратительная враждебность, подлость, отсутствие немецкого духа в высоком смысле этого слова присутствуют здесь наверняка. Но я начинаю предчувствовать, что этот процесс все-таки – палка о двух концах».

А хорошо бы об одном. Запись через десять дней: «Возмущение против евреев могло бы найти у меня понимание, если бы утрата контроля со стороны еврейского духа не была столь рискованной для духа немецкого и если бы не немецкая глупость, с помощью которой меня стригут под ту же гребенку, что и евреев, и изгоняют вместе с ними».

Как тут не вспомнить, что в девятисотые Томас Манн вместе с

братом Генрихом активно сотрудничал в откровенно антисемитском журнале, а в двадцатые революцию в России тоже называл иудобольшевизмом.

Марк Твен в «Письмах с Земли» утверждал, что весь мир ненавидит евреев и терпит их, только когда они богаты, но все-таки в демократической Америке антисемитизм на рубеже веков проявлялся больше в разделении клубов, отелей и учебных заведений на еврейские и христианские – лишь после русской революции, как и повсюду, началось настоящее беснование, возглавленное Генри Фордом, достойным служить символом Америки не в меньшей степени, чем Томас Манн символом Европы. Блестящий литературный критик Генри Менкен писал в 1920 году: «Их дела отвратительны: они оправдывают в десять тысяч раз больше погромов, чем реально происходит во всем мире».

Впоследствии юдофобия пошла на убыль вместе с военным психозом, но все-таки когда понадобилось не просто про них забыть, но еще и оказать помощь европейским евреям, она снова ощетинилась. Вероятно, многие и сейчас прочтут с изумлением роман американского еврея и знаменитого драматурга Артура Миллера «Фокус» (М., 2007). Роман написан в 1945 году по горячим следам событий, изображенных в манере крепкой очеркистики. Вот-вот окончится война, но благонамеренный стопроцентный американец мистер Ньюмен никак не обретет мира в душе. В нью-йоркском метро он прочитывает на стальной колонне: *«Жиды развязали ВОИНУ».* И чуть ниже: *«Бей жидов бей жи».*

И ведь почти каждый разделяет негодование человека, написавшего этот лозунг, с горечью размышляет мистер Ньюмен, но почему-то сказать всю правду вслух решаются только люди самого последнего разбора… Вот и его сосед Фред, «неповоротливый хряк», говорит «именно то, о чем ты думаешь сам, но сказать не решаешься». А говорит он, в частности, что кондитер Финкелстайн мало того, что сам въехал в их «чистый» квартал, так еще и родственников с собой перетащил: «Нужно устроить им тут веселую жизнь, они живо чемоданы соберут».

Мистера Ньюмена всякое насилие коробит. Избавление от евреев в его смущенных грезах предстает как-то так: вульгарная чернь под руководством джентльменов вроде него самого выполняет грязную работу, а после этого куда-то исчезает; поэтому каждый раз, когда чернь демонстрирует, что не собирается быть послушным орудием в чьих-то руках, а хочет хозяйничать сама, он испытывает растерянность. Но покупать у Финкелстайна все-таки перестает.

А между тем для его солидной работы ему срочно понадобились очки. Которые внезапно выявили некоторые ужасные особенности его облика: он сделался неотличимо похож на еврея – даже улыбка его уже не могла оставаться искренней в соседстве с «огромным семитским носом, выпученными глазами и настороженной посадкой ушей». Бедняга, однако, пытается вести прежний респектабельный образ жизни, но не тут-то было. Он под вежливыми предлогами отказывается принять на работу женщину с семитской внешностью, и она открыто выражает ему свое презрение, явно принимая его за мимикрирующего еврея. И он ощущает ее в чем-то правой.

«Для него еврей был прежде всего обманщиком. По определению. Только этот смысл всегда и был неизменным. Потому что бедные евреи вечно норовят притвориться, что они беднее, чем есть на самом деле, а богатые – что они богаче. Когда ему случалось проходить мимо еврейского дома, за неряшливыми занавесками на окнах ему неизменно мерещились спрятанные деньги, и немалые. Если он видел еврея за рулем дорогого автомобиля, ему тут же приходило неизбежное сопоставление с черномазым, который едет на дорогой машине. С его точки зрения, благородных традиций, которые все эти люди пытались так или иначе выставить напоказ, им просто неоткуда было взять. Если бы у него самого завелся роскошный автомобиль, никто бы даже на секунду не усомнился в том, что он от рождения привык к роскоши. И любой нееврей выглядел бы так же. А еврей никогда. В домах у них вечно стоит вонь, а если ее там нет, то исключительно по той причине, что хозяева не хотят казаться евреями. Он был уверен: если они и делают что-нибудь порядочное, то никак не от души, а только для того, чтобы втереться в доверие к порядочным людям. Эта уверенность жила в нем от рождения, с тех пор, как он жил в Бруклине и буквально в квартале от его дома начинался еврейский район… Лицемеры, жулики. Все до единого».

Собственно, американское воображение дополнило этот вполне традиционный портрет лишь одной пикантной деталью – «животным вожделением к женщине», о коем говорит «их смуглая кожа и темные веки».

Однако теперь издевательское сходство с этими монстрами необратимо меняет его собственную жизнь.

Для начала его переводят с витринной, так сказать, части корпорации, где он работал, в некую изнаночную ее часть. Затем решительные ребята, собирающиеся устроить евреям веселую жизнь, начинают по ночам вместе с мусорным ящиком Финкелстайна опрокидывать и его мусорный ящик. Хотя Фред

ему еще доверяет, делится своими планами купить загородный дом, когда «вскроем жидят», но защитить его уже не может: понимаешь, мол, старина, никто не верит, что ты не из этих. Отверженный англосакс по настоянию жены пытается засвидетельствовать свою благонадежность тем, что отправляется на антисемитский митинг Христианского фронта, но поскольку он не может скрыть, что откровенная психопатичность и вульгарность ему не по душе, его, слегка помяв, вышвыривают вон.

Поневоле оказавшись в одной компании с Финкелстайном, он узнает от опытного отверженца, насколько наивны его надежды на умеренных антисемитов, не выходящих из повиновения джентльменам, подобным ему самому: «Вы что, не понимаете, что они делают? На что им сдались евреи? В этой стране живет сто тридцать миллионов человек, а евреев – всего пара миллионов. Им нужны вы, не я. Я… Я… Я пыль под ногами, я ничто. Я им нужен только для того, чтобы натравить на меня людей, и тогда к ним повалят и мозги, и деньги, а потом они подомнут под себя всю страну… За всем этим стоит очень трезвый расчет, и они хотят заполучить всю страну».

Завершается роман настолько романически, – мистер Ньюмен обретает чувство солидарности с Финкелстайном и начинает борьбу с хулиганствующими юдофобами, – что лучше вернуться к исторической реальности. После 1933 года, когда евреям уже не просто чинили неприятности, а прямо убивали, Американский легион и Союз ветеранов требовали полного запрета на въезд беженцев. И организации эти были отнюдь не слабые: пара миллионов членов, включая чуть ли не треть конгресса, да еще поболе того единомышленников охватывали десятки, если не сотни мелких структур. Это если говорить об активистах. Но их желание закрыть страну разделяли примерно две трети рядовых граждан. Этим мнением, да, мнением народным создавался чиновничий саботаж, усилиями которого за время войны даже весьма нещедрая квота в двести с лишним тысяч душ была реализована лишь на десятую часть. Осквернение еврейских кладбищ, свастики на стенах синагог и еврейских магазинов, избиения, на которые полиция закрывала глаза, антиеврейские листовки, карикатуры, надписи на этом фоне выглядят уже сравнительно невинными забавами. По некоторым опросам, больше половины американцев считали, что евреи в США забрали слишком много власти, и даже «Новый курс» Рузвельта называли «Еврейским курсом» (New Deal – Jew Deal); правда, лишь треть этой половины готова была на деле принять участие в антиеврейской кампании, тогда как остальные соглашались

только отнестись к этому с пониманием.

В таком окружении даже после войны авторитетные еврейские организации в Нью-Йорке отвергли предложение о создании мемориала холокоста, предпочитая не напоминать ни о своих успехах, ни о своих бедствиях.

Правда, крупный американский социолог Джеффри Александер в своей монографии «Смыслы социальной жизни: культурсоциология» (М., 2013) дает этому другое объяснение: евреи не желали резервировать за собой образ беспомощных жертв (читай: трусов – по контрасту с американскими героями-освободителями). В первых американских репортажах о «зверствах» евреи вообще не упоминались, заслоненные жестоким обращением японцев с американскими военнопленными (возмущение американского общества сильно упростило решение об атомной бомбардировке). Позже именно размах и беспричинность массовых убийств евреев начали вызывать недоверие, тем более что пропаганда слишком много врала о зверствах немцев во время Первой мировой войны. Но вот когда сомневаться стало уже невозможно, простым американским парням оказалось легче войти в шкуру симпатичных немцев, чем грязных одичавших евреев.

«Американским пехотинцам, которые первыми вступили в контакт с пленниками, высшим офицерам, которые руководили процессом реабилитации, репортерам, которые передавали описания ситуации, комиссиям, состоящим из конгрессменов и влиятельных лиц, которые сразу выехали в Германию, чтобы провести расследование на месте, умирающие от голода, истощенные, часто странно выглядящие и иногда странно себя ведущие выжившие обитатели еврейских лагерей казались представителями иной расы. Они с тем же успехом могли бы прибыть с Марса или из преисподней. Личности и черты характера этих переживших холокост евреев редко раскрывались в интервью и не обретали индивидуальности в биографических очерках; не только сотрудниками газет, но и некоторыми самыми влиятельными высшими офицерами верховного командования сил союзников они скорее изображались как масса, а зачастую и как беспорядочная толпа, причем толпа заторможенная, деградирующая и дурно пахнущая».

«Американские и британские администраторы проявляли по отношению к выжившим евреям раздражительность и даже личную неприязнь и иногда прибегали к угрозам и даже наказаниям. <…> Глубина этой первоначальной неспособности соотнести себя с жертвой проявляется в том факте, что, когда американские граждане и их лидеры выражали мнения и

принимали решения по поводу национальных квот для форс-мажорной послевоенной эмиграции, перемещенные лица немецкого происхождения рассматривались в первую очередь, а пережившие холокост евреи в последнюю».

Президенту Трумену пришлось прямо указать генералу Эйзенхауэру, что, согласно отчету, сделанному его специальным экспертом Эрлом Харрисоном, «мы, по-видимому, обращаемся с евреями так, как с ними обращались нацисты, за исключением того, что мы их не уничтожаем». Что, впрочем, совсем не мало. И тем не менее «тысячи перемещенных евреев все еще в тесноте живут в плохо управляемых концентрационных лагерях, они плохо накормлены и одеты и размещены в плохих условиях, в то время как удобные дома поблизости заняты бывшими нацистами или сочувствующими им. Этим евреям до сих пор не разрешается покидать лагеря без пропусков, которые им выдаются исходя из совершенно непостижимой установки, что с ними следует обращаться, как с заключенными. <…> *Американцы* будут глубоко обеспокоены тем, что антисемитизм, как и снисходительность к нацистам, процветает среди американских оккупационных сил» (октябрь 1945-го). Как будто в оккупационных силах служили не американцы…

Газета «Тайм» писала тоже не об «американцах», но о «солдатах»:

«У обычных солдат тоже были проблемы. С тех самых пор, как они оказались в Германии, они спутались не только с *Fräulein,* но и с философией. Многие начали рассуждать о том, что немцы вообще-то нормальные ребята, что их вынудили вступить в войну, что истории о злодеяниях – фальшивка. Знакомство с охочими немецкими женщинами, со свободолюбивой немецкой молодежью привело к забвению Бельзена, Бухенвальда и Освенцима».

Ясно, что чистенькие фройляйн и вчерашние члены гитлерюгенд, от всей души провозгласившие «Гитлер капут!», были куда симпатичнее полуобезумевших грязных евреев. И все-таки американская элита, а еще больше фильмы и фотографии сумели-таки внушить американскому народу, что антисемитизм не просто недопущение евреев в клубы по симпатиям и не процентные нормы в высших учебных заведениях (мы-то в своем самомнении воображали, что это чисто российское изобретение!), но путь, ведущий к газовым камерам. А холокост совместными усилиями превратился из ужасного, но частного эпизода в символ онтологического зла.

Что не улучшило глубинного отношения к каждому отдельному еврею и даже навлекло на него недовольство, что он слишком приземлен и материален для своей миссии всемирного

символа.

Зато, когда понадобилось в геополитических видах вступиться за советских евреев, чтобы вставить пистон Советскому Союзу, американцы, прямо по Оруэллу, превратились в *вечных* друзей нашего брата-еврея – учитесь, варвары, как всегда быть чистыми!

Последняя русская революция рубежа девяностых тоже может послужить образцом, как нужно благородно поддерживать свободу и брезгливо отвращаться от ее неизбежных последствий, – полированной броней пафоса защищаться от самомалейших помыслов о хотя бы крупице и собственной ответственности. Долой мучительный самоанализ в душе! С презрением и насмешкой нужно говорить исключительно о противнике, если даже ты сам помог ему появиться на свет!

Только так и возможно сохранить безмятежную убежденность в неразрывности этих понятий – «цивилизация» и «моральное совершенство».

Я ворошу эти малоприятные воспоминания не для того, чтобы растравить старые обиды. Мысль моя совсем другая: славны бубны за горами. Сказки о заморских рыцарях без страха и упрека никак не помогут поладить с теми соседями, с которыми свела судьба, зато разладить ревностью существующее равновесие они очень даже могут, порождая несбыточные мечты и неосуществимые требования: реальные достижения не могут выдержать сравнения с грезой. В данном случае толкающей не к созиданию, но исключительно к конфликту, в котором можно только проиграть.

На мою реплику о бубнах за горами один мой американский товарищ ответил другой народной мудростью: «Зачем в гости по печаль, когда дома навзрыд! Ибо о русском антисемитизме – откуда и пошло по миру слово ПОГРОМ – ничего не сказано. Кому же на радость?»

Уж точно, никому. Понимание в нашем трагическом мире редко приносит радость, куда чаще безысходность. Именно поэтому мы так любим искать виноватого в наших несчастьях – заменить неустранимую причину, коренящуюся чаще всего в совокупной природе вещей, причиной локальной, а значит, в принципе устранимой. Потому всем и хочется укрыться от древнего всемирного зла в новейшие частности российского антисемитизма. Я его тоже испытал на своей шкуре, не говоря уже о шкуре отцов и дедов, и потому-то я и стремлюсь избавиться от того неизбежного слепого пятна, когда монета, поднесенная

близко к глазу, закрывает солнце. Я изо всех сил стараюсь говорить об антисемитизме как о мировом явлении именно потому, что мне это крайне неприятно. Но избегать неприятных мыслей означает искать клад не там, где он скрыт, а там, где легко копается. Наша психика настолько умело прячет от наших глаз все самое ужасное, что искать источники опасности следует прежде всего именно там, где особенно не хочется их видеть.

Да, слово pogrom вошло в английский язык после погромов Первой русской революции, у англичан не нашлось своего словечка для собственных, несколько более ранних деяний, о которых пишет «Электронная еврейская энциклопедия»: «Относительно спокойное существование евреев Великобритании пришло к концу под влиянием чувств, вызванных в христианском населении крестовым походом Ричарда I. Во время его коронации еврейский квартал в Лондоне был разграблен и многие евреи убиты (сентябрь 1189 г.). Весной следующего года волна еврейских погромов прокатилась по всей стране. В Йорке почти все евреи во главе с Иом Тов бен Ицхаком из Жуаньи покончили с собой, а остальные были уничтожены погромщиками (16–17 марта 1190 г.). Еврейские общины Великобритании долго не могли оправиться от этого удара».

Украинский национальный подъем эпохи, условно говоря, Тараса Бульбы тоже не подарил цивилизованному миру никакого специального термина, хотя «истребление около четверти еврейского населения страны, в которой была сосредоточена самая многочисленная и образованная община мирового еврейства, оказало глубокое влияние на еврейский мир. Раввины видели в событиях хмельничины признаки скорого прихода Мессии. В еврейском фольклоре, литературе и историографии "Хмель-злодей" (Богдан Хмельницкий, если кто не понял – *А. М.)* – одна из самых одиозных и зловещих фигур». Если скучные энциклопедические данные не впечатляют, можно взбодриться впечатлениями очевидца Натана Ганновера: «У некоторых сдирали кожу заживо, а тело бросали собакам, а некоторых – после того, как у них отрубали руки и ноги, бросали на дорогу и проезжали по ним на телегах и топтали лошадьми, а некоторых, подвергнув многим пыткам, недостаточным для того, чтобы убить сразу, бросали, чтобы они долго мучились в смертных муках, до того как испустят дух; многих закапывали живьем, младенцев резали в лоне их матерей, многих детей рубили на куски, как рыбу; у беременных женщин вспарывали живот и плод швыряли им в лицо, а иным в распоротый живот зашивали живую кошку и отрубали им руки, чтобы они не могли извлечь кошку; некоторых детей вешали на грудь матерей; а других, насадив на вертел,

жарили на огне и принуждали матерей есть это мясо; а иногда из еврейских детей сооружали мост и проезжали по нему. Не существует на свете способа мучительного убийства, которого они бы не применили; использовали все четыре вида казни: побивание камнями, сжигание, убиение и удушение».

Хорошо бы закрыться от этого кошмара, отправив его в варварское прошлое, да только никакого прошлого нет, есть одно сплошное настоящее – Христа распинали сегодня перед завтраком, а младенцев резали в лоне матерей к полднику. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться – это лучше всех должны затвердить те, с *кем* это будет делаться.

Вот отчет, составленный Евобществом по архивам Евотдела Наркомнаца в 1926 году о той единственной Гражданской, когда погромы сделались «непременной частью военно-стратегической программы»: «Здесь мы встречаемся не только с грабежом, но и с массовым истреблением еврейского населения на дому при помощи ручных гранат и холодного оружия (как, напр., в Елисаветграде, Проскурове, Умани и др.). В других случаях убивают только глав семейств (напр., в колонии Трудолюбовке и др.). Далее, вырезывается поголовно одно только мужское население без различия возраста (Тростинец и др.). Наконец, во многих местах убивают женщин, стариков, детей и больных, т. е. всех тех, кто менее способен скрыться или убежать.

Что касается методов физической пытки, то следует отметить, во-первых, наиболее часто применявшееся прижигание огнем наиболее нежных органов, затем идет примерное повешение, с многократным извлечением из петли, далее следует медленное удушение веревкой, отрезывание отдельных членов и органов – носа, ушей, языка, конечностей и половых органов; выкалывание глаз, выдергивание волос из бороды, жестокая порка и избиение нагайками до полусмерти.

Последние три вида пытки особенно широко применялись поляками в Белоруссии. Наконец, петлюровцами и бандитами еще практиковалось потопление в реках и колодцах, сожжение и погребение заживо. К числу пыток можно отнести также массовые насилия над женщинами, чаще всего над подростками и совсем малолетними девочками. Выжившие обыкновенно заболевали тяжкими венерическими болезнями и часто кончали самоубийством». Вы когда-нибудь слышали, чтобы старые добрые бандиты занимались такими хлопотными изысканностями, как погребение заживо? Фамилии народных мстителей приводятся восхитительно автохтонные: Мацыга, Потапенко, Проценко, Дынька, но собственного слова для своих подвигов они тоже не породили – вот они, плоды имперской русификации! С тем

уточнением, что при имперских порядках в самые страшные погромные годы счет убитых шел на сотни, а национальный подъем повел его на сотни тысяч. И те, кто из прекрасного далека поощрял борцов с реакционным самодержавием, в эти страшные годы ничем евреям не помогли, но, напротив, сами поднялись на борьбу с иудобольшевизмом. Соглашаясь тем самым, что погромщики в общем-то правильно выбрали мишень.

И все-таки слово "погром" не приобрело украинского акцента.

Упаси бог, чтобы я вел к тому, что русские хорошие, а украинцы плохие, мысль моя ровно обратная: все хороши. Не нужно подменять всеохватную неустранимую причину локальной и устранимой, тысячелетнее мировое явление сводить к одной исторической минуте и к одной стране, даже если она досадила нам больше других. Те, кто нас к этому поощряет, хотят нашими бедами и обидами дискредитировать своего конкурента в собственной Большой Игре, но нам-то с какой стати служить их пешками, заклеивать себе глаза и обкуриваться травой забвения? И по-детски делить людей на хороших и плохих, считая хорошими тех, кто нас треплет по щечке и протягивает конфетку.

Хороших и плохих людей нет вообще, есть только люди, чьи интересы оказываются совпадающими и несовпадающими, совместимыми и несовместимыми с нашими, иногда даже с нашим желанием оставаться живыми: слишком уж до острого психоза довел их страх. Как правило, мы бываем недостаточно сильны, чтобы в одиночку повергнуть в ужас и отчаяние целый народ, хоть немецкий, хоть украинский, хоть русский, но в качестве интеллектуалов и чужаков мы слишком уж бросаемся в глаза, наша беда – мнимое лидерство. Ну и, само собой, наши ненавистники тоже всего лишь люди, им тоже хочется найти *устранимую* причину своего страха. И если страх очень уж велик, любая власть пожертвует нами, чтобы не ссориться со своим народом. Петлюра так и ответил еврейской делегации: не ссорьте меня с моей армией.

Еврейская политика Николая Второго была хуже, чем преступной, – ошибочной. Дело императора – открывать наиболее энергичным инородцам путь в имперскую элиту, переманивать их, а не озлоблять. Конечно, это встретило бы сопротивление и элиты, и массы, да и приручить такого сильного конкурента было нелегко (а что легко, быть расстрелянным в подвале?), но вряд ли евреи оказались бы жестоковыйнее немцев, вполне лояльно послуживших российской короне, – во всяком случае, верхи не вправе вламываться в обиды, как это делают безответственные низы. Однако даже и обидчивый самодержец отказался использовать восхитившие его «Протоколы сионских мудрецов»:

«Нельзя защищать благородное дело грязными средствами». Цивилизованный мир оказался менее брезглив.

Наверняка его «личная неприязнь» подвигала императора и реагировать на погромное движение недостаточно оперативно (хотя что у нас делается оперативно?), можно даже допустить, что он и сам посылал погромщикам воздушные поцелуи, хотя доказательств тому не найдено. Но если даже предполагать самое худшее, Гражданская война все равно показала, во что разворачивается юдофобия без ограждений государственной власти. Если слушать не пропаганду ее конкурентов, а, скажем, заглянуть в «Записки коммивояжера» Шолом-Алейхема, то даже и казак может из погромщика на минуту превратиться в защитника: «Услышали мы про казаков и сразу ожили. Еврей, как только увидит казака, сразу становится отважным, готов всему миру дулю показать. Шутка сказать, такая охрана! Все дело лишь в том, кто раньше явится – казаки из Тульчина или громилы из Жмеринки. <…> Как вы понимаете, они благополучно пришли в Гайсин, понятно, с песнями и, понятно, с криками "ура"> – как сам Бог велел. Только они чуть-чуть опоздали. По улицам уже разъезжали казаки на лошадках и во всеоружии, то есть с плетками в руках. В каких-нибудь полчаса от черной сотни и помина не осталось. Разбежались, как крысы от голода, растаяли, как снег в солнечный день».

И тоже не потому, что казаки хорошие, а потому, что их интересы в ту минуту побуждали их находиться на стороне полицейского порядка. Никаких вечных союзников нет ни у евреев, ни у русских, ни у британцев, ни у готтентотов – есть лишь то совпадающие, то расходящиеся интересы. И сегодня интересы русских и евреев в России совместимы как никогда прежде, если только евреи не станут воображать своими интересы т. н. цивилизованного мира, который в нас нисколько не нуждается и сдаст при первой же опасности.

Самое последнее впечатление. Сравнительно недавно ушли из жизни два виднейших философа-эстетика – Моисей Самойлович Каган и Леонид Наумович Столович. Моисей Самойлович профессорствовал в Ленинградском – Петербургском университете, а Леонид Наумович – в Тартуском, что ему придавало дополнительный оттенок европейского вольномыслия. На рубеже девяностых он, естественно, выступал за независимость Прибалтики, а после победы был немедленно уволен за слабое знание эстонского языка и доживал век в полном социальном одиночестве. Профессор же Каган завершал свой жизненный путь в полном почете, в окружении почтительных учеников, а после его смерти одной из аудиторий

тут же присвоили его имя. Вот вам две еврейские судьбы – одна в «варварской» России, другая в «цивилизованной» Эстонии: все решает вовсе не цивилизованность, но совместимость наших интересов с интересами других народов. Эстонский народ всем хорош и вполне цивилизован, говорю без малейшей иронии, но для него, как и для всех этносов, на протяжении веков лишенных национальной независимости, страх ее снова утратить заставляет опасаться любого чужака, разговаривающего на языке завоевателей. В России же лишь очень немногие всерьез опасаются утратить национальный суверенитет, и потому (и только потому!) она сегодня менее подвержена националистическому психозу: толерантными бывают исключительно те, кто чувствует себя защищенным. Эстонский народ при всех своих неоспоримых достоинствах нуждается в хотя бы символическом реванше за перенесенные унижения, а русский пока что не очень нуждается. *Пока что.* Но если хорошо потрудиться… Ведь для пробуждения националистического психоза менее опасно один раз выстрелить, чем сто раз прицелиться или тысячу раз оскорбить. (Разумеется, мыто с вами никогда никого не оскорбляем, мы всего лишь говорим целительную правду, но ведь даже мы, служители Истины, готовы выслушивать горькие слова только от тех, в чьей любви мы уверены.)

Именно поэтому в укреплении экзистенциальной защиты русских более всего заинтересованы национальные меньшинства: уверенность титульной нации в своей красоте и значительности более всего и защищает российских евреев от обострения антисемитизма. А уверенность в том, что Россия спасла мир от фашизма, составляет один из важнейших слоев ее экзистенциальной защиты. И приравнивать коммунизм к нацизму как раз и означает подталкивать к нацизму ее самое: нацизм – последнее прибежище униженных и оскорбленных.

Что говорить, Россия изрядно замордовала мир своим коммунизмом. Но я уже давно перестал понимать, сколько в этом противостоянии двух систем порождалось идеологией, а сколько вечной геополитикой. Коммунистические грезы начали очень быстро оттесняться задачами национального выживания, требовавшими сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами, военный психоз же Тридцатилетней войны 1914–1945 позволил обойтись без особых подлостей только тем, кто был для этого недостаточно силен. Альтернативой коммунистической воодушевляющей сказке могла быть только националистическая, и вряд ли Россия нацистская оказалась бы более привлекательной. Вполне возможно, что Россия спасла от

фашизма еще и себя самое – этим страшным коммунистическим лекарством: коричневую чуму излечила «красной заразой».

Сегодня возможность красного реванша практически исключена – тем больше опасность воскрешения несостоявшегося фашизма, для стимулирования которого совсем не требуется военного разгрома, как это было с Германией, – вполне достаточно мелких, но неотступных уколов и покусываний, – цивилизованные владыки мира по-прежнему презирают уроки Макиавелли: не наноси малых обид, ибо за них мстят как за большие.

Вековая история прорыва из гетто российского еврейства заставляет задуматься о проблеме, грозящей сделаться еще куда более масштабной. В последнюю пару десятилетий обитателями некоего гетто на обочине «цивилизованного мира» начинают ощущать себя уже не евреи, а русские. При этом намечаются ровно те же способы разорвать унизительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (человек и может жить только в воображаемом мире). Первый способ – перешагнуть границу, сделаться большими западниками, чем президент американский. Второй – объявить границу несуществующей: все мы, мол, дети единого человечества, *безгранично* преданного общечеловеческим ценностям. Третий – провозгласить свое гетто истинным центром мира, впасть в экзальтированное почвенничество. И четвертый, самый опасный, – попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

Сейчас в некоторых кругах, расходящихся уже и до казенных циркуляров, модно утверждать, что Россия не Европа, а особая цивилизация. Другие же круги дают отпор: нет, мы часть европейской цивилизации! Дискуссия не может иметь конца уже потому, что никакого общепринятого определения цивилизации не существует, а лично я считаю цивилизацией объединение культур, связанных общей экзистенциальной защитой, представлением о совместной избранности. Поэтому провозгласить свою принадлежность к престижному клубу недостаточно – нужно, чтобы и члены клуба ее признавали. Но что, если одни члены ее яростно отвергают, а другие колеблются?

Тогда россияне, настроенные на конфликт, настаивают на особом пути России, а те, кто настроен на сотрудничество, настаивают – прежде всего – на культурном слиянии с Европой: ведь богатая чужая культура может только обогатить! Я тоже настроен на сотрудничество, но согласиться с этим аргументом не могу. Ибо главная миссия культуры – экзистенциальная защита, защита человека от чувства беспомощности в

безжалостном мироздании. И с ослаблением защиты религиозной только ощущение принадлежности к своему народу дает массе людей возможность прислониться к чему-то великому и бессмертному. Так что любовь к чужой культуре бывает для нас продуктивна, когда она укрепляет нашу экзистенциальную защиту, и контрпродуктивна, когда ее разрушает.

Когда народу его собственная жизнь представляется недостаточно красивой, он деградирует как целое, а частные лица, не имея эстетического допинга, пытаются добирать до нормы с помощью психоактивных препаратов, а то и кончать с собой. Но кто-то стремится слиться с победителями, а кто-то, наоборот, пытается отвоевать оружием то, что проиграно в мире духа: международный терроризм – арьергардные бои культур, проигрывающих на всемирном конкурсе красоты. На этом фоне национализм, стремящийся лишь отгородиться, а не уничтожить источник культурного соблазна, выглядит вершиной мудрости и кротости.

Когда влечение к более блистательным культурам начало разрушать еврейскую религиозную общину, главный идеолог российских сионистов Владимир Жаботинский, европейски образованный талантливый литератор, объявил первейшей национальной задачей освобождение от влюбленности в чужую культуру – унизительной влюбленности свинопаса в царскую дочь. Когда ассимиляторы возмущались, что он, мол, тянет их из светлого дворца в темную хижину, Жаботинский отвечал, что не надо изображать свое предательство возвышенными красками; разумеется, чем обустраивать родную хижину, приятнее перебраться в чужой дворец. Где, однако, вам не раз придется скрипеть зубами от унижения, ибо все дворцы обставлялись не для вас. Да, в нашей истории больше страданий, чем побед, но кто, кроме нас, среди этих ужасов сумел бы не отречься от своей мечты!

Это были типичные идеи изоляционизма и национальной исключительности. Но когда другие энтузиасты заговорили о некоем еврейском евразийстве – мы-де построим государство, вбирающее в себя черты и Запада, и Востока, – Жаботинский дал жесткий отпор. Какие черты Востока – отсутствие светского образования и демократии, порабощение женщины? Новый Израиль должен обладать всеми европейскими институтами, без которых не может быть национальной конкурентоспособности, – не из любви к «цивилизации», а из стремления быть сильным. И по мере становления государства идеологические крайности были оттеснены прагматическими задачами национального выживания, которые постепенно привели Израиль в клуб так называемых

цивилизованных стран, а он как будто этого и не заметил: он никому не подыгрывает в обмен на улыбки и похлопывания. Ибо научился относиться к чужому суду, как и завещал Жаботинский, «с вежливым равнодушием». А если бы он твердил себе: «Мы европейская страна, мы европейская страна», то каждый эпизод, который бы демонстрировал, что европейцы любят себя больше, чем евреев (а в политике такие эпизоды неизбежны, ибо национальный и цивилизационный эгоизм это норма), – каждый такой эпизод непременно вызывал бы волну ненависти.

Этот «особый путь» сионизма в чем-то неплохо бы повторить и России: лучше не опьяняться пышным словом «цивилизация», чем сначала обожать, а после ненавидеть, – отвергнутая любовь свинопаса слишком легко обращается в ненависть. Пусть лучше к союзу с Западом снова приведет общность исторических задач среди общих новых вызовов, меж коих довольно назвать вулканическую панисламскую грезу.

На справедливость же надежды мало, вернее, вовсе нет. В мире нет никакой высшей справедливости, справедливость – всего лишь идеализация консолидированных интересов (материальных и психологических) каких-то групп, и психологические интересы даже самых расцивилизованнейших народов в ближайшие десятилетия никак не могут совпасть с нашими. Для этого достаточно одной лишь истории гонений и истреблений, которым евреи, по историческим меркам, до последней минуты подвергались в Европе. Европа хотя бы в глубине души просто вынуждена обвинять евреев в их несчастьях, чтобы не обвинять самое себя, не обвинять своих отцов и прадедов, не обвинять Вольтера и Томаса Манна, Бисмарка и Черчилля.

А уж в холокосте оказались замаранными даже и те народы, чья экзистенциальная защита и вовсе строится на самоощущении себя как незапятнанных жертв восточных варваров (про зверства западных сегодня выгоднее забыть – всем, кроме нас). Пробежимся хотя бы по энциклопедии «Холокост» под редакцией маститого Уолтера Лакера (М., 2005). Мне хотелось бы вглядываться только в светлые эпизоды, которыми мои оппоненты наверняка пожелают защитить свою сказку, но я по-прежнему считаю, что, если правда не причиняет боли, значит, она прячется от самого главного.

Большая и утомительно подробная статья «Спасение»: «С началом войны британское правительство ввело тотальный запрет на иммиграцию из Германии и оккупированных ею территорий в какую бы то ни было часть Британской империи»; «Черчилль отверг просьбу Бен-Гуриона о личной встрече». Статья

«Освенцим»: «Призывы евреев начать бомбардировку газовых камер были проигнорированы как в Вашингтоне, так и в Лондоне». «Франция»: «В целом власти Виши в оккупированной зоне занимались евреями решительнее, чем нацисты» (однако патриотично старались сдавать чужих евреев, беженцев, вместо своих); «вскоре после прихода к власти в октябре де Голль понял, что неприятный вопрос о французском коллаборационизме способен расколоть нацию и помешать восстановлению страны. К тому же большинство французов не проявляло особого интереса заняться критической самооценкой с точки зрения их поведения во время оккупации (ай-ай-ай, а где же *покаяние* перед евреями? – *А.* М.). Результатом стало постепенное складывание национального мифа о том, что подавляющее большинство французов во время 2-й мировой войны были участниками Сопротивления, режим Виши являлся заблуждением, а в его предательских действиях виноваты продажность и фанатизм нескольких безумцев». Стандартная форма национального покаяния – списывание общего греха на кучку козлов отпущения. А из-за евреев ссориться не стоит: «О преследованиях и депортациях евреев упомянуто не было». И даже в 1987 году на процессе Клауса Барбье, которому оттянуть на сорок лет и этим смягчить приговор от вышки до пожизненного помогла американская контрразведка, французские обвинители «осмотрительно избежали сколько-нибудь серьезного обсуждения связи Барбье с французскими коллаборационистами».

Статья «Военные преступления»: в британской зоне оккупации «перед военными судами предстали св. 1000 чел., в т. ч. личный состав СС из Берген-Бельзена, Освенцима и др. лагерей. <…> Ни разу не предъявлялось обвинение в преследовании и истреблении евреев. Британская общественность, с раздражением относившаяся к продолжавшимся судам, к середине 1946 стала требовать их прекращения. <…> К тому времени, когда в конце 1949 был отдан под суд последний обвиняемый – Манштейн, настроение общественности изменилось настолько, что даже Уинстон Черчилль сделал взнос в фонд его защиты»; в американской зоне, чтобы не ссориться с «покаявшейся» Западной Германией, «смертные приговоры были отменены, а сроки тюремного заключения сокращены. <…> К 1958 американские власти освободили всех осужденных их судами в период с 1945 по 1955»; «после войны многие тысячи коллаборационистов из Восточной Европы нашли убежище в США, Канаде, Австралии и Великобритании». Это не советская пропаганда, это издательство Иельского университета, в проекте участвовали также

университеты Иерусалима и Хайфы.

«Балтийские страны»: «Когда германские войска еще только занимали населенные пункты, местные евреи уже подвергались убийствам, изнасилованиям и грабежам со стороны своих соседей-христиан, ведомых и подстрекаемых представителями местных структур: солдатами, полицейскими и даже духовенством. Эти преступления обычно совершались под предлогом сведения счетов с коммунистами и др. активистами, советизировавшими их страну и помогавшими арестовывать местных патриотов, однако практически все жертвы не только не имели отношения к советизации, но и сами страдали при советском режиме по идеологическим причинам: за то, что были сионистскими активистами, или за участие в борьбе за независимость. Особенно часто объектами возмездия становились раввины. Их привязывали к хвосту лошади или к телеге и заставляли восхвалять И. В. Сталина перед толпами людей, которых выгоняли смотреть на этот спектакль»; «айнзатц-команды находились под началом немногих германских офицеров, большинство же убийств в городах совершали в основном литовцы, латыши и эстонцы».

Однако слово pogrom не обрело и прибалтийского акцента. Немцы же и вовсе подарили миру нечто оперно-ювелирное – Хрустальная ночь.

Я вовсе не собираюсь «сыпать соль на раны», против чего предостерегают, как правило, не раненые, а незадетые, я совершенно не намерен сеять вражду – я уверен, что, пребывая в психозе ужаса, все способны на всё: ужас и озверение – две неотделимые стадии единого процесса. Я думаю даже, что и в самое страшное время убивать евреев собственноручно были готовы немногие, большинство согласно было только закрывать глаза, когда это делали другие. Сегодня сила, готовая убивать, растет на глазах – и с ее ростом неуклонно тяжелеют веки цивилизованного мира. Ему-то есть ради чего лишаться зрения – ради надежды, как и в прошлый раз, откупиться нами. Но нам-то зачем отворачиваться от правды? Да, это возвышает в собственных глазах (и более ни в чьих) – ощущать себя союзниками могущественных и благовоспитанных, миссионерами цивилизации в мире варварства. Но быть бессознательными пешками в чьей бы то ни было игре – в этой роли я ничего красивого найти не могу. А ничего другого нам не светит – мы слишком слабы, чтобы заключить равноправный союз с какими бы то ни было серьезными историческими силами: нам нечего предложить в обмен на их услуги. Поэтому рано или поздно они нас либо используют и выбросят, либо нами откупятся. Как это

всегда бывало.

Для личной экзистенциальной защиты евреям открыты лишь две красивые позиции – общее уважение (в предельном случае путь Высоцкого – Спивакова – Алферова…) и трагическое одиночество. Трагическое одиночество – это тоже красиво, арсенал культурных образцов ковали гении: Байрон, Лермонтов… Да и Пушкин приложил руку: «для власти, для ливреи // Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи». А западная цивилизация ничего, кроме ливреи, не может нам предложить.

Использовать ее, разумеется, необходимо, как это делал и делает Израиль, но лгать самим себе и закрывать глаза на обидную правду – это уж слишком убого.

А вот трагический взгляд на мир, не допускающий ни моральной правоты (все моральные ценности противоречат друг другу), ни политической целесообразности (исторические процессы неуправляемы и непредсказуемы), красоту не только не отменяет, но, напротив, выдвигает на первое место – хотя бы уже потому, что ничего другого просто не остается.

Так и будем же, никому не подыгрывая, по-простому, без умствований восхищаться тем, что нас восхищает, и отвращаться от того, что нас отвращает, где бы и кто бы это ни творил. Но это же безответственно?! Отвечаю: к катастрофам XX века привели именно ответственные толпы, одиночкам это было бы не по силам.

Лучше думать о том, что красиво и что безобразно, чем о том, что цивилизованно, а что не цивилизованно.

В последний раз в Германии мне вздумалось поездить по небольшим городкам типа Кведлинбурга или Целле, не слишком катастрофически задетым цивилизованными бомбардировками англосаксов и варварскими бомбардировками русских. И до меня наконец дошло, каким же сказочно прекрасным был германский мир! В заштатных городках великолепные соборы, замки – но это все порождалось стремлением ввысь, к власти или к небесам, а внизу-то располагались бюргеры, поклоняющиеся вроде бы печному горшку! Однако и в этих низинах растут прекраснейшие ратуши и *сотни* фахверковых домов с такой резьбой, с такими росписями, что впадаешь в тоску от невозможности посидеть перед каждым хотя бы часок-другой. Это сколько же требовалось мастеров и заказчиков, умеющих создавать и готовых платить за красоту! Похоже, тогдашнее варварство в день творило больше красот, чем нынешняя цивилизация за десятилетия.

Похоже, потрясенно думал я, немцы и впрямь величайший народ Нового времени: их достижений даже в каждой отдельной области было бы достаточно, чтобы сделаться великим народом.

Куда ни кинь, они в первых рядах, но другие звезды – чемпионы только в чем-нибудь одном, а они во всем, вот что поразительно! Архитектура – одних шедевров не перечислить. Живопись – Кранах, Дюрер, Гольбейн, Альтдорфер, Грюневальд-Нитхардт в начале, экспрессионисты под занавес. Литература – от Шиллера – Гете до того же Томаса Манна. Математика от Гаусса до Гильберта, физика от Гельмгольца до Гейзенберга (это лишь гении первейшей величины!), музыка – Бах, Бетховен, Моцарт, философия – Кант, Гегель, Шопенгауэр и прочая, а еще химия, микробиология и просто биология, а техника, а промышленность – просто голова кругом идет!

И… И при чем тут цивилизация? Если в одном доме живут поэт, художник, ученый, инженер, адвокат и лавочник, есть ли хоть малейшие основания приписывать адвокату и лавочнику гениальные поэмы и картины, великие изобретения и открытия? Их рождают совершенно иные грезы, чем те, которыми живут блюстители порядка и труженики прилавка. Если бы я тяготел к широковещательным декларациям, я бы сказал, что в Германии западная цивилизация уничтожила западную культуру. Гибель прекрасных зданий и великих научных школ – это потеря не Германии, это потеря человечества.

А что до ужасов, которые она натворила, – стоит ли обитателям общего сумасшедшего дома гордиться тем, что их психозы протекали в менее острой форме или у них не хватило сил разорвать смирительную рубашку? Те же кошмарные бомбардировки, перемоловшие в пыль Дрезден и Мюнхен, – разве они не были психотическими? Или интернирование японцев в Америке? Я не ханжа, я никого не осуждаю – я сам таков. Никому из нас не следует воображать о себе слишком много: даже легкая, но затянувшаяся тревога за свою безопасность способна превратить в психотиков миллионы людей. Надо знать этот медицинский факт и помнить, что *нет ничего страшнее страха.* И что одним психотикам не следует судить других только на том основании, что их обострение случилось на полчаса раньше или случится минутой позже.

Однако незачем и забывать, что, хотя на военный психоз 1914–1918 годов ужаснее всех отреагировали побежденные – Россия и Германия, но создавали-то его все вместе, и чистые, и нечистые. Закрывать на это глаза незачем, нам за это не заплатят.

Кстати сказать, в том же чудесном, чистеньком, приветливом Кведлинбурге меня среди ночи разбудил хоровой вопль, а потом загремело: «Дойчланд, Дойчланд юбер аллее!» – Германия выиграла какой-то судьбоносный футбольный матч. «Ага! – подумал я. – И в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

Радио «Голос цивилизации» когда-то слушали даже такие эстеты, кто считал чрезмерно пропагандистским «Голос Америки»: у «Голоса цивилизации» была и впрямь утонченная культурная программа. И потому на чужбине, наткнувшись на него в Интернете, я вслушивался в этот голос, словно в голос далекой утраченной отчизны, тем более что вещал он из мирной славянской страны. Мой соплеменник по отцу, чья фамилия в переводе с иврита означала приблизительно «уличный проповедник», с исключительной осведомленностью, в предельно достойном тоне излагал историю начала Первой мировой войны. В его рассказе было столько новых подробностей, что я заслушался. Проповедник вел к тому, к чему уже и без того склонялась моя покоренная солнечным германским гением душа: миру было бы лучше, если бы победили центральные державы. Черт его знает, может, и так, возможно, Европа, разделенная меж тремя могучими империями (капитуляция России была бы куда лучше полной гибели всерьез), оказалась бы и впрямь устойчивее версальской нарезки. Когда национальные грезы западных славян при мощной поддержке России взорвали европейскую часть Османской империи, сравнительно рациональным великим державам нужно было либо выдать каждой кучке романтиков по собственному государству, либо всем рациональным миром удерживать их в зоне националистического Чернобыля и ни в коем случае не пытаться использовать «бешеных» в собственных целях. Миром должны править сильные и рациональные, объединившись в священный союз против всякого иррационального безумия, как национального, так и религиозного, и трем уверенным в себе великанам было бы неизмеримо проще договариваться друг с другом, чем десяткам лилипутов, изнывающих от жажды реванша.

Однако, оказалось, проповедник говорит не о низкой безопасности, но о высокой цивилизованности. А цивилизованность, проникновенно вещал он, это уважение к человеческой личности, и в начале XX века Германия была тем же, чем для античного мира был Древний Рим. И сразу сердце за удила, соловьев камнями с ветки – меня еще в школе поразило, что во время восстания Спартака в Риме было вдвое больше рабов, чем римских граждан (кто-нибудь подсчитал, сколько рабов было у варваров?). Но самой большой мерзостью мне показались не просто убийства, но *распятия* пленных вдоль дороги от Рима до Капуи, что ли. Какими же тварями надо быть, чтобы сколачивать эти кресты (тысячи крестов!), прибивать к ним людей, оставлять их там именно что на *невообразимые* муки, а

потом еще хвастаться и пировать?! Да и сами гладиаторские бои – как такое в голову могло прийти, – любоваться, как люди убивают друг друга?!

Я был еще юн и глуп, теперь-то я понимаю, что римляне действовали совершенно по-человечески: это же так по-людски – наслаждаться своим совокупным торжеством над какими-то недочеловеками. Но нам-то, отверженцам, ради чего кому-то подпевать! Пусть домовладельцы любые мерзости, которые творятся у них в доме, ответственно называют исторической необходимостью, а мы, бездомная шантрапа, можем себе позволить говорить все что хочется, называть мерзость мерзостью, гадость гадостью, зверство зверством и низость низостью – нам-то чего ради прислуживать тем, кто нам не служит и служить не собирается, даже если мы в них видим врагов нашего врага?

Допустим на миг, что это было в варварском прошлом, хотя на самом деле резали и распинали ровно те же люди, которые живут сейчас и будут жить завтра. Но что, если бы наша юная дочь привела жениха в наколках и объявила, что Васенька очень добрый и хороший, но ему всю жизнь ужасно не везло. Еще ребенком он от голода украл булочку, хозяин схватил его за шиворот, а бедный маленький оборвыш воткнул ему шило в глаз. Его избили до полусмерти, он озлобился и поэтому стал уже не просто красть, но грабить и убивать. Его отправили на лесоповал, надзиратели начали над ним издеваться, и он от обиды распилил одного из них бензопилой, а другого сварил в бригадном котле – он ужасно ранимый, он не терпит несправедливости.

И так далее. Но теперь он покаялся и больше так делать не будет. Как мы к этому отнесемся? Поверим или решим, что если человек до сорока лет крал, грабил и убивал, то, скорее всего, будет делать это и дальше? Над чужой дочерью я, пожалуй, еще бы рискнул провести эксперимент, но свою бы лучше запер в светлице.

Человечество и есть этот самый Васенька. Да, в «бель эпок» в Европе никого уже, слава те, господи, не распинали, но хотя бы та же Германия, раз уж ее сочли главным очагом цивилизации, за десять лет до Сараева на территории нынешней Намибии на четыре пятых истребила племя гереро. Немцы отнимали у них пастбище за пастбищем, пока эти варвары не взбесились и не перебили около ста двадцати колонистов, включая женщин и детей, которые считаются для этого не предназначенными. В ответ немцы взяли примерно по пятьсот сорок черных голов за каждую белую: «Я отдал приказ убивать пленных и отправлять женщин с детьми в пустыню», – отчитывался генерал фон Тротта. «Когда начался сезон дождей, немецкие патрули обнаружили

разложившиеся трупы, валявшиеся около сухих скважин глубиной от двенадцати до шестнадцати метров. Африканцы вырыли их в тщетных попытках найти воду». Такая вот цивилизация для своих. Так пусть ее свои и облизывают.

В монографии Ж. Котека и П. Ригуло «Век лагерей» (М., 2003) можно найти очень колоритные подробности и об английских концлагерях для буров – профилактических, для мирного населения («Дети умирали сотнями от дизентерии, фурункулеза, пневмонии, кори и коклюша»), и о трудовых подвигах при строительстве железной дороги помилованных остатков гереро: «Крики и брань, удары плетью, изнасилования, полуголодные мужчины и женщины, лежащие вдоль железнодорожных путей тела искалеченных и убитых»; «кожа и мясо летели клочьями»…

Пускай такое творится уже где-то на обочинах и в меньших масштабах, чем это, возможно, бывало у варваров, хоть я в этом и далеко не уверен, но когда такие вещи творят люди образованные, благовоспитанные и законопослушные – лично для меня это в тысячу раз отвратительнее. Так что желающие могут лизать у этой цивилизации все что угодно в обмен на иллюзию причастности к ней, но лично я считаю достойным только обмен равноценными услугами, баш на баш. Вы нам, мы вам. Утром деньги, вечером стулья. Те, кто использует «цивилизованный мир» в качестве орудия личной мести или карьеры, – люди серьезные: бизнес есть бизнес. Жалкими мне кажутся исключительно те, кто прислуживает «цивилизации» бескорыстно, воображая себя ее проводником. Трагическое одиночество неизмеримо более красиво.

Одиночество – очень тяжелая ноша, но возможность говорить правду хотя бы себе самому, никому не подсуживая, – и о богатых, и о бедных, и о чистеньких, и о чумазых, и о хищных, и о травоядных, – называть мерзость мерзостью, а красоту красотой, где бы они ни встретились, и кто бы их ни творил, – это тоже способно распрямлять и воодушевлять.

Мне ли не знать, что отверженцам, лишенным счастья каплею литься с массой (к счастью, далеко не все из нас таковы), требуется экзистенциальная броня тройной толщины и лучше всего – историческая миссия. Миссия посланника цивилизации в стане варваров была бы всем хороша, если бы не требовала такого слоя унизительной лжи, – уж слишком оскорбительна очевидность того, что у цивилизации и собственных посланников выше крыши. И даже в шестерках она нуждается не слишком: хотите – шустрите, не хотите – без вас обойдемся, к нам очередь стоит.

А вот кто или что в нас нуждается – это движение

эстетического сопротивления. Я говорю о новом, эстетическом интернационале, который вменяет своим членам только одно: восхищаться прекрасным всюду, у какого бы народа оно ни встречалось, и брезговать безобразным тоже всюду, никому не делая скидок.

И никогда, даже легким кивком, не поклоняясь успеху.

Чем не миссия?

Направления главного удара

В Германии нашего брата сейчас развелось столько, что почти на каждой крупной станции можно купить двухтетрадочную «Еврейскую газету», к которой недавно добавилась еще и «Еврейская панорама». Мне посчастливилось напасть прямо на первый номер, припасть, так сказать, к истокам. И вот как видят проблему европейского антисемитизма те, кто оказался в самом сердце европейской цивилизации, если только таковое у нее имеется.

Прежде чем окунуться в еврейский мир Европы, я решил на минутку припасть к родным палестинам и включил телевизор. С ангельским простодушием госпожа Меркель сетовала, что за последние месяцы количество преступлений на почве антисемитизма удвоилось, а потому пора за него взяться. Как и чем взяться – об этом не было сказано ни слова, но мы и так знаем, какие бывают административные ресурсы: злить антисемитов совершенно лживыми в их глазах увериениями, что евреи-де хорошие и несчастные, и строже карать посягательства на еврейскую честь и безопасность, показывая тем самым, что правительство с евреями заодно и, стало быть, чтобы до них добраться, необходимо поменять власть.

С государством ясно. А вот как смотрят на эти дела сами евреи? Развернем «Еврейскую панораму». Ди эрште колонка издателя марширт. Радость и чувство удовлетворения д-ра Рафаэля Коренцехера по поводу появления новой, «тем более еврейской» газеты «омрачены невиданной в Германии и в Европе в целом со времен Второй мировой войны и далее растущей враждебностью к еврейской жизни и плохо скрываемыми антиеврейскими предрассудками». Панорама таки да, так себе: широкомасштабная исламистская активность и тотальная связь политического ислама с терроризмом замалчиваются; усилиями «наших» (чьих «наших»? европейские не значит наши) масс-медиа и политиков достигает все новых невиданных размеров основанная на лжи и искажении фактов демонизация и делигитимизация Израиля – единственной подлинной демократии в ближневосточном регионе; ракетные обстрелы Израиля и террористические акты против еврейских учреждений во всем мире, убийства и похищения еврейских граждан у большинства местных СМИ, а также представителей германской и европейской политики почти не вызывают сочувствия к жертвам, но, напротив, большинство комментариев направлены на то, чтобы вызвать сочувствие к преступникам, зачастую исламистам,

и переложить вину на жертв; привычное искажение истории, не замечающее исламизма и концентрирующее вину на Израиле, – за этим скрывается традиционный антисемитизм, который подпитывается исламизмом, а также «левыми» и «зелеными» движениями; и «пусть никого не вводят в заблуждение регулярные алиби-ритуалы памяти жертв холокоста: еврейская жизнь в Европе снова стала уязвимой и менее защищенной».

Могу подтвердить: однажды в Страсбурге мне вздумалось посмотреть на еврейский религиозный праздник. У нас в Петербурге в такие дни в синагогу вход вполне свободный мимо скучающего охранника, но в парламентской столице Европы здание было оцеплено и пробираться приходилось через три кордона с миноискателями под пронизывающими взглядами бесчисленной охраны. На нее, вероятно, и надеется издатель, заканчивающий свою колонку выражением «непоколебимой уверенности», что «либеральный демократический европейский порядок, предусматривающий среди прочего защиту миролюбивого, открытого для интеграции и стоящего на демократических позициях меньшинства, выдержит» – и так далее.

Блажен, кто верует, – тепло ему на свете. Пока однажды не сделается слишком жарко. Мне уже надоело повторять: пессимисты портят людям настроение – оптимисты ввергают их в катастрофы.

Но «Еврейская панорама» разворачивается дальше. Статья Александра Прозора с подзаголовком «Когда же мир, наконец, извлечет уроки (нужные нам или ему? – *А.* М.) из истории?». Обильно цитируется автор нашумевшей книги «Палачи-добровольцы Гитлера: простые немцы и холокост» американский историк Даниэль Гольдхаген, которого оппоненты, и евреи в том числе, упрекают в том, что древность и повсеместность антисемитизма он принимает за его беспричинность. Поскольку люди постоянно путают понятие причины с понятием вины, то признать, что у антисемитизма, как и у всего на свете, есть причины, означало бы дать антисемитам возможность обернуть эти причины в признание виновности самих евреев в своих несчастьях. Чтобы отнять у антисемитов этот аргумент, приходится настаивать на том, что юдофобия не порождается никакими действиями и свойствами евреев, но происходит посредством самозарождения: антисемиты не любят евреев потому, что такова их антисемитская сущность (опиум усыпляет потому, что в нем есть усыпляющая сила). Хотя на самом деле все люди по своей сущности и не антисемиты, и не филосемиты, а эгоисты. Того, от кого они надеются получить какую-то пользу

или защиту, они любят, того, кто вреден или опасен, не любят или даже ненавидят, если опасность в их глазах очень уж велика; если же кто-то в одном отношении полезен, а в другом опасен, он вызывает смешанные чувства.

Еще десять лет назад на берлинской конференции ОБСЕ Гольдхаген разъяснял, что «причин для возрождения антисемитизма много, и в разных странах они различны. Среди них – отмена политических и социальных табу на антисемитские проявления, в результате чего подспудный антисемитизм прорвался наружу; существование в Европе многочисленных мусульманских общин, считающих евреев своими врагами; рост политического влияния правых, а в Германии – еще и недовольство в связи с продолжающимся обсуждением холокоста; использование антисемитами ближневосточного конфликта в качестве инструмента для разжигания предубежденности против евреев; и общая атмосфера вседозволенности в Европе, чьи политические и интеллектуальные лидеры избегают резких высказываний в адрес антисемитизма, а правительства скрывают подлинные масштабы и опасность этого явления и не ведут с ним энергичной борьбы».

Как видим, Гольдхаген, взявшись перечислять причины антисемитизма, не назвал *ни одной.* Он лишь перечислил некоторые социальные группы, им проникнутые, да указал на ослабление барьеров, прежде мешавших ему прорваться наружу, но о том, откуда берется он сам, не было сказано ни слова. А между тем антисемитизм порождается той же самой причиной, что и почти всякая вражда, – конкуренцией. Можно, конечно, выделить столько его разновидностей, сколько существует видов соперничества, – религиозный, политический, экономический, бытовой, – однако главным сегодня я полагаю антисемитизм экзистенциальный, порождаемый конкуренцией грез, которыми каждый народ защищается от совершенно обоснованного чувства бренности и мизерности всего земного (группа культур, объединенная общей экзистенциальной защитой, неписанным соглашением о совместной избранности, и называется цивилизацией). При нынешней глобализации даже самые архаические миры и мирки уже утратили наивную веру, не допускающую мысли о возможности какой-то иной веры, какого-то иного образа жизни, они прекрасно видят, что иноверцы или даже вовсе безбожники преуспевают и наслаждаются, да еще и разрушают их собственный мир – не столько оружием, сколько соблазном. Поэтому для тех, кто проигрывает в конкуренции грез, нет ничего естественнее, чем попытаться уничтожить источник соблазна – ту самую западную цивилизацию.

Но почему первой мишенью оказывается крошечный Израиль? Это наша старая беда – мнимое лидерство. На Ближнем Востоке Израиль представляется авангардом Запада, хотя «иудео-христианский» Запад уже давно открещивается от еврейских авангардистов. И это вовсе не извечный антисемитизм, но просто-напросто извечное желание отделаться от партнера, вовлекающего тебя в неприятности. Израиль, естественно, пытается доказать, что он лишь первый в очереди и что следующей мишенью будет сам Запад, и я с этим совершенно согласен, ибо источником соблазна служит вся западная цивилизация, а собственно Израиль – в наименьшей степени, и ему в этом отношении было бы выгоднее тоже откреститься от Запада, чтобы его ненавидели только как геополитического, но не метафизического соперника. Тем более что и Запад явно желает хоть на время откупиться опасным партнером, а там, глядишь, что-нибудь и рассосется – его желание тоже вполне естественно и тоже старо как мир. Ну а если мы хотим от кого-то отделаться, мы и записываем ему в вину и чрезмерное применение силы, и спекуляцию на своих страданиях: вы, мол, сами устраиваете новый холокост…

Это наглая ложь? Несомненно. Но какой же дурак станет защищать истину, а не собственные интересы! Оттого-то так наивно и выглядят указания того же Гольдхагена «цивилизованному миру»: «Правительства *должны* поднять тревогу… *Любой ценой* защитить еврейское население своих стран… Политические партии *должны* недвусмысленно заявить… Любые антисемитские высказывания политических деятелей *приведут* к их исключению из общественной жизни…» Ведь вам же столько раз недвусмысленно дали понять: мы ничего вам не должны и, как выражается народная мудрость, шкура у нас трещит очень по-разному. Вот мы и будем вести себя по-разному. А если у кого-то хватит глупости (идеализма) и впрямь исключать из партии за антисемитские высказывания – что ж, значит, изгнанникам пора образовывать собственную партию, чему нисколько не препятствует «либеральный демократический европейский порядок».

Однако трескотня продолжается: «Правительства всех европейских стран *должны*… Соответствующее финансирование… Просветительских инициатив… Телепередач, лекций, публикаций и школьных курсов…»

Это чтобы мы всем осточертели окончательно. Как будто слова могут быть опровергнуты словами, неправильные слова правильными! За словами стоят интересы, которые никакими лекциями отменены быть не могут. А интересы европейцев

расходятся с нашими. Во-первых, люди вообще сочувствуют только малым бедкам, от бедствий же чересчур ужасных, а наши именно таковы, они стараются закрыться. Во-вторых, внимание к векам наших истреблений и страданий автоматически требует осуждения собственных предков и осознания того трудновыносимого факта, что справедливость живет только в наших мечтах. А если все-таки признать земную справедливость существующей, то она начинает требовать повышенного внимания к другому народу, чего ему простить тем более нельзя, – опросы Антидиффамационной лиги это и подтверждают.

Если считать антисемитами тех, кто согласен с шестью из одиннадцати стереотипных суждений о евреях (евреи слишком много говорят о холокосте, они более лояльны к Израилю, чем к странам проживания, они имеют слишком большое влияние на мировые финансы, на бизнес, на мировую политику, на правительство США, на СМИ, они ответственны за большую часть войн, они заботятся только о своих соплеменниках и думают, что они лучше других, их ненавидят из-за их поведения), тогда оказывается, что «более четверти жителей планеты испытывают резкую неприязнь к евреям». На Ближнем Востоке и Северной Африке таких оказывается три четверти, а в Палестинской автономии их доля зашкаливает за девяносто процентов (при этом накал антисемитизма нарастает в образованных слоях).

В Восточной Европе юдофобами показала себя примерно треть населения, зато в цивилизованной Западной Европе всего только четверть. Однако для ядра ядреной партии хватит и этого, а прочие в решительный миг снова отвернутся. Тем более что ветер века дует в паруса антисемитов: их взгляды живут и побеждают «в Интернете и массовой молодежной культуре, в частности в спорте».

А. Прозор считает антисионизм маской извечного самоопыляющегося антисемитизма, но, я думаю, это не так, ибо Израиль никому в Европе не конкурент и не настолько несчастен, чтобы требовалось защищать мировую справедливость, подыскивая для него подходящую вину. Как раз обычным людям его сила импонирует, как и всякая сила, если она не угрожает лично им, – это людям благородным, чья экзистенциальная защита строится на чувстве превосходства над быдлом, требуется защищать того, кто в данный миг выглядит слабым, если даже час назад этот слабак перебил сотню их соотечественников: ведь своим сочувствует и быдло. Левые гуманисты тоже не хотят поклоняться успеху, но в эстетический интернационал я бы все равно их не взял, потому что они поклоняются не красоте, а высоте собственного морального облика.

А рядовые люди относятся к Израилю точно так же, как мы сами относились бы к какой-то квартире в нашем подъезде, откуда каждую ночь доносятся вопли и куда каждый день вызывают то полицию, то «скорую». Возможно, в первые пять-шесть лет мы бы еще пытались разобраться, кто там прав, а кто неправ, кто агрессор, а кто жертва, но лет после десяти – пятнадцати нас начала бы раздражать и жертва: «Уладь ты это наконец или свали куда-нибудь! Из-за тебя всему дому покоя нет!» – «Так эти хулиганы после меня за вас возьмутся!» – «Ну и черт с ними, дай нам хотя бы передохнуть от вашей свалки!»

Но жертве-то кажется, что ее правота важна не только для нее самой…

«Три урока для Европы» Марка Гринберга. В брюссельском Еврейском музее убиты четыре человека, но в СМИ это убийство безоружных названо перестрелкой. Убийцу именуют французом, обходя уточнение: алжирского происхождения. Он уже успел повоевать в Сирии и вообще пройти славным путем типичного исламского террориста, но антитеррористические структуры не видели оснований ему препятствовать, пока он наконец не уложил четверых евреев. Препятствовать исламистской пропаганде для европейской Фемиды тем более затруднительно, поскольку это было бы покушением на священную свободу слова. Я, впрочем, тоже не преувеличивал бы весомость слов – они способны лишь концентрировать реально существующие интересы, прежде всего психологические, экзистенциальные. А Марк Гринберг дает Европе такие три наставления: «Во-первых, с антисемитизмом – в первую очередь с исламским, ставшим уже "нормальным" в среде мигрантов-мусульман, – ей следует бороться не на словах, а на деле». Ну и другие два подобной же глубины: мы всегда готовы разъяснять народам, среди которых живем, их подлинные интересы, и они по странной случайности всегда совпадают с нашими. Впрочем, ничего странного – ведь именно мы воплощаем интересы гуманизма и культуры, а они недостойны своих культур.

Эту горькую правду русскому народу в статье «На развалинах цивилизации» говорит Виктор Шендерович. Наши западники, правда, часто оспаривают существование отдельной русской цивилизации, но подзаголовок все равно обращен только к русским: «Мы тешим себя тем, что мы – наследники Толстого и Чехова…»

Опять «мы», хоть бы кто-то сказал: «Я…» «Парфенон русской культуры высится над нами как память о былом величии, к которому мы, здешние, уже не имеем почти никакого отношения. Кстати, и генетически тоже, потому что потомки тех, кто создавал

этот плодородный слой, по преимуществу убиты или рассеяны по белу свету. Потомков убийц по понятным причинам осталось больше».

Что ж, пусть они знают, кто они есть. Только к какому «мы» все-таки причисляет себя Шендерович? К чьим потомкам – убийц или жертв? Мне уже приходилось писать, что в моем собственном семействе разделение на чистых и нечистых совершенно невозможно: пока мамина сестра тянула червонец на Колыме (за мужа-комиссара Каспийской флотилии, революционного матроса, устанавливавшего советскую власть на Кустанайщине), ее брат в составе внутренних войск сначала депортировал ингушей, а потом охотился за литовскими «лесными братьями». А лучший отцовский друг когда-то закрыл в своем местечке синагогу, а после участвовал в «выкачке» хлеба, готовя пресловутый «голодомор» начала тридцатых. А сам отец тогда же мечтал рвануть на Берлин через Польшу, и не его заслуга, что он согрешил одними только помыслами…

Зато уже в качестве ссыльного после воркутинского лагеря он с чистой совестью поучаствовал в депортации поволжских немцев в северный Казахстан и еще успел попользоваться картошкой и дровами, оставшимися от прежних хозяев, покуда и его не отправили за ними следом. А его друг тем временем тянул срок в Дальлаге, переместившись из палачей в жертвы.

Боюсь, счастливчиков, чьи близкие оказались целиком и полностью незапятнанными, в нашей стране не так уж много, – именно поэтому я вижу в истории не мелодраму, в которой беспримесное Зло сражается с таким же беспримесным Добром, но грандиозную трагедию, в которой зло рождается из превышения необходимой самообороны какого-то частного добра. Однако трагический взгляд на мир благородным людям не по шерсти – что же тогда останется от их незапятнанности?

Евгенические экзерсисы я бы на месте Шендеровича тоже оставил расистам, верующим в «генофонд». Каждый великий писатель порождается неповторимым сочетанием бесконечного количества биологических и социальных факторов, которые, однажды рассыпавшись, никогда более не соберутся снова, – то-то же потомки Толстого и Пушкина ничем себя не оказали. Даже и в более простых профессиях социальный отбор бьет не по генам, а по социальной выявленное™: если расстрелять генерала, с ним вовсе не исчезнет «ген генеральства» за отсутствием такового – наравне с генами профессорства и лауреатства.

А вот желание Шендеровича оценивать цивилизации по их способности творить красоту мне более чем по душе. Однако в устав эстетического интернационала я бы непременно включил

такой пункт: никогда не говорить правду избирательно. Бросил русским в лицо, что они недостойны Толстого и Чехова, так тут же добавь, что и англичане недостойны Ньютона и Шекспира, итальянцы недостойны Данте и Микеланджело, немцы – Шиллера и Бетховена, а американцы – Фолкнера и Гершвина. Уж замахиваться, так на всю цивилизацию разом! А селективное правосудие может навести на несправедливое подозрение, что мы имеем дело не с эстетическим сопротивлением, но лишь с политиканством, со сведением счетов, маскирующимся высокими словами. Ведь нас могут даже заподозрить в зависти по отношению к хозяевам какого ни есть, но их собственного национального дома, где нам не нашлось того места, на которое мы претендуем…

Способствуют ли подобные маленькие хитрости росту антисемитизма в России? Очень незначительно, они слишком изысканны, чтобы быть замеченными массой. Подобными утонченными колкостями евреи не столько наживают врагов, сколько теряют друзей в интеллигентной среде. Реакцией которой будет не злоба, но лишь отчуждение, отказ в праве говорить от их имени «мы».

Однако соблазн неугодным резать правду-матку, а угодных обходить, по-видимому, непреодолим, как и всякое действие, в результате которого прибыль получаешь ты один, а убытки ложатся на всех. Это очень выгодно. Только некрасиво.

Все межнациональные конфликты – трагические, в них можно безоговорочно становиться на чью-то сторону только по страсти, пытаясь же имитировать объективность, мы обречены уподобиться антисемитам-теоретикам, приписывающим нам какие-то неизменные свойства. Статья Ильи Милыитейна с подзаголовком «Россия теряет Украину» (я-то думал, что потерять можно только то, что имел): Путин готовит России катастрофу «по схемам и образцам всех прежних катастроф, которые так славно укладываются в рамки *непоправимой и неизменной национальной традиции*» (курсив, естественно, мой. – *А.* М.). Традиции возникают как ответ на какие-то вызовы, и евреи показали, что вполне могут быть и прекрасными солдатами, и прекрасными земледельцами, почему же русские должны оставаться в плену какой-то традиции? Проповедовать подобные расистские принципы – означает ли бороться с антисемитизмом?

«Собственно, государство определенного типа (как я понимаю, фашистского, нас ведь тоже так прессовали и прессуют: сионизм – это фашизм. – *А.* М.) тогда и возникает, когда в нем клокочут старые обиды и унижения, а страны, его окружающие, до поры до времени с равнодушием или даже некоторым

пониманием наблюдают процесс становления». К счастью, все происходит ровно наоборот: когда окружающие страны относятся с пониманием, как это было с Германией после Второй мировой войны, они начинают ее с двух сторон ублажать (в корыстных, разумеется, целях), тогда она и превращается в образцовое демократическое государство – агрессия ВСЕГДА реакция на угрозу. Когда же народ начинают воспитывать мерами строгости, а он считает себя благодетелем, открывшим вчерашним соперникам мирные объятья и раздавшим все геополитическое наследие предков, тогда в нем начинает нарастать горькое подозрение, что в этом мире считаются исключительно с силой и у него есть лишь два союзника – армия и флот, – ровно к этому выводу когда-то пришел и Жаботинский: нас может защитить только железная стена.

Советский Союз развалили не угрозы – они его создали, – но соблазны, сказка о единой цивилизации: за столом никто у них не лишний. Угрозы же снова подталкивают к его возрождению неизмеримо сильнее, чем любая агитация сталинистов и националистов, – факты куда весомее слов. А прозрачные призывы к странам, его окружающим, отказаться от равнодушия и понимания могут навести россиян, самых параноидальных (в наших глазах) или самых проницательных (в их собственных), даже на опасную мысль, высказанную выше Львом Поляковым, об эмигрантах, «настроенных, как и все эмигранты, выступать в роли политических подстрекателей».

К счастью, однако, далеко не всем эмигрантам подстрекательская роль по душе. «Еврейское ли дело – поддерживать протестное движение на Украине?» – спрашивает раввина Пинхаса Розенфельда «Еврейская панорама», и рав Розенфельд отвечает не словом, но делом: «Недавно я был проездом в Киеве и первым делом пошел на майдан. Реакцией большинства моих русскоязычных израильских знакомых на этот поступок было возмущение, в котором мотив "нееврейского дела" был одним из ведущих».

Да, в Израиле лучше понимают, что почем: тем, кто борется за выживание своего народа, не до понтов, это тем, кто ни за что не отвечает, ничего другого для самоуважения не остается. Но наш-то раввин устремился на майдан не в заботе о земном и национальном, но исключительно по воле Всевышнего – раввину ли ее не знать: поскольку, при всей «накипи (часто антисемитской)», «тысячи людей вывела на майдан потребность в справедливости», то «поддержать это стремление – еврейское дело, потому что мы – потомки пророков, которые должны нести божественную правду и мораль в этот мир».

Поскольку Справедливость – самый красивый из фиговых вееров, которыми прикрываются групповые интересы, то на земле не сыскать такой уличной драки или коммунальной склоки, в которой бы все стороны не подкрепляли себя идеей справедливости. Но на небе-то вроде бы размещается кое-что повыше, ведь греза о Божественном законе для того и создавалась, чтобы обесценить жестокость и безобразие земных свалок? Христианство стремится обесценить земные призы, за которые идет грызня: что высоко перед людьми, то мерзость перед Богом, иудаизм же, напротив, не различает мирского и религиозного, поэтому верующий еврей не может защищать либеральное устройство, в котором нарушаются законы Торы, – обеспечиваются, скажем, права гомосексуалистов. Еврейский народ веками считал себя избранным для того, чтобы нести в мир свет именно *религиозной* истины, а потому всякая борьба за светское государство, в котором вера объявляется личным делом каждого, является прямой изменой заветам пророков и восстанием против Божественной воли. Когда в 1848 году польские повстанцы предложили вместе выступить против России – в том числе и за гражданские права евреев, – рабби Менахем-Мендл из Коцка ответил, что Творец направил их в изгнание именно для того, чтобы они ощущали себя *пришельцами.* И ждали Мессию, выполняя сотни правил, абсолютно нелепых и деспотичных для либерального секулярного мышления.

Но людское хитроумие всегда умело ставить высокие идеи на службу своим страстям и страстишкам. Рабби Пинхасу показалось мало метафизических софизмов – он подкрепляет их вполне земной демагогией: стереотип-де «нееврейского дела» естественен – страх погрома у нас в генах; «погром и сегодня теоретически возможен, но ситуация принципиально изменилась – еврейский народ вернулся на сцену истории, обрел свое государство. Поэтому не надо моделировать ситуацию по старым лекалам и строить апокалиптические прогнозы». Прямо хочется протереть глаза: да чем же еврейское государство поможет жертвам погромов, которые развернутся в другой стране? Что-нибудь аннексирует ради защиты соотечественников? Когда нашего брата не брали на ответственную и престижную работу, чинили препятствия на всех творческих поприщах от литературы до теоретической физики, нам еще и ставили в вину всякий решительный жест Израиля – что теперь делается прежде всего в «цивилизованном мире». Хотя Израиль уж точно занят исключительно собственным выживанием и развитием (всем бы отверженцам так), он старается не ссориться ни с одним из сильных игроков и не демонстрирует ни малейших мессианских

поползновений, к которым нас призывает гость «Еврейской панорамы». И какие такие требуются «гены», чтобы понять, что если ты становишься на сторону одного из соперников, то автоматически превращаешься во врага второго, особенно если он до этого рассчитывал на твой хотя бы уж нейтралитет. Да и к чему такие крайности – прямо-таки погромы, вполне достаточно постоянной демонстрации недоверия и отчуждения, чтобы снова наплодить тысячи уязвленных невротиков, урожай которых мы до сих пор еще пожинаем: они ведь по-прежнему хотят плодиться и размножаться, иначе им жить совсем уж обидно и одиноко. А так посветишься на авансцене с настоящими вожаками, отпустишь презрительную реплику по адресу народа-обидчика и сразу же вырастешь в собственных (и более ничьих) глазах до масштабов своего противника (басня «Слон и моська» к этой ситуации не имеет ни малейшего отношения).

Чтобы раскусить любую из этих хитростей, надо лишь хорошенько усвоить, что наш брат в основном борется не за презренный металл и не за униженных и оскорбленных, которые, чуть только погладят нас не по шерсти, тут же превращаются в быдло, но за собственную экзистенциальную защиту. А где еще ее взять, как не в борьбе за Справедливость и Цивилизацию, если нет собственных выдающихся достижений! Поэтому все рациональные аргументы отскакивают от этой брони как от стенки горох: да, за мои понты будут расплачиваться другие, ну так и что, пусть тоже пыжатся и ерепенятся! Да, повышенное присутствие евреев не укрепляет, но лишь дискредитирует любое общественное движение, ну так и что с того, если я получаю возможность покрасоваться – благородством, мудростью, а главное – красотой, красотой, красотой! Только она и способна заменить слияние с бессмертной массой.

Да, да, да, на кону стоит не презренная польза, а КРАСОТА. Но что, если борцам за собственную красоту в ущерб чужой безопасности попытаться открыть глаза на то, что они НЕКРАСИВЫ, что *любовь без взаимности может быть только жалкой?*

Вторая «Еврейская панорама» уже не открывает ничего нового. Та же «Колонка издателя»: «Оборонительная война, которую ведет Израиль, дает прекрасную возможность и лицемерное алиби для беззастенчивых проявлений и без того присутствующего в Германии и в Европе в целом и усилившегося в последнее время предубеждения по отношению к евреям. Левые ненавистники Израиля и приверженцы террора, объединившиеся в отвратительный альянс с исламистскими друзьями ХАМАСа,

призывающего убивать евреев, и "вечно вчерашней" антисемитской нечистью различных оттенков, провели во многих городах Германии и Европы марши, в ходе которых на глазах у полиции, призванной защищать законы и конституционный порядок, призывали к насилию по отношению к евреям и жгли израильские флаги».

На этом фоне сегодняшняя Россия по отношению к евреям опять-таки выглядит царством толерантности, вновь приводя на память все ту же цитату из Брокгауза и Ефрона: «Преследуемые Е. бежали на восток, в новые славянские государства, где царствовала веротерпимость. Здесь они нашли убежище и достигли известного благосостояния». Так, может быть, не стоит терять это убежище ради фантомов «цивилизованного мира»? Наши интересы с этим миром явно расходятся. Однако д-р Коренцехер по-прежнему призывает к соблюдению принципов правового государства «в интересах нашего общего мирного будущего». Да с чего вы взяли, что оно у нас общее? У них оно свое, а у нас свое, они всегда защищали собственную шкуру, а мы – мы защищаем иллюзию, что наша шкура им так же дорога, как и своя, и ради этого готовы ссориться с соседями, с которыми нас не разделяет ничего, кроме слабеющей исторической памяти большинства и апломба крошечного меньшинства.

В «Еврейской панораме» на первых же страницах бросаются в глаза подзаголовки: «Европейские организации скрывают статистику антисемитизма», «Еврейский погром в Париже, антиизраильский шабаш во Франкфурте» («нападавшие были вооружены арматурой, ножами и кастетами», «полиция, как правило, безучастно взирала на распоясавшихся молодчиков»). Еще: избит вывесивший израильский флаг житель шведского города Мальме, треть населения которого составляют мусульмане. Еще: в комитет Европарламента по гражданским свободам и прочим радостям цивилизации вошел бывший глава неонацистской партии Германии Удо Фойгт, известный возвеличиванием войск ваффен-СС и отрицанием холокоста. И все эти мерзости работают против нас, ибо мы снова ставим мир перед выбором – или ввязываться из-за нас в борьбу с могущественным и на глазах усиливающимся противником, или сдать нас, сохранив лицо, для чего всего-то и требуется обвинить в наших бедах нас самих.

И перед наступлением этого всеевропейского потопа не благоразумнее ли искать союзников в любых соседях, чьи интересы пока что не требуют сбрасывать нас с парохода современности? Однако нет – в чем, в чем, но в позорном благоразумии нас не упрекнуть, нам, болонкам, во что бы то ни

стало хочется участвовать в борьбе тигров и львов, чтобы одних дергать за усы, а к могучему рыку других присоединять и наш голосок. Хотя, как известно, голос единицы тоньше писка, себя самого ты можешь ощущать громовержцем столь же могущественным, как те, кого обличаешь или защищаешь. Антон Гейн принимает под свое могучее покровительство Украину, за которую, кроме него, вступиться некому: «В основе агрессии личности чаще всего лежат ревность и зависть – близкие по природе чувства. Воспитанные в вековых рабских традициях, россияне не в силах признать за украинцами права на независимость».

Я не стану задавать наивные вопросы, в каких традициях воспитывались украинцы, проживавшие в той же самой империи (о вековой забитости евреев упоминать совсем уж неприлично), или по какой же тогда причине россияне в 91-м практически без сопротивления признали независимость Украины; не стану и ссылаться на всех без исключения моих русских друзей, которые спят и видят, как бы подешевле выбраться из украинского кошмара, и пусть украинцы будут счастливы в любых объятиях – слова ничего не значат, люди всегда будут верить в то, что им психологически выгодно. Но подавляющему большинству, которому выгодно знать правду, могу сообщить: *ни один* из моих русских друзей не питает к украинцам, исключая, разумеется, радикалов, которых они не любят и у себя дома, ни малейших враждебных чувств, их раздражение обращено исключительно на западных лидеров, и причина его – отнюдь не привычка к покорности, но, напротив, уязвленная гордость. Которая и погубила Советский Союз – людям не нравилось, что с ними обращаются как с пешками. Теперь же им кажется, что в них видит пешки Запад с Америкой во главе, а поскольку самое дорогое у каждого народа – это национальная гордость, они сегодня и обращают на Америку ровно те же чувства, которые вчера обращали на свое правительство. Разумеется, они неправы, поскольку в этом мире заблуждаются все, кроме нас, однако по глупости и упрямству все равно предпочитают жить своими, а не нашими сказками и любить себя больше, чем нас.

Увы, все мы только люди и действуем по одним и тем же алгоритмам, и даже к враждебным чувствам г-на Гейна по отношению к россиянам полностью применимы его же мудрые слова (все наши принципы следует прежде всего применять к самим себе): в основе агрессии личности чаще всего лежат ревность и зависть. Наши достижения порождают не только завистников, но и в неизмеримо большем числе друзей и почитателей, и только наша враждебность не плодит ничего,

кроме врагов. Но что поделаешь, слабые всегда ненавидят сильных за исключением тех случаев, когда надеются на их защиту, – эта ни на чем не основанная надежда и есть источник любви к Западу.

Однако перед лицом поднимающегося исламистского цунами самое время забыть о понтах, обидах и грезах и подумать о том, на каком Арарате пересидеть новый потоп. Чтобы спасти не только еврейские жизни, но и дарования. Которые, как ни странно, в России пробиваются не в меньшем количестве, чем в более чистых и вежливых странах. И желательно, чтобы таких Араратов было побольше, пусть даже их хозяевами будут люди не столь мудрые и благородные, как наши духовные вожди: ведь и самые благовоспитанные люди все равно руководствуются своими, а не нашими интересами. Александр Кушнер, не только прекрасный поэт, но и на редкость честный человек, об этом уже писал:

Когда б я родился в Германии в том же году,
Когда я родился, в любой европейской стране:
Во Франции, в Австрии, в Польше, – давно бы в аду
Я газовом сгинул, сгорел бы, как щепка в огне,
Но мне повезло – я родился в России, такой,
Сякой, возмутительной, сладко не жившей ни дня,
Бесстыдной, бесправной, замученной, полунагой,
Кромешной – и выжить был все-таки шанс у меня.

Нет-нет, тех, для кого важнее понтов и обид ничего нет, поэзией не прошибешь, – выжил ты, не выжил – твои проблемы, – это нам пора освободиться от их гипноза и не служить массовкой клокочущим от уязвленного тщеславия позерам.

То, что я пишу, может быть направлено против евреев? Напротив, я, можно сказать, выступаю в их защиту от самых благородных и мудрых их соотечественников. Только не пойму, почему в наши духовные вожди постоянно выходят люди, всего только умеренно неглупые и умеренно образованные?

Виктор Шендерович и во второй «Еврейской панораме» сияет звездой. Его «Капли желчи» целиком заполняют газетную полосу. Капля первая. В сибирской гостинице милая женщина на просьбу чего-нибудь вроде валидольчика предложила аскорбиновой кислоты: «Хуже не будет. Ну и молитву хорошую почитать». Глупость? Глупость. (Наивность, если женщина вам симпатична.) Но вывод Шендерович делает куда более масштабный: «По-моему, это как-то связано между собой – вера в молитву и отсутствие валидола в аптечке». И вот этого-то никогда не следует делать –

подкреплять личную досаду универсальными принципами, ибо они неизбежно ударят и по своим. Я уж не стану напоминать о русской пословице «На Бога надейся, да и сам не плошай», это экзотика (и какой же умник, отправляясь в путешествие, позаботится прихватить нужное лекарство!). Но нужно очень усердно отводить глаза, чтобы не знать, что вера в силу молитвы чрезвычайно распространена в Израиле и Северной Америке, где с лекарствами полный порядок. Менее известно, что христианство захватывает самые просвещенные группы населения в Южной Корее, куда современную медицину принесли христианские миссионеры. О том, что наука зарождалась прежде всего в лоне церкви, когда светское общество увлекалось только войнами да пирами, знать не обязательно – вполне можно прожить и познаниями, почерпнутыми из советского «научного» атеизма. Но в этом случае и следует по-простому, по-рабочему кропить желчью все, что тебя раздражает, и не брать на себя роль объективного мыслителя. Мы можем достичь хоть какого-то подобия объективности, если только все свои принципы будем обращать прежде всего против самих себя. Тогда мы поневоле убедимся, что главная вина наших противников заключается в том, что они хотят для себя того же, чего мы хотим для себя, – они все подтасовывают в свою пользу, а мы в свою.

Всякое мышление есть подтасовка, и хоть немного ослабить психологическую защиту от неприятной правды можно только старательным подтасовыванием в пользу того, что тебе не нравится. Мне, например, ужасно не нравится то, что я говорю, – именно поэтому я и решился наконец все это высказать.

А мог бы жизнь просвистать Шендеровичем, хотя бы для себя самого: издевайся себе над чужой глупостью, а в сторону своей и своих не бросай даже косого взгляда – и можешь поплевывать желчью на неугодную тебе часть суши с высоты совершенства, собственного и своих, кои, полагая тебя мудрецом и пророком, который в противоположность пророкам библейским никогда не гладит против шерсти, тоже соберутся под твой зонтик, защищающий от горькой правды. Подобной любви никогда не сыскать какому-нибудь Свифту или Марку Твену, выкладывающему правду-матку всему человеческому роду, не размениваясь на национальные мелочи.

Согласен, по стопам Свифта и Марка Твена идти очень нелегко, но зато уж красиво так красиво.

Однако двинемся по следу Шендеровича. Капля вторая. Маршрутка, «Вести-ФМ» (вероятно, радиоканал), проклятия по адресу Порошенко, продавшего славянское первородство за членство в ЕС и прочие чечевичные бренности. И Шендерович тут

же пускает в ход свой всесокрушающий аналитический таран: уот из зе рашен фо – «славянское первородство»? Чем оно успело запомниться украинцам – далее список общеизвестных мерзостей эпохи Януковича (который, впрочем, можно длить примерами всех стран и эпох). Я не стану задавать наивный вопрос: «Уай ин инглиш?» – такой язык и такое произношение и подобают миссионеру Цивилизации в варварской стране, я отвечу на языке Пастернака и Ландау: славянское первородство – это греза, воодушевляющая сказка, а ни одна греза не может выдержать проверки реальностью, ни греза Демократия, ни греза Единое Человечество, ни греза Справедливость, ни греза Международное Право, ни… Однако остановлюсь, чтобы не подумали, что я способен принять столкновение интересов за столкновение знаний. Но задуматься о плюсах и минусах сказки о всеславянском единстве, если бы славянские народы в нее каким-то чудом уверовали, некоторый смысл есть.

Плюсы: эта сказка была бы способна смягчить их взаимное недоверие и даже ожесточение; общеславянское объединение могло бы выстроить более прочный заслон против поднимающегося исламизма; такое объединение ослабило бы юдофобию, избавив евреев от необходимости выбирать между враждующими соперниками, и вообще антисемитизм – болезнь испуганных, а могучему союзу славянских наций даже и евреи были бы нипочем. Минусы: если бы одни славянские народы приняли эту грезу близко к сердцу, а другие видели в ней только орудие подчинения слабых сильным, то она вызвала бы у одних такой страх, а у других такую обиду…

Сегодня мы, похоже, имеем дело именно со второй ситуацией, но, так или иначе, золото человеческих фантазий допустимо поверять желчью, только начиная с себя и своих сторонников, и чем более они тебе дороги, тем более скрупулезно. Чтобы убедиться, что такого анализа не выдержат никакие человеческие убеждения, – всякая наша прекрасная Дульсинея есть не более чем скотница Альдонса. Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья, когда-то провозгласил желчный герой моей «Исповеди еврея», она же «Изгнание из Эдема», – сегодня было бы самое время провозгласить, что цивилизацию создает объединенное сверхвранье. И пусть его обслуживают те, кого обслуживает оно.

Капля третья, Шендерович снова общается с народом в транспорте. Московский «бомбила» доказывает знаменитому пассажиру, что всякий клочок земли от Кенигсберга до Курил, куда когда-либо ступала нога российского солдата, навсегда принадлежит России, но этот закон не распространяется на ноги

немецких и монгольских солдат, а по существу же в мире царит право сильного. Однако «люди с фантазией», «всмотревшись в прошлое, в состояний представить себе будущее. Они знают, как гибнут царства – великие царства, не нашему чета»: «самый легкий способ стронуть этот оползень – собственная агрессия, делающая ненужной бумажкой карту мира». Далее звенят примеры, из которых явствует, что Рим подписал себе приговор триумфальным покорением Галлии, Наполеон – покорением Италии, Гитлер – покорением Франции…

Подразумевается, тихие и скромные живут вечно и благоденствуют. Шендерович, как и его оппонент, прекращает применение собственного принципа там, где он начинает работать против него: Британская империя подписала себе приговор, покорив Индию и Северную Америку, Франция – ступив в Индокитай и Северную Африку, Соединенные Штаты Америки обрекли себя на гибель, отправив первых добровольцев в мексиканский Техас, поскольку Мексика еще раньше погубила себя, посягнув на индейские территории. С этой логикой невозможно не согласиться: ничто не вечно под луной, и племя латинов уже подписало Риму смертный приговор, только-только аннексировав Лаций, равно как папа с мамой подписали мне приговор в момент моего зачатия. Правда, без этого не было бы ни Римской империи, ни пишущего эти строки, но это мелочи, конец всему делу венец – кто не родился, тому и умирать не придется. Не стоит омрачать нравоучительную схему напоминаниями о том, что аннексированные Римом народы и царства исчезли еще намного раньше. «Карфаген, – пишет Википедия, – был полностью разрушен, из 500 000 населения 50 000 (согласно сообщению Орозия, *55* 000) были взяты в плен и стали рабами. Литература Карфагена была уничтожена, за исключением трактата о сельском хозяйстве, написанного Магоном. На территории Карфагена была создана римская провинция, управлявшаяся наместником из Утики». Еврейское государство тоже было разорено, но мы через две тысячи лет свое все-таки взяли, хотя наши враги утверждают, что взяли не свое, а чужое, поскольку на земле нет ни одной территории, которая пребывала бы в постоянном, а не во временном владении. Хуже того, мыслители никак не менее серьезные, чем Шендерович, смеют утверждать, что Древний Рим погубили вовсе не завоевания, а, напротив, вытеснение завоевательного духа духом потребительским…

Знаменитый Хантингтон заходит еще ближе: «Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей, ценностей или религии (в которую было обращено лишь небольшое количество

представителей других цивилизаций), но, скорее, превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт, жители не-Запада никогда этого не забудут».

Однако не будем предоставлять трибуну врагу. Не следует, в частности, окропляя неприятеля желчью, ссылаться на какие-то общие принципы – они непременно ударят по своим, нужно не произносить вслух, но про себя твердо знать: мои враги виноваты уж тем, что наши интересы расходятся.

Капля четвертая. *Путинрастлил* Россию. «Она – его, пока у него есть силы (она любит силу) и деньги на водку и побрякушки». Крепко сказано. Но что, в Израиле, в США любят слабых лидеров? Силу не любят только те, кто опасается, что она обратится против них. И я, признаться, не вижу особой разницы между путинской и беспутинской Россией. Люди изменились ровно в той степени, в какой их изменил *собственный* опыт, повлиять на который ни Путин, ни Шендерович не имели ни малейшей возможности. Люди убедились, что мир, от радостей и гадостей которого они были отделены железным занавесом, а потому могли сочинять о нем любые сказки, гораздо более жесток и циничен, чем им грезилось, – вот они и повзрослели. Кто-то сам сделался жестоким и циничным, а кто-то, наоборот, более идеалистичным, поскольку потребовалось противостоять несравненно более мощным соблазнам. Люди менее интеллигентные были разочарованы меньше, потому что они всегда были ближе к грубым основам жизни и имели меньше возможностей предаваться грезам. А теперь они еще больше сошлись во мнениях с таким светочем европейской цивилизации, как Иоганн Вольфганг фон Гете: лучше несправедливость, чем беспорядок, кто где сидит, пусть там и сидит, сами же они, как никому никогда не служили, так и теперь не служат, а занимаются собственными делами – из того, что они не хотят служить нам, вовсе не следует, что они служат кому-то другому. К начальству любого уровня они не питают ни любви, ни ненависти, поскольку не претендуют на его место, зато либеральным соловьям они верить перестали окончательно. Не из-за «вековых традиций», а из-за собственного опыта, хотя они и раньше чувствовали ту обидную для нашего брата истину, к которой ценой горького опыта пришел Зощенко: мир устроен проще, обиднее и не для интеллигентных людей.

Стоит в глазах немолодой, совершенно местечкового вида еврей на паперти Петрикирхе, где в конце восьмидесятых по вечерам собирались интеллектуалы дискутировать о демократии. Ответ, впрочем, и так был известен: все распустить. Армию, национальные республики… Витии гремели, а седенький еврей

искательно заглядывал в глаза то одному, то другому и робко спрашивал: «А не будут друг друга цапать?»

Видно, изучал жизнь он не в беседах с «бомбилами» и не в салонах умников, чья проницательность целиком исчерпывается ироническим выражением лица.

Капля пятая. У Пушкина в «Станционном смотрителе» герой целуется с несовершеннолетней Авдотьей Выриной, – чем не пропаганда педофилии, издевается над российскими законодателями Шендерович. И приводит из Пушкина много чего другого. С подлинным верного. Но если мы решим отменить все законы, под которые подпадают слова и действия Пушкина, то прежде всего не только придется признать законным употребление слова «жид», но и научиться снисходительно относиться к погромам: «В походе, например, придешь в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде». Нам придется также видеть в евреях пресловутую пятую колонну: «Я и принял его за жида, и неразлучные понятия жида и шпиона произвели во мне обыкновенное действие».

Этого ли желал бы Шендерович? А презрение Пушкина к парламентаризму и свободе слова? «Я не ропщу о том, что отказали боги // Мне в сладкой участи оспоривать налоги // Или мешать царям друг с другом воевать; // И мало горя мне, свободно ли печать // Морочит олухов, иль чуткая цензура // В журнальных замыслах стесняет балагура». Или: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort)… Такова картина Американских штатов, недавно выставленная перед нами…» – нет, кончаю, страшно перечесть.

Еще одна песня еврейского гостя – беседа с главой Ваада Украины Иосифом Зисельсом, обрамляющая его фото на майдане в соседстве с Яценюком и звездно-полосатым флагом (Ваад, если кто не знает, – ассоциация еврейских организаций и общин). Интервьюер Михаил Гольд задает более чем разумный вопрос: «Кстати, именно тем, что евреи всегда "в каждой бочке затычка" и постоянно лезут в "нееврейское" дело, стремясь осчастливить другие народы, сторонники "позитивного нейтралитета" и мотивируют свою аморфную позицию. Мол, хватит нам евреев-революционеров, из-за которых весь народ огребает по полной».

Капля яда все равно подпущена: *аморфную позицию…* На самом деле эта позиция не только рациональная, но и единственно достойная – не примазываться, не шестерить ради

тех, кому ты в лучшем случае безразличен. И реб Иосиф возвращает подачу сторицей: «В XIX веке по Европе прокатилась волна буржуазно-демократических и национально освободительных революций. И во всех евреи принимали участие. Кто из них за это поплатился?» Из них-то, может, и никто, поплатились другие шесть миллионов. Ради возможности помелькать рядом с настоящими лидерами реб Иосиф не желает видеть очевиднейшей правды. «Как была связана активность евреев в социал-демократическом движении с петлюровскими погромами? Никак». Но с чего же тогда начались погромы? Просто бандиты начали убивать наиболее беззащитных. Но почему же они тогда не стали убивать, скажем, обитателей сиротских домов, те были еще более беззащитны? И вообще бандиты убивают не ради удовольствия, но ради грабежа, а есть куча примеров, когда банды вырезали целые местечки, не тронув их имущества, – впрочем, все это шановный пан Зисельс наверняка знает не хуже моего, а отрицает потому, что так ему выгодно: как же можно отказаться от иллюзии, что и ты творишь историю, и мы пахали! «Проблема не в поддержке той или иной власти, но в цивилизационном выборе» – как будто наше место в той или иной цивилизации зависит от нас, а не от ее хозяев: чем дольше ты будешь царапаться у них под дверью, тем больше они будут тебя презирать.

Однако шановный реб Иосиф сочиняет воодушевляющие сказки и от лица хозяев: «На наших глазах рождается миф о том, что украинцы отстояли свою независимость и их ближайшими союзниками в этой борьбе были евреи». Согласен, эта сказка была бы очень выгодна для евреев, но совершенно не понимаю, какую пользу из нее могут извлечь украинцы. Национальные сказки создаются ради собственного, а не чужого возвеличивания, и я совершенно не понимаю, во имя чего украинцы станут делить свой пьедестал с евреями. Общие сказки могут возникать в империях, но не в национальных государствах, которые для того и создаются, чтобы ни с кем не делить свое величие, в национальных государствах победитель получает все. И, случись новый Всемирный потоп, места в ковчеге зарезервирует только для своих. Потому-то чужакам и следует беречь каждый Арарат, где их не трогают, покуда не видят в них прислужников, а то еще и тайных руководителей своих недругов (как будто хоть кто-то может хоть кем-то руководить!). Но я по-прежнему не о прагматике, я о красоте, за которую и ведется борьба. Мне кажется, что с достоинством нести свое одиночество, не пристраиваться к чужому, сколь угодно совершенному строю, где тебя не хотят, и не мстить счастливцам, которым по праву

рождения полагается место в строю, пусть даже сколь угодно несовершенном, – мне кажется, что именно это самая красивая если и не позиция, то хотя бы поза – делать вид, что ты выше того, что тебе недоступно. Все лучше амплуа влюбленного свинопаса, изображающего принца.

Итак, подытоживая, можно выделить в «Еврейской панораме» два направления главного удара – *плакаться на то, что евреев в Европе не защищают, и стараться поссорить их со страной, где бы они могли найти убежище.*

И почему «эта страна» никак не выпадет из еврейской панорамы, развернутой, казалось бы, на всю планету с макушки цивилизованного мира? Почему, кроме «этой страны», туда вообще почти ничего не попадает? Стоило ли бежать от ее мерзостей, чтобы до конца дней только ими и питаться? Почему не отрясти ее прах и не предаться радостям цивилизации – вот же она, за окном? Да, видно, не так уж они радостны, столы, накрытые для своих.

Самозащита без оружия

Я ни секунды не рассчитываю в чем-то убедить кого-то из тех, у кого есть личные причины сеять вражду, я надеюсь разве что лишить их философского и эстетического прикрытия. Чтобы им удавалось морочить только тех, кто сам обманываться рад, а те, кто не рад, могли бы освободиться от их морока и делать то, к чему стремится их собственная душа: дружить – так по своей охоте, враждовать – так тоже по своей охоте, не позволять собою манипулировать ни счастливчикам, ни лузерам.

«Еврейская газета», № 7, 2014, Александр Браиловский: «Не лучше ль на себя оборотиться…» Призыв всегда уместный, однако оборачивается Браиловский опять-таки на Россию, а не на себя, выпускника московского Литературного института, переводчика Нодара Думбадзе, Джемала Карчхадзе, Резо Чеишвили, Джемала Топуридзе. С 1993 года он живет во Франции, и его переезд в цивилизованный мир, разумеется, никак не связан с тем низким обстоятельством, что проклятая империя перестала субсидировать переводы «национальных» авторов, а вожделенному рынку и свои-то не нужны: серьезная литература во все времена поддерживалась и продвигалась аристократией, но никак не демократией. Поэтому Браиловский старается убедить и нас, что исключительно по принципиальным мотивам отказался от экзистенциальной защиты, даруемой принадлежностью к культурной элите, и выбрал профессию экскурсовода, чтобы водить – кого, россиян? не французов же? – по историческим и «литературным» местам Парижа, к которым сам он не имеет ни малейшего отношения даже в самых смелых фантазиях.

Впрочем, в фантазиях нам нет преград ни в море, ни на суше – все мы вышли из мольеровского камзола. Да, всякое мышление – подтасовка, но безмятежно насладиться ее результатами можно лишь тогда, когда удается навязать ее другим, внушить хотя бы еще и товарищам по счастью, что переезд из страны, где были востребованы твои литературные дарования, в страну, где они на фиг никому не нужны, – что это было «самым правильным поступком в моей жизни». Разумеется, всякий необратимый поступок нужно считать правильным, всякий утраченный виноград зеленым, а всякий народ, среди которого тебе не нашлось устраивающего тебя места, недостойным тебя. Не бывает так, чтобы отвергнувшая нас женщина обладала умом и хорошим вкусом, и «не бывает так, чтобы жизнь в стране была нормально налажена, а народ при этом был ленивый, злобный и подлый. Но не бывает и так, чтобы народ был умный, работящий, добрый и

справедливый, а жизнь в стране, где этот замечательный народ обитает, была тяжелой, грязной и невыносимой». Далее везде – Иван Грозный, плети и шпицрутены, Обломов и Сталин, все жевано-пережевано не тысячу и не сто тысяч раз, однако истина от пережевывания если даже и тускнеет, то не перестает быть истиной: российским ужасам и безобразиям действительно несть числа. И в зависимости от того, какая позиция тебе приятнее, можно занять по отношению к русскому народу как прокурорскую, так и адвокатскую позицию. Адвокатская сторона считает все эти ужасы и безобразия несчастьем русского народа, а прокурорская настаивает на том, что он сам и является причиной своих несчастий.

Что ж, требовательное отношение к народу и человеку штука хорошая, возможно, и для самого Браиловского было бы полезно признать, что причиной своего превращения из переводчика в экскурсовода был исключительно он сам, а исторические обстоятельства в этом никакой роли не сыграли. Это было бы самокритично, только вряд ли правильно, поскольку ни одно явление не может быть причиной самого себя. Браиловский задает намеренно нелепые вопросы: что помешало России создать у себя «человеческий образ жизни», то есть такой, как у пяти процентов счастливчиков, – просторы, климат, евреи, кавказцы? Обходя только один вполне очевидный ответ: соседи. Мы сами в разном окружении бываем разными, равно как и оно с нами. Мы все воспитываем друг друга. Римляне воспитывали ожесточение варваров, а варвары жестокость римлян. Уже давно стало общим местом, что каждый человек есть продукт общества: необходимость бороться за жизнь ожесточает людей, а безопасность размягчает. На круизном лайнере мужчины охотно пропускают женщин в ресторан, но когда начинается борьба за шлюпки, в них оказываются большей частью мужчины, если только капитан не сумеет подавить панику еще большим ужасом.

То же верно для племен и народов: они все вместе воспитывают друг друга. Афоризм «Каждый народ имеет таких евреев, каких он заслуживает» в ничуть не меньшей степени относится и к русским, равно как и к украинцам, венграм и кафрам: каждая цивилизация имеет тех русских (украинцев, венгров, кафров), каких она заслуживает. Сумела она изобразить дружбу и миролюбие, ей и раскрыли мирные объятья; не удовлетворилась она достигнутым, а пожелала закрепить свой успех понадежнее – Россия и повернулась к ней своею азиатской рожей. Так оно и будет всегда – на дружелюбие ответом будет дружелюбие, на меры строгости – вражда и повышенная сплоченность вокруг лидера, кем бы он в этот миг ни оказался:

концентрация сил непременно требует концентрации власти и, следовательно, подавления личных свобод. Так было и так будет не потому, что русские как-то особенно горды или добры, а потому, что они люди как люди.

«Не лучше ль на себя оборотиться?» Для неудачника совсем не лучше. Но вскоре после этого мне попала в руки исповедь удачника – автобиографическая повесть умного израильского писателя – путь Ниловны в революцию, то бишь путь советского еврея в землю обетованную: студента-отличника не берут в аспирантуру, он мыкается по ухабам советского производственного бардака, достигает и там приличных высот, но среди полукриминальных кромешностей девяностых впервые в жизни попадает в царство света, порядка и вежливости – Израиль – и обретает там и родину, и профессиональный успех, и даже Бога, которому он теперь и впрямь может сказать: «Ты больше, чем просят, даешь». Но меня – нет, не покоробили, я и не к такому привык, – мне захотелось оградить симпатичного мне автора от той неприязни, какую почти неизбежно вызовут у русского читателя две мимоходом брошенные фразы.

Автор прощался с Россией таким примерно манером: прощай, страна, где духовность измеряется квадратными километрами! Я хотел написать ему, что духовность нигде, и в России в том числе, не измеряется материальными параметрами, но, напротив, умением пренебречь материальным ради каких-то прекрасных грез, однако сразу же представил его ответ: «Но это же шутка!»; потом представил свой ответ: «Как бы вам понравилась такая шутка: здравствуй, страна, где духовность измеряют шекелями?» – и понял, что сам принимаю столкновение интересов за столкновение мнений. И смолчал – шутки над русской духовностью задевают все-таки немногих. А вот когда он назвал жизнь в Советском Союзе жизнью в страхе и убожестве, мне уже захотелось защитить и тех моих соотечественников, чья жизнь и прежде, и теперь представляется мне красивой и значительной. Однако вступаться за русских перед евреем означало бы навлечь на себя подозрение в прислуживании «хозяевам страны» пришлось писать исключительно о себе: я не помню ни одного дня в своей жизни, проведенного в страхе и убожестве; в отчаянии – да, бывало, и не раз, в убожестве – никогда. Так что не будем обобщать. (Не лучше ль на себя оборотиться? Не лучше: кающийся интеллигент сменился интеллигентом бичующим.)

Милейший автор и ответил милейшим образом: я же пишу только о себе, а если у вас было иначе, пожалуйста, поделитесь опытом. Я не стал придираться, что сам он в своей повести

отнюдь не выглядит перепуганным и убогим, скорее, наоборот, смелым и находчивым, – я попытался и впрямь задуматься, как же мне самому-то в советское время удавалось выстраивать экзистенциальную защиту? Впрочем, кто я такой, чтобы приводить себя в пример, может быть, я настолько жалкая и ничтожная личность, что даже и не осознавал своей забитости и убожества, – я ведь и сейчас такой раб и трус, что плохую страну, где меня не убивают, предпочитаю хорошей, где надо мной и моей семьей висит на глазах тяжелеющий дамоклов меч, и более того, плохую страну, где востребованы мои дарования, предпочитаю хорошей, где я пустое место, лузер, не владеющий языком хозяев. Так что обо мне пока забудем. Но, скажем, мараны, тайно исповедовавшие иудаизм, невзирая на смертельную опасность для себя и своих семей, – они были трусами и приспособленцами или героями? Или мои родители, над которыми после отцовской лагерной пятилетки годами висела возможность повторного ареста, – теперь-то я понимаю, в каком напряжении они жили, но напряжение и страх – разные вещи, они всегда оставались жизнерадостными, увлеченными и уважаемыми людьми, и все их друзья были таковы же. Бывшие зэки и ссыльные, загнанные в наш утопающий в щебенке шахтерский поселок среди казахстанского мелкосопочника, были настолько образованнее и красивее местного начальства, что я невольно воспринимал их как некий тайный орден и гордился, что я хотя бы через отца тоже к нему принадлежу. А уж выглядели они ничуть не более запуганными, чем шахтерская и шоферская братия, которая могла кого угодно послать куда угодно, – горстка начальства в шляпах и «польтах» без крайней нужды и не приближалась к народным массам в «куфайках» и кепках. Собственно, только начальники у нас и казались запуганными – неумеренно озабоченными, надутыми… А вчерашние ссыльные скорее отличались обостренным чувством собственного достоинства – оно и служило экзистенциальной защитой, помогавшей им выстоять в обрушившейся на них беде.

И впоследствии, когда государство обращалось ко мне недобрым своим ликом, необходимость устоять я воспринимал еще и как долг перед своим орденом и, если мне это удавалось, ощущал гордость, а не страх. Так что чувства всех Мосек мне более чем понятны: вступая в противостояние с государством или народом, ты и сам вырастаешь до масштабов государства и народа. Только в своих глазах, разумеется, – противники тебя как не замечали, так и не будут замечать, даже если приставят к тебе какого-нибудь попку с берданкой. И мои невольные учителя, все эти аристократические парии, – этот малый народ на склоки с

попками никогда не разменивался, они, как и мараны, стремились сберечь угли своей веры и передать их детям, а заодно и всем, кому удастся (вот это были настоящие миссионеры). Они слишком хорошо знали себе цену, чтобы тратиться на стычки с конвойными. И все их дети выросли порядочными, образованными, а потому и антисоветски настроенными людьми. Мне тоже как-то само собой было ясно, что мой долг не растранжирить, а сберечь и приумножить переданное мне наследие, и для этого прежде всего требовалось вступить в борьбу с тиранией собственного невежества.

В университете я обнаружил, что я совершенный варвар и чужак в Парфеноне русской культуры, и на то, чтобы вернуться туда хотя бы рядовым, потребовались годы и десятилетия. И когда я проглатывал целыми собраниями, да еще по два-три раза, Пушкина, Толстого, Достоевского, Герцена, Чехова, у которых было нечего делать без Рабле, Вольтера, Руссо, Шиллера, Гете, Шекспира, Шопенгауэра, Ницше и всей прочей европейской истории и философии, я не просто занимался самообразованием – я боролся за возвращение на историческую родину. Когда в Публичке я просиживал в зале редкой книги счастливейшие часы за Мережковским и Розановым, это было не просто познавательно – это окрыляло. Я еще тогда открыл этот путь решения еврейского вопроса в России: евреи вливаются в российскую аристократию.

Антироссийская, антиимперская, жлобская советская власть через своих попок уже препятствовала этому в литературе, а к моменту моего окончания матмеха принялась плодить себе врагов и в аристократической математике. Посланница атомного центра Арзамас-16 и лаской, и таской завлекала меня в их таинственный мир, и мне это тоже казалось очень романтичным: жить за колючей проволокой и покорять какие-то недра и пространства. Но первый отдел меня не пропустил, хотя я стоял первым в списке. Не скрою, растерянность сменилась гордостью не сразу. Но даже и горькое счастье ощущать себя врагом государства не заменяет сладкого счастья чувствовать себя участником какого-то красивого исторического дела, коим проще всего насладиться в науке. И мне это удалось – меня взял на работу действительно очень большой ученый, слывший, да и бывший едва ли не духовным лидером ленинградских антисемитов.

Никак при этом не вписываясь в ту еврейскую народную сказку, что антисемитами бывают только завистливые ничтожества. Мой шеф, конечно, не был Эйлером, он был всего только классиком второго ряда, но, когда ты с ним общался, он казался именно Эйлером – неправдоподобная широта взгляда,

способность лучше специалистов вникать в суть вопроса, о котором только что услышал, и при этом еще и какая-то удаль, бесшабашность, размах – это был всеобщий родной отец, из кабинета которого никто не уходил без помощи. У него и к евреям не было, так сказать, ничего личного, он считал только, что они пробьются и без него, а его дело поддерживать одаренных ребят из провинциальных низов, из коих вышел он сам. Поэтому, покуда я блистал, он меня держал в отдалении, но, когда я оказался на улице, он меня нашел и позвал. Чтобы затем снова придерживать на отшибе. Но я при этом не чувствовал ни обиды, ни унижения – я его воспринимал неким могучим явлением природы вроде водопада или баобаба, к которому неприложимы человеческие, слишком человеческие мерки. Ну вот, скажем, недолюбливал бы вас Микеланджело – стали бы вы честить его подонком, хлопать дверью, кучковаться с его недругами? Они же ему до щиколотки не доставали, я таких людей не видел ни до ни после, я бы даже не догадывался, что такие бывают. Я думаю, он не реализовался по-настоящему, математика была только малой частью его дарований: ему бы возглавлять какую-то империю, где нужно было бы и писать формулы, и ковать железо, и прокладывать асфальт, и выбивать бюджет, и воодушевлять подданных, и ладить с соседними империями.

Я завоевал его снисходительную симпатию только тогда, когда перестал о ней беспокоиться, а начал заниматься исключительно тем, что сам считал нужным. Подружиться же с ним было невозможно – он был слишком низкого мнения о человеческом роде. Однажды в разговоре с глазу на глаз он обронил о своих приближенных: «Ко мне же приходят, чтобы только кусок ухватить. Схряпают где-нибудь в углу и за новым приползают». И я порадовался, что никогда ничего у него не просил.

Когда я научился относиться к чужому мнению с вежливым равнодушием, мне случалось чувствовать себя жалким только тогда, когда я соглашался играть роль в чужой пьесе, когда мне случалось уподобляться тем несчастным, которые живут не для себя, а кому-то назло. Только когда мне случалось хмыкать и язвить по адресу тех, кто меня не замечает, – только тогда я ощущал себя жалким и убогим. И стремился как можно скорее вырваться из этой лакейской. За пределами которой меня ждали и победы, и поражения, и счастье, и отчаяние, где было все и не было только убожества.

Путь эстетического сопротивления – единственный красивый путь, открытый отверженцам, путь Свифта, Байрона, Толстого, Лермонтова, Марка Твена, Чехова:

называть мерзость мерзостью, а красоту красотой, кто бы ее ни творил – образованные или невежественные, чистые или нечистые. Да, путь эстетического интернационалиста – это все равно путь одиночества, поэтому тем, кто не может жить без того, чтобы не литься каплею с какой-то массой, – им я могу подсказать еще одну, менее штучную миссию (куда ж мы без миссии!).

Сталину до сих пор ставят в вину, что он расколол альянс коммунистов и социал-демократов перед лицом победоносно прущего нацизма, хотя, надо сказать, выбор у него был непростой: сохранить идеально повинующуюся армию или удвоить ее численность и потерять управляемость, – он помнил, что было в семнадцатом, когда приказы начали ставить на голосование. Но это дело давнее, а вот мы видим прямо сегодня, как некоторые либеральные империи раскалывают мир рациональности перед потопом иррациональных стихий. Так почему бы так называемому мировому еврейству не взять на себя такую историческую миссию, как создание рационалистического интернационала?

В сегодняшнем мире главная линия борьбы пролегает между иррациональностью и рациональностью, что на практике выражается в противоборстве режимов идеоцентрических, то есть утопических и мессианских, и режимов человекоцентрических. В сегодняшнем мире у человеко-центрических стран нет рациональных мотивов воевать друг с другом: сегодня все дешевле купить, чем завоевать. И по этому критерию Россия и Запад должны быть союзниками. Нас при всех наших общеизвестных пороках уже никак нельзя назвать идеоцентрической державой, никаких мессианских поползновений на государственном уровне у нас уже давно нет, зато великой державой мы (увы?) остаемся, поскольку у нас есть возможность в одиночку радикально изменить ход мировой истории. Вплоть до ее искусственного прерывания. Но великие державы, вместо того чтобы стараться не сердить друг друга и вместе противостоять религиозному и национальному реваншизму, по-прежнему ведут холодную войну из-за фантомов, из-за ценностей времен Очакова и покоренья Крыма. И ради этого вскармливают своих истинных врагов.

Но если отказ от использования ядерного оружия еще как-то можно зафиксировать в международных договорах, то отказ от использования энергии национального реваншизма может хотя бы отчасти контролироваться лишь мировым общественным мнением, а оно в значительной степени либерально. И вот у него-то, вопреки либеральному же принципу «Закон один для всех»,

принято снисходить к национализму слабых наций и клеймить национализм сильных, закрывать глаза, когда слабые нации нарушают права человека в борьбе против сильных, и бряцать оружием и сотрясать воздух в ООН, когда это же творят сильные, – и этим поддерживать скрытую и явную борьбу всех против всех, которой, если не одуматься, никогда не будет конца. А ведь сейчас сложилась небывало удачная ситуация: рациональные державы неизмеримо сильнее иррациональных. И если бы они не боролись друг с другом из-за фикций, им ничего бы не стоило держать «бешеных» в узде.

Сильным и рациональным Голиафам необходимо объединяться против иррациональных Давидов. Оцеплять и изолировать очаги взрывов, где вырываются на улицы и площади протуберанцы веры в светлое будущее, при слове «справедливость» хвататься не за пистолет, но за уголовный кодекс и таблицу умножения. Однако, увы, рациональность сама впала в мессианство, да еще и вообразила, что может поставить иррациональность себе на службу, навербовать из ее лагеря надежных марионеток. Которые, разумеется, способны работать лишь на самих себя, из года в год натягивая нос своим создателям.

Пышное слово «геополитика» на самом деле обозначает коммунальную склоку мирового масштаба: вы налили нам керосину в суп, а мы ошпарим вашу кошку… И этот увлекательный спорт вполне можно было бы включить в число олимпийских, если бы в нем не лилась настоящая человеческая кровь. По-видимому, сегодня он благодаря телевизору, создающему у нас иллюзию безопасности, заменяет гладиаторские бои…

Но что хуже всего – благородное нежелание уступить в коммунальной сваре однажды может взорваться всеобщим самоубийством. И тогда никакие локальные коммунальные победы никого ни от чего не защитят. Где бы ни расставить ракеты и радары, куда бы ни втиснуть военные базы, чью бы и куда бы ни посадить липовую марионетку, ядерная зима накроет всех, и живые будут завидовать мертвым.

Очень бы хотелось надеяться, что очередной украинский Чернобыль, уж если ему, увы, все равно рок судил случиться, в конце концов ввергнет в ужас претендующих на рациональность Голиафов, забывших о том, что на весах лежит не преобладание в том или ином региональном конфликте, а без преувеличений существование человечества. Миру нужен кто-то, кто бы его как следует напугал, но при этом оставил в живых. Чтобы он вспомнил, что играет со смертью, и это не случилось бы слишком

поздно.

Только хотел наконец перевести дух, как вдруг наткнулся на давно, оказывается, не новую новость: в центре Москвы избит Виктор Шендерович. И сразу все перекрыто одним желанием – защитить, отомстить!.. Что особенно обидно – было бы из-за чего страдать! Ведь не только слезинки ребенка не стоят обличения и прозрения бедного Шендеровича, но даже и волоска из его бороды, ссадины на его лбу, настолько они дюжинны. Будь он хотя бы уж Генрихом Гейне, чтоб сначала ненавидели, а потом поставили памятник, так нет же, все это типичная политическая текучка, немедленно смываемая новыми потоками подобной же лабуды.

Нет, никого по отдельности защитить не удастся. Остается только помечтать, что при нашей власти, при власти интернационала рациональных, когда мечты о небывалом будут локализованы в искусстве, в науке, в технике, в спорте, – что в этой новой цивилизации все пламенные мстители сами собой угаснут от скуки.

Я понимаю, что человеческая рациональность невозможна – не такими нас создали Бог и история, – но, может быть, возможна хотя бы не слишком опасная сказка о царстве рацио? Достаточно убедительная, чтобы воодушевлять, но недостаточно, чтобы в ее реализации заходить слишком далеко.

Каленый клин

1. Устами младенцев глаголет национальная вражда

Солженицын снова подтвердил, что он крупная личность: каждый раз он делает то, что сам считает нужным и справедливым, предоставляя прочим его обсуждать, осуждать, хвалить и хулить. Хотя, после того как автор «Архипелага ГУЛАГа», не убоявшись истеблишмента тоталитарного, не убоялся истеблишмента и либерального, в его искренности и бесстрашии сомневаться было трудно, но все-таки открыто взяться за русско-еврейскую тему, за этот «каленый клин» (А. И. Солженицын. Двести лет вместе (1795–1995). Часть 1. М.: «Русский путь», 2001. С. 5.)…

Бесстрашию, правда, частенько помогает простодушие. «Смею ожидать, что книга не будет встречена гневом крайних и непримиримых, а наоборот, сослужит взаимному согласию» – что-то очень знакомая интонация… Ах да – примерно этим же слогом писал взбешенному Белинскому о своих «Выбранных местах» Николай Васильевич Гоголь: «В книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора». Привести к согласию не только «крайних и непримиримых», но даже и тех, кто спокойно и твердо убежден в своей правоте, невозможно *ничем.* Ибо эти люди ни за что на свете не согласятся утратить важнейшую составляющую райского блаженства – неведение сомнений, покоящееся на принципе «Истина есть то, что я и так знаю». Без лести преданное ядро любой прочной корпорации составляют младенцы – лысые, седовласые, часто дипломированные, нередко орденоносные младенцы, для которых собственная мама – ну, а как иначе? – разумеется же, лучше всех. Нескромное обаяние фашизма обаятельно прежде всего для этой нашей инфантильной мечты – вернуться в Эдем младенчества, где добро и зло предельно удалены друг от друга: все, кто за нас с мамой и папой, хорошие, а все, кто против, плохие. Истинно то, что сказали папа и мама. Пока они не поссорились.

Это и есть исходный принцип фашизма – отказ от понимания во имя воли. Только сильный, вооруженный этим принципом, действует, а слабый лишь негодует. Пока сам не сделается сильным. Увы – фашисты слишком часто отличаются от своих жертв не воззрениями, а лишь физическими возможностями… Действительно, что же может помешать нам пустить их в ход, если все добро, вся правда целиком на нашей стороне? Ведь тогда на долю наших оппонентов остается лишь беспримесное зло и

чистейшая неправда! Это важнейшая черта мировосприятия блаженных – уверенность, что их противники вредят им не потому, что следуют каким-то своим интересам, но исключительно из бескорыстной любви к злу. Обитатели любого национального Эдема свято убеждены, что их противники ненавидят их без всякой причины, а просто потому, что они, эти противные противники, проникнуты антирусскими либо антиеврейскими настроениями (опиум усыпляет потому, что в нем заключена усыпляющая сила). Более того, любую попытку понять мотивы их врагов обитатели обителей блаженных воспринимают как попытку оправдания этих самых врагов. Ну а поскольку Солженицын, вместо того чтобы честно возмущаться, указывает государственные соображения, побуждавшие правительство избирать ту или иную политику в отношении евреев – пусть нелепую, утопическую, в итоге часто бесчеловечную, но *не беспричинную*… (А кроме того, и пишущий эти строки тоже вчитывается в соображения Солженицына, вместо того чтобы честно клеймить…)

Это только очень взрослые и скучные люди понимают, что агрессия – *всегда* реакция на угрозу: наши враги *всегда* ненавидят нас за то, что мы представляем опасность для их покоя, имущества, самооценки, для их надежд либо иллюзий – словом, ненавидят всегда за дело. Последнее вовсе не означает, что мы должны отступать и растворяться перед лицом всякой неприязни, – мы вовсе не обязаны уважать ненависть бездари к таланту, ненависть лодыря к труженику, ненависть хулигана к добропорядочному обывателю и т. д., и т. п. Но, защищаясь сколь угодно решительно, взрослый человек все равно помнит: враг испытывает ненависть ко мне не потому, что является земным агентом Зла, а потому, что я каким-то образом мешаю ему жить. Мешаю своей активностью или своей пассивностью, своим умом или своей глупостью, своей недоверчивостью или своим простодушием, своей нетерпеливостью или своим смирением, раздражительностью или кротостью, скупостью или щедростью, богатством или бедностью, но чем-нибудь да мешаю.

Понимание причин вражды чаще, по-видимому, облегчает поиск «взаимного согласия» – хотя иногда и, наоборот, вскрывает непримиримость столкнувшихся интересов. Но даже и в менее безнадежных случаях боевое острие, «каленый клин» конфликтующих лагерей обычно составляют бесхитростные младенцы, для которых всякий, кто не кричит вместе с нами простодушное «Долой!» и «Мерзавцы!», есть вражеский лазутчик. Поэтому «Двести лет вместе» и прочитаны-то могут быть лишь теми, кто и без этой книги не очень опасен: те, кто способен

вдумываться в чужие аргументы, уже не натворят больших бед – разве что в каких-то совсем уж исключительных обстоятельствах.

В самом деле, попробуем пробежаться хотя бы по XIX веку невинными глазами младенца еврейского, младенца русского, а также глазами взрослого человека, на роль которого рискну предложить себя. Собственно, младенцы-то сумели бы передраться и из-за Хазарского каганата с жидовствующей ересью, но взрослые люди, мне кажется, для серьезного конфликта недостаточно остро ощущают свою солидарность со столь далекими и отчасти даже сомнительными предками.

Впрочем, виноват – высочайший указ 1791 года «О недозволении евреям записываться в купечество внутренних губерний» и мною был прочитан со злободневным интересом, точнее, комментарии к нему. Прежде я как-то не задумывался, что в России («Двести лет вместе», с. 40) «все торгово-промышленное сословие (купцы и мещане) не пользовалось свободой передвижения, было прикреплено к месту приписки (чтобы отъездом своим не понижать платежеспособность своих городских обществ)». А потому, сообщает Еврейская энциклопедия 1906–1913 годов (Т. 7. С. 591–592), этим указом «было положено начало черты оседлости, хотя и не преднамеренно». «По обстоятельствам того времени, – разъясняет энциклопедия, – этот указ не заключал в себе ничего такого, что ставило бы евреев в этом отношении в менее благоприятное положение сравнительно с христианами». Более того, «пред евреями были открыты новые области, в которые по общему правилу нельзя было переселяться» – губернии осваиваемой Новороссии. «Центр тяжести указа 1791 г. не в том, – подытоживает энциклопедия, – что то были евреи, а в том, что то были торговые люди».

А я-то прежде «знал», что черта оседлости создавалась специально против евреев. «Разумеется, специально! – подхватит обитатель еврейского Эдема. – Солженицын просто выгораживает своих». – «Я и раньше знал, что русское правительство никогда не было антисемитским, – пожмет плечами обитатель русского Эдема и хорошо, если не прибавит: – Вот отсюда-то и все наши беды».

Младенцев, живущих под лозунгом «Я так и знал» ничем удивить невозможно. Но вот лично я просто никогда и ничего не слышал о почти столетних усилиях российского правительства «посадить евреев на землю»: тот факт, что евреям запрещалось земледелие, ощущался мною без тени сомнения, как и все факты из разряда «Это знает каждый». Но стоило задуматься, в чем состояли реальные интересы конфликтующих сторон, ищущих

пользы для себя, а не бескорыстного ущерба для другого, как история, излагаемая Солженицыным, начинает представляться вполне естественной. Вот возникло вынужденное сожительство двух народов, один из которых более или менее привычен к финансовым операциям, а другой привычен только к хлебопашеству, один уже освоил алкогольный бизнес, а другой в значительной своей части еще не освоил контроль алкогольного потребления… И все это в условиях чрезвычайной скученности на территории, где с трудом могло прокормиться и коренное население…

Классик социологической науки XX века Р. Мертон утверждал, что если какое-то сколь угодно неприятное явление, будь то ростовщичество или буттлегерство, десятилетиями, а то и веками не удается искоренить, значит, оно отвечает какой-то фундаментальной общественной потребности, которая непременно будет удовлетворена не одной, так другой социальной группой. А потому, если бы даже Господь вовсе очистил Россию от евреев, как владения Дикого Помещика от мужика, их функции все равно взяли бы на себя наиболее подготовленные лица русской национальности (что и подтверждает, в частности, уровень потребления алкоголя во внутренних губерниях). Этих «лиц», конечно, тоже недолюбливали бы, но беда в том, что социальное расслоение, совпав с расслоением национальным, становится стократно более опасным: страшно подумать, во что разросся бы сегодняшний конфликт между энергетиками и угольщиками, если бы они еще принадлежали разным нациям.

Предотвращать подобные взрывоопасные ситуации – прямая обязанность любого правительства. Вот только осуществимое ли это дело? А если да, то какими средствами? Даже и сегодня простых русских людей охватывают небезопасные для правопорядка чувства, когда они замечают на рынке, ну, если даже не преобладание, а лишь резко повышенный процент лиц иного антропологического типа. Либеральное ханжество велит нам не замечать национальностей, то есть не замечать реально существующего соперничества народов и культур, предоставляя ему катиться без участия наиболее образованных и морально устойчивых слоев общества, чтобы примитивные энергичные вожаки овладевали толпой уже без всякой интеллигентской коррекции (а фашизм и есть бунт энергичной примитивности против непонятной и отталкивающей сложности социального бытия). Но правительство империи позапрошлого века (равно как и его политические оппоненты – декабристы) даже и не догадывалось, что можно не замечать того, что замечают все, –

оно стремилось сделать население максимально пригодным для выполнения стандартных государственных функций. Можно, конечно, желать, чтобы государственная элита склонилась перед правом каждой личности заниматься тем, к чему она привыкла, только это означало бы, что социальный организм отказывается от принципа, которым веками обеспечивалась его жизнеспособность. Обеспечивалась, в частности, и крепостным правом – таковы были стандарты, от которых все отсчитывалось.

Вместе с тем для подпавшего под его власть другого национального организма, спаянного религией, преданиями, социальной структурой, образом жизни, языком и т. д., и т. д., было более чем естественно противиться любым мерам, тоже ведущим к его распаду. Национальный организм как целое все равно сопротивлялся бы этим мерам, если бы даже каждому отдельному индивиду они сулили относительное благоденствие (нам не удастся подкупить их уровнем жизни именно потому, что они народ, а не толпа сброда, – примерно так писал об арабах знаменитый сионистский лидер Владимир Жаботинский). Но российское правительство в ту пору не могло бы обеспечить и личного благоденствия: в России и титульная нация отнюдь не упивалась медом и млеком, а ступить на крестьянскую стезю, не имея ни опыта, ни желания, которые не могут возникнуть даже из самых щедрых льгот и ссуд… Солженицын и сам прекрасно понимает: «Земледелие – это большое искусство, воспитываемое лишь в поколениях, а против желания, или при безучастности, людей на землю не посадить успешно» (с. 73). Правительство тоже находило евреев «заслуживающими снисхождения», но утопического своего замысла не покидало – тем более что «образовалось среди колонистов сколько-то и зажиточных земледельцев, успешно занимавшихся своим хозяйством» (с. 153), – как штучные колхозы-миллионеры поддерживали в советских правителях иллюзорные представления о возможностях колхозного строя.

Вместе с тем Солженицын обильно цитирует многолетние инспекционные донесения о нерадивостях и мошенничествах еврейских колонистов и несопоставимо меньше говорит о мошенничествах, нерадивостях и «малых организационных способностях» (с. 73) русской администрации. И хотя цель автора – доказать, что царское правительство ограничивало, но не преследовало евреев, – формально оказывается вроде бы достигнутой, однако упомянутая пропорция дает повод упрекнуть его в подыгрывании русской стороне. (Тем более что он почти не говорит и о еврейских ремесленниках, а все больше о шинкарях.) А уж еврейские младенцы, можно не сомневаться, прямо объявят,

что и вся-то история неудачной «аграризации» евреев изложена Солженицыным с единственной целью еще раз оклеветать безупречный еврейский народ. Тогда как если бы не русское воровство, лень и «бардак», евреи бы еще при Александрах устроили образцово-показательные киббуцы. В ангельской уверенности, что и вся книга написана ради поругания еврейского племени, их еще больше укрепит реакция русских младенцев: мы же, мол, всегда говорили – сколько еврея ни корми, трудиться он все равно не будет.

Трудиться… Подозреваю, что не только опасения перед «прорывом» еврейской активности, как представляется Солженицыну, «питали оградительные меры российского правительства» (с. 121), но еще и архаические представления о том, что такое труд. Похоже, правительство страшилось не только усиления еврейского экономического влияния, но и вообще усиления торгово-финансового фактора, или, выражаясь по-простому, либерализации экономических отношений: либерализация и впрямь грозила расшатать государственную машину, управлявшуюся в основном внеэкономическими рычагами. Ну а что концентрация капиталов в частных руках, необходимая для реализации крупных проектов, на первых порах и впрямь вызывает пугающую имущественную дифференциацию – этот факт страшил не только «государственников», но и «народников».

Тот же добрейший, благороднейший Глеб Успенский тоже цитируется Солженицыным: «Все вытерпел народ – и татарщину, и неметчину, а стал его жид донимать рублем – не вытерпел!», «Евреи были избиты именно потому, что наживались чужою нуждой, чужим трудом, а не вырабатывали хлеб своими руками» (с. 193). Глеб Успенский в своих очерках с почти научной обстоятельностью продемонстрировал, сколь сокрушительно коммерциализация имущественных отношений ударяет по самым основам крестьянского мироощущения – по убеждению, что лишь то добро праведно, которое нажито *своими руками.* Получено от предков, от государя – это крестьянина мало касалось, но вот когда у него на глазах кто-то, не косивши, не сгребавши, берет кредит в банке, скупает сено у тех, кто его накосил, высушил и сметал в стог, затем продает скупленное в городе, возвращает кредит и становится почти богачом… А заезжие англичане, и вовсе не суетясь, перекладывают всю беготню на агентов, а сами спокойно разъезжают в коляске, незаметно прибирая к рукам всю местную торговлю сеном… Эта картина оказывается столь катастрофической для мужицкого мироощущения, что один запивает, другой приходит к выводу, что нынче нужно жить

воровством, – и попадается раз, другой, все больше и больше зверея… Ох, как были бы избиты и англичане, живи они поближе да погуще!

Глеб Успенский был убежден, что тогдашнему крестьянскому миру недостает только «правды», взаимопомощи, а вот западный мир наверняка обречен на скорую гибель, поскольку там можно наживаться на перепродаже бумаг, в то время как рядом умирают с голоду. Но вот на бумагах в западном мире все наживаются и наживаются, а с голоду уже давно никто не умирает. И взаимопомощи там побольше, чем в России, отправившейся за правдой. Видный немецкий историк Вернер Зомбарт почти сто лет назад в своем классическом труде, выяснявшем роль евреев в становлении капиталистических отношений, изучил множество купеческих жалоб на «нечестную» еврейскую конкуренцию и обнаружил, что нечестность эта заключалась всего лишь в использовании современных методов торговли: в готовности снижать цены, доставлять товар к потребителю, рекламировать… Так не по-товарищески!

Эта история повторялась в самых разных странах: к подступающей либерализации, модернизации оказывались лучше подготовлены какие-то национальные либо конфессиональные меньшинства – такими «евреями» могли оказаться китайцы, шотландцы, протестанты, но если они не слишком разительно отличались от основного населения, их «прогрессивная деятельность», разрушающая прежний порядок, еще могла сойти им с рук, в противном же случае… Китайские погромы в Индонезии, судя по всему, затмевали даже еврейские погромы в России.

Однако если волне народного гнева не удавалось остановить модернизацию, то в конце концов шустрое меньшинство более или менее растворялось в поднаторевшем большинстве – ведь только младенцы из младенцев станут серьезно утверждать, что и в Англии, в США, во Франции всем заправляют какие-то меньшинства. Или в Гер… Но в Германии антиеврейский взрыв полувековой давности достиг столь кошмарной мощи, что мимоходом Германию упомянуть невозможно. Тот же Зомбарт, который был противником еврейской ассимиляции именно потому, что считал еврейскую «расу» слишком ценной для человечества, предостерегал евреев от очень уж успешных карьер в германской науке, юриспруденции, государственном управлении, бизнесе: Зомбарт прямо говорил, что евреи умнее и энергичнее «нас», немцев, и занимают свои места абсолютно заслуженно. И тем не менее… Господствующая нация, намекал он, с таким положением мириться не будет. И не смирилась…

Но неужели же одаренный и энергичный молодой человек при современных индивидуалистических представлениях о правах личности откажется от профессорского или директорского поста только потому, что это еще на одну тысячную повысит градус антиеврейского раздражения? Благополучный выход отсюда возможен только один: нация-гегемон овладевает всеми «еврейскими» навыками, и тогда еврейское участие в престижных сферах само собой укладывается в какую-то «естественную» (перестающую раздражать) процентную норму.

Относительно этой самой процентной нормы Солженицын задает рискованный вопрос (с. 272): «А – возможно ли было найти путь плавного, безвзрывного решения этой сильной и вдруг возросшей еврейской потребности в образовании? При все еще неразбуженности, неразвитости широкого коренного населения – каким путем можно было бы это осуществить, без ущерба и для русского развития, и для еврейского?» Солженицын подчеркивает (с. 273), что «процентная норма несомненно была обоснована ограждением интересов и русских, и национальных меньшинств, а не стремлением к порабощению евреев». Но итог подводит без околичностей (с. 277): «Процентная норма не ограничила жажду евреев к образованию. Не подняла она и уровень образования среди не-еврейских народностей Империи, – а вот у еврейской молодежи вызывала горечь и ожесточение. И несмотря на эту притеснительную меру, еврейская молодежь все равно вырастала в ведущую интеллигенцию».

Конечно, лучше было бы не ограничивать евреев, а «разбуживать» и развивать прочие народности… Но такие советы неизмеримо легче давать, чем выполнять. Вожделенного «пропорционального участия» нет даже и в развитых странах. Великий Генри Форд считал финансовую сферу паразитическим наростом на честном теле реального производства, а потому и евреев сильно недолюбливал. Гитлер же из действительно существующей еврейской финансовой активности выводил и вовсе заоблачные теории – он полагал международную систему перетекания капиталов в наиболее прибыльные сферы стопроцентным еврейским изобретением и еврейской «державой»: даже и война-то по-настоящему ведется между немцами и евреями, прочие-разные русские и англосаксы лишь еврейские марионетки. Так что т. Зюганов не столь уж оригинален, когда излагает в своей докторской монографии, что сегодняшнее коммунистическое учение видит основной исторический конфликт уже не в борьбе классов, а в борьбе этносов, из которых одни сосредоточивают в своих руках национальное производство, а другие – всем чуждые – интернациональные,

космополитические, транснациональные финансы. (Однако заметим, что обилие космополитических еврейских капиталов не нанесло могуществу Соединенных Штатов сколько-нибудь заметного ущерба.)

Пожалуй, я уже слишком отвлекся в своем стремлении показать, что мне вполне близка та солженицынская точка зрения, что политика русского правительства, обычно трактуемая как антиеврейская, не была вызвана какой-то специальной враждой, – чтобы дойти до будущей реальной вражды, было вполне достаточно естественного хода событий, когда каждая сторона действует так, как только и может действовать, – в соответствии со своим пониманием собственных интересов и со своим набором предвзятостей (без предвзятостей же ни социум, ни индивид не способны ни видеть мир, ни принимать решения). И только потом, когда начинается защита фантомов от фантомов же, возникает *святая* ненависть.

«Но если, например, проследить биографии виднейших русских образованных евреев, то у многих мы заметим, что с рубежа 1881-82 резко изменилось их отношение к России и к возможностям полной ассимиляции. Хотя уж тогда выяснилась и не оспаривалась несомненная стихийность погромной волны и никак не была доказана причастность к ней властей, а напротив – революционных народников, однако *не простили* этих погромов именно русскому правительству – и уже никогда впредь. И хотя погромы происходили в основном от населения украинского – их не простили и навсегда связали с именем русским» («Двести лет…», с. 207).

М-да… Я и впрямь как-то не задумывался, что в погромном Кишиневе 1903 года нееврейское большинство в подавляющем большинстве своем составляли молдаване и отчасти украинцы… Впрочем, либеральный катехизис не велит нам замечать национальностей, поскольку плохие люди национальности не имеют; так что пускай лучше остается без конкретного адреса: виновата Россия и довольно об этом. Или, чтоб уж совсем никому обидно не было, пускай будет виновато русское правительство. И Солженицын с этим согласен, он считает, что и русский народ ответственен за своих мерзавцев («ни одна нация не может не отвечать за своих членов», с. 416), и русское правительство ответственно за погромы: «Или уж вовсе не держать Империи… – или уж отвечать за порядок повсюду в ней» (с. 322).

Но – помня при этом, что *ни одного* доказанного факта организации погромов со стороны, с позволения выразиться, «федерального правительства» так никогда и не нашлось, – все аргументы в пользу этой версии относятся к разряду «Совершенно

очевидно» и «Да кто же этого не знает!». Для еврейских младенцев даже и какие-то вопросы по этому поводу есть циничный антисемитизм – тем более что младенцы русские и впрямь с бесстыдством невинности отрицают и самое существование погромов либо приписывают их самим евреям. Солженицын же хотя и приводит убийственные факты бестолковости и даже прямого попустительства со стороны местного начальства, все они говорят лишь о том, что без либеральной клеветы правительство выглядело бы только «косным стеснителем евреев, хотя неуверенным, непоследовательным. Зато путем лжи оно было представлено – искусным, еще как уверенным и бесконечно злым гонителем их. Такой враг мог быть достоин только уничтожения» (с. 338).

Еще раз убеждаешься: фантомы в истории играют неизмеримо значительнейшую роль, чем факты. Более того, конфликт реальных интересов способен вызвать лишь взаимное раздражение, святую же ненависть возбуждают только коллективные фантомы – «еврей», «буржуй»… Такой же фантом – на весь мир! – был воздут русским либерализмом из проклятого царского правительства, ибо оно слишком уж явно загораживало путь к еще одному фантому, воодушевляющему – вернее, к целой системе фантомов, в разной пропорции, по вкусу, включающей в себя «демократию», «социализм» и всяческое «братство всех со всеми» (ну кроме разве что горстки негодяев, не имеющих ни роду ни племени). Неравенство же евреев для раздувания зверского фантома «царское правительство» (а заодно и «Россия» – ну тут уж лес рубят…) было настолько удачным компроматом, что, уже обретя возможность продвигать через Думу вожделенное еврейское равенство, прогрессисты этой возможностью так ни разу и не воспользовались: выгоднее было держать этот антиправительственный козырь в вечном резерве. И в каких-то серьезных благотворительных акциях в пользу столь многослезно оплакиваемых евреев свободолюбивые партии тоже замечены не были.

Все как сейчас – оплакивать бедных и несчастных лишь до той минуты, пока можно ими уязвить правительство, – в этом наши оппозиционеры – и красные, и белые, и синие, и зеленые, и коричневые, включая серых, – неразличимы, как матрешки. Ну а насчет прилгнуть – тут тоже закон один для всех: чем возвышеннее цель, тем непринужденнее обращение с фактами – до мелочей ли, когда речь идет о Великой Правде! С ее высоты можно любую уступку вырывать у правительства с такой страстью, будто судьба мира стоит на карте, – но чуть правительство уступает, немедленно объявлять уступленное

мелочью.

Но если, будучи уже совсем взрослым и даже немножко старым, *впервые в жизни* задумаешься: а в интересах ли правительства было устраивать погромы (обнаруживая в этом единственном случае поразительную согласованность всех частей и герметическую конспирацию)? И сразу же видишь, что нет: резко ухудшается международное, финансовое положение; еврейская молодежь не то что не оказывает признаков запуганности, но, напротив, как констатировал С. Ю. Витте, вместо «зоологической трусости» наливается неустрашимостью; простонародье обретает опасную привычку к массовым беспорядкам… Впрочем, для младенца это не доводы: у него самого утилитарная сторона жизни не вызывает ничего, кроме скуки, – он летит к папе за подарком, думает, в коробке пистолетик, а там – тьфу! – ботинки, – почему же он должен думать, что министры и государи руководствуются какими-то иными мотивами? Сорвал зло, а там хоть трава не расти. Притом и министры в самом деле всего лишь люди, они живут своими фантомами. И я подозреваю, что консервативный антисемитизм раздул свой фантом «еврея» как могущественного и бескорыстного Врага России в противовес либеральному фантому «еврея» как беспомощного и безобидного страдальца.

И так во всем. «Ага, Солженицын хочет показать, какие евреи мерзавцы – уклонялись от службы в армии!» «Ага, Солженицын показал, какие евреи мерзавцы – уклонялись от службы в армии!» Хотя даже на мой, не самый, я думаю, рациональный взгляд, евреи были бы просто слабоумными, если бы не стремились уклониться от воинской службы в чуждом им государстве (которому и собственная-то интеллигенция желала всяческих провалов), не имея ни перспектив для военной карьеры, ни национальных традиций, поэтизирующих погоны, наганы… И с сегодняшней точки зрения это практически уже не преступление – сегодня подавляющее большинство образованных людей полагают, что можно ничуть не хуже служить отечеству на поприще врача, инженера, ученого, и совершенно по-еврейски стремятся устроить своих сыновей в вузы, «освобождающие от армии». Причем осуждаются эти уклонисты чаще всего только по долгу службы да еще из зависти. Растущее нежелание отбывать воинскую повинность – в большой степени именно из-за него развитые страны перешли к профессиональной армии. Даже в Израиле, испытывающем нешуточную военную угрозу, все меньше и меньше желающих самолично держать границу на замке. Можно этому радоваться, можно сокрушаться, но таков дух времени, провозгласившего примат прав личности по отношению

к правам государства. Весьма вероятно, что евреи в диаспоре в среднем и несколько больше следуют этому индивидуалистическому духу, чем другие образованные слои соответствующих стран, но, стоит вспомнить, дух этот уже победно веял над Европой, когда российские евреи еще не вылезали из лапсердаков.

Мне и вообще кажется, что евреи были скорее страстными последователями, чем творцами ведущих фантомов века. Но это вопрос отдельный, а, возвращаясь к началу, сослужат ли «Двести лет…» Солженицына примирению всеобщему – я думаю, нет, – тем более что Солженицын не желает звать «и к такому согласию, которое основывалось бы на неправедном освещении прошлого» (с. 6). Ведь иного согласия просто не бывает: всякое массовое, переходящее из поколения в поколение единство всегда основывается на системе коллективных иллюзий. Там же, где и впрямь ищут истину – в науке, – там не остается ни одного факта, который бы не оспаривался в нескончаемой борьбе научных школ. Может быть, когда-то и возникнет система фантомов, одинаково чарующая и русских, и евреев, но пока что таковая даже и не брезжит.

Пока что «каленый клин» вражды с каждой стороны составляют младенцы, которых невозможно переубедить, а можно только отвлечь: а вон птичка, птичка!.. Погреметь погремушкой, сунуть пустышку – глядишь, топающий ножками малютка и забудет о своем обидчике. И тогда уж по возможности не надо ему напоминать.

2. Не надо дразнить детей

Можно сказать, что национальная вражда – в ее самом опасном, бескорыстном аспекте – проистекает из нашей детской готовности жить выдумками, из доверчивости к слухам, преданиям и к бескорыстию в зле наших врагов. Поэтому, когда народы достаточно повзрослеют, они утратят и священную ненависть друг к другу – она сменится, самое большее, досадой против удачливого конкурента. Но есть серьезное подозрение, что, повзрослев, народы просто исчезнут. Ибо их создает и хранит именно готовность жить выдумками и преданиями, а не более или менее проверяемыми фактами и материальными выгодами.

Борю Заславского в десятилетнем возрасте вывезли из Баку в Израиль, где он сделался Барухом. Сейчас он профессор экономической кибернетики в Калифорнии Боб Заславски. Каждая профессия порождает свою разновидность профессионального идио… я хочу сказать – редукционизма: для одних человек – двигатель внутреннего сгорания, для других – ристалище борьбы энтропийных и антиэнтропийных сил, для третьих – стадное животное с фиксированными инстинктами. Боря моделирует человека по образу и подобию биржевого маклера: все человеческие поступки продиктованы желанием максимизировать прибыль. Со снисходительной улыбкой взрослого дяди, рассказывающего о детских играх, он дивится тому, что некоторые его американские коллеги испытывают стыд при виде бездомных. «Но ведь где-нибудь в Нигерии их все равно останется в сто раз больше», – без особой надежды пытается вразумить их Боб. И юмористически воспроизводит их кудахтанье: «Но ведь это же в *нашем* государстве!» – «Вы вдумайтесь, что такое государство, – безнадежно вздыхая, просвещает их Боб. – Вы принадлежите к какой-то местной общине, у которой есть свой глава. Кроме того, вы живете в городе – у него есть мэр. Потом в штате – у него есть губернатор. Затем в государстве – у него есть президент. И наконец живете в мире – у него уже нет главы. Так чем же из всех этих общностей выделяется государство? У государства есть глава и есть сильная армия, вот и все».

Что ж, Боб мыслит ничуть не примитивнее тех мудрецов, которые пытались определить нацию через какие-то всеми наблюдаемые параметры: территория, язык, участие в относительно замкнутой системе разделения общественного труда. Бесплодность (никчемность) всех таких определений – ни одно из них не объясняет главного: национальной солидарности,

готовности во имя национального целого платить неудобствами, лишениями, а иногда и смертельным риском. Мы сами почти всю жизнь прожили в новой национальной общности, связанной уже и общим языком, и территорией, и системой разделения труда, – и эта коммуналка в большинстве сожителей накапливала лишь раздражение да убежденность, что их каким-то образом облапошивают. С другой стороны, Солженицын не случайно ведь посвятил свои будоражащие «Двести лет вместе» небольшому, но «звонкому» народу, который, бог весть когда рассыпавшись на части, многажды менял и территорию, и язык, и даже антропологический тип – но сохранил национальную солидарность до такой степени, что, собравшись из разных территорий, хозяйств и культур, возродил утраченное две тысячи лет назад государство. «Сие исполинское предприятие требует особенных обстоятельств и истинно гениальной предприимчивости» – такой итог когда-то подводил своим протосионистским размышлениям Пестель, и осуществиться это «исполинское предприятие» уж никак не могло без серьезной жертвенности. Да просто в войнах первоначального становления Израиля погибло огромное в процентном отношении количество молодежи – на этом фоне даже уже и не эффектно упоминать о массовой готовности людей интеллигентных профессий предаваться труду скотника или земледельца, хотя довольно многие из них и сейчас еще живы, я с ними встречался. Вот первопроходцев, этаких Павлов Корчагиных от сионизма, полагавших буржуазной мерзостью красивую одежду, вкусную пищу, чистую скатерть, – тех уже не осталось. Подобные жертвы могут приноситься лишь опьяняющим фантомам, трезвый взгляд на реальность пробуждает в человеке расчетливость, осторожность (а еще более трезвый и глубокий – ужас и отчаяние).

С вершин общечеловеческого катехизиса можно, конечно, сожалеть, что это подвижничество было проявлено во имя всего только нации, а не человечества, но, увы, примеры далеко не одного только Бори Заславски наводят на мысль, что человек отпадает от национального целого чаще всего не в пользу какой-то более широкой солидарности, а в сторону гораздо более узкой – если только не чистого шкурничества. И даже те немногие, кто и впрямь без всяких промежуточных ступеней возносится до единства со всечеловечеством, становятся не столь уж ценным для все-человечества приобретением: сегодня еще не существует сколько-нибудь массовых и отлаженных институтов, через которые можно было бы служить прямиком человечеству, а национальные структуры худо-бедно такие институты все-таки

имеют. Нет-нет, общечеловеческие идеалы как тормоз против этноцентрического эгоизма важны чрезвычайно, но в качестве конкретных созидательных мотивов они пока что мало чего стоят.

Хотя богатые страны сегодня и помогают бедным в ирреальных для XIX века масштабах, однако обрели они эту возможность лишь благодаря тому, что сумели поднять свои *национальные* хозяйства; слияние же сложившихся национальных организмов в один общечеловеческий привело бы к тем же результатам, что и коллективизация: кулацкие хозяйства растворились бы в общей безалаберности и нищете.

Каждая нация с грехом пополам все-таки хранит «наследие предков», а сваленное в общий котел… Национальная вражда есть оборотная сторона национальной солидарности, без которой и цивилизованный мир, пожалуй, долго бы не простоял. Конечно, сегодня от граждан «атлантической цивилизации» не требуется очень уж большой жертвенности: пока «беднота» не подвергла «эксплуататоров» каким-нибудь по-настоящему суровым испытаниям (а она берется за дело все круче), нации западного мира какое-то время могут существовать и как хозяйственные корпорации, в которых служат лишь до тех пор, пока находят выгодным, и теряют от этого, похоже, больше граждане, чем государства: далеко не каждый индивид способен очаровываться индивидуальными фантомами, а носителем прежних, коллективных была главным образом именно нация. И я вполне допускаю, что скоро наступит пора, когда снова начнут побеждать не те, кто лучше вооружен, а те, кто беспробуднее опьянен своими фантомами.

Ибо нацию и образует не кровь, не почва и не хозяйственная система, а система коллективных, в основном наследуемых и медленно обновляющихся фантомов – наполняющих душу гордостью или скорбью, но всегда чем-то возвышенным. А это, судя по всему, необходимо человеку по самой его социальной природе: лишившись опьянения воодушевляющими фантазиями, он пытается вернуть себе утраченное состояние при помощи алкоголя, наркотиков, всяческих безумств… Я вполне серьезно предполагаю, что рост наркомании, алкоголизма, самоубийств, немотивированной преступности есть результат «протрезвления», «повзросления» общества, отказа от выдумок во имя реальностей. Хотя это, конечно, самая что ни на есть детская (подростковая) иллюзия – верить, что уж ты-то от иллюзий свободен.

В качестве прозаика, по роду своей деятельности постоянно пребывающего среди людей и событий, которых нет и не было, я тоже приобрел свой профессиональный сдвиг – представление о человеке как о существе не столько разумном, сколько

фантазирующем. Разумно, если хотите, животное – оно в несопоставимо большей степени живет реальными фактами, не преображая их домыслами и фантазиями. Хотя что мы знаем о животных!.. Но вот в том, что животные не тратят таких громадных (и никаких) сил на бесполезные сооружения – гробницы, памятники, храмы, – вот в этом сомневаться трудно. Жертвы, приносимые людьми во имя мнимостей (феноменов, живущих только в мнениях), настолько превосходят все когда-нибудь совершавшееся во имя реальной пользы, что это наводит на ведущую к важным следствиям догадку: по-настоящему боготворить человек может лишь собственные фантомы. И священную ненависть питать тоже только к фантомам во имя других фантомов.

Да, порождены эти фантомы чаще всего какими-то реальными явлениями, но настолько перегримированными и дорисованными фантазией, субъективными истолкованиями и ассоциациями, что фактический их источник оказывается замурован в этом комплексе мнимостей почти неразличимо, он становится подобен песчинке в порожденной ею жемчужине. Жемчужине, ощущаемой исключительно тем субъектом, который ее вырастил, – и чьих ощущений не могут подтвердить никакие посторонние наблюдатели: так никто, кроме матери, не видит неповторимой прелести ее малютки. Точнее, фантома ее малютки.

Поскольку фантомы являют собой наиболее драгоценную часть человеческого мироздания, постольку и самую неукротимую ненависть вызывают те, кто на них покушается, – вот вам истинная причина национальной вражды. Родина – это тоже фантом, система фантомов, ассоциированная со страной нашего предполагаемого происхождения. Именно потому, что это феномен не внешнего, а внутреннего мира, ни ценность его, ни само понятие «родина» не могут быть обоснованы и расшифрованы средствами рационального анализа, стремящегося оперировать фактами, которые максимально подтверждались бы независимыми наблюдениями. Такой анализ может разве лишь разрушить любой фантом, если его обладатель недостаточно крепко к нему привязан. Каждый конкретный вопрос: «Что же она такое, эта ваша родина, – горы, долы, налоговая система, армия, президент?» – вполне подобен вопросу: «Что же такое ваша жена, которую вы так любите, – кожа, скелет, мозг, ее кулинарные, административные, научные достижения?» Ясно, что любой ответ будет смехотворен, потому что предметом любви является не человек, а порожденный им фантом. Щедринский Провинциал в Петербурге рассуждал еще более забавно: скажем, Нахичевань то

входит в наше отечество, то не входит – так любить ли нам отечество с Нахичеванью или без Нахичевани? За всеми изменениями не уследишь, так не лучше ли найти в отечестве нечто прочное и неизменное и уже со спокойный сердцем вверить ему свою преданность – это неизменное есть начальство. Может ли гражданин любить отечество, не зная его границ, вопрошал Щедрин, и концепция «человека фантазирующего» уверенно отвечает: да, может. Ибо фантомы лишь в слабой степени детерминируются материальными параметрами.

О коллективных фантомах можно сказать ровно то же, что и о любых веками формировавшихся социальных феноменах: с ними опасно – без них невозможно. Да, коллективные фантомы порождают самую страшную вражду – но они рождают и самую высокую самоотверженность. В мирное время раздувать национальную солидарность до истерического накала дело не только невозможное, но и прямо вредное, ибо дискредитирует само понятие патриотизма, национальной солидарности. Тогда как без какого-то минимального ее уровня, уж не знаю, как Западу, России точно не простоять. Начать хотя бы с того, что в России много дотационных регионов и, в сущности говоря, лишь национальная солидарность побуждает сургутского нефтяника делиться прибылью с псковскими старухами. Он, конечно, кряхтит, увиливает, но в принципе считает это справедливым. Но если он *искренне* почувствует: «А чем, собственно, псковские старухи лучше нигерийских?» – у него тут же найдутся лидеры, которые поставят страну на грань гражданской войны. Падение общенациональных фантомов сегодня, возможно, обошлось бы дешевле, чем в семнадцатом году, но все равно нахлебаются все – и русские, и татары, и евреи. Причем евреи нахлебаются больше, потому что их меньше. А кроме того, их деятельность чаще связана с теми тонкими социальными функциями, которыми жертвуют в первую очередь, когда речь заходит о физическом выживании.

В этом, похоже, и заключается один из выводов, к которым подводит Солженицын и русских, и евреев: берегите то государство, которое есть, не надейтесь, разрушив не слишком благоустроенный дом, в три дня воссоздать хрустальный дворец. Или переехать в другой дом – в таком количестве вас нигде не ждут. Но апеллировать к рациональным мотивам, когда речь идет о массовых движениях, дело совершенно пустое: трезвые люди предпочитают спасаться в одиночку. Готовность забыть о шкурных заботах ради общего и весьма неясного наследства способны пробудить в толпе только воодушевляющие фантомы (я намеренно избегаю слова «святыни», чтобы подчеркнуть, что речь

идет о чем-то существующем исключительно благодаря тому, что мы его таковым ощущаем). Возможно, именно поэтому Солженицын никак не пытается обосновать, чем, собственно, Россия заслужила, чтобы ее граждане принимали на себя какие-то хлопоты ради ее «интенсивного развития вглубь, нормального кровообращения»: тем, кто дорожит национальными фантомами, не нужно объяснять, зачем они нужны, – служение фантомам вообще являет собой высший тип человеческой деятельности. Хотя для тех, кто ими не дорожит, такое служение просто нелепость.

Любая страна стоит на детской доверчивости к непроверенному, почти во всем неверному, крайне неотчетливому и все же дорогому. А из реального и отчетливого можно любить лишь физически приятное. Любить так, как любят компот. Поэтому в относительной сохранности объединяющих русских фантомов заинтересованы все народы России.

Осознание того факта, что национальная вражда главным образом порождена страхом за любимые иллюзии, разумеется, еще не дает окончательного решения еврейского вопроса – соперничество народов может быть устранено из жизни лишь вместе с самими народами, вернее, со всеми, кроме какого-то одного: жизнь, из которой убраны все конфликты и сомнения, – глубинная греза всех протофашистских утопий. Но знание опасных зон позволяет тем, кто считает себя взрослыми, не затрагивать их без серьезной необходимости. Ни финансовые, ни научные, ни культурные, ни даже административные успехи евреев не навлекут на них по-настоящему опасной ненависти, пока русские не ощутят опасности для своих национальных фантомов. Кажется, в Америке именно так и устроилось, если судить хотя бы по массовому кинематографу, в котором, по крайней мере, не бросается в глаза ничего обидного для достоинства англосаксонского большинства, а хозяева грез – хозяева мира. Да и в частной жизни воспитанные люди, отнюдь не уклоняясь от реальной конкуренции, давно научились не затрагивать чужих иллюзий. Каждый-то, конечно, про себя знает, что именно его Дульсинея на самом деле прекраснейшая дама под луной, но все-таки не тычет и другому: твоя дама скотница, скотница, скотница…

Правда, на подобную рассудительность способны лишь взрослые люди, а народы – вечные дети. И когда разные мудрецы предлагают им гордиться не всякой полувыдуманной бесполезностью, а, например, объемом и качеством национальной продукции, – это походит на то, как если бы мальчишку учили гордиться не опасными подвигами и враками, а отличными

успехами и примерным поведением.

Обнадеживает только то, что в *лидеры* народов, как правило, выходят все-таки взрослые дяди.

Если не дразнить мальчишек. Самое страшное – это их страх за любимые фантомы.

Поэтому лучше всего почаще демонстрировать им, что они могут быть совершенно спокойны за свое достоинство, в чем бы оно ни заключалось, и что, пока они воистину дорожат своим национальным целым, им не страшны ни татарщина, ни неметчина, ни евр… Нет, слово «европейщина» имеет другой оттенок, лучше сказать – «общечеловечина». Тем более даже национальные параноики согласятся, что уж физическую-то опасность для русских с незапамятных времен всегда представляли только русские.

3. Три послания

О любых проявлениях еврейской солидарности Солженицын на протяжении всех своих «Двухсот лет вместе» высказывается с подчеркнутым уважением – с единственной, кажется, на всю книгу оговоркой (с. 34–35): «Более чем двухтысячелетнее сохранение еврейского народа в рассеяньи вызывает изумление и уважение. Но если присмотреться: в какие-то периоды, вот в польско-русский с XVI в. и даже до середины XIX, это единство достигалось давящими методами кагалов, и уж не знаешь, надо ли эти методы уважать за то одно, что они вытекали из религиозной традиции». («Во всяком случае нам, русским, – даже малую долю такого изоляционизма ставят в отвратительную вину», – прибавляет Солженицын.)

Но в конце XIX века еврейская внутренняя изоляция была прорвана – новые поколения не жалели сил, чтобы добиться социального успеха в российском обществе, – однако не ценой крещения. «Казалось бы, почему масса еврейской молодежи, не соблюдавшая никаких обрядов, не знавшая часто даже родного языка, – почему эта масса, хотя бы для внешности, не принимала православия, которое настежь открывало двери всех высших учебных заведений и сулило все земные блага?» – цитирует Солженицын мемуары Я. Тейтеля (с. 453), подчеркивающие главный признак национальной солидарности – бескорыстие, готовность на жертвы во имя мнимости, во имя того, что никому конкретно не приносит никакой выгоды.

Тем не менее пророку российского сионизма Владимиру Жаботинскому этого казалось недостаточно: «Многие из нас, детей еврейского интеллигентского круга, безумно и унизительно влюблены в русскую культуру… унизительной любовью свинопаса к царевне» (с. 455), «Наша главная болезнь – самопрезрение, наша главная нужда – развить самоуважение… Наука о еврействе должна стать для нас центром науки… Еврейская культура стала для нас прибежищем единственного спасения» (с. 457).

«И это – очень можно понять и разделить. (Нам, русским, – особенно сегодня, в конце XX века)» – это уже комментарий Солженицына.

Солженицын вообще старается согласиться с Жаботинским, где только может. Жаботинский (с. 457): «Кто мы такие, чтобы перед ними (русскими. – *А.* М.) оправдываться? кто они такие, чтобы нас допрашивать?» Солженицын: «И эту последнюю формулировку можно в полноте уважать. Но – с обоесторонним

применением. Тем более ни одной нации или вере не дано *судить* другую». (Надо ли понимать эти слова так, что каждая нация является и верховной инстанцией в суде над собой? Означают ли они неправомочность Нюрнбергского и Гаагского трибунала? Или группа наций все же обретает какие-то дополнительные права? Но это так, в скобках.)

С влюбленностью свинопаса, естественно, сочетались и не столь самоотверженные чувства (В. Мандель, с. 453–454): в предреволюционные десятилетия не только «русское правительство… окончательно зачислило еврейский народ во враги отечества», но «хуже того было, что многие еврейские политики зачислили и самих себя в такие враги, ожесточив свои сердца и перестав различать между "правительством" и отечеством – Россией… Равнодушие еврейских масс и еврейских лидеров к судьбам Великой России было роковой политической ошибкой». Ну с масс-то взять нечего – их удел жить либо буднями, либо фантомами, а вот лидеры… Это именно их первейшая задача – канализировать преданность фантомам в берега прагматики.

В итоге еще один авторитетный еврейский наблюдатель Г. Ландау (с. 454) отмечает «мучительную двойственность» (выражение Солженицына) еврейской натуры: «Привычная эмоциональная привязанность у весьма многих [евреев] к окружающему [русскому миру], врощенность в него, и вместе с тем – рациональное отвержение, отталкивание его по всей линии. Влюбленность в ненавидимую среду». «Трудность сближения и была та, – подхватывает Солженицын, – что этим блистательным адвокатам, профессорам и врачам – как было не иметь преимущественных глубинных еврейских симпатий? Могли ли они чувствовать себя вполне русскими по духу? Из этого же истекал более сложный вопрос: могли ли интересы государственной России в полном объеме и глубине – стать для них сердечно близки?»

«Сложный вопрос» – подумаешь, бином Ньютона! Да, разумеется же, нет. Несовпадение фантомов неизбежно ведет и к несовпадению целей. Но в данном случае – не к антагонистическому: это могло быть всего лишь различием приоритетов внутри общей программы. Больше того, при отправлении подавляющего большинства общественных функций и вообще требуется не больше государственного патриотизма, чем для повседневной деятельности сантехника, – для них вполне довольно простой добропорядочности и профессионализма – в этих качествах еврейскому мещанству отказывают уже только параноики. Да и еврейские мошенники не поражают воображение

своим бесстыдством в сравнении с мошенниками русскими – и те и другие останавливаются лишь перед физической невозможностью. Но в развитых странах, которые дореволюционная Россия догоняла семимильными шагами, еврейская криминальная изобретательность не составляет заметной проблемы, а кроме того, были бы дырки в заборе, а свиньи будут – этот закон универсален для всех времен и народов. (Заборы же строит и ставит часовых к дыркам, как правило, коренное население…) Но зато уж мошенники никак не могут быть агентами еврейского влияния: национальная, равно как и всякая другая, солидарность принадлежит к числу самых редких мошеннических добродетелей.

И даже равнодушие евреев к международному престижу России в принципе могло послужить ей на пользу – в качестве тормоза против военных авантюр: тех ужасов, в которые ввергло Россию патриотическое правительство, не могло бы измыслить наичернейшее антирусское воображение – Солженицын тоже называет Первую мировую войну «самым неосмысленным безумием XX века», раскрученным «без всякой ясной причины и цели» (с. 476). Поэтому ниоткуда не следует, что космополитический рационализм опаснее бурного патриотизма: именно страсть, а не расчетливость порождает наиболее губительные безумства. Оскорбленная любовь к родине была мощнейшими дрожжами гитлеризма… И много ли она принесла Германии?

Для реальных интересов подавляющего большинства евреев революция была уж никак не менее опасна, чем для подавляющего большинства русских. Фантомы, или, если хотите, мечты и ценности «идишизма» или «сионизма», тоже вполне могли сожительствовать с русским патриотизмом – каждая сторона могла наслаждаться своей Дульсинеей, втихомолку посмеиваясь над уродиной соседа. (Более сильный – более громко, более слабый – более ядовито.) Фантомы-то, конечно, примирить труднее всего. «Всякий народ до тех пор только и народ… пока верует в то, что своим Богом победит и изгонит из мира всех остальных богов» – эти слова Достоевского, возможно, и до сих пор выражают мироощущение младенческого ядра любого народа. Но, к счастью, в начале XX века даже младенцы – по крайней мере, младенцы западного мира – в большинстве своем победу и изгнание чужих богов уже понимали не в военном смысле, равно как и сегодняшние младенцы ищут побед не на поле брани (разве что газетной), а в области балета, спорта, космоса, мод, машиностроения и сельского хозяйства, международного престижа, качества жизни и государственного

управления: то есть и они преданы своим фантомам не до полной осатанелости. Так что при всем несовпадении народных устремлений мирное сосуществование – сотрудничество плюс соперничество без физического насилия – вполне могло эволюционировать и в дореволюционной России.

Если бы не война, даже прямые враги русского народа, сколько бы их ни набралось, ничем серьезным не могли бы ему повредить: физически для русских внутри страны всегда были и будут опасны только русские. Убийство Столыпина, пожалуй, было единственным терактом исторического масштаба, но ведь Столыпин уже и до того был отвергнут «придворной камарильей»? Убийства же отдельных сановников лишь способствовали консолидации консервативных сил. Зато «прогрессивная общественность» террористам аплодировала… Здесь приходится повторить, что евреи лишь *присоединялись* к уже существующим фантомам. Возможно и даже скорее всего – с большей страстью и меньшим внутренним противодействием, однако и без них утопические революционные призраки не просто бродили, но прямо-таки маршировали по образованной России с пятидесятых годов. Перечитайте так называемых революционных демократов (которыми зачитывалась и еврейская интеллигенция) – всюду увидите младенческую убежденность, что они всего только несут в нелепую страну некое разумное до очевидности слово науки, в просвещенном мире уже сделавшееся общим местом. «Что там (в Европе. – *А.* М.) гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но, пожалуй, и у ихних профессоров», – Федор Михайлович, как известно, сильно недолюбливал евреев, именуя «жидовской идеей» овладевший, по его мнению, Западом культ корысти, однако самоуверенное верхоглядство он приписал все-таки русским мальчикам.

В этой младенческой убежденности и жила либеральная верхушка – в убежденности, что ей отлично известно, «как надо», и если бы не бездарность и эгоизм царской администрации… Прибавление щепотки даже самых остервенелых евреев к этой горстке русских умников не могло существенно изменить ситуацию – пока не всколыхнулось и не остервенилось «народное море». Можно, конечно, доказывать, что именно еврейская соломинка, а не тысяча других сломала хребет российской государственности, но это аргументы уже для маргинальных антисемитов. Я же скажу больше: вступление евреев в либеральные и революционные ряды, возможно, укрепляло их меньше, чем ряды их противников, ибо вызывало недоверие масс к освободительному движению. Я думаю, Жаботинский не совсем

сочинял, пересказывая один критический эпизод первой революции: перед взвинченной толпой, готовой по умелому зову ринуться на твердыни самодержавия, один за другим выступают пламенные еврейские ораторы. «Да это какое-то еврейское дело…» – зреет охлаждающая догадка в трезвеющих умах. Вот и национал-коммунистическим друзьям русского народа сегодня следовало бы благодарить еврейских активистов из Союза правых сил за предоставление самого надежного пропагандистского козыря.

Социальная жизнь противоречива и непредсказуема: совершенно неизвестно, кто причинил России больше зла – ее друзья или ее враги. Впрочем, Солженицын и не опускается до обсуждения степени физического участия евреев в раскачивании России. Ему ли не понимать, что стойкость любого народа сосредоточена в его духовной сфере, в преданности своим – чтобы не оскорбить почитателей Солженицына, в данном случае употреблю слово «святыни», – в готовности ради их спасения в минуту опасности снизить претензии друг к другу. Основы практической политики тоже таятся в сфере коллективных мнимостей – в представлениях о коллективных целях, интересах, методах, и вот их-то, по мнению Солженицына, русские упустили из своих рук в еврейские.

В этом и заключается главный итог книги (с. 475): «Сила их развития, напора, таланта вселилась в русское общественное сознание. Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям – мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу историю и на выходы из нее.

И понять это – важней, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию (раскачивали ее – мы все), делал революцию, или участвовал в большевицкой власти».

Звучит чрезвычайно серьезно и ответственно – особенно на фоне либерального ханжества и патриотической клеветы. И все же возьму на себя смелость повторить, что евреи не создали ни одного из ведущих фантомов эпохи, а всегда только присоединялись. Даже к фантому России как дикого нелепого страшилища евреям было трудно что-либо прибавить – столь блистательно и эта работа уже была выполнена русскими. Да не швалью какой-нибудь – людьми, составляющими гордость этого самого страшилища! «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ!» – с такой силой выкресту не припечатать. Из Чаадаева можно выписывать страницами: и бурной-то поэтической юности у русского народа не было – одна сплошная тусклость, оживляемая лишь злодеяниями и смягчаемая только рабством, и идеалов-то долга, справедливости, права и порядка у

русских нет – словом, чего ни хватишься, того и нет, а есть исключительно полное равнодушие к добру и злу, к истине и лжи (чаадаевская горечь, несомненно, продиктована именно таким равнодушием). И если даже взять славянофилов, ну хоть Хомякова – и у него Россия «В судах черна неправдой черной // И игом рабства клеймена, // Безбожной лести, лжи тлетворной // И лени мертвой и позорной, // И всякой мерзости полна».

Хорошо, поэты, философы – народ крайностей, но реалистическая-то проза как будто гонится за типическим? Вот вам Потугин из тургеневского «Дыма»: всюду нам нужен барин, у нас и гордость холопская, и самоотречение лакейское, Запад браним, а внутри лебезим, ни одного изобретения не внесли в хрустальный дворец человечества, даже самовар и лапти откуда-то стянули… Это джентльмен. А вот самородки из бунинской «Деревни»: «Боже милосливый! Пушкина убили, Лермонтова убили, Писарева утопили, Рылеева удавили… Достоевского к расстрелу таскали, Гоголя с ума свели… А Шевченко? А Полежаев? Скажешь, правительство виновато? Да ведь по холопу и барин, по Сеньке и шапка. Ох, да есть ли еще такая сторона в мире, такой народ, будь он трижды проклят». «Вот ты и подумай: есть ли кто лютее нашего народа?» – за мелким воришкой весь обжорный ряд гонится, чтобы накормить его мылом, на пожар, на драку весь город бежит и желает только, чтоб забава подольше не кончалась; а как наслаждаются, когда кто-нибудь бьет жену смертным боем али мальчишку дерет как Сидорову козу! Учат дураков для потехи рукоблудству, мажут невестам ворота дегтем, травят нищих собаками, для забавы голубей сшибают с крыш камнями… А историю почитаешь – волосы дыбом встанут! Брат на брата, сват на свата, вероломство да убийство, убийство да вероломство… И в былинах сплошной садизм – «выпускал черева на землю», и в песнях сплошной сволочизм – «вот тебе помои – умойся, вот тебе онучи – утрися, вот тебе обрывок – удавися»… Вся Россия – дикая, нищая, злобная *деревня,* это итоговый символ, а не частная зарисовка. Пашут тысячу лет, а пахать путем ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать, когда надо сеять, когда косить, хлеба ни единая баба не умеет спечь – ну что худшего может выдумать самый лютый еврейский ворог?

Правда, интеллигентные либералы осуждали Бунина за очернительство их фантомов, но он и в «Окаянных днях» повторял, что все они видели народ только в образе извозчичьей спины. И заключил: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь,

сложность, богатство, счастье». Ключевое слово здесь, по-моему, *сложность* – именно ее-то и не умеет ценить пошлость как либеральная, так и авторитарная. С романтических-то поэтов взятки гладки – их дело судить реальность с высоты идеальной ирреальности, – только опять-таки пошлость понимает буквально поэтическую скорбь поруганного идеала, поэтическую боль оскорбленной любви к родине. Но ведь на пошлости мир стоит! Немало даже и политических, религиозных утопий возникло из-за буквального понимания художественного образа – почему бы неискушенному эстетически сознанию чужака и не принять это раздирание ран за медицинскую констатацию фактов?

Что за русскими самообвинениями чаще всего следуют какие-то «но»: «но я люблю – за что, не знаю сам» или «умом Россию не понять», «в Россию можно только верить» – так нелепо же присоединяться к чувствам, которые и самому их носителю непонятны. Задуматься, что *никакой* трезвый разбор достоинств и недостатков предмета любви в принципе никогда не сможет эту любовь обосновать, а разве лишь разрушить, ибо любят не предмет, а фантом предмета, – кто же станет задумываться о таких тонкостях, когда очевиднейшим образом ощущает мнимость чужих и подлинность своих ценностей? Однако я вовсе не утверждаю, что евреи «приняли» свои русофобские воззрения на Россию из протоколов русских мудрецов и поэтов, – до подобных итогов вполне можно дойти самостоятельно, вглядываясь трезвыми глазами в историю и быт решительно каждого народа. Допустим, евреи так и поступили. Но откуда и в этом случае следует, что русские способны «принять» такой взгляд на свою историю, освободив душу от всех противоречий любви-ненависти? А не испытать еще более острую обиду за несчастья и пороки своего отечества и не ощутить еще более мучительное желание что-то сделать для его блага? Вообще-то презрение чужаков к нашим фантомам обычно лишь обостряет нашу привязанность к ним, а заодно и отчуждение от их обличителей. Так что если даже признать самые эгоистические и неприязненные воззрения евреев на русскую историю и выходы из нее, то они очень даже могли не ослаблять, а укреплять русский патриотизм.

Поэтому, на мой взгляд, совершенно невозможно определить отдельный вклад какой-то нации в формирование негативного образа России. Раскачивали ее все, и фантом ее создавали все. И фантом желательного ее будущего, к которому можно прийти за три фантомных дня по прямому фантомному шоссе, тоже творили все – все верхогляды «всего цивилизованного мира». Но в России русские занялись этим фантомотворчеством еще тогда, когда

евреи носа не показывали из-под власти кагалов и хедеров.

Мне ужасно не хочется оправдывать евреев, мне тоже опротивело и еврейское всезнайство, и еврейское стремление взирать на нашу неразрешимо запутанную реальность с высоты «давно известных всему цивилизованному миру» знахарских трюизмов – еврейские пошлость и верхоглядство раздражают меня сильнее, чем русские. Потому что примитивизируют и дискредитируют те вещи, которыми в принципе и я дорожу. «Патриотические» пошляки, впрочем, тоже дискредитируют дорогие мне вещи – слова «совесть», «духовность», «коллективизм» из-за них уже давно вызывают изжогу. Но с этого народа как-то спроса меньше – они ведь и не претендуют на рассудительность и образованность, а напирают больше на душу, на русскую непостижимость (в другом варианте на суровость, но это уж совсем младенцы). А про еврейских умников невольно думается: уж вам-то бы следовало быть умнее, потому что вам больше достанется (кроме уж самых верхних сливок, которым будет куда утечь). Короче говоря, еврейский апломб мне противнее, чем русский. Но опаснее ли он? Вот этого, как ни хотелось бы, сказать не могу. Не могу определить и того, в какой степени пошлость «западническая» и пошлость «исконная» уравновешивают, а в какой раздувают друг друга. А потому уверенность Солженицына в том, что одна сторона способна «слить» свои понятия с понятиями другой, представляется мне как минимум недостаточно обоснованной. И, подозреваю, даже и не могущей быть обоснованной.

Да, в последние лет сто – сто тридцать евреи постоянно примыкали и выбивались на виднейшие места в самых разных, но всегда «прогрессивных» течениях, это правда. И этим их усиливали – но одновременно и ослабляли, вызывая к ним недоверие в патриотической и консервативной (еще какой немалой!) части общества. И какая гирька – левая или правая – оказывалась весомее, установить, я думаю, никогда не удастся. Кроме того, историческое преступление умеренных русских «прогрессистов» заключалось вовсе не в том, что они мечтали о прогрессе, а в утрате чувства реальности: они не желали вглядеться, насколько хрупко здание, где они устраивали свой возвышенный балет. Поэтому решительно ничто не говорит о том, что «прогрессисты» приняли участие в разрушении здания, в котором жили, именно в угоду евреям – в угоду их целям, их интересам. Во-первых, евреям этого вовсе не требовалось (исключая щепотку маргиналов, которых знать никто не знал, покуда здание не рухнуло). А во-вторых, ни с реальной благотворительностью, когда возникала нужда, ни с реальным

равенством, когда возникла возможность, «прогрессивная общественность» не спешила, предпочитая держать еврейское неравенство перед миром вечным обличением преступного царского режима (еще и удесятеряя его истинные прегрешения – ведь во имя Правды лгать не только дозволено, но и необходимо). Хотя, впрочем, из того факта, что падение царского режима привело и к падению государства, ведь еще, кажется, не следует, что всякий, кто подвергал правительство какой-либо критике, был неизбежным пособником большевиков, «лил воду на их мельницу»? («На чью мельницу?» – этот «исказительный оборот» справедливо возмущает Солженицына, когда при его помощи затыкают рты желающим сказать неприятную правду.) Скорее всего, в России зрел и нарывал обычный для истории трагический конфликт, где не бывает правых и неправых: каждая сторона действовала так, как только и могла действовать, как повелевали ей фантомы, во власти которых она оказалась. И фантом, подчеркиваемый Солженицыным – «прогрессивно то, что протестует против угнетения евреев, и реакционно все остальное» (с.460), – для либералов вовсе не был самым могучим стимулом к борьбе, а, подозреваю, у всей «прогрессивной общественности» стоял на 81-м месте, но только Толстой с его ненавистью к лицемерию решился в этом признаться (с. 461). «Сочувствие к евреям превратилось почти в такую же императивную формулу, как "Бог, Царь и Отечество"», – цитирует Солженицын известного израильского публициста Александра Воронеля (с. 464), называя его объективным и прозорливым; но следует ли из этой императивности, что либералы ей следовали более искренне и самоотверженно, чем служили Богу, Царю и Отечеству консерваторы? Где примеры – не деклараций, а реальных, серьезных политических жертв русского либерализма еврейскому равенству? То есть примеры отступлений от собственных планов, от собственных либеральных и социалистических моделей, выработанных просвещенной пошлостью «всего цивилизованного мира»? Я задаю этот вопрос без малейшего желания кого бы то ни было подкузьмить, и менее всего – Александра Исаевича Солженицына. Упрек Бердяева (с. 423) всему левому спектру – ваша борьба за права евреев не хочет знать евреев – на самом деле констатирует совершенно естественный факт: если отдельные индивиды еще бывают способны на жертвенность, то корпорации – никогда, и народы могут идти на жертвы исключительно во имя собственных иллюзий.

Я повторяю без всякого яда: ни один народ не обязан жертвовать собой для другого, но, по-моему, никто этого никогда и не делал в сколько-нибудь серьезных масштабах. Однако я

действительно недостаточно хорошо знаю русскую историю начала века, и если мне укажут, какие важные ошибочные шаги совершил русский либерализм именно ради евреев, а не из-за собственного верхоглядства и позерства, – я буду искренне признателен. Но неужели же это специфически еврейская черта – бесшабашность, доходящая до полной утраты элементарного чувства реальности, до полной утраты инстинкта самосохранения? Обычно евреев склонны обвинять в грехах противоположных… Солженицын же вот как рисует роковое начало Первой мировой войны (с. 508) – роковое и для русских, и для евреев: «И русская, и еврейская общественность и пресса оставались вполне преданы Победе, даже первые раззадорщики ее, – но только *не с этим правительством! не с этим царем*\ Они были в запале все того же уверенного соображения, с которым начали войну, простого и гениального: еще на ходу этой войны (а то потом будет трудней) и непрерывно побеждая Германию, – сбросить царя и сменить государственный строй. А тогда – наступит и еврейское равноправие». (Вроде бы и так уже готовившееся на Пасху 1917-го.)

Что в этом бреде – фантомном мире – принадлежит русским, а что евреям, мудрый Эдип, разреши, а мне было бы проще частички влаги из единого облака разделить по водоемам, из которых они испарились. Правда, по моим личным впечатлениям, самоуверенная пошлость и верхоглядство в еврейском исполнении чаще окрашены теми «общечеловеческими» принципами, по которым не живет и не может жить ни одна страна в мире. Но более ли опасен, повторяю, именно этот вид упростительства, чем истинно русские разновидности оного? И если даже допустить излишек еврейского влияния на русские умы, то говорить можно лишь о воздействии еврейских пошляков на пошляков русских: серьезные русские люди называли «прогрессивные» газеты и журналы журналами для детей. Но ведь, освободившись от еврейского влияния, русские пошляки и верхогляды западнической штамповки – они что, перейдут под власть разума и ответственности, а не под власть какой-то иной пошлости? «Особого пути» уже чисто русского разлива? Я думаю, это будет именно так: индивид, уверенный, что из любого положения есть простой и быстрый выход, способен поумнеть (если вообще способен) лишь в результате тягчайших испытаний, навлеченных на него собственной легковесностью. Народы же в лице своих младенцев умнеть в принципе не способны, ибо так называемая народная память хранит лишь воодушевляющие фантомы.

«Простота против неразрешимой сложности» – под этим

лозунгом идут на штурм социальной реальности пошляки, они же утописты, всех сортов: либеральные, авторитарные, националистические, космополитические, и либерально-космополитическая пошлость в этом ряду, может быть, и раздражает-то прежде всего потому, что не внушает истинного ужаса.

Хотя в конечном итоге предпочтение тех или иных сортов примитивности есть дело вкуса – персонально мне трудно сделаться болельщиком за какой-то один из них, я предпочел бы перемещение не от одного утопизма к другому, а к мировоззрению трагическому, которое понимает, что опасности подстерегают нас не с какой-то одной, а буквально со всех сторон. Избыток патриотизма опасен, но опасен и его недостаток; ровно то же можно сказать и о масштабах государственного влияния, и о любых формах международной конкуренции, и обо всем прочем вплоть до предметов самых священных. Но где граница между социально полезным и социально вредным, человеку знать не дано, он обречен действовать на свой страх и риск и вечно нести ответственность за последствия, так и не зная, прав он был или не прав. Вернейший же признак неправоты – уверенность в своей правоте.

И если Солженицын, на мой взгляд, преувеличивает важность еврейского влияния на русские умы, то выводы, к которым, мне кажется, подводит его книга, достойны самого серьезного отношения. Рискну сформулировать их в виде трех посланий.

Послание к евреям

Не стоит слишком уж открыто презирать чужие фантомы – это озлобляет их почитателей, а вам не приносит ни малейшей пользы: недостаток русского патриотизма для вас так же опасен, как его избыток. Тем более что избыток чаще всего и является реакцией на временный недостаток.

Послание к русским

Берегите собственные святыни, вместо вас этого не будет делать никто. Прежде всего потому, что они в глазах посторонних и не могут иметь никакой ценности.

Послание ко всем

В борьбе за свои права внутри государства опасайтесь обрушить его на свои головы. И помните, что невозможно нанести ущерб правительству, не нанося ущерб стране. Агрессия всегда есть ответ на угрозу, и в государстве, не испытывающем страха за свое существование, в конце концов неплохо устраиваются и меньшинства, и большинство. Страшитесь прежде всего внушать друг другу страх.

Не знаю, согласится ли под этими посланиями поставить свою подпись сам Солженицын, но я понял его именно так.

4. О национальной стыдливости великороссов

После выхода моего романа «Исповедь еврея», т. е. лет шесть-семь назад, сочтя меня, вероятно, специалистом по антисемитизму, ко мне обратилась прелестная финская корреспондентка с изумившим меня вопросом: антисемит ли Солженицын? Я ответил, что Солженицын – человек идеала (мира высоких мнимостей), а потому может ненавидеть разве что враждебные его идеалу принципы, но никак не конкретных людей без разбора их личных дел. Кажется, девушка была разочарована, однако и сейчас, по прочтении солженицынских «Двухсот лет вместе», мне практически нечего прибавить. Да, Солженицын любит ту Россию, какой он ее видит, и еще более ту, какой он мечтал бы ее видеть. Вместе с тем он любит и справедливость, а та справедливость, для которой он открыт, говорит ему, что в начале XX века отношения русских с евреями сложились очень уж не «обоесторонне» в пользу евреев – не в области опять же физической, а в области ценностей и принципов (с. 474): «Еще с разгара XIX века, а в начале XX тем более – русская интеллигенция ощущала себя уже на высокой степени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интернационалистичности (что тогда и не различалось). Она уже тогда во многом и почти сплошь отреклась от русского национального. (С трибуны Государственной Думы упражнялись в шутке: "патриот-Искариот").

А еврейская интеллигенция – не отреклась от национального. И даже закрайние еврейские социалисты старались как-то совместить свою идеологию с национальным чувством. Но в это же самое время не слышно было ни слова от евреев – от Дубнова до Жаботинского и до Винавера, – что русской интеллигенции, всею душой за угнетенных братьев, – можно не отказываться от *своего* национального чувства. А по справедливости, такое должно бы было прозвучать. Вот этого переклона тогда никто не понимал: под *равноправием* евреи понимали нечто *большее».*

Возможно, кто-то и желал вместо равенства прав чего-то большего – утопическим фантазиям закон не писан. Но вполне возможно и то, что еврейским лидерам просто не приходило в голову отстаивать права доминирующей нации. И это с их стороны непростительное упущение: такого рода расшаркивания абсолютно необходимы с обеих сторон, если даже это будут ни к чему реальному не ведущие слова. Слово «политика» – это чуть

ли не главное его дело: дело национальных вождей формировать прежде всего возбуждающие или умиротворяющие коллективные фантомы, остальное сделают профессионалы, «спецы», безразлично какой национальности.

Еврейским лидерам стоило бы извлечь «своесторонний» урок из мужественных откровенностей И. Бодуэна де Куртенэ, опубликованных в захлебисто (невольно впадаю в солженицынскую лексику) филосемитском сборнике «Щит» (1916 г.): «Многие, даже из стана "политических друзей" евреев, питают к ним отвращение и с глазу на глаз в этом сознаются. Тут, конечно, ничего не поделаешь. Чувства симпатии и антипатии… не от нас зависят». Однако – нужно руководствоваться «не аффектами, [а] разумом» (с. 464). Если русские могли ощущать себя «на высокой степени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интернационалистичности», питая при этом тайное отвращение к евреям, почему бы и евреям не руководствоваться не аффектами, а разумом? Для консолидирующей нации демонстрация «всеземности» и есть наиболее разумная политика: объединяя народы вокруг себя, конечно же, лучше всего делать вид, а еще лучше – верить, что никаких национальных интересов у тебя нет, а хлопочешь ты исключительно в пользу всечеловечества. Объединяемые же меньшинства, словно гости за грузинским столом, должны отвергать такое великодушие и уговаривать хозяина не раздаривать все добро гостям, а сохранить и для себя хотя бы крышу над головой.

Реальную же привязанность хозяина к дому могут открыть лишь те жертвы, на которые он пойдет в минуты реальной опасности для своего очага. Насколько равнодушно русская интеллигенция встретила мировую войну, с какой легкостью приняла поражения, аннексии, с какой готовностью, находясь в составе разных эфемерных правительств, раздавала независимость оказавшимся под ее рукой национальным территориям, насколько легко забыла о России в эмиграции, предавшись исключительно устройству личных либо каких-то общечеловеческих дел, – только это и говорит о подлинном уровне ее патриотичности. И очень многое мне подсказывает, что уровень этот не столь уж слабо восставал над уровнем моря всеземности, – судя по очень уж многому, русские интеллигенты под слоем утопического позерства в большинстве своем были нормальными людьми, то есть патриотами. Однако что-то более точное надеюсь прочесть во второй, постреволюционной части «Двухсот лет вместе».

Принадлежа к нации-гегемону, не размахивать своим

патриотизмом – это, повторяю, не только тактично, но и целесообразно. А главное, когда ни правам, ни достоинству нации ничего не угрожает (весь национальный позор представляется ложащимся целиком на правительство), – нормальные люди чаще всего даже и не замечают своей национальной солидарности – так здоровый человек может не подозревать, что у него есть селезенка. Как границы нашего тела мы наиболее убедительно ощущаем через боль от столкновения с внешними предметами, так и границы нашей национальной солидарности острее всего ощущаются через столкновение с другими нациями. Скорее всего, именно из-за нехватки достаточно болезненных для ее национального чувства столкновений русская интеллигенция так поздно задумалась над своей национальной задачей – как национальной, а не общегосударственной. «Когда недержавные национальности стали самоопределяться, явилась необходимость самоопределения и для русского человека» – эту и доныне актуальную мысль опубликовал в либеральной газете «Слово» во время «исторически важной полемики» 1909 года одобрительно цитируемый Солженицыным (с. 466–467) умный публицист В. Голубев. «Прежде, чем быть носителем общечеловеческих идеалов, необходимо поднять на известную национальную высоту самих себя» – для русского либерализма это было далеко не банально. И хотя выражение «национальная высота» довольно туманно, в том, что возвышенные декларации из уст народа презираемого будут встречены скептически, если вообще будут расслышаны, – в этом сомневаться трудно. Миролюбие бессильного, бессребреничество нищего международным уважением пользоваться не будут. Не замалчивать особенностей русских людей – это совсем не значит подавлять другие национальности, спешил оговориться В. Голубев, но – между национальностями должно быть «соглашение, а не слияние» (с. 467). От слияния к соглашению – очень разумный переход, когда слияние (слияние национальных фантомов) оказалось невозможным: деликатно не замечать национальностей можно лишь до тех пор, пока и национальности согласны себя не замечать. Но характерно, что столь масштабные раздумья явились результатом «раздутого, расславленного "чириковского эпизода"» (с. 465). Чириков в литературном застолье неосторожно задумался вслух, а способны ли рецензенты-евреи (большинство петербургских рецензентов) вникнуть в русские бытовые эпизоды? Спокойный ответ мог быть, например, таким: еврейские читатели способны понимать русских писателей минимум в той степени, в какой русские читатели понимают Сервантеса, Диккенса,

Флобера и Марка Твена. Тем не менее с одной стороны посыпались обвинения в антисемитизме, а с другой чрезвычайно чтимый Солженицыным П. Б. Струве веско констатировал, что этот случай, который будет скоро забыт, вывел на свет важное явление: русская интеллигенция безнужно и бесплодно прикрывает свое национальное лицо, меж тем как его нельзя прикрыть. Национальность есть нечто гораздо более несомненное, чем раса и цвет кожи, – это духовные притяжения и отталкивания, которые живут и трепещут в душе. Можно и нужно бороться, чтобы эти притяжения-отталкивания не вторгались в строй государственных законов, но они – органическое чувство национальности, и П. Б. Струве не видит ни малейших оснований отказываться от этого достояния в угоду кому-либо и чему-либо.

В правовой области, уточняет Струве, еврейский вопрос очень легок: дать евреям равноправие – да, конечно. Но в области притяжений-отталкиваний все гораздо сложнее. Сила отталкивания от еврейства в самых различных слоях населения очень велика – притом что из всех «инородцев» евреи русским всех ближе, всех теснее с ними связаны. Русская интеллигенция всегда считала евреев своими, русскими, и сознательная инициатива отталкивания от русской культуры, утверждения еврейской национальной «особности» принадлежит не ей, а сионизму. (Что, я думаю, следует признать истиной – не забывая, однако, того, что *полное* включение в русскую культуру означало бы исчезновение еврейского народа. – *А.* М.) И вот еще трудность: нет в России других «инородцев», которые играли бы в русской культуре такую роль, но «они играют ее, оставаясь евреями».

Из этого факта Струве не делает никакого практического вывода, лишь повторяет: не пристало нам хитрить с русским национальным чувством и прятать наше лицо; чем яснее это будет понято, тем меньше в будущем предстоит недоразумений (с. 467–468).

«И правда бы, – комментирует Солженицын. – И очнуться бы всем нам на несколько десятилетий раньше. (Евреи и очнулись много раньше русских.)» И со сдержанным негодованием пересказывает ответное «учительное слово» Милюкова: *«Куда это ведет? кому это выгодно?* "Национальное лицо", да которое еще "не надо прятать" – ведь это же сближает с крайне-правыми изуверами! (Так что "национальное лицо" *надо* прятать.)»

Но Струве настаивал на своем: и самим евреям полезно увидеть открытое «национальное лицо» русского конституционализма и демократического общества, для них совсем не полезно предаваться иллюзии, что такое лицо есть только у антисемитического изуверства. Это «не Медузова голова,

а честное и доброе лицо *русской* национальности, без которой не простоит и *"российское"* государство» (с. 470).

В последнем, я полагаю, Струве прав: при том количестве социальных и национальных конфликтов, от которых трещала по швам предреволюционная Россия, без русского патриотизма непонятно что еще могло послужить добровольной консолидирующей силой (ибо объединять миллионные массы способны не интересы, а лишь фантомы). Но прятать национальное лицо – что это, собственно говоря, означает? Как уж так русское демократическое общество его прятало? Что оно, стыдилось русского языка? Бегало в церковь украдкой, тогда как страшно хотелось торжественно шествовать туда во главе семейства? Не смело произнести имя Пушкина или похвалить патриотическую «Войну и мир»? Стыдилось хоть в чем-то поддержать правительство? Но это уж скорее от стыда перед своими символами веры, чем перед инородцами. Господи, да какой инородец сумел бы превзойти в антиправительственном, антигосударственном, антинациональном, антицерковном пафосе русского гения графа Толстого! Пожалуй, именно это и было национальной традицией русской демократии – пребывать в заблуждении, что именно она-то и выражает истинные нужды народа, то есть и является истинным национальным лицом. Скрыть национальное лицо, я подозреваю, просто-напросто невозможно: что ты показываешь миру, то и есть твое лицо. И пока русская демократия была уверена, что говорит от лица всей многонациональной России, она имела одно выражение лица. А когда поняла, что заблуждалась, – и выражение это начало меняться. Причем неизвестно, к лучшему или к худшему: боюсь, государствообразующей нации слишком подчеркивать свои особенности, как это делают малые нации, вредно для ее консолидирующей роли. Я не уверен, что следует стремиться к симметрии больших и малых.

Притом что, честное слово, я действительно не могу взять в толк, что же такого важного для судеб России, словно мусульманская женщина на приеме у врача, прятала на своем национальном лице русская прогрессивная общественность. Ведь прятать означает *иметь, но не показывать,* однако и «Двести лет вместе», и «Красное колесо» убеждают в другом: русские прогрессисты в большинстве своем прежде всего *не имели* реалистической модели реформирования России и не догадывались, что играют с огнем. И ликовали они при падении самодержавия, оставившего их один на один с остервеневшими «массами», в детском убеждении, что нынче все заодно, то есть скорее в патриотическом ослеплении, чем в национальной

застенчивости.

5. Двойные стандарты и народное перевоспитание

В твердом уповании на невозвратность тоталитаризма не стану страха ради иудейска заверять скептически поглядывающую власть и самого себя в том, что все граждане России одинаково патриотичны независимо от их национальной принадлежности. Лучше еще раз повторюсь, что современному государству совсем не требуется к законопослушности граждан присоединять еще и поголовный патриотизм – тем более что избыток патриотизма никак не менее опасен, чем его недостаток. И однако же, нарастание патриотизма в его наименее конструктивной форме «обиды за державу» и желания нанести ответную обиду я все чаще и чаще встречаю среди людей вполне интеллигентных и даже евреев – среди тех, кто лет десять – пятнадцать назад беззаветно выступал за все хорошее: за сближение с Америкой, за вывод войск из Восточной Европы, за освобождение Прибалтики – о преданности демократии, гласности и рынку я уже не говорю. Чувства этих «разочарованцев», вероятно, в предельной остроте переживает какой-нибудь непутевый пацан, с жаром ринувшийся на путь исправления и через месяц обнаруживший, что теперь его распекают за кляксу в тетради едва ли не более строго, чем еще недавно за проломленную голову. Ну а если он и с самого-то начала каялся больше из великодушия… Нет, он не согласен так долго оставаться хуже всех!

Кто ближе к истине, он или его порицатели, обсуждать бессмысленно, ибо и в том, и в другом случае речь идет не о реальном индивиде, а о его фантоме (ну а если каждого судить по всей строгости, никто бы не избежал плетки). Однако умные педагоги знают, что ребенка (а народы вечные дети) удерживает от дурных поступков прежде всего хорошее мнение о себе, а потому позитивную самооценку у воспитуемого стараются сформировать раньше, чем придут реальные заслуги, ибо без нее они никогда не придут: для того, кому нечего терять ни в мнении окружающих, ни в собственном мнении, единственным тормозом остается угроза насилия – розги, карцер…

Впрочем, всегда были и есть воспитатели, которые лишь эти средства и считают по-настоящему надежными – и тоже кое-чего иногда добиваются. Забитости. Это тоже вещь неплохая, по крайней мере, для безопасности окружающих. Только для ее достижения необходимо внушить воспитуемому уверенность в

неодолимом могуществе воспитателя.

Индивидам такую уверенность внушить с трудом, но иногда удается – народам же никогда, ибо для них факты почти совсем уж ничего не значат в сравнении с коллективными фантомами, которые и обеспечивают народам их выживание. Эти-то фантомы и осуществляют отбор, интерпретацию и преображение фактов в пользу собственного укрепления. А потому те российские граждане, кто живет с крепнущим чувством «Да чем другие-то лучше?!.», с особым удовлетворением прочтут солженицынские «Двести лет вместе» в тех частях, где они касаются проблемы двойных стандартов («другим можно, а нам нельзя»).

Всячески одобряя еврейскую национальную сплоченность, Солженицын лишь огорченно прибавляет: вот бы и нам, русским, так. (Но нам и малую долю ставят в отвратительную вину…) Бегло обрисовывая европейский фон русско-еврейской драмы в XIX веке, Солженицын перечисляет ряд авторитетных источников, отмечающих «значительное усиление неприязни к евреям в Западной Европе, где она, казалось, быстрыми шагами шла к исчезновению» (с. 315). Даже в Швейцарии еще в середине века евреи не могли добиться свободы поселения в кантонах, свободы торговли и «занятия промыслами». В Венгрии старая земельная аристократия в своем разорении обвиняла евреев. В Австрии и Чехии мелкая буржуазия боролась с напором пролетарской социал-демократии под антисемитскими лозунгами. Во Франции, наоборот, социалисты под антисемитскими лозунгами напирали на буржуев. Словом – закон, общий и для России, и для Европы: торгово-промышленной либерализации сопутствует и усиление еврейского участия, которое многими принимается за причину социальной ломки. В результате ненависть к евреям складывается как из обиды обойденных социальных групп, так и из страха доминирующих наций утратить свое доминирование, и то там, то здесь прорывается иногда и в опасных формах. («И однако: передо всем миром дореволюционная Россия – не Империя, а *Россия* – клеймена как погромная, как черносотенная, – и присохло еще на сколько столетий вперед?» – с. 321.)

Среди множества «заступчивых всесторонне и исключительно за евреев» (с. 462) призывов и заверений сборника

«Щит» (1916 г.; под ред. «звонких» Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба) Солженицын не случайно приводит актуальное для многих и ныне сетование Леонида Андреева: мы, русские, – *«евреи Европы,* наша *граница – та же черта оседлости»* (с. 463). Рядом приводятся и замечания безупречно либеральных и возвышенно мыслящих авторов сборника (П. Милюков, Ф. Кокошкин, Вяч. Иванов) о заграничном происхождении идеологии «научного»

антисемитизма: доктрина о превосходстве арийства над семитизмом – «германского изделия».

Разумеется, в ту пору никто не мог и помыслить, сколь чудовищные последствия будет иметь эта доктрина (все-таки, кажется, не «присохшая» к Германии на столетия вперед), но Солженицын, по-видимому, желает подчеркнуть, что эти чудовищности не обрушились с кроткого безоблачного неба вместе с невесть откуда взявшейся чудовищной личностью Гитлера: с конца семидесятых годов XIX века требование ограничить права евреев, а заодно запретить их иммиграцию в Германию, начавшись с кругов консервативных и клерикальных, «охватило и интеллигентные круги общества» (с. 315): «Нынешняя агитация правильно уловила настроение общества, считающего евреев нашим национальным несчастьем» (Генрих фон Трейчке). «Евреи никогда не могут слиться с западно-европейскими народами» и выражают ненависть к германизму (с. 316) – примерно то же самое писали русские антисемиты с заменой германского и западно-европейского на русское и славянское. Однако они обвиняли только еврейскую религию, еврейский образ жизни, не додумавшись до идеи биологического предопределения: «Евреи не только нам чуждая, но и врожденно и бесповоротно испорченная раса» (Е. Дюринг – тот самый, который «Антидюринг»).

Но это все копилось среди наций-гегемонов, нации же порабощенные наверняка были снисходительнее к другим угнетенным? В Польше подчинение ее России лишь усилило традиционную неприязнь к евреям – теперь уже как к проводникам русской культуры. А о таком гнете над евреями, как в Финляндии, по свидетельству Жаботинского (с. 433), «даже Россия и Румыния не знают»: «Первый встречный финн, увидев еврея за городом, имеет право арестовать преступника и представить в участок. Большая часть промыслов евреям недоступна. Браки между евреями обставлены стеснительными и унизительными формальностями… Постройка синагог крайне затруднена… Политических прав евреи лишены абсолютно».

Если даже все это и чистая сионистская пропаганда, можно с облегчением констатировать, что к репутации Финляндии от нее ничего не присохло. Причем Солженицыну этого совершенно и не требуется, он желает только показать, что с Россией европейское общественное сознание обошлось несправедливо. И он совершенно прав. С тем уточнением, что и любой другой образ – фантом – Финляндии или России был бы несправедлив, ибо тоже создавался бы не фактами, вернее, отчасти, конечно, и фактами, но из их необозримого океана господствующие фантомы все

равно отбирали бы только нужные, перекрашивая и дополняя их для формирования им угодных новых фантомов. Фантомы, творимые фантомами, – никаким иным общественное мнение быть не может. Так что идти с фактами против фантомов – только укреплять их, ибо здоровому фантому, как и доброй свинье, все пойдет впрок: какими фактами его ни корми, он всегда сумеет трансформировать их так, чтобы превратить неугодный ему объект в источник величайшей опасности, а угодный – в отраду и надежду человечества. Советскому Союзу в пору его самых чудовищных преступлений с рук сходило все, хотя, как подчеркивал сам Солженицын, в его «Архипелаге» не было ничего, что уж не раз не кричалось бы в уши благороднейшим умам Европы: во время массового голода, массовых репрессий передовые писатели катались по Союзу и *ничего* не видели. Но вот когда Россия наконец предприняла долгожданную – рядовую по иллюзорности и невероятную по трудности – попытку порвать с тоталитарной моделью, глаза и уши прогрессивного человечества наконец-то открылись…

Вот вроде бы и ответ, почему одинаковые поступки разных субъектов оцениваются по-разному: да сквозь фантомное облако они и видятся разными.

Но здесь пора наконец перевести дух и покаяться в некоторых полемических чрезмерностях. Полтора века в бессилии следить за чередой господствующих над «передовыми умами» пошлейших представлений о человеке как существе рациональном и прагматическом – руководствующемся реальными фактами и стремящемся к реальной выгоде (коллективной или индивидуальной, только в этом ведь и расходится коммунистическая модель с индивидуалистической) – такое издевательство над сложностью может загнать в противоположную монофакторность: миром правит не выгода, а выдумка. На самом же деле человек существо не рациональное и не иррациональное, а трагическое – то есть обреченное вечно разрываться между равно необходимыми противоборствующими потребностями. И душа его всегда будет требовать чего-то иного, чем реальность. Тем не менее и реальные факты, и материальные интересы, хотя и осязаемые сквозь искажающее фантомное облако, свою немалую роль, конечно же, играют. А настаивать на противоположном побуждает не только нескончаемый диктат псевдоматериалистического верхоглядства, но и постоянное мелькание на телеэкранах и в прессе неизъяснимо благородных личностей, уж совсем свободных от прагматизма – от заботы о реальных последствиях (которые, хотя и не всегда, приходится расхлебывать другим).

В этом отношении у благородных людей совсем не бывает совести – им желательно только тешить свои убеждения, как они именуют приятные им иллюзии. Но у руля обычно стоят все-таки люди прагматичные, насколько прагматизм вообще доступен человеку, – им-то, по крайней мере в принципе, желательно знать правду. Да что там, даже среди интеллигентов попадаются не только благородные, но и честные люди, старающиеся разглядеть реальность сквозь толщи фантомов. Первый же признак интеллектуальной честности – собирать аргументы в пользу обидчика тщательнее, чем в пользу единомышленника. И тем, кто обижен за державу, я предлагаю заняться этим прямо сейчас.

Обычно, уличая Запад в применении различных критериев по отношению к своим любимчикам и по отношению к России, обиженные молчаливо предполагают, что двойных стандартов быть не должно вообще, – с чем я категорически не согласен. Когда какой-нибудь демагог, чувствуя некоторую недоброкачественность своего электората, грозно вопрошает: «У нас что – есть граждане первого и второго сорта?!» – не на площади, но в узком кругу (скажем, таком, как сейчас) я готов со всей откровенностью заявить: да, есть граждане первого, а есть второго, третьего, одиннадцатого и пятьсот тридцать восьмого сорта. Есть граждане, у которых преобладают паразитические наклонности, есть граждане, желающие служить только собственной зависти, есть безответственные, ищущие в политике прежде всего развлечений, есть фашиствующие всех цветов радуги, стремящиеся оставить неугодных им граждан вовсе без гражданских прав, – хранить для подобных господ универсальный принцип «Один человек – один голос» можно разве что с горя, в качестве наименьшего зла, по возможности не давая ему разрастись, то есть всеми законными способами умеряя влияние деструктивно настроенных граждан (делая при этом вид, будто считаешь их первосортными). Однако когда это зло из наименьшего грозит сделаться наибольшим – когда низкосортные граждане готовы привести к власти уже не просто очередного мошенника или шута, но фюрера или аятоллу, – разумеется, не следует покорно класть страну к его сапогам или там чувякам во имя какого бы то ни было монопринципа. Мир трагичен, то есть противоречив, политические решения должны рождаться в борьбе, самое меньшее, трех противоречащих друг другу принципов: закон, нравственность, целесообразность, и абсолютный приоритет каждого из них порождает собственную (по-своему губительную) ветвь утопизма, при помощи которого человек не мытьем, так катаньем пытается сложить с себя ответственность за свой выбор. На который он, однако, обречен.

Обречен принимать решения и никогда не знать, правильно он решил или неправильно.

Ровно то же, что и о гражданах, можно сказать о народах и государствах. Не ставя ни на одном никакого вечного клейма, приходится, однако, признать, что некоторые из них на сегодняшний день грозят миру многими бедами, – и если Запад следит за опасными соседями (а сегодня соседи все) вдесятеро придирчивее, он лишь проявляет похвальную предусмотрительность.

Так что миру совершенно необходимы двойные, тройные и так далее стандарты. Другой вопрос – под какой из них лучше подводить Россию с точки зрения целесообразности? (С точки зрения идеального закона равны все, с точки зрения высокой нравственности все отвратительны.) Нет сомнений, внешне нужно делать вид, что, кроме уж явных безобразников, все члены мирового сообщества сплошь высшего сорта, но на уровне правительств такой вид более или менее и делается. А вот о чем ответственные лица говорят в узком кругу, а лица безответственные во всеуслышание… Именно потому, что нам это неприятно, постараемся отыскать в их предполагаемых мнениях максимальную долю истины.

Ну так вот, положа руку на сердце: неужели же мы всерьез думаем, что Россия для Запада ничуть не более опасна, чем Англия, Франция, Германия или Эстония? Уж мы-то – возможно, еще и недостаточно хорошо – знаем, сколько в наших недрах таится непредсказуемых и очень слабо контролируемых реваншистских сил. Разумеется же, наши соседи должны принимать против них меры предосторожности. В частности, поддерживать бдительность своего населения, без одобрения которого невозможны и государственные меры. Я-то надеюсь, что российские граждане наиболее приемлемых для меня сортов сумеют удержать неприемлемых в узде, но не может ведь Запад целиком положиться на нас.

Правда, поддерживая бдительность в своих рядах, он этим же одновременно усиливает и напряжение между Западом и Россией, и напряжение внутри России – но кто тут взвесит, какое зло меньше? Непредсказуемость – вторая неустранимая компонента трагичности социального бытия: достигнутый результат всегда тонет в лавине побочных следствий. Нам-то кажется – мы же знаем, какие мы хорошие! – что с нами чем ласковее, тем лучше: вот еще совсем недавно фантом «Запад мечтает нас принять в свои объятия», соединившись с рядом других причин, добил Советский Союз – неужели же этот фантом уже отработал свое? Да фантом-то, пожалуй, мы и не прочь сохранить, мог бы

ответить какой-нибудь даже и благорасположенный, но осторожный представитель Запада, – так ведь для этого сегодня уже нужны ежедневные конкретные подтверждения, одни из которых мы исполнить не в силах, а другие – кто-то их хочет, а кто-то не хочет. Есть влиятельные люди, которые в России видят нежелательного конкурента, есть люди, чья профессия заключается в том, чтобы негодовать, ну а есть даже и весьма серьезные государственные мужи и жены, которые вообще считают международные отношения не такой сферой, где возможны доверие и снисходительность. «В мире не должно быть стран, которые хотели бы причинить нам ущерб» – эта цель представляется им недостижимой и шаткой; «в мире не должно быть стран, которые *могли бы* причинить нам ущерб» – эта ситуация представляется им единственно надежной. Они сторонники строгости по отношению не к одной только России, и никто за целые столетия еще не сумел убедить их, что они неправы. А это означает, что они по-своему правы, как решительно каждый был, есть и будет прав по-своему, под небосводом собственных фантомов. Тем более что если, как уверяет Солженицын, ни одной нации не дано судить другую, то нельзя осуждать и ничей суд над собой, будь он хоть строгим, хоть снисходительным.

«Пусть злятся, лишь бы не усиливались» – для тех, кто пребывает вне нашей страны, и такой принцип может счесться наиболее разумным. Но что он сулит нам, тем, кто внутри? А еще точнее – евреям, живущим в России? Да ясно, что ничего хорошего, ибо нарастание обиды против Запада неизбежно обернется против евреев, которые, хотят они того или нет, всегда будут ассоциироваться с западными ветрами. (Весьма часто давая к этому и поводы.) А имеет ли нам смысл присоединяться к мерам воспитания строгостью, требовательностью, если они действительно восторжествуют снаружи? Истинная дружба не в попустительстве, а в требовательности, как нас учили в школе, но тем не менее все народы на Земле предпочитают попустительство. Участие в перевоспитании русского народа не принесет ничего хорошего ни евреям, ни русским. Не имеет никакого значения, насколько обоснованны будут обвинения против России, – свой негативный образ *никакой* народ принять *не может,* не перестав существовать. Самокритичность в принципе исключается теми началами, которые создают и сохраняют народ, – разве что он сумеет и эту самокритичность возвести в новое достоинство. Нацию создают и сохраняют лишь воодушевляющие, но никак не унижающие фантомы.

Какая-то часть населения, разумеется, может принять и

самую уничтожающую критику, но все это будут взрослые люди, отпавшие от младенческого ядра, которое главным образом и хранит народ как целое, не разрушаемое сменой поколений. А следует ли даже Западу желать поголовного повзросления, то есть исчезновения русского народа, – весьма сомнительно: ослабление русского младенческого ядра откроет дорогу другим силам, возможно, еще более непредсказуемым. Но все это из области неосуществимого, в реальности же младенцы никогда не примут никаких обличений от гражданина сомнительной преданности, как ревнивая женщина не примет никаких замечаний от супруга, если хоть на волос сомневается в его любви. «Он меня не любит», – единственный вывод, который она сделает из наитщательнейше обоснованных его требований – и, боже, как часто она оказывается права! Обличения могут пойти народу на пользу лишь в тех редчайших случаях, когда они исходят из уст всенародных любимцев, в ответной любви которых не может быть и тени сомнения, – такие любимцы всегда исчисляются штуками.

Но если какое-то лицо сомнительного происхождения тем не менее считает своим долгом или уж во всяком случае правом вслед за Лермонтовым, Чаадаевым, Буниным, Щедриным и Шендеровичем воспитывать русский народ горькими истинами и сарказмами – это лицо должно понимать, что его обличения могут иметь эстетическую и научную ценность, доставлять автору моральное и материальное удовлетворение, но воспитательный их эффект – именно для народа, а не для отдельных, уже и без того перевоспитанных частных лиц – будет отрицательным. Ибо все недовольные ими лица сомнительного происхождения младенцами воспринимаются как агенты, дай бог, если только западного, а не жидомасонского влияния – а в ком не прячется младенец! Хорошо еще, если взрослые сумеют заставить младенца игнорировать обиды, а не мстить. (Я понимаю, что говорю на ветер, ибо с еврейской жаждой воспитывать может соперничать лишь русская жажда жить своим умом, – но в данном случае во мне возобладала первая.)

Нарастание младенческих обид пойдет во вред и русским, и евреям, поскольку реальные интересы и тех и других в сегодняшней России не так уж расходятся, ибо прийти к процветанию по отдельности не удастся ни тем ни другим. В неблагополучной России даже самые процветающие евреи будут чувствовать себя на пороховой бочке, а неблагополучие евреев для России тоже будет индикатором общего неблагополучия – индикатором отсутствия условий для развития среднего класса, без которого трудно представить какой-то неутопический путь развития страны.

Ну и, разумеется, при психологическом дискомфорте коренной нации – евреям автоматически будет отведена роль козлов отпущения. «Двести лет вместе» убеждают, что и еще через двести лет «вместе» все равно не превратится в «едины». Исследование Солженицына проникнуто искреннейшим желанием понять и другую сторону – но даже из него можно усмотреть, что и у добросовестнейших русских патриотов все равно складывается впечатление, будто десятилетиями шатающиеся по миру призраки «вселяются» в русское общественное сознание не как самостоятельная сила, а как сила еврейская, «сила их развития, напора, таланта», – можете перечитать страницу 475-ю.

А поскольку действие и противодействие обычно бывают примерно равными, подобным смещением акцентов наверняка обладает и духовное зрение даже наиразумнейших еврейских патриотов. Только, ради бога, не подумайте, что и я приверженец этой мудрости – «патриотизм – последнее прибежище негодяев»: любая мудрость погибает в тот миг, когда ее начинают повторять пошляки. Негодяи всегда собираются в наиболее сытых и безопасных местах – пусть мне кто-нибудь докажет, что сейчас или когда-нибудь *искренним* русским или еврейским патриотам жилось более сытно и безопасно, чем шкурникам: если исключить психопатов, то искренними патриотами гораздо чаще бывают хорошие люди, а паразиты никогда. Что благими патриотическими намерениями вымощены многие пути в ад – это уж так устроен наш трагический мир: зло рождает добро, а добро зло независимо от воли творящих. И сегодня русские и еврейские патриоты, каждый сквозь свои фантомы, видят этот мир настолько по-разному, что все попытки объясниться поведут лишь к новым обидам. А потому лучшее, что они могут сделать, – на время забыть друг о друге.

Умные, добросовестные люди еще, пожалуй, и могли бы побеседовать – но ведь это всегда происходит при детях!.. А откровенные разговоры об отношениях наций – это не для детских ушей. Детям нужны только успокоительные поглаживания: вы великий и в конечном счете непобедимый народ, а потому будьте снисходительны к тем, кому не так повезло, щадите их жалкие мнимости. «Не будем отнимать у несчастных их последнее утешение» – только под этим девизом младенцы всех наций сумеют ужиться друг с другом.

Завал обид на пути к общей сказке

В уяснении

Я уже очень давно не верю во всеисцеляющую силу правды – если бы даже она каким-то чудом оказалась кому-то известной и выразимой во всей своей точности и полноте. Я думаю, даже самая нежная дружба и тем более любовь в огромной степени основываются на всевозможных уклонениях от правды: на умении забывать, не замечать, умалчивать, перетолковывать, приукрашивать… В результате чего мы любим уже не реального человека, а собственный фантом, или, если угодно, конструкт, для постороннего глаза иной раз до оторопи не схожий с оригиналом, той песчинкой, на которую наше воображение наращивает собственную жемчужину, белую или черную.

А уж сколько-нибудь массовое единство тем более может стоять лишь на лжи, ибо только ложь бывает простой и общедоступной, истина же всегда сложна, аристократична, неисчерпаема, противоречива (там, где действительно ищут истину, – в науке, – там никогда не затихает борьба мнений и научных школ), а главное – истина во множестве своих аспектов отнюдь не воодушевляет… Это отчасти и неплохо, поскольку пессимисты всего только отравляют людям настроение, тогда как оптимисты ввергают их в катастрофы, но – всякое корпоративное согласие может стоять лишь на системе коллективных фантомов, а потому так называемая народная память неуклонно отвергает все унизительное, храня исключительно возвышающие если уж и не совсем обманы, то, по крайней мере, очень тщательно отфильтрованные элементы правды. Подозреваю, что ни один народ не в состоянии принять всей правды о себе, не рассыпавшись на множество скептических индивидов.

Когда-то я вложил в уста герою своей «Исповеди еврея» грубоватые, но, по-моему, довольно верные слова: «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья». Поэтому мечтать о том, что народы, однажды от всего сердца высказав «всю правду» друг о друге, после этого обнимутся и простят друг друга, утопично с самого начала: принять правду о себе для любого народа означало бы перестать быть народом – это относится и к русским, и к евреям, и к французам, и к зулусам. Да и физическим лицам каяться вслух не всегда уместно: некоторые талмудические мудрецы допускали существование даже таких вин, в которых и признаваться не следует, ибо простить их все равно нельзя, а растравить обиды очень даже можно; мир же, считали они, более высокая ценность, чем правда (вернее, ее обнародование). Нет, каяться в совершенной гадости следует непременно, но вовсе не

обязательно обнажать все подробности перед теми, кому ты причинил зло.

Александр Исаевич Солженицын в этом отношении отнюдь не талмудист, он считает, что к покаянию можно и подтолкнуть, всенародно и во всех подробностях напомнив обидчику (а также всем желающим), каких бед он натворил. Я еще по поводу первого тома солженицынского бестселлера «Двести лет вместе» выразился в том смысле, что русские и еврейские патриоты, каждый сквозь свои фантомы, видят этот мир настолько по-разному, что все попытки объясниться поведут лишь к новым обидам. А потому лучшее, что они могут сделать, – на время забыть друг о друге («Каленый клин», «Дружба народов», № 1, 2002). Однако было бы смешно надеяться, чтобы подобный конформистский лепет коснулся слуха истинного борца за правду: «Никогда я не признавал ни за кем права на сокрытие того, что было. Не могу звать и к такому согласию, которое основывалось бы на неправедном освещении прошлого». Ну а если иного согласия не бывает – тем хуже для согласия.

Тем не менее в первом томе «Двухсот лет» содержалось и несколько положений, которые в принципе способны заметно ослабить накал национальной обиды, по крайней мере, с еврейской стороны. Солженицын последовательно проводит ту мысль, что русское правительство причиняло евреям разные неприятности не потому, что бескорыстно их ненавидело, а потому, что так понимало государственные интересы. Это было и требование стандартизации («все пашут, и вы пашите», «все сидят на своем месте, и вы сидите»), и страх перед либерализацией, коммерциализацией, и опасение, что активное еврейское население обретет чрезмерные конкурентные преимущества при «неразбуженности» коренного населения, – все это было пускай архаично, недальновидно, даже нелепо (что признает и сам Солженицын), но утопизм, глупость, нераспорядительность, даже корысть простить гораздо легче, чем беспричинную ненависть. Восприятие русско-еврейского конфликта в качестве чистого конфликта интересов позволило бы существенно снизить его напряжение, ибо действия конкурента вызывают всего лишь раздражение, досаду, злость, а святую ненависть вызывают только фантомы, рисующие соперника бескорыстным служителем Зла.

Убедительно говорит Солженицын и о полном отсутствии доказательств того, что погромы (происходившие, подчеркивает он, не собственно в России, а в основном на Украине и в Молдавии) организовывало царское правительство, – оно было только неумелым стеснителем, а не изощренным преследователем евреев, каким его сделала

антиправительственная пропаганда, – здесь тоже есть некий шаг к консенсусу, тем более что в целом Солженицын правительство вовсе не оправдывает: или уж не держать империю, или отвечать за порядок в ней.

Правда, другой основной тезис первого тома гораздо более сомнителен – свои воззрения на русскую историю и на «выходы из нее» русские упустили в руки евреев: «Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям мы слили с их понятиями». Я уже писал, что эти самые понятия были вовсе не специфически еврейскими, но общелиберальными, и возникли они еще тогда, когда евреи носу не казали из своих местечек; однако перенесение внимания на *духовную* роль евреев кажется мне все-таки несколько более безопасным в сравнении со стандартной антисемитской пропагандой, согласно которой евреи сокрушали устои гораздо более прямолинейным манером. Солженицын настаивает на том, что понять духовное доминирование евреев (или, что то же самое, духовную податливость русских) важнее, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию («раскачивали ее – мы все»), делал революцию или участвовал в большевицкой власти.

Тем не менее, когда листаешь второй том «Двухсот лет», начинает складываться впечатление, что именно это автор и делает – подсчитывает, какой процент…

Но, может быть, я просто предубежден? Общественное мнение всегда живет фантомами, а не истинами, как эти истины ни понимать; невозможно, сообщив миру какие-то факты, сместить его от фантома к правде – можно создать разве что новый фантом. И фантом русско-еврейских отношений, созданный Солженицыным, как мне кажется, не улучшил их, а ухудшил. Я не имел возможности исследовать сколько-нибудь репрезентативную выборку, но практически все примеры, которые подбрасывала мне жизнь, отнюдь не свидетельствовали о том, что евреи и русские стали с большим сочувствием относиться к бедам друг друга и более критично к деяниям своих предков, да и к своим собственным.

Типичное мнение многих русских (далеко не «крайних»): Солженицын показал, что евреям жилось совсем не так плохо, как они изображают; по крайней мере, не им одним было плохо. Мнение более жесткое: Солженицын показал, что все меры против евреев были исключительно оборонительные.

Типичное мнение евреев (из самых мягких): Солженицын старался быть объективным, но натура свое взяла. Мнение более жесткое: он постарался выгородить своих, свалив причины всех еврейских бед на голову самих евреев, для чего он постарался

отобрать о них все самое скверное.

Беру первый попавшийся отклик на сайте «Центральный еврейский ресурс» – Ю. Окунев (Коннектикут), «Приведет ли книга Александра Солженицына к ослаблению антисемитизма?»: «Это – мощная попытка выдающегося русского писателя, претендующего на национальное духовное лидерство, придать антисемитизму новый импульс, возродить его утраченную после развала советской империи объединяющую функцию». Вот так. Ни больше и ни меньше.

Вот еще наудачу отклик с того же сайта – уже на второй том: Г. Еремеев, «А. Солженицын о евреях: сомнительные рекомендации на зыбких основаниях» (материал подготовлен Московским бюро по правам человека): «Для Солженицына цифры – это только материал для нравственного учительства. Он призывает евреев принести общенародное покаяние за содеянное зло, "морально отвечать за свое прошлое". Уже неоднократно писалось о том, что популярная ныне идея массового покаяния сомнительна и с теоретической, и с практической точки зрения. Народ – это всегда не есть что-то монолитное, а являет собой многообразие человеческих личностей. Какое-то единое, унифицированное покаяние здесь невозможно, поскольку индивидуальные личностные особенности обусловливают индивидуальные эмоциональные и интеллектуальные реакции, тем более когда речь идет не о собственном грехе, а о грехе дедов и прадедов. Когда канцлер ФРГ становится на колени перед еврейским мемориалом и просит прощения, этот жест призван быть символическим отражением воли немецкого народа. Призван, но соответствует ли он реальности? Несомненно, многие немцы испытывают ужас от содеянного их дедами, но многие входят и в "Национальный фронт" (объединяющий, по некоторым данным, полтора миллиона человек) и, обрив голову, шествуют колоннами по улицам Берлина. А в "покаявшейся" Европе опять жгут синагоги и оскверняют кладбища. Какова тогда "общенародная" практическая ценность поступка канцлера? И как должны поступать евреи в связи с грехами их дедов и прадедов? Выступить Шарону и покаяться от имени евреев всего мира? Или главному российскому раввину от лица российских евреев? Но ведь большинство молодых евреев имеет смутное представление о деятельности евреев – большевиков и чекистов. А если и имели бы – что им, всем выйти на площадь и, взявшись за руки, хором прочитать покаянный псалом? Вообще религиозное понятие "покаяния" применяется к месту и не к месту, лишаясь своего истинного смысла. Речь может идти только о знании истории, индивидуальном внутреннем переживании этого знания,

формировании соответствующего нравственного чувства и желания самому подобных поступков не совершать. А каким образом практически можно уловить преобладающие настроения в этом смысле? На основе индивидуальных выступлений. И вот тут совершенно непонятно, что, собственно, не нравится Солженицыну. Ведь в перечислении имен евреев-убийц он ссылается главным образом на еврейские же источники, которые аккуратно эти имена фиксируют и без всякого восторга!

Приводя мнения евреев – противников большевизма, он обильно цитирует десятки книг, называя десятки имен современных авторов-евреев, которые не позволяют и себе, и всем нам забыть о том, что творилось в России. А кто, собственно, из нынешних евреев восторгается "подвигами" дедов-большевиков?»

Отыскать таких и в самом деле нелегко – по крайней мере, под знаменами Зюганова еврейские физиономии в глаза не бросаются. Может быть, это и следует считать материальным выражением некоего раскаяния? Или как?

В уяснении уяснений

Принимаясь за второй том солженицынских «Двухсот лет вместе», невольно оказываешься уже до такой степени переполненным опасениями и предвзятостями, что почти не разбираешь самого текста, а все больше то угадываешь авторские намерения, то прикидываешь возможные последствия. Но что, если просто-напросто попробовать как можно более тщательно и бесхитростно вдумываться в буквальный смысл прочитываемых слов, стараясь понять его как можно более точно? Пытаясь со всей добросовестностью соответствовать названию вступительной главы – «В уяснении» – и стараясь выделить важнейшие места, чтобы общий ход мысли был понятен и тем, кто по каким-то причинам не успел прочесть разбираемую книгу.

Первый вопрос: кого считать евреем? Солженицын начинает с определения ортодоксальных раввинов – еврей тот, кто рожден матерью-еврейкой или обращен в еврейство посредством определенной канонической процедуры (именуемой гиюр, если кто еще не знает), – и тут же предостерегает от понимания этнической общности как *общности по крови.* Он упрекает даже Российскую еврейскую энциклопедию в «кровном» отборе персонажей: «Евреями считаются люди, родители которых или один из родителей которых был еврейского происхождения, независимо от его вероисповедания». Вот и в международной спортивной Маккаби-аде участвовать могут только евреи – «надо понимать, что и тут – по крови»? «Тогда зачем же так страстно и грозно укорять всех вокруг в "счете по крови"? Надо же отнестись зряче и к национализму собственному».

Последнее бесспорно. Однако что до составителей Еврейской энциклопедии, то они же просто вынуждены руководствоваться какими-то отчетливыми наблюдаемыми признаками – невозможно ведь включать в энциклопедию только тех, кто связан с еврейством по туманному «духу». И насчет Маккабиады – если, скажем, устраивают вечеринку или футбольный матч члены какого-то землячества или выпускники какого-нибудь университета, неужели это так оскорбительно для тех, кто закончил другой университет? Хотя нация, конечно, не то же самое, что корпорация, но ведь и наицивилизованнейшие национальные государства устраивают внутринациональные чемпионаты, на которые иностранцы не допускаются. Что ж, изолироваться можно лишь посредством государственных границ? А если границы разительно отличаются от ареала расселения, значит, нельзя и наперегонки побегать среди

соплеменников? Впрочем, аналогия снова не совсем точна: на внутринациональные чемпионаты попадают не по крови, а по подданству. Вместе с тем чужаку обрести подданство цивилизованного государства ничуть не легче, чем принять гиюр и обратиться в стопроцентного еврея. Я абсолютно согласен, что ко всем разновидностям национализма надо относиться «зряче», а потому дифференцированно. Не следует ли из этого, что нужно различать национализм, так сказать, оборонительный, стремящийся удержать народ от растворения, и национализм, так сказать, наступательный, стремящийся, сознательно или бессознательно, растворить другой народ в себе? Да к тому же есть ли уверенность, что именно организаторы Маккабиад страстно и грозно кого-то в чем-то укоряют? Вполне возможно, что они-то как раз считают определенные формы национализма столь же естественными для народа, как для индивида естественен и необходим инстинкт самосохранения. Евреи все-таки тоже бывают разные, у них нет общей головы и единого голоса.

Солженицын здесь же цитирует и весьма авторитетные еврейские источники, совершенно не склонные к счету по крови. С одобрением – «эх, и нам бы так!» – приводит он слова известного израильского писателя Амоса Оза: «Быть евреем означает чувствовать: где бы ни преследовали и мучили еврея, – это преследуют и мучают тебя». И еще – его же: «Быть евреем означает участвовать в еврейском настоящем… в деяниях и достижениях евреев как евреев, и разделять ответственность за несправедливость, содеянную евреями как евреями (ответственность – не вину!)».

Мне-то до сих пор казалось, что ответственность и вина приблизительно одно и то же (примерно так же их толкует и словарь Ушакова), но Солженицыну различие, вероятно, представляется очевидным, он подчеркивает другое: «Вот такой подход мне кажется наиболее верным: принадлежность к народу определяется по *духу* и *сознанию».* То есть, насколько можно понять, по самоощущению. Однако на следующей странице он цитирует Сартра: «Еврей – это человек, которого другие считают евреем». И в конце концов приходит к выводу: «Не сказать, чтоб ото всего выслушанного здесь стало нам четко-ясно».

Сделаться «четко-ясно» здесь не может в принципе, поскольку невозможно точно очертить границу размытого по своей природе множества. Иными словами, национальность человека характеризуется не одним, а многими и многими параметрами, может быть, даже неограниченным их числом. И потому анкета о

национальной принадлежности должна содержать не один вопрос, а чрезвычайно длинный (если не бесконечный) их список. «Кем ты ощущаешь себя сам?», «В каких ситуациях и до какой степени?», «Насколько эмоционально близкими ощущаешь героические и трагические эпизоды национальной истории?», «Какими именно, до какой степени и в какие минуты?», «Ощущаешь ли подобную близость к воодушевляющему вранью других народов?», «Каких именно, в каких ситуациях, до какой степени?», «Кем себя ощущали твои родители?», «Кем тебя ощущают окружающие?», «Если не все, то какая их часть, какая именно и в каких ситуациях?» – и так далее, и так далее, и так далее.

В результате среди человеческого множества претендентов на звание еврея выделится некое ядро счастливчиков, которые окажутся евреями по всем пунктам, и периферия, куда попадут те, кто является евреем лишь по какой-то части признаков. Притом что даже и это их частичное еврейство будет не стабильным, а изменчивым во времени.

Могу пояснить на собственном скромном примере. Имея русскую маму и еврейского папу и воспитавшись в беспримесно русской среде, я лет до шестнадцати чувствовал себя стопроцентным русским, а еврейство свое ощущал как абсолютно нелепую метку, не имеющую решительно никакого отношения к моей сущности и только временами осложнявшую мою жизнь. И если бы в ту пору у меня была возможность ее смыть, я бы не сделал этого разве что в силу какой-то самому мне непонятной неловкости. Достижениями евреев я потихоньку начал интересоваться лишь в пику тем, кто меня время от времени унижал. Интересовался, интересовался и доинтересовался до того, что и впрямь сделался евреем: страдания евреев сегодня я ощущаю заметно более остро, чем страдания людей других национальностей.

Не считая, конечно, русских: когда их обижают, это задевает меня тоже заметно сильнее, чем этого требует общечеловеческая гуманность и справедливость.

А вот когда русские и евреи обижают друг друга, на чью сторону я тогда становлюсь, что я делаю, когда папа и мама ссорятся? Попеременно сочувствую тому, кому в данный миг больнее, горю от стыда за того, кто эту боль причиняет, – а потом стараюсь их помирить по мере своих мизерных силенок. Но уже не спешу объяснять, что мама у меня все-таки русская, – надоело, спокойнее без затей называть себя евреем. Я думаю, многие русские евреи превратились в евреев из чувства собственного достоинства.

Однако испытываю ли я ответственность за грехи еврейского народа? Исключительно в том смысле, что глупости и подлости евреев меня раздражают сильнее. Мне – да, совестно за них. Еще больше, чем за русских. Но та ли это взыскуемая Солженицыным ответственность, не знаю. По крайней мере, терпеть за чужие, хотя бы и еврейские грехи какое-то материальное наказание я не согласен. И что касается уроков прошлого – я тоже не очень понимаю, какие практические выводы из них я должен сделать. Солженицын весьма одобряет ту трактовку еврейской избранности, которую предлагает Н. Щаранский: избранность «приемлема только в одном плане – как повышенная моральная ответственность». Но требует ли эта повышенная ответственность вмешиваться в российскую политику или, наоборот, избегать ее, чтобы не повторить ошибок дедов, я совершенно не представляю. Если изыскивать психологические корни современного еврейства в иудаизме (занятие более чем сомнительное), то можно найти в Вавилонском Талмуде следующее наставление: «Кто может предотвратить грехи людей своего города, но не делает этого – виновен в грехах своего города. Если он может предотвратить грехи всего мира, но не делает этого – он виновен в грехах всего мира». Очень благородно. Жаль только, что, уничтожая один грех, мы слишком часто открываем дорогу десятку других и никакая сила в мире не способна дать ответ, какое зло окажется наименьшим – зло вмешательства или зло невмешательства.

Вмешиваться, если это приведет к улучшению жизни, и не вмешиваться, если это приведет к ухудшению, так, что ли? Но чтобы так поступать, требуется пророческий дар. Если понимать уроки Октября буквально, то нужно всегда стоять на стороне существующей власти, всегда больше страшиться потерять, чем надеяться приобрести, – но тогда в 60-е-80-е годы прошлого века следовало поддерживать советскую власть и осуждать еврейских диссидентов, которых Солженицын, наоборот, всячески приветствует (в свою очередь осуждая тех, кто боролся за отдельное право на выезд).

Его не смущает и то, что именно «евреи снова оказались… и истинным, и искренним ядром нововозникшей оппозиционной общественности», хотя Солженицын с большим сочувствием цитирует Стефана Цвейга, считавшего опасным, «чтобы евреи выступали *лидерами* какого бы то ни было политического или общественного движения. <…> Служить – пожалуйста, но лишь во втором, пятом, десятом ряду и ни в коем случае не в первом, не на видном месте. [Еврей] обязан жертвовать своим честолюбием в интересах всего еврейского народа. <…> Нашей величайшей обязанностью является самоограничение не только в

политической жизни, но и во всех прочих областях».

«Какие высокие, замечательные, золотые слова, – и для евреев, и для не-евреев, для всех людей, – подхватывает Солженицын. – Самоограничение – от чего оно не лечит!» Но если уж самоограничиваться, то не нужно и строить планы, как нам обустроить Россию, разве нет? Ответ на это дан, пожалуй, на странице 23, где Солженицын присоединяется к той мысли Ренана, что удел народа Израиля – быть *бродилом* для всего мира: «И по многим историческим примерам, и по общему живому ощущению, надо признать: это очень верно схвачено. Еще современнее скажем: катализатор. Катализатора в химической реакции и не должно присутствовать очень много».

Не должно… А сколько должно? Но смысл, в общем, ясен: к обновленческим движениям каждый новый еврей должен присоединяться со все большей и большей осторожностью. Если, конечно, речь не идет о борьбе с большевиками.

Вроде бы так? Когда речь идет о политике. Но как быть с самоограничением «во всех прочих областях»? Где борются не за власть, не за деньги, а за самореализацию, за реализацию своих дарований? – в науке, в искусстве? Ты ощущаешь (и демонстрируешь) талант математика, музыканта, поэта, но должен идти в шоферы или шахтеры, потому что евреев-математиков, музыкантов и поэтов и без тебя выше крыши? Или в ученые-музыканты-поэты идти все-таки можно, только не нужно там работать в полную силу, чтобы, не приведи бог, не сделаться слишком яркой звездой? Цвейгу этот вопрос задавать уже поздно, но Солженицыну я бы со всей почтительностью его задал. Мне и в самом деле непонятно, как он трактует эти «высокие, замечательные, золотые слова».

Этапы большого пути

В первой же посвященной реальным фактам главе «Двухсот лет вместе» – «В Февральскую революцию» – рухнуло неравенство евреев перед законом – вместе с самим законом. Однако первый обзор тогдашних газет обходится без евреев: газеты «выступили с трубным гласом, менее всего задумываясь или ища жизненные государственные пути, но наперебой спеша поносить все прошедшее. В невиданном размахе кадетская "Речь" призывала: отныне "вся русская жизнь должна быть перестроена с корня". (Тысячелетнюю жизнь! – почему уж так сразу «с корня»?) А "Биржевые ведомости" вышли с программой действий: "Рвать, рвать без жалости все сорные травы. Не надо смущаться тем, что среди них могу быть полезные растения, – лучше чище прополоть с неизбежными жертвами". (Да это март 17-го или 37-го?)», – замечания в скобках принадлежат Солженицыну.

И это были не подметные еврейские листки, а респектабельные русские СМИ! Впрочем, что я – ведь взгляды на свою историю и на выходы из нее русские усвоили от евреев. А потому все далее упоминающиеся идейные глупости и безумства «прогрессивного» толка можно без рассмотрения списать на еврейскую долю вины. Но что оказалось не скрытым, психологическим, а явным фактом – евреи замелькали на общественной арене не в пример гуще прежнего, и даже, как «итожит Еврейская энциклопедия, "евреи впервые в истории России заняли высокие посты в центральной и местной администрации"».

Но вот тут-то «на самых верхах, в Исполнительном Комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, незримо управлявшего страной в те месяцы, отличились два его лидера, Нахамкис-Стеклов и Гиммер-Суханов: в ночь с 1 на 2 марта продиктовали самодовольно слепому Временному правительству программу, заранее уничтожающую его власть на весь срок его существования».

«Этот Исполнительный Комитет – жесткое теневое правительство, лишившее либеральное Временное правительство всякой реальной власти, – но и, преступно, не взявшее власть прямо себе».

«Преступно не взявшее власть…» Но было ли это в его власти? Неужто взвихренная Русь и остервеневшая армия повиновались бы какому бы то ни было правительству, потребовавшему от них какой бы то ни было дисциплины? Масса жаждала мести, разгула, и всякий, кто потребовал бы от нее

повиновения, превратился бы в ее врага – и был бы сметен. Совет, да и всякая другая политическая сила, мог выжить лишь в качестве оппозиции правительству. У него был единственный выбор (не раз становившийся актуальным и в наши полтора десятилетия): или быть влиятельным дезорганизатором, или исчезнуть. Когда народ охвачен разрушительной страстью, можно ли представить, чтобы не нашлось самопровозглашенной инстанции, которая бы санкционировала эту страсть? И тем создала иллюзию обладания реальной силой.

«Потом оказалось, что был в ИК десяток солдат, вполне показных и придурковатых, держимых в стороне. Из трех десятков основных, реально действующих, – больше половины оказались евреи-социалисты. Были и русские, и кавказцы, и латыши, и поляки, – русских меньше четверти».

Для умеренного социалиста В. Станкевича, размышлявшего над этим обстоятельством, остался «открытым вопрос, кто более виноват – те инородцы, которые там были, или те русские, которых там не было, хотя могли бы быть».

«Для социалиста, это, может быть, и вина, – подводит итог Солженицын. – А по-доброму: вообще бы не погружаться в этот буйный грязный поток – ни нам, ни вам, ни им».

Но поток-то уже вырвался на волю, и трудно сомневаться, что главной причиной его осатанелости была война, та война, которую начало царское правительство – никак не проеврейское. И если уж раскладывать вину по долям (что в принципе невозможно из-за системного эффекта: действующие факторы срабатывают только вместе, по отдельности каждый из них бессилен), то придется оставить открытым и другой вопрос: кто нанес России больше вреда – ее враги или ее друзья?

Глава «В ходе 1917»: слияние в экстазе; списки жертвователей на «Заем Свободы» поражают изобилием еврейских фамилий и отсутствием крупной русской буржуазии, не считая нескольких виднейших имен московского купечества; митинги: «И в ненависти, и в любви евреи слились с народной демократией России!»; возвращение из Соединенных Штатов сотен эмигрантов, включая Троцкого; предостережение благоразумного Винавера (ближайшего сподвижника Милюкова и невольного единомышленника Цвейга – Солженицына): «Нужна не только любовь к свободе, нужно также самообладание… Не надо нам соваться на почетные и видные места… Не торопитесь осуществлять наши права»; «внезапная, бившая в глаза смена обличья тех лиц, кто начальствует или управляет»; всеобщий развал; надрывное обращение генерала Корнилова – и ответное

хихиканье Суханова…

«И дело тут не в национальном происхождении Суханова и других – а именно в без-национальном, в антирусском и антиконсервативном их настроении. Ведь и от Временного правительства, – при его общероссийской государственной задаче и при вполне русском составе его, можно бы ждать, что оно хоть когда-то и в чем-то выразит русское мирочувствие? Вот уж – насквозь ни в чем».

«За несколько первых месяцев после Февраля раздражение против евреев вспыхнуло именно в народе – и покатилось по России широко, накопляясь от месяца к месяцу».

«Уже в середине 1917 (в отличие от марта и апреля) возникла угроза от озлобленных обывателей, или от пьяных солдат, – но несравненно тяжелей была угроза евреям от разрушающейся страны». А следовательно, заключаю я, те евреи, что «раскачивали» Россию, либо не понимали, что творят, либо не беспокоились о судьбе своих соплеменников – то есть действовали не как евреи.

«Во все время революции самыми горячими защитниками идеи великодержавной России были наряду с великороссами – евреи». (С согласием приводимая цитата из Д. Пасманика.) Любопытно, не знал.

«И надо отчетливо сказать, что и Октябрьский переворот двигало не еврейство (хоть и под общим славным командованием Троцкого, с энергичными действиями молодого Григория Чудновского: и в аресте Временного правительства, и в расправе с защитниками Зимнего дворца). Нам, в общем, правильно бросают: да как бы мог 170-миллионный народ быть затолкан в большевизм малым еврейским меньшинством? Да, верно: в 1917 году мы свою судьбу сварганили сами, своей дурной головой – начиная и с февраля и включая октябрь – декабрь». Это «сами» сказано столь отчетливо и великодушно, что и мне хочется в ответ проявить великодушие: да нет, и мы, евреи, тоже наделали дел.

«На выборах в Учредительное собрание» более восьмидесяти процентов еврейского населения России проголосовало «за сионистские партии». Ага, не за большевиков. Более того, сомнительно, чтобы эти партии можно было считать такими уж «прогрессивными», модернизаторскими для России.

«Не попало в историю, что после "декрета о мире", но прежде "декрета о земле" была принята резолюция, объявляющая "делом чести местных советов не допустить еврейских и всяких иных погромов со стороны темных сил". (Со стороны красно-светлых сил погромы не предполагались.)

Даже и тут, на съезде рабочих и крестьянских депутатов, – в который раз еврейский вопрос опередил крестьянский». Согласен, это было крайне бестактно. За подобными вещами нужно следить очень внимательно.

«Это не новая тема: евреи в большевиках». Ох, не новая…

«Да, это были отщепенцы».

«И что ж – могут ли народы от своих отщепенцев отречься? И – есть ли в таком отречении смысл? Помнить ли народу или не помнить своих отщепенцев, – вспоминать ли то исчадье, которое от него произошло? На *этот* вопрос сомнения быть не должно: помнить. И помнить каждому народу *как своих,* некуда деться.

Да и нет, пожалуй, более яркого примера отщепенца, чем Ленин. Тем не менее: нельзя не признать Ленина русским. Да, ему отвратительна и омерзительна была русская древность, вся русская история, тем более православие; из русской литературы он, кажется, усвоил себе только Чернышевского, Салтыкова-Щедрина да баловался либеральностью Тургенева и обличительностью Толстого. (Солженицын совершенно точно перечисляет малый джентльменский набор российского радикала – но где же там еврейские имена? – *А.* М.) <…> Но это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью. Это *в нас* ослабла та православная вера, в которой он мог бы вырасти, а не уничтожать ее. Уж он ли не отщепенец? Тем не менее он русский, и мы, русские, ответственны за него. <…>

А отщепенцы-евреи?»

Для иудаизма здесь нет вопроса: еврейская община никогда не должна отказываться от своих грешников. А для светского, так сказать, еврея? Помнить – да, зачем-то это нужно. Но платить чем-то реальным? Чем же, скажите! И чем должны платить русские за Ленина? Ответа нет снова. Ладно, будем читать дальше.

«10 октября 1917, заседание, принявшее решение о большевицком перевороте, – среди 12 участников Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Урицкий, Сокольников. Там же было избрано первое "Политбюро", с такой обещающей историей вперед, – и из 7 членов в нем все те же Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Сокольников. Никак не мало».

Уж это точно… Даже при восьмидесяти процентах просионистского электората.

«Большую службу революции сослужил также тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после

Октябрьской революции и который нам был крайне опасен. <… > Овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников». (В. И. Ленин в пересказе С. Диманштейна, главы Еврейского Комиссариата при наркомате национальностей.) Интересно, не знал.

«Даже свободолюбивый и многотерпеливый Короленко наряду с сочувствием евреям, страдающим от погромов, записывает в своем дневнике весною 1919: "Среди большевиков – много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает"». «Бестактность и самоуверенность» – узнаю брата Колю… Кто как, а я в объективности Короленко сомневаться не могу. И этот урок – не быть бестактным и самоуверенным – я с удовольствием вынес бы из книги Солженицына, если бы не усвоил его из всей своей предыдущей жизни. «О, как должен думать каждый человек, – восклицает Солженицын, – освещает он свою нацию лучиком добра или зашлепывает чернью зла». Что ж, если бы к прочим тормозам, удерживающим людей от низостей и безумств, прибавился и этот, наверное, было бы и в самом деле неплохо.

«А что – жертвы? Во множестве расстреливаемые и топимые целыми баржами, заложники и пленные: офицеры – были русские, дворяне – большей частью русские, священники – русские, земцы – русские, и пойманные в лесах крестьяне, не идущие в Красную армию, – русские. И та высоко духовная, анти-антисемитская русская интеллигенция – теперь и она нашла свои подвалы и смертную судьбу. И если бы можно было сейчас восставить, начиная с сентября 1918, именные списки расстрелянных и утопленных в первые годы советской власти и свести их в статистические таблицы – мы были бы поражены, насколько в *этих* таблицах Революция не проявила бы своего интернационального характера – но антиславянский. (Как, впрочем, и грезили Маркс с Энгельсом.)»

Антиславянский характер революции… Утверждение очень ответственное – слишком уж легко оно трансформируется в излюбленный штамп кондовой антисемитской пропаганды – «геноцид русского народа». Где хоть какие-то доказательства, что большевики уничтожали людей по национальному признаку? Разумеется, они истребляли те слои, в которых видели опору прежнего режима, в которых усматривали возможность или признаки протеста, и поскольку в прежней элите и в ограбляемом крестьянстве преобладали славяне, то они чаще и подпадали под пресловутый «карающий меч». Якобинцы тоже казнили большей

частью французов – следует ли из этого, что Французская революция была антифранцузской?

Если уж предпринимать опасную затею исцелять межнациональные отношения правдой, в подобных, наиболее ответственных случаях необходимо использовать особо проверенную правду. Однако, повторяю, во всей книге нет даже попытки найти хоть какие-то доказательства того, что хоть какая-то статистически уловимая социальная группа преследовалась не потому, что большевистский режим видел в ней угрозу для себя, а потому, что в ней преобладали славяне. И если бы таковые доказательства существовали, я думаю, в увесистом томе им нашлось бы место – значит их нет.

«Не будем гадать, в какой степени евреи-коммунисты могли сознательно мстить России, уничтожать, дробить именно все русское», но в книге на этот счет есть именно одни гадания. То есть опять-таки никаких доказательств, а подозрения – подозрения все равно возбуждаются. Притом непонятно, насчет чего в точности. Если говорить об утопическом стремлении обновить все сверху донизу, пальнуть в Святую Русь, – это стремление охватывало и романтических поэтов, и респектабельных господ из «Речи» и «Биржевых ведомостей» («все перестраивать с корня», «рвать без жалости все сорные травы, не смущаясь, что среди них могут оказаться и полезные растения»). Куда дальше этого могли бы зайти евреи?

Но, конечно, огромная часть их пошла служить Советам, чтобы просто не умереть с голоду, – равно как и множество русских, но не о них сейчас речь. Солженицын отвергает «объяснения извинительные»: «Идти на службу в ЧК – это никогда не *единственный* выход. Есть по крайней мере еще один – не идти, выстаивать». Ну в ЧК-то не могло попасть очень уж много народу, а вот чтобы умирать с голоду, но не идти в простую советскую канцелярию, – для этого нужна огромная идейность, которой требовать от обыкновенных людей, у которых нет никакого особенного «во имя» (да как раз «во имя» и могло привести к большевикам)… Вернее, требовать-то можно, но когда, в какие времена люди этим требованиям соответствовали? Разве что в легендарные времена Спарты, Рима и Израиля… Хотя желать, чтобы люди не были людьми, а были какими-то гораздо более высокими существами, – наверное, это тоже высокое, хотя и опасное, как все высокое, желание.

С этой точки зрения снисхождение к человеческому стремлению выживать, поступаясь принципами (которых у людей заурядных и вообще-то негусто, и, быть может, к счастью для мира: в эпохи «великих социальных экспериментов» он и

выживает-то во многом благодаря тому, что основная масса людей остается беспринципной), – это снисхождение действительно «есть отречение от исторической ответственности».

«Да, много доводов – почему евреи пошли в большевики (а в Гражданской войне увидим и еще новые веские). Однако, если у русских евреев память об этом периоде останется в первую очередь *оправдательной,* – потерян, понижен будет уровень еврейского самопонимания.

…Однако приходится каждому народу морально отвечать за все свое прошлое – и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой *осмыслить* – почему такое было допущено? в чем здесь *наша* ошибка? и возможно ли это опять?

В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать и за своих революционных головорезов, и за готовные шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом.

…Отвечать, как отвечаем же мы за членов нашей семьи».

А как мы отвечаем за членов нашей семьи? Стыдимся – больше никак. Нам стыдно за них *перед другими.* Но выше сказано, что отвечать евреям нужно не перед другими народами, следовательно и каяться не перед русским народом, а перед собой и перед Богом. Перед Богом-то верующие евреи от имени всего еврейского народа каются регулярно в специальных молитвах: мы творили то-то и то-то – и перечисляют все мыслимые безобразия; светским евреям труднее: они должны *осмыслить* то, что, на мой взгляд, заведомо не по силам человеческому разуму.

«Возможно ли это опять?» *Это,* разумеется, невозможно, история вся состоит из неповторимых событий, если брать их во всей совокупности обстоятельств. Но когда мы станем перед новым историческим выбором, все, что лично я после всех раздумий и изучений мог бы посоветовать и себе, и другим: не обольщаться, быть осторожнее, человеку не дано предвидеть будущее, то, что считают благом «умнейшие люди своего времени», завтра обернется несомненным злом и глупостью, граничащей с безумием. Однако и эта «агностическая формула» наверняка не понравится Александру Исаевичу – за нечто подобное он строго осуждает Галича, написавшего: «А бойтесь единственно только того, кто скажет: "Я знаю, как надо!"»: «Но *как надо* – и учил нас Христос…»

И тем не менее из учения Христа люди делали самые противоположные выводы, им оправдывали и войны, и казни, и уничтожения целых культур, и – заодно уж – массовые избиения

евреев, что Солженицыну, несомненно, известно. Мало кто подставлял ударившему другую щеку, больше обращали внимание на загадочную формулу «Не мир, но меч…» Боюсь, Солженицын лишь тогда сочтет евреев достаточно покаявшимися, когда они все до последнего жлоба примут ту интерпретацию христианства, которая представляется правильной лично ему. Такое складывается впечатление.

В Гражданскую войну и еврейство, и Белое движение проявили крайнюю близорукость: евреи близоруко тянулись к тем, кто их реже убивал, а белые близоруко отталкивали нейтральных или сочувствующих им евреев «из-за множественного участия *других* евреев на красной стороне», руководствуясь излишне прямолинейным представлением о коллективной вине. Народное представление о коллективной вине воплощалось еще более бесхитростным образом – в виде массовых погромов: по различным оценкам, погибло от 70 до 180–200 тысяч евреев, причем примерно 40 % погромов приходилось на долю петлюровцев, 25 % – на долю разных украинских «батек», 17 % – на деникинцев и 8,5 % – на красных (редчайший случай, когда общую вину действительно удается разложить на «доли»).

Поражает автора «Двухсот лет» и близорукость «сквозь всю Гражданскую войну» недавних союзников России. Правда, такого рода близорукость проходит настолько неизменно сквозь всю человеческую историю, что не пора ли признать ее нормальным свойством человеческой природы? А если это так, то раскаяние в ней может быть только лицемерным: человек не может искренне раскаиваться в том, что у него всего два глаза и один нос. Хотя, может, и стоило бы.

«В эмиграции между двумя мировыми войнами» среди более чем двух миллионов эмигрантов тоже с превышением процентной нормы оказалось более двухсот тысяч евреев – одного этого было бы достаточно, чтобы не отождествлять коммунизм с еврейством, если бы народы жили фактами, а не фантомами. При этом евреи, к моему приятному удивлению, оказались самыми щедрыми благотворителями и для материальных, и для культурных нужд *русских* эмигрантов. К сожалению, распри между правыми и левыми продолжалась и на чужбине, и было бы странно, если бы там обошлось без активного участия евреев. Но, к счастью, для чужеземных устоев это серьезных последствий не имело, а потому и покаяния не требует.

А вот в чем конкретном провинились те оставшиеся в России

евреи, кто развил невероятно бурную и успешную деятельность в администрации, в экономике, в госбезопасности, в обороне, в здравоохранении, в науке, в технике, в культуре, – вопрос более сложный. Вернее, с чекистами ясно: добивать уже и без того еле живую прежнюю элиту, наводить ужас на население – это мерзость и грех. Однако службу в армии Солженицын считает безгрешной, хотя армия тоже служит большевицкому режиму. Да и герои-разведчики, среди которых был ни с чем не сообразный процент евреев, безусловно, крепили оборонную мощь большевицкой России. Служить народу, одновременно укрепляя сатанинское государство, или ослаблять государство, одновременно ослабляя и народ, – это вопрос трагический, на который нет и не может быть универсального ответа: никто не может знать, какое зло в конце концов окажется наименьшим. И если Солженицыну кажется, что он знает ответ, он заблуждается.

Работать на будущее страны, не укрепляя одновременно и правящий режим, возможно разве что в просвещении, в искусстве… Но тогдашнее искусство (дозволенное!) в основном лишь укрепляло советские устои, в этом Солженицын, безусловно, прав. Однако есть ведь и у искусства свое собственное, внутреннее развитие, собственные цели, и имеет ли оно право им служить, игнорируя социальные ужасы, а то и прямо их лакируя, или оно должно непременно бичевать социальное зло, а если такой возможности нет, замереть в ожидании, покуда она появится, – это вопрос тоже трагический. Имел ли право Пушкин написать «Евгения Онегина», в котором нужно с увеличительным стеклом выискивать ужасы крепостничества? Для меня ясно, что имел, – для Писарева это повод для презрения. Скажут, что Пушкин, в отличие, скажем, от Эйзенштейна, «не взвинчивал проклятий старой России», и это будет правда. Скажут, что Эйзенштейну далеко до Пушкина, – я и с этим соглашусь. Но многие и не согласятся с тем, что Пушкин имеет какие-то исключительные права, они потребуют их для всех художников.

А потом, не упускаем ли мы главное – склонность человека считать нормальным то, с чем он сталкивается, входя в жизнь, что доказало свою неизменность и неотвратимость, как смерть, например? Должен ли каяться какой-нибудь ацтек, что спокойно жил в государстве, где приносились человеческие жертвы? Да что ацтек – великий Платон считал рабство совершенно естественным делом… Да, да, друг мне Платон, но – увы. Всегда ли человек способен возвыситься даже не храбростью – умом! – против устоявшегося, привычного зла?

Впрочем, если даже и не способен – почему бы не восстать и против самой человеческой природы? Начав, естественно, с

евреев: это же для них избранность означает повышенную ответственность. Но… ведь готовность восставать против привычного, устоявшегося – именно то, в чем их обвиняют. Хорошо пророкам, которые точно знают, когда надо, а когда не надо раздувать протест, – но как быть людям обыкновенным?

«В лагерях ГУЛАГа» Солженицын, по его словам, впервые понял, что есть не только единое человечество, но и нации: в «спасительном корпусе *придурков»* были отметно сгущены евреи, грузины, армяне, азербайджанцы и отчасти кавказские горцы. «А русские "в своих собственных русских" лагерях опять последняя нация». Впрочем, кавказцы могли и ответно упрекнуть русских: не держите нас в вашем государстве, и мы освободим для вас тепленькие места банщиков и кладовщиков. «А как с евреями? Ведь переплел русских с евреями рок, может быть, и навсегда, из-за чего эта книга и пишется».

Тем не менее о евреях, заявивших: «Не держите нас в вашем государстве», Солженицын отзывается очень раздраженно: эти, мол, как всегда, о своем… Зато несколько известных ему евреев, добровольно пошедших на общие работы (в том числе знаменитый генетик Эфроимсон), вызывают его восхищение: это и есть «те пути самоограничения и самоотвержения, которые одни только и могут спасти человечество».

Что ж, здесь вполне понятно, как в данном случае можно самоограничиваться и чем тут можно восхищаться. Но как это следует делать на воле, в творческих профессиях, убей бог, не понимаю. Человеку с талантом отказаться от его реализации почти равносильно смерти, это писателю Солженицыну должно быть хорошо известно. Или ради сближения наций и смерти не следует бояться? И во имя столь высокой цели следует жертвовать всем – кроме, разумеется, правды? В своем «Архипелаге» Солженицын перечислил имена орденоносных руководителей БелБалтлага – всех шестерых евреев – и вызвал, по его словам, всемирный шум: это антисемитизм! В лучшем случае – «национальный эгоизм».

«А где ж были их глаза в 1933, когда это впервые печаталось? Почему ж тогда не вознегодовали?

Повторю, как лепил и большевикам: не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а – когда их делают».

Где были глаза Запада, для меня самого величайшая загадка; возможно, его духовные вожди боялись посадить пятнышко на свою любимую цацку – социализм. Но что до нашей стороны, то здесь, я думаю, было гораздо меньше стыда, чем опасения за практические последствия такой публикации, опасения, что она

будет способствовать и усилению антисемитизма, и подведению под него оправдательной базы.

«Как будто художник способен забыть или пересоздать бывшее!» – восклицает Солженицын, и он совершенно прав: художник его склада не может. Перед нами снова типичный трагический конфликт двух одинаково справедливых принципов «Говори правду!» и «Не навреди!».

Солженицын выбирает правду, как он ее видит. И я верю, что он видит ее именно такой.

«В войну с Германией» евреи, по выкладкам Солженицына, вполне пристойно соблюли процентную норму. Однако он не сдает без боя и то «расхожее представление», что «на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще». «Так что ж – народные представления той войны действительно продиктованы антисемитскими предубеждениями? <…> Можно предположить, что большую роль здесь играли новые внутриармейские диспропорции, восприятие которых на фронте было тем острее, чем ближе к смертной передовой». Действительно, цитирует Солженицын израильскую энциклопедию, «евреи составляли непропорционально большую часть старших офицеров, главным образом потому, что среди них был гораздо более высокий процент людей с высшим образованием». «Рядовой фронтовик, – продолжает Солженицын, – оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й, и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, – и всякому было наглядно: да, *там* евреев значительно гуще, чем на передовой».

Но ведь все перечисленное выше есть не что иное, как наложение профессиональной структуры общества на военные условия. А потому протест против более благоприятных условий евреев есть также не что иное, как все тот же вечный протест против их места в системе разделения общественного труда. Протест, на который может быть только два ответа: или сдерживать профессиональный рост евреев искусственными средствами – или расти самим, самим становиться врачами, инженерами, интендантами, журналистами, актерами… Солженицын, оправдывая более чем понятные чувства рядовых на передовой, не замечает, что оправдывает этим и социальную зависть, которая в отношениях между людьми одной нации

отнюдь не представляется ему чем-то достойным уважения. Но замечать за евреями то, что не замечается за своими, – не есть ли это как раз те самые антисемитские предубеждения?

Далее Солженицын пересказывает несколько историй как о сомнительных фронтовиках-евреях, так и об отчаянных смельчаках, завершив следующим образом: «Но на отдельных примерах – ни в ту, ни в другую сторону – ничего не строится».

Зачем тогда их и приводить в книге, претендующей высказать *значительную* и *достоверную* правду? Примеры лишь невольно оправдывают в глазах профанов ту убийственную для любой сколько-нибудь достоверной социальной истины манеру делать обобщающие выводы из всегда немногочисленных и тенденциозно, пускай и бессознательно, отобранных фактов личного опыта. Вот и сам Солженицын из единственного эпизода с каким-то безвестным Шулимом Деином, считавшим, что лучше бы евреям смотреть на драку немцев и русских со стороны, выводит целую теорию о «неполной заинтересованности» евреев в *«этой* стране». В обвинениях такого масштаба следует либо опираться на достоверную статистику, либо молчать.

Однако трудно не остановиться на загадочном финале Солженицына, завершающем рассказ о массовых убийствах евреев в немецком тылу. Солженицын опасается, как бы за гибелью евреев «не упустить же, и что была для русских та война». И это справедливо: каждому погибшему была безразлична та тонкость, что от еврейского народа требовалось исчезнуть, а от русского – покориться. Но Солженицыну кажется, что «в этом накате еще одной Беды – посверх Гражданской и раскулачивания – он *почти исчерпал себя».* Что означают эти слова? Как может исчерпать себя народ? Но, если поверить в это, обида на всех его предполагаемых недоброжелателей удесятерится.

Чего же все-таки хочет Солженицын?

«С конца войны – до смерти Сталина» – у евреев наконец исчезла возможность быть палачами. «За восемь последних сталинских лет произошли: атака на "космополитов", потеря позиций в науке, искусстве, прессе, разгром Еврейского антифашистского комитета, с расстрелом главных членов, и "дело врачей"».

«До шестидневной войны», еще задолго, произошла историческая "смена вахт" на советских верхах, с еврейской на русскую».

«Антисемитизм (цитирует Солженицын В. Богуславского из журнала «22», 1985, № 40) страшен не столько тем, что он *делает евреям* (ставя им известные ограничения), сколько тем, что он *делает с евреями,* – превращая их в невротичных, придавленных, закомплексованных, ущербных».

«На самом деле, – продолжает Солженицын, – от такого болезненного состояния – вполне, и быстро, и уверенно – оздоровлялись те евреи, кто с полнотою осознавал себя евреями».

«И при таком-то назревавшем самосознании советских евреев – грянула и тут же победно унеслась, это казалось чудом, Шестидневная война. Израиль – вознесся в их представлениях, они пробудились к душевному и кровному родству с ним».

«А многочисленные отказы в выезде привели к неудавшемуся 15 июня 1970 захвату самолета для угона. Последовавший "самолетный процесс" можно считать историческим рубежом в судьбе советского еврейства».

И – чрезвычайно важное замечание: «Работая над этой книгой, убеждаешься, что еврейский вопрос не только всегда и всюду в мировой истории присутствовал – но он никогда не был частно-национальным, как другие национальные вопросы, а – благодаря ли иудейской вере? – всегда вплетался в нечто самое *общее».*

Похоже, это действительно так: благодаря той самой досадной склонности евреев в раздражающем количестве становиться на сторону всего самого «прогрессивного», борьба с ними становилась неотделима от борьбы с «прогрессом», а борьба с «прогрессом» – от борьбы с ними.

«Когда ж это случилось, что евреи из надежной подпоры этому режиму перекинулись едва ли не в главное противотечение?» – за что их теперь снова готовы проклясть те, кто пострадал от перестройки.

«А тут эта нарастающая кампания против "сионизма", уже

вяжущая одну петлю с "империализмом". И – тем чужей и отвратительней представился евреям этот тупой большевизм, – да *откуда* он такой вообще взялся?»

«И теперь, отпадая, обратили против него свой фронт. И вот тут бы – с очищающим раскаянием – самим сказать о прежнем деятельном участии в торжестве советского режима и сыгранной жестокой роли.

Нет, почти нет».

«У большинства евреев-комментаторов позднесоветского периода мы прочтем совсем не то. Оглядясь на всю даль от 1917 года, они увидели одни еврейские муки при этом режиме. "Среди многочисленных национальностей Советского Союза евреев всегда выделяли как самый 'ненадежный' элемент" (Ф. Колкер, «22», 1983, № 31).

Это – с каким же беспамятством можно такое промолвить в 1983 году? *Всегда]* – и в 20-е годы! и в 30-е! – и как *самый ненадежный?]* Настолько все забыть?»

«Но <…> не встает разве вопрос о каком-то чувстве ответственности за *тех?* В общем виде спрося: существует ли моральная ответственность – не круговая порука, а *ответственность – помнить и признавать?»*

Если требуется только это – помнить и признавать, – я помню и признаю. И тем более понимаю, что и евреи – всего только люди. Если бы кто-то из нас поклялся не повторять ошибок дедов, это было бы претензией на сверхчеловеческое ясновидение: могут сложиться обстоятельства – и ты снова наломаешь дров не лучше тех, над кем пытался возвыситься, хоть над своими предками, хоть над чужими. И подобную самокритичность, мне кажется, могла бы усвоить даже народная память, вообще-то отвергающая все унизительное: ведь честность по отношению к себе можно возвести в новое достоинство, и на нем-то снова утвердить свою гордость.

Но Солженицыну-то зачем нужно, чтобы евреи покаялись? Почему его так волнует «уровень еврейского само-понимания»? На эти вопросы, похоже, дает ответ решающая глава «Оборот обвинений на Россию».

«Разумеется, – как и вообще у всех людей и у всех наций, – нельзя было ждать, что при этой переоценке будут звучать сожаления о прежней вовлеченности. Но я *абсолютно не ожидал* такого перекоса, что вместо хотя бы шевеления раскаяния, хотя бы душевного смущения – откол евреев от большевизма сопроводится гневным поворотом в сторону русского народа: это *русские* погубили демократию в России (то есть Февральскую), это

русские виноваты, что с 1918 года держалась эта власть!

Мы – и конечно виноваты, еще бы!»

Но не мы одни, как следует из предыдущих четырехсот пятидесяти страниц. «Нет, вы одни!» – следует из приводимых ниже выписок из разных еврейских авторов, отобранных, не знаю уж, из большого или из малого числа им подобных. (Я выбираю лишь самые характерные и однозначно толкуемые.)

«Это тоталитарная страна… Таков выбор русского народа», – расстреливаемого тысячами и тысячами, не могу удержаться и я.

«В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души обязательно сидит погромщик… Сидит там также раб и хулиган».

«Пусть все эти русские, украинцы… рычат в пьянке вместе со своими женами, жлекают водку и млеют от коммунистических блефов… без нас… Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы им дали Бога Авраама, Исаака и Якова».

«Заметим, – сетует Солженицын, – что любое гадкое суждение *вообще* о "русской душе", *вообще* о "русском характере" – ни у кого из цивилизованных людей не вызывает ни малейшего протеста, ни сомнения. Вопрос "сметь или не сметь судить о нациях в целом" – и не возникает».

Если это так, я человек нецивилизованный: вся эта мерзость вызывает у меня не только сильнейший протест, но и не просто сомнение, а даже и уверенность, что отнюдь не каждый русский, даже *далеко-далеко-далеко* не каждый русский в глубине души погромщик, раб и хулиган, это просто ложь – и даже хуже, если бессознательная: что же за картина мира у людей!.. И на что она способна подвигнуть при удобном случае!..

Снова непонятно: кто причинил больше вреда еврейскому народу – его враги или эти мстители (к счастью, словесные) – за его обиды? Пусть Солженицын примет мои слова как извинения от имени еврейского народа – который ни меня, ни кого-либо другого на это не уполномочил и уполномочить не мог за отсутствием технических средств, которые могли бы материализовать такую фикцию, как «глас народа».

Зато наконец понятно, почему Солженицын принялся за свой титанический труд над этой книгой – *от обиды.* И еще понятно, каких практических следствий он желал бы от еврейского покаяния: покаявшийся человек не склонен обвинять других. И это не только высоконравственно – побольше думать о собственных грехах и поменьше о чужих, – но и в высшей степени целесообразно: *чем больше русским будут давать понять, что они хуже прочих, тем чаще они будут отвечать: «А вы еще хуже!»*

И заодно уж отвечу тем возмущающим и Солженицына умникам, которые выводят все российские бедствия из неких

вечных свойств русского народа – из его пресловутого менталитета, традиций, протянувшихся аж до монголов, и тому подобной наукообразной дребедени. Никаких вечных народных качеств не существует – наиреспектабельнейшие скандинавские народы начинали как разбойники. Кроме того, совершенно невозможно – системный эффект – разделить, до какой степени сам человек или народ бывают виновны в своих бедах, а до какой – их обстоятельства. Но если бы даже это было возможно, взваливать вину человека или народа полностью на его собственную голову до крайности непедагогично. Единственный урок, который они извлекут из подобных обличений, – обличитель их ненавидит. Ну а единственной реакцией на ненависть бывает сами знаете что. И на приязнь, на сострадание – тоже понятно.

Те, кто нес вышеприведенный злобный бред, могут сказать, что они лишь отвечали оскорблениями на оскорбления, – но разве на ложь надо отвечать непременно тоже ложью? Ведь мы-то, евреи, претендуем на рациональность.

Солженицын очень проникновенно пишет о тех евреях, которые «пронялись» чувствами более объемными, нежели исключительно свои национальные обиды: «Какую надежду это вселяет на будущее!»

И каким же он видит это будущее?

Две последние главы – две (последние?) возможности: «Начало исхода» и «Об ассимиляции». Два эти выхода на самом деле между собою связаны: антисемитизм больнее ранит тех, «кто действительно настойчиво пытается отождествить себя с русскими». В итоге наиболее острые стимулы уехать получают те, кто сильнее хочет остаться. Хотя возможно и то, что рост «брежневского» антисемитизма и рост самосознания евреев – лишь «совпадение во времени». Однако Солженицын с явным сарказмом отзывается о готовности американского капитала помогать советскому правительству в обмен на право эмиграции «именно и только евреев». «Никакие ужасы, творимые Советами, не могли пронять Запад – лишь когда коснулось отдельно евреев…» – таков примерно ход его мысли. Однако все ужасы 37-го пали на голову евреев уж никак не меньше, чем на других, и ничего, Запад проглотил. Скорее всего, западных евреев воодушевила борьба, на которую вдруг поднялись их восточные собратья. «Товаром стал дух еврейского мятежа» (В. Богуславский, «22», 1984, № 38). Но готовность платить за дух – это же явно бескорыстный романтический порыв, однако романтик Солженицын почему-то пишет о нем без всякого

энтузиазма. Зато вполне последовательно с презрением отзывается о тех, кто через пробитую брешь отправился прямиком в Америку за более «легкой» западной жизнью. «В чем духовное превосходство тех, кто решился на выезд из "страны рабов"?» – спрашивает он, и я недоумеваю: наверное, ни в чем; но откуда вообще взялся этот вопрос? Почему одни обыкновенные люди должны в чем-то превосходить других обыкновенных людей? Почему от евреев нужно ждать какой-то повышенной жертвенности? И разочаровываться, когда они ведут себя как не более чем люди?

Последняя глава, «Об ассимиляции», рисует, с одной стороны, картину мощнейших ассимиляционных процессов, с другой – содержит вереницу цитат, настаивающих на непрочности обретаемой евреями новой национальной идентичности. Итог? «Пока что ассимиляция явлена недостаточно убедительно. Все, кто предлагали пути ассимиляции *всеобщей,* – обанкротились. <…> Но отдельные яркие судьбы, но индивидуальные ассимилянты большой полноты – бывают. И мы в России – от души приветствуем их».

А как быть с ассимилянтами не столь большой полноты? Две любви, две страсти, два борения – слишком много для одной души, с этим, судя по всему, Солженицын согласен. И все-таки рискну сказать, что присутствие в обществе людей с усложненной, противоречивой психикой может сделать его не только более эстетически богатым, но и более мобильным. Твердая, неколебимая, простая национальная идентичность – вещь очень ценная, когда перед народом стоит историческая задача сохранить свою идентичность в *противостоянии* другим нациям. Но бывают эпохи, когда не менее важной исторической задачей становится задача *обновления* этой идентичности, задача отыскания себя в *сближении* с другими народами, – и тут-то традиционный патриотизм упрощенного, черно-белого типа может сделаться из достоинства опаснейшим препятствием.

Материальные интересы русских и евреев уже и в сегодняшней России практически совпадают: в неблагополучной стране даже и самые преуспевшие евреи будут всегда оставаться под дамокловым мечом социальной зависти, удесятеренной национальной неприязнью, а в России процветающей хватит места всем: триста непрерывно сокращающихся тысяч еврейских душ не составят серьезной конкуренции. Но поскольку и социальная вражда, и социальное единство создаются в основном не материальными интересами, а какими-то злыми или добрыми сказками («общим запасом воодушевляющего вранья»), то нам, я

думаю, и русским, и евреям, вполне по силам создать убедительную сказку о нашей общей трагической, но вместе с тем и прекрасной судьбе: наша совместная история дает более чем достаточно материала и для этого. Можно, разумеется, из нее вывести и другую сказку – что мы, например, посланы во испытание друг другу. Но можно также, не солгавши ни словом, сотворить многокрасочную историю о том, что мы рождены обогащать и усиливать друг друга, – будь я президентом, я бы непременно заказал такой лазоревый двухтомник «Двести лет вместе – 2». Да, мы громоздили и совместные безумства, и совместные мерзости – но мы творили и совместные подвиги и созидали совместную красоту: история нашей общей жизни прекрасна и величественна. Ну а то, что чувство величия невозможно без примеси ужаса, – эта истина из разряда азбучных.

Простодушные люди могут возразить или даже возопить: но Солженицын, по крайней мере, зовет нас к правде, а вы безо всяких стестений – ко лжи! Звать на словах можно к чему угодно, но на деле мы можем творить лишь коллективные фантомы. И любовь творит фантомы добрые, а обида злые.

Но две любви – совсем не много для одного сердца. Я люблю оба мои народа, а потому и вижу их совместную историю через другие светофильтры – ничуть не более лживые, чем у Солженицына, хотя ничуть и не более правдивые. Мне не требуется лгать, чтобы чувствовать боль и русских, и евреев.

И, уверен, не мне одному.

И нас будет намного больше, стоит только захотеть.

Голиафы против Давидов

Я с младенчества усвоил либеральные принципы: все народы, все культуры заслуживают равного уважения, но в случае конфликта нужно быть на стороне слабого, на стороне Давида против Голиафа. И лишь в последние годы во мне вызрело страшное подозрение, что все национальные культуры стремятся не к равенству, а к первенству и что нетерпимость в мир несут не сильные, а слабые, Давиды, ищущие реванша за свое реальное или воображаемое унижение. Но это мало замечается, поскольку у них недостает сил натворить особенно много ужасов. Главные ужасы начинаются тогда, когда слабыми, обиженными начинают ощущать себя сильные. А значит, в том, чтобы не обижали сильных, более всего заинтересованы слабые, ибо все обиды сильные выместят прежде всего на них. И наоборот: будучи спокойны за свое доминирование, сильные будут не только заинтересованы в сохранении мира, но и сумеют его обеспечить – от чего в первую очередь выиграют опять-таки слабые. Они сохранят жизнь, имущество, но национальное достоинство им придется обретать не на силовом пути.

Заботиться прежде всего о достоинстве Голиафов – это ужасно нелиберально, но сегодня я искренне не понимаю, каким образом либеральная модель предполагает усмирить всегдашнюю готовность народов от насмешек и брюзжания по поводу друг друга перейти к насилию друг над другом? Монополия на применение насилия – необходимое условие мира между индивидами, с этим согласны все. Но когда речь заходит о существах многократно более амбициозных и безответственных, о нациях, либеральная мысль, с одной стороны, полагает, что все культуры заслуживают сохранения и поддержки, но, с другой стороны, предвидит главные будущие конфликты как конфликты этих же самых культур. Но тогда, поддерживая все культуры разом, мы тем самым подпитываем и будущие войны?

Классическая геополитика стояла на принципе «Миром должны править сильные», усматривая в нем и определенную гуманность: власть все равно перейдет к сильным, но только через страдания и кровь – так не лучше ли сразу прийти к этому же результату? Но если мы не столько мечтаем о земном рае, сколько страшимся земного ада, может быть, и нам стоит почаще вспоминать, что равенство наций есть чисто умозрительный идеал, не работавший ни единой минуты. А относительный мир между народами удавалось установить лишь имперской власти, использовавшей мудрый принцип: собирай подати и по

возможности не трогай культуру – коллективных иллюзий. Сохрани за покоренными народами право молиться, как они хотят, жениться, как и на ком хотят, есть, пить, танцевать, одеваться и даже судиться, и лучше всего управлять народами-вассалами руками их же собственных элит, усыпляя гордость последних возможностью входить в элиты «федеральные», тогда как гордость «плебса» будет убаюкана тем, что с чужеземцами в своей будничной жизни ему сталкиваться почти не придется.

Если же имперская элита окажется неспособной укротить кнутом или пряником неизбежные амбиции отдельных народов, она открывает путь конфликтам всех со всеми: или все ненавидят центральную власть и воображают, что без нее жили бы в мире и дружбе, или все грызутся друг с другом и мечтают о центральной власти, у которой они могли бы найти управу на наглость соседей.

Коммунистическая власть тоже довольно скоро поняла, что равенство индивидов – вещь более или менее возможная, но равенство культур – опасная утопия, возможна и необходима лишь декорация этого равенства. И после десятилетий страшного террора национальное замирение удавалось поддерживать столь малой кровью, что наивным людям этот вынужденный худой мир до сих пор представляется дружбой народов. Однако в советской империи простор открывался только личным, но не национальным амбициям, а потому все брюзжали, но оставались живы.

Нечто подобное можно было бы осуществить и в мировом масштабе, если бы Голиафы не взращивали друг против друга пламенных Давидов, увеличивая число игроков на международной арене, что уже само по себе затрудняет возможность разделения сфер контроля, и, что еще хуже, увеличивая его за счет пассионариев, готовых ставить на карту даже собственную жизнь, не говоря уже о прочей человеческой плотве.

Рано или поздно кто-то из сбросивших ярмо Давидов наконец сумеет-таки ввергнуть человечество в мировую войну, если, к счастью, немногочисленные и относительно рациональные Голиафы не осознают, что главную опасность для каждого из них представляют не другие Голиафы, которым есть много что терять, а бесчисленные Давиды, которым терять, как им кажется, почти нечего. Если каждый Голиаф станет держать в узде своих героев и не подзуживать чужих, мир получит шанс на новую передышку. На собак волка в помощь не зови, кажется, так выражался Солженицын? Использовать в собственных целях национальный реваншизм так же трудно, как извлечь выгоду из атомной

войны, – национальные пассионарии могут работать только на себя.

Но если отказ от использования ядерного оружия как-то можно зафиксировать в международных договорах, то отказ от использования энергии национального реваншизма может хотя бы отчасти контролироваться лишь мировым общественным мнением, которое в значительной степени либерально. И вот для него-то, вопреки либеральному же принципу «Закон один для всех», считается справедливым поддерживать национализм слабых наций и осуждать национализм сильных, закрывать глаза, когда слабые нации нарушают права человека в борьбе против сильных, и немедленно открывать их, когда ровно то же самое делают сильные, – и этим поддерживать скрытую и явную борьбу всех против всех до бесконечности.

«Сильные должны удерживать слабых от разнузданности, а потому они должны становиться все сильнее», «Сильные не должны раздражать слабых своей силой, а потому они должны становиться все слабее» – каждая из этих парадигм имеет свои плюсы и свои минусы, но их совместное применение, как это делается сейчас, объединяет только минусы. Строгать доски в новой бане или не строгать, спорили евреи в одном местечке: если не строгать, будут занозы, если строгать, будет скользко… И раввин принял компромиссное решение: доски строгать, но класть строганным вниз.

Похоже, современная цивилизация и есть тот самый раввин.

Тираны и любимцы

Муаммар Каддафи – типичный диктатор той эпохи, когда главным двигателем истории сделались унижения не экономические, а культурные. Куда более непримиримые, ибо культура – не развлечения и обряды пополам с нарядами и блюдами, но психологическая защита от экзистенциального ужаса, чувства кратковременности и бессилия человека перед космосом. Социальные унижения ранят нас так глубоко именно потому, что униженность в миру открывает нам глаза на униженность в мироздании. Поэтому за унижение своей культуры, своих возвышающих обманов люди готовы мстить торжествующим конкурентам гораздо более жестоко, чем за ущерб материальный.

Сегодня миллионные массы во многих странах мусульманского Востока лишились экзистенциальной защиты, а значит, обрели острую нужду в вождях, которые хотя бы символически мстили их обидчику Западу, вольно или невольно разрушившему культурную крышу, защищавшую людей от созерцания безжалостного космоса. Поэтому надеяться, что в «обиженных» государствах смогут усидеть прозападные лидеры, означает не понимать, что для народов гордость важнее алчности, что для них унижение есть сама смерть, ибо у людей исчезают причины хоть чем-то жертвовать своему народу, если он не способен наделить их чувством причастности чему-то прекрасному и бессмертному.

Народные вожди в обиженных странах не удержатся наверху, если не будут играть роль народных мстителей, каким бы путем они ни пришли к власти – путем выборов, как, скажем, Ахмадинежад, или путем военного переворота, как, например, Каддафи. Запад может выбирать лишь из двух типов антизападного лидера – условно говоря, тирана, попирающего демократию, и любимца народа, на демократию опирающегося. Оттого-то среди западных политиков так и не возникло единства, на чью сторону встать в войне Каддафи с его противниками. С одной стороны, препятствовать власти подавлять мятеж есть нарушение суверенитета, с другой – применение авиации и тяжелого вооружения есть чрезмерное применение силы, с третьей стороны…

Но если руководствоваться не принципами, а интересами, то, на мой взгляд, тиран для Запада предпочтительнее, чем любимец, ибо внутренние враги, которых плодит всякая тирания, отнимают у вождя силы и возможности обратиться вместо второстепенных

врагов социальных к врагам главным – экзистенциальным, от врагов в миру к врагам в мироздании. Все, что Запад может получить в результате соблюдения демократических процедур, – сменить врага, у которого связаны руки, на врага, у которого руки свободны. Авантюрист светского толка лучше религиозного фанатика, который рано или поздно завершит череду авантюристов и марионеток, ибо именно фанатики служат не тактическим, но стратегическим целям обиженных народов – формированию экзистенциальной защиты.

Идеальный для Запада правитель враждебного Востока – тиран, сидящий на вулкане народного гнева, достаточно сильный, чтобы не дать вулкану свергнуть себя самого, но недостаточно могущественный, чтобы осуществить направленное извержение в сторону стратегического врага. Этот статус кво Западу и следовало бы поддерживать, не надеясь (что уже его не раз подводило) использовать вулкан в своих интересах: ни один народ подкупить невозможно, ибо ничего равноценного иллюзорному бессмертию или хотя бы какой-то причастности к оному человеческая фантазия не изобрела и не изобретет. И сколько бы Запад ни мочил «плохих» мусульман, защищая «хороших», он лишь готовит их будущее объединение против себя.

Интересы же России не совпадают полностью ни с Востоком, ни с Западом. Тактические интересы подталкивают нас к союзу с Западом, но, поскольку не мы являемся главной мишенью «униженных и оскорбленных», очень уж усердствовать в этом направлении тоже не стоит, чтобы не нажить в чужом пиру похмелья, а в чужой драке синяков. Экзистенциальных же союзников у нас нет и вовсе, ибо ни с одной корпорацией культур нас не объединяет совместное чувство избранности.

Патриот тысячи отечеств

Акдалинск – ныне Акдала – один из тех городов Северного Казахстана, который Солженицын, обустраивая Россию, непременно отнес бы к исконно русским. Да и мой хохлацкий дед, уроженец тамошних мест, подтверждал, что киргизов (казахов старики без всякого заднего умысла именовали киргизами, но мы, молодое поколение, этим словом уже дразнились) там сроду не проживало: они появлялись, только чтобы что-то купить-продать. А из-за дурацких «большевицких» границ… Пройдет раз в году караван…

Маршруты кочевий были расписаны очень строго, поправлял русского классика казахский классик: если очерчивать границы по стабильным поселениям, кочевым народам может вообще не достаться никакой государственности.

Спор этот, как и все серьезные споры, принадлежит к числу трагических, в которых правы все. Или, иными словами, все неправы. Когда ранние сионисты выбирали территорию будущего еврейского государства, наиболее воспитанные из них, дабы никого не побеспокоить, старались подыскать какое-нибудь безлюдное местечко где-нибудь в Африке или Латинской Америке – Жаботинскому пришлось специально предостерегать, что ничейной земли в природе не существует: каждый клочок территории впечатан в память какого-то народа (и хорошо еще, если только одного) как его собственность. И если даже ему сейчас не до того, рано или поздно он вспомнит о потере (пусть и воображаемой – для социальной психологии устойчивые фантазии ничуть не менее реальны, чем факты) и потребует ее обратно. Ни один народ еще не примирялся с усечением образа своего отечества – из этого и нужно исходить Израилю в течение ближайших десятилетий, а может быть, и веков: для исторической памяти народа не имеет никакого значения, чьими руками возведены города и проложены дороги на территории, которую он считает своей. Но вот мы как будто, слава богу, смирились с потерей Акдалы…

Акдалинск, как можно прочесть в Брокгаузе и Ефроне, вырастал с изумительной быстротой «на американский образец». Необычайное плодородие окружающей его степной почвы, безостановочный рост торговли и промышленности быстро вывели его в один ряд с такими индустриально-коммерческими гигантами, как Оренбург, Троицк, Кустанай, Павлодар. К устройству поселения в урочище Акдала «было приступлено» в тот исторический момент, когда (за два года до казни царя-

реформатора) переселенческое движение приняло особенно огромные размеры. Крестьяне-переселенцы были поражены привольем и обилием угодий. Без всяких пособий и льгот, одним тяжелым и упорным трудом они создали в урочище А. обширное русское поселение. Цивилизующие институты росли как на дрожжах: уездное управление, русско-киргизское двухклассное училище, телеграф, почтовый тракт, хлебозапасные магазины, образцовый конный завод с 500 производителями, женская русско-киргизская прогимназия, церковь, 2 ярмарки, общество попечения новокрещенных магометан, бесплатная народная читальня (при 16 тысячах жителей в 1895 году), 1500 домов, в т. ч. 38 каменных, 2 кожевенных, 2 пивоваренных, 3 горшечных, 3 салотопенных, 12 кирпичных заводов – даже трудно вовремя остановиться.

Поверхность уезда большей частью ровная – ковыльная степь (сам помню эти седые волны), превосходные луга. Почва – чернозем, местами суглинок, но способный к возделыванию: возделывается пшеница весьма высокого качества, уезд орошается множеством речек, кроме того, имеется много оврагов-водоемов, служащих для водопоя. Местность изобилует пресными и солеными озерами. Река Убаган, на которой стоит А., обладает течением быстрым при ширине 30 сажен. Пойма, одна из обширнейших в мире, являет собой общелетовочное место для кочевников не только всей области, но и для киргизов Сыр-Дарьи и Уральской области. В мое время река уже была превращена в широкий ручей возведенной выше по течению Сарыкамышской ГЭС, питавшей электричеством пол-области, – былые 30 сажен, уже стоячих, набирались лишь благодаря скользкой деревянной плотине, под которой гнездились терпеливые налимы. Но пойма – пойма так и шла полого вверх на десятки верст, куда только хватал глаз с высокого бывшего берега. Но ковылей он сегодня уже не разглядит – все покрывают разноцветные квадраты полей. В иные сезоны сюда прикочевывали до 50 тысяч кибиток; пути кочевников основывались на давности пользования, малейшие отклонения приводили к кровавым столкновениям и гибели скота. Главным занятием оседлого населения были торговля скотом и продуктами животного царства. С 1892 года стали открываться так называемые аульные школы. Кочевники встретили учреждение школ с полным сочувствием.

Любопытно добавить, что слово «казахи» осталось неизвестным ни Брокгаузу, ни даже Ефрону – у них имеются лишь киргизы да киргиз-кайсаки, кои, судя по всему, и есть казахи. Еще их называли киргиз-казаками – нас даже в школе специально переучивали не «казак, казачка», а «казах, казашка».

Из перечисленных достижений в ряду и сегодня выдающихся сохранились лишь хлебозапасные магазины (силуэт элеватора, «второго в мире», вечно маячит на горизонте, в какую бы даль ты ни закатился на велике) да конезавод: за жеребцов акдалинской породы на международных аукционах до сих пор готовы отвалить сотни тысяч долларов. Во время Первомайских демонстраций инда сомлеешь, когда на тебя, играя лоснящейся грудью, помчится, надменно выбрасывая точеные копыта, высоченный вороной красавец, как бы не замечающий двуколки, на которой умостился, поджав под себя ногу, зачуханный конюх-казах в потрепанном ватнике.

Я-то вырос на границе Акмолинской и Кокчетавской в десятитысячном поселке (нет, городке!), который было не просто отыскать среди щебенчатого мелкосопочника, обросшего желтой травяной щетиной, – без рубашки не поваляешься. Моя малая родина была совсем уж исконно русской – к казахам там отношение было совсем уж плевое. Правда, и лошади у них были низкорослые, и бабы кривоногие – я в ту пору подобными материями не интересовался, но нельзя же было спорить с данными науки: казахи столько веков ездили верхом, вот ноги у них и выгнулись по конским ребрам. И щуриться от ветра они тоже привыкли – оттого и узкоглазые. Объяснения вполне в духе Энгельса – обезьяна привыкла трудиться, вот и превратилась в человека.

Правда, уже ленинградским студентом я каждые каникулы диву давался, куда подевалось это кавалерийское кривоножество, – девчонки пошли одна стройнее другой. Ни кривых ног, ни трахомных век, ни шрамов на шее от каких-то «желёзок» – такие вот антинаучные чудеса творят хорошая кормежка и гигиена. Узкие глаза, скулы, правда, остались на месте, но обрели неизвестную прежде (японскую? таиландскую?) пикантность – кинопропаганда восточного типа миловидности оказала свое невидимое влияние. А то, бывало, «калбитка» – и больше говорить не о чем. Что означает эта кличка, вовремя не счел нужным поинтересоваться, впрочем, вряд ли кто-нибудь это и знал.

Казахов презирали за то, что они не умели говорить по-человечески, перекрикивались гортанно через весь гастроном, харкали на пол в помещении, не занимались квалифицированной работой, если не считать штучных партийных должностей, но эти жирные неподвижные хари («баи») им тоже авторитета не прибавляли. Казахская музыка из репродуктора годилась только на то, чтобы ее передразнивать: «Один палка, два струна – вот вся музыка моя», «В ведро поварешкой колотит, байбише свою

будит».

Да нет, это я уже загнул – в центральной части нашего городка вокруг тройки двухэтажных зданий (райком, клуб, школа) обреталось уже довольно много «нормальных» казахов – то есть таких, как мы, и дети их благодаря нашей всемирной отзывчивости учились в десятилетке имени И. В. Сталина совершенно на равных. То есть мы не напоминали им об их подмоченном прошлом (хорошие пацаны в их присутствии избегали самого слова «казах»), и они также старались держаться подальше от своих цветастых старух в галошах с загнутыми носками и в бархатных чапанах, не то жилетках, позванивающих старыми, а то и нынешними советскими монетами (ловкачи срезали их бритвочками – помнится, и сам я в очереди страстно вожделел к тяжелому пятаку с двуглавым орлом).

Казахскому языку власти, изредка спохватываясь, принимались обучать нас то всех разом (и уж как мы только не изгалялись над бедными, бог весть откуда добытыми учителями), а то одних лишь казахов: их буквально приходилось запирать на ключ – каково сидеть на дополнительном уроке, когда вся братва с радостными воплями ринулась по домам! А вывески «ет – сут» (мясо – молоко) все и без уроков понимали. Или, скажем, «пионерлер уй» – дом пионеров.

Правда, на недалекой окраине серела еще и барачного обличья чисто казахская школа имени Абая – туда отдавала своих детей только окончательная беднота и темнота. Куда потом сунешься с одним казахским языком во рту – зато в «Абаях» последних уроков вовсе не проводили: учителям было не до глупостей, они и внешне мало отличались от конюхов. Боюсь, ни один абайский ученик никогда не получил даже снисходительного казахского диплома о высшем образовании. Хотя кто знает – и людская воля, и снисходительность ленинской национальной политики не знают границ. И отчасти правильно делают – иначе трудно даже прикинуть, какая масса народа была бы отлучена и от декоративной цивилизации. А декорации эти – не пустое дело: даже такие пустяки, как автобус и асфальт, кое-чего стоят.

В Акдалинске они были – и асфальт, и автобус: это держало меня в перманентной гордости, когда меня в девятом классе отправили туда к тетушке на исправление (они с мужем оба преподавали в тамошнем педе – она физику, он историю), чтобы оторвать от улицы, хотя улиц в нашем бестолково разбросанном поселке было куда меньше, чем в Акдалинске, расчерченном на множество четких кварталов.

«Нормальных», то есть обрусевших, казахов на душу

населения здесь было намного больше. И чувствовали они себя как будто поувереннее. Хотя и не доходили до дерзости алма-атинских казахов, не только не избегавших слова «казах», но прямо-таки напиравших, когда и не требуется: «кхазакх», со своим харкающим «к» с хвостиком на нижней лапке. Зато у меня был одноклассник Аскер Сатпаев, начальнический сынок, но очевидно одаренный, мрачноватый и учившийся из рук вон, обещая в будущем явить собой вершинный тип русской культуры – лишнего человека. Аскер был худым, бледно-красивым и походил на араба, как я их представлял («и стан худощавый к луке наклоняя…»). И вообще, ближе к культурным центрам, казалось мне, все гуще попадались казахи остролицые, а не луннолицые. Но это заметки дилетанта.

Хотя окраины Акдалинска (четыре пятых территории) раскидывались в основном привычными мне халупами, двухэтажных домов тоже было завались – сомнительной, правда, двухэтажности: кирпичный полуподвальный низ и рубленый верх, часто с почерневшими резными наличниками, прелесть которых я постиг не раньше, чем ощутил убожество советского классицизма строгого обкома. А прелесть старых торговых комплексов – звонкого сибирского кирпича, выложенного наивными, как детская вышивка «крестом», трогательными узорами, – я осознал, когда их почти все извели с корнем. Из года в год, иногда пропуская один-два, я приезжал в Акдалинск сначала на каникулы, а потом в отпуск, и с каждым годом город становился все гаже и гаже: где только и раздобывали столько бездарных архитекторов, возведших в высшую цель заурядность. Последний кирпичный комплекс был взорван новым типовым высотным обкомом, должно быть, приревновавшим к элеватору. Зато у его подножия проложили троллейбусную линию – высший шик урбанизма, о котором я не смел когда-то мечтать.

В последние годы начали отливать в бетоне какие-то национальные орнаменты, производившие впечатление столь же отрадное, как самодельные завитушки на могильных оградках.

А потом тетушка с мужем перебрались на покой в Подмосковье, поближе к детям, и у меня исчезли последние уважительные причины бывать в Акдалинске, да вскоре стало и не по карману. Казахская ССР превратилась в суверенную Республику Казахстан, и я уже думал, что наша с ним пятнадцатилетняя разлука растянется навечно.

И вдруг в средине девяностых мне выпал выигрышный билет на самолет компании «Эр Казахстан». Московский журнал предложил командировку – мне и в советское время такое было известно лишь понаслышке.

Домодедово – коктейль из «гуд бай» и «покедова» – показалось мне гораздо более затрющенным, гораздо более «покедова», чем после провинциальной юности. Так что же, начинать перестройку? Гораздо легче отнять у людей возможность сравнивать, товарищ Сталин был не дурак – не зря до сих пор его портреты катают на шесте. Но что там было хорошо – удалось почувствовать, что есть еще на свете Чита, Петропавловск-Камчатский и что люди туда летают не в красных и зеленых пиджаках, а в дохах и куртках на меху.

Рейс до Акдалинска задерживался на пять часов – окажусь в тамошнем аэропорту вместо восьми вечера далеко за полночь, когда уже заведомо не будет никаких автобусов (если они вообще еще ходят за десять вьюжных степных верст). Но что делать, суверенное государство должно хранить традиции: привычка – душа держав, если транспорт начнет ходить по расписанию, народ быстро разбалуется. Я досадовал лишь на свою доверчивость: надо было взять с собой статью о транссексуалах – людях, стремящихся переменить пол, – как раз было бы время забросить ее в редакцию. Статью я закончил только что, и потому мне еще казалась важной та мысль, что культ терпимости – каждый имеет право жить, как ему хочется, – все сильнее размывает в европейском мире «тоталитарные» социальные нормы: от этого людям все труднее и труднее оставаться нормальными – чему, собственно, нужно подражать, если все дозволено? Стирание границ между мужской и женской социальной ролью (вплоть до костюма) в конце концов затрудняет даже половую идентификацию: транссексуалы, вслед за самоубийцами, наиболее зримые жертвы плюрализма.

За прокручиванием этих увлекательных соображений, чтением газет, звонками в Акдалинск и детальным изучением здания с жульническими лотерейными киосками я довольно легко скоротал время. Чего нельзя отрицать в успехах реформ – это явного улучшения общепита: в буфете, хотя и при столах не слишком чистых, чай все-таки был чаем, а не полусладкими помоями, сыр не прогибался от иссохлости, а сосиска хотя и не прыскала, но все же была сосиской, а не раскисшей трехдневной утопленницей развитого социализма.

Оказалось, для Казахстана нужно проходить нормальный паспортный контроль – с пограничниками, но хотя бы без визы.

Когда нас наконец начали в течение двух часов «накапливать» в каком-то бесконечном аквариуме (за стеклянной стеной, сияя в раскаленных добела прожекторах, без устали кружил театральный снег), я вновь попал в страну детства – русские

вперемешку с казахами. «Нормальными»? Более чем – в них оказалось куда больше европейского лоска, чем в нашем брате. Стройная девушка в короткой шубке – чистая фотомодель, хоть сейчас в Париж представлять прекрасную Азию. Семейная казахская пара с нарядным живоглазым мальчуганом в комбинезончике – тихие голоса, видная супруга в норковой шубе, супруг в дубленке, в очках в золотой оправе… Наверное, это японцы потрудились, что интеллигентный азиат выглядит большим европейцем, чем любой англосакс. Помнится, один шукшинский персонаж, впервые надевший шляпу, был польщен именно тем, что стал похож на образованного китайца.

Бывший Старший Брат смотрелся сравнительно провинциально, особенно один крупный, громкоголосый бывалый товарищ в номенклатурной шапке – этот тип чаще всего попадается в гардеробе Государственной думы. «Русские рубли в Акдалинске ходят?» – спросил я его, когда он и меня начал вовлекать в разговор. «Бегают», – ответил он.

Самолет был привычный, советский, только стюардессы для загранрейса были настроены очень уж по-семейному: «Я же вам уже сказала…» На «спасибо» хранят гордое молчание – с таким достоинством трудно войти в рынок.

Я не расист – по интонациям я не мог бы отличить русских от казашек. Кажется, в «Аэрофлоте» и кормят изрядно получше. Ну, положим, у «Эр Казахстана» перебои с топливом, но от одного этого говядина не может ведь сделаться не только холодной, но еще и жилистой, как пластиковая мочалка? Но я великодушно решил считать это экзотикой. Помню, лет двадцать назад скудеющие мясные прилавки в Акдалинске были внезапно завалены мясом сайгаков (вероятно, подарившим нам айтматовскую «Плаху») – правда, получше все-таки мяса «Эр Казахстана». С привкусом, но если нашпиговать чесноком…

Для удовольствия российских патриотов добавлю, что уже в Акдале я прочел в местной газете письмо разгневанной пассажирки, которой довелось подряд ехать сначала российским, а потом казахстанским поездом, и оказалось, что в российском царит чистота, теплота, горячий чай и занавески на окнах, а в отечественном – грубость, грязь, холод и совершенно распоясавшиеся тараканы. Иногда возможность сравнения с заграницей позволяет и улучшить мнение о собственной стране.

В самолете перед каждым сидением в сетчатом кармане можно было найти рекламно-глянцевый журнал Air Kazakstán на двух языках – русский слева, казахский справа. Я прочитал правый столбец введения, повествующего о том, как после распада «Аэрофлота» было трудно юному новообразованию

конкурировать с заматеревшими соперниками, но благодаря энергии и прозорливости руководства… А вот что до страны в целом, то в журнале рекламировалась исключительно Турция. Да как – в солнечном блеске и в огнях, на божественной бумаге и в великолепном цвете – не оставалось ни малейших сомнений, что комфорт турецких отелей способен удовлетворить самый капризный вкус. Вряд ли Турция воспевалась для создания контраста – скорее для указания маяка. Но прямое отношение к казахстанским делам имело разве что интервью с Ширвиндтом.

Завершающий удар о промерзлый бетон, последние содроганья – я снова в Акдалинске, вернее, в Акдале. Забытые в сыром Питере ясные колкие звезды, сухой морозец, ледяной стоячий автобус, чуточку менее ледяной сарай – таможня. Кутающаяся в шубу русская женщина бухгалтерского обличья и мужчина-казах в геройски распахнутой дубленке. Когда-то один мой школьный приятель возмущался, что в редких казахских фильмах (как правило, прескверных) всегда играют артисты орлиной внешности, а плосколицых совсем нет, – так в это посещение они и мне попадаться почти перестали: искусство формирует реальность по своему образу.

Впервые слышу слово «тенге». У нас когда-то копейку, не то рубль, называли «тынге» – передразнивали казашонка, выпрашивающего деньги у отца, не то у матери: «Ana, быр тынге акыш». Нам ни к чему было знать, что в точности означает эта тарабарщина, – «каля-баля», изображали казахскую речь даже в нашем добродушном семействе.

Бланки таможенной декларации выдаются почему-то сразу по два и притом за деньги, то есть за тенге – уникальный случай в моих международных контактах. Правда, отдают недорого. Готовы и за рубли. А когда не хватает пары сотен, согласны даже сделать скидку. Потом один знакомый, как оказалось, работавший здесь же, в аэропорту, рассказал, как два мужика отправлялись в Калининград за иномарками, каждый с солидной пачкой зеленых, и таможенник вдруг объявил, что декларации иссякли. «Так что же нам делать?» – «А чего хотите». Однако потом намекнул, что у него где-то завалялись штуки четыре – для себя берег, японские, по сто баксов пара. Но автомобилисты вместо дела принялись качать права – так и отстали от рейса. А рейсы теперь сильно поредели, «Эр Казахстан» до Москвы летает раз в неделю. Правда, добавилась «Люфтганза». Тот же знакомец рассказал, что аэропорт распался на три суверенные части, может, поэтому небесные службы так безразличны к делам земных.

Декларация обычная, только среди оружия, наркотиков,

произведений искусства и прочих сокровищ перечисляются рога диких животных и битая птица (за битую двух небитых…). В сумку не лезут – доверяют, – и вот я на улице, то есть в черной морозной степи. Здание аэровокзала погружено в полумрак – неясно даже, удастся ли там отсидеться, если не найду машину.

– Такси надо? – вырастает черная фигура.

– У меня только рубли.

– Ничего, давай пятьдесят тысяч.

– Сейчас осмотрюсь, может меня встречают.

Несколько машин ждут кого-то, но свободных мест у всех только для своих. Одна пустая, водитель требует тот же полтинник. Водитель русский, здесь это уже начинаешь фиксировать. «Тридцать», – говорю я. «Я же порожняком сюда ехал. Ты же ночью рубли не поменяешь лучше, чем за десять!» – то есть по десять тенге за тысячу, хотя дневная норма – тринадцать. Я, блефуя, иду к следующей машине, и он зло окликает: «Ладно, садись за тридцать». Мчим во тьме среди плотных обдутых сугробов.

– Ну как тут, хорошо живется в независимом государстве? – примирительно спрашиваю я.

– Хорошо… Только те и остались, кому бежать некуда. Немцы едут в Германию, русские – у кого родня в России – в Россию…

Он высаживает меня у пятиэтажного блочного дома моего школьного приятеля, только на задворках, которые я не успел опознать, – зашевелилось опасение, что этот гад назло меня высадил у черта на рогах, а сухенький морозец припекает не по-нашему, не по-европейски. Но зря я возводил напраслину на человека – вот он, подъезд.

Мне кажется, ободранность акдалинских лестниц чем-то отличается от ободранности петербургских – известка здесь, что ли, какая-то более домашняя?

Вадим когда-то считался моим другом-соперником: на областной олимпиаде мы поделили первое и второе место сразу и по физике, и по математике. Потом мы дружно отправились поступать в Московский университет и прекрасно провели там время: я отпраздновал там свое совершеннолетие и впервые в жизни (после эмалированной кружки бормотухи) целовался с девушкой, с которой в промежутках можно было поговорить о теории относительности. Правда, еще больше мне нравилось этаже, что-нибудь, на семнадцатом внезапно появиться снаружи на подоконнике у девочек в соседней комнате. Высота меня тогда только подбадривала, особенно нравилось, что линии стены уносятся вниз друг к дружке, словно железнодорожные рельсы.

Сдали мы оба неплохо, получили по тринадцать баллов из пятнадцати – этого всегда было довольно, но тот год случился дурацкий: задачи на письменном экзамене оказались слишком легкими, и проходным баллом получились пятнадцать из пятнадцати – даже четырнадцатибалльники не все прошли. Не знаю, что напартачил Вадим, а я на радостях, что все знаю, как решать, бросил начатую задачу по геометрии – там дел оставалось на десять минут, а затем забыл, что она не окончена, и автоматом передрал с черновика. Потом на устном экзамене меня долго гоняли именно по геометрии, пытаясь выяснить, как это я мог принять шестиугольник за прямоугольник.

Наши пути могли бы и дальше пролегать параллельно, но тут сработало мое отщепенчество: Вадим чувствовал себя и в Акдалинске вполне уютно, а мне вернуться туда (с московскими оценками нас на тамошний физмат втащили бы с оркестром) – нет, лучше труд и глад, лучше солдатчина, чем прозябание в захолустье! Я отправился в Ленинград, а Вадим не рискнул: вдруг опять недоберешь, загремишь в армию…

В Акдалинском пединституте он, разумеется, сделался звездой первой величины, был рекомендован в целевую аспирантуру (на истфаке это было бы куда труднее – нацкадры выдвигались именно оттуда), защитился в Горьком, сделался доцентом (их на математике тогда было не густо), получил трехкомнатную квартиру… Он вполне мог бы работать в науке, если бы чувствовал себя менее уютно на своей малой родине. Впрочем, примерно то же могу сказать и о других моих сильных одноклассниках: они могли бы с успехом учиться в столичных вузах, но им было хорошо и в Акдалинске и его окрестностях: Караганда, Омск, Челябинск, – откуда они неизменно возвращались домой.

Дверь открылась лишь на третий, уже робеющий звонок – Вадим прикорнул над книгой несколько беспробуднее, чем предполагал. Обмениваясь душевными, но по-мужски сдержанными рукопожатиями, успели оценить друг друга. Открывшаяся из-под моей шапки картина вряд ли его порадовала, а вот на его голове черная каракулевая полусфера по-прежнему сидела как влитая – лишь отдельные колечки кое-где были тронуты морозцем. Но выглядел он уже старше Янкеля Свердлова, на коего в молодости смахивал до оторопи (при безупречно славянском происхождении). Когда доцент Пак (в Акдалинске было полно ссыльных корейцев) вручал нам олимпийские грамоты, он прочел сначала еврейскую, а потом русскую фамилию – и вручил мою грамоту Вадиму, а вадимовскую мне.

В «гостиной» все было по-прежнему, та же классика, настоящая и советская, из Общества книголюбов – правда, прибавилось много «возрожденных» русских философов.

Появилась Аня (жена) – грациозная, но немного вертлявая в узенькой цветастой пижамке, заспанная, но милая, с умненьким личиком хорошенького, но, увы, изрядно постаревшего лисенка. Немедленно принялась меня кормить – я косился в тарелки инспекторским глазом: вроде не голодают, с виду все как всегда.

Я достал бутылку:

– Питерский утешительный миф. Решили считать, что ливизовская водка – хорошая. А потому она действительно хорошая. Помнишь, в наше время лучшей водкой считался алма-атинский арак?

Но Вадим не желал упиться даже мифом – ну дела… А ведь было попито отрав – и алма-атинской, и акдалинской, и тминной, и кориандровой, которые от добавления ароматизаторов парадоксальным образом становились дешевле обычного сучка, – сандалили и в адскую жару под теплый томатный сок или под тающее мороженое на бараньем жиру, и в адский холод под корочки с оледенелых сугробов, и почему-то каждый раз не хватало, отправлялись сшибать гривенники, ловить попутку до аэропорта, где водка держалась всю ночь напролет. Как-то буфетчицы не было на месте, так Вадим зашел за прилавок, налил по стакану, потом нарезал колбасы…

Иногда, впрочем, мы предавались и культурному пьянству. У Вадима имелся ключ от подвала, где были свалены панцирные сетки от кроватей, – мы возлежали, как андерсеновская принцесса, сразу на целой позванивающей кипе, поставив между нами ржавую коптилку и обмениваясь бутылкой венгерского «Бутафок-бренди», что ли, – или «Будафок»? Гадость страшная, но на какие жертвы не пойдешь ради слова «бренди»! – и ведя увлекательную беседу обо всем на свете, но – только сейчас заметил – никогда о бабах, это, оказалось, в нашей компании и сейчас не принято. Вадим даже о собственных делах говорил заметно сдержаннее, чем о мировых вопросах, – ну что дела, у многих хуже: зарплата какая-никакая идет, сын оканчивает институт в Омске – Россия-матушка покамест принимает русских скитальцев, да еще и стипендию выплачивает, казахстанское правительство уже обеспокоено утечкой русских мозгов.

– Еще бы, – ядовито прокомментировала Аня, – Назарбаев так прямо и говорит: «Мы будем строить новую жизнь умом казахов и руками русских».

– Ты сама слышала? – В Вадиме не погиб исследователь.

– Все знают. Он по-казахски говорит совсем не то, что по-

русски.

– Если даже и то, – уточнил я, – все равно он говорит о руках, а не о мозгах.

– Для них и мозги что-то вроде рук. У них сейчас такая теория, что у казахов ум «созерцательный», «гуманитарный», а у русских – прагматический.

– Я замечал, в интеллигентных семьях тупость к точным наукам называют гуманитарными способностями. Если у них правда такая теория, значит, они приписывают нам ровно те же свойства, что мы американцам: у них, мол, деловая смекалка, а у нас душа. Все стремятся утешиться чем-то таким, чего нельзя проверить.

– Ну все-таки и нельзя сравнивать русских и казахов. Каждый народ велик тем, сколько дал великих людей.

Русские надавали, слава богу, а что казахи? На деньгах даже печатать некого, хана какого-то вытащили, аль-Фараби к себе перетащили…

– Я тебе объяснял тысячу раз: народ, как целое, может быть хранителем величайших ценностей, и это не будет выражено в индивидуальных достижениях, – Вадим говорил с подчеркнутой утомленностью, но черные глаза его зажглись опасным пламенем.

Чувствовалось, что дискуссия у них катится по наезженной колее. Я перевел разговор на более мирные рельсы. Как с уличной преступностью? Терпимо, молодежь сидит в кафе, по вечерам дискотеки – в бывших кинозалах. А в кинотеатре юного зрителя мечеть. Зато квартирных краж хватает.

А что поделывают Сера, Скворец? Сера торгует бумагой, снабжает редакции, недавно купил трехкомнатную квартиру. Скворец торгует колбасой, держит прилавок в «Целинном», тоже купил квартиру. Но это не такой уж суперуспех, хорошую квартиру в Акдале можно купить за три-четыре тысячи. Долларов, естественно. Сам Вадим как раз сейчас продает однокомнатную отцовскую квартиру и никак не может получить хотя бы две тысячи. Да еще предлагают в рассрочку. Или зерном. Тонн этак тридцать. Сельские казахи сейчас двинули в город. Только денег у них нет – а то бы цены взлетели ого-го!

А Лева Рохлин? Лева Рохлин был из породы блаженных евреев и тоже одной из физико-математических звезд скромного акдалинского небосклона. Он тоже вполне мог бы подвизаться в столичной науке, но для этого кто-то должен был посадить его в поезд, в нужном месте ссадить, проводить в университет, сдать куда надо документы, получить в общежитии белье… Разговаривая с тобой, он всегда мечтательно улыбался кому-то за твоей спиной.

Оказалось, Лева умер. Когда начались все эти дела с суверенитетом, мать увезла его в Израиль и там немедленно скончалась, он остался абсолютно один в полной беспомощности и буквально через три месяца («На какие деньги? Наверное, от квартиры что-то осталось») вернулся в Акдалу. Полгода сидел без работы, жил у сестры – шестым в двухкомнатной квартире, – а потом внезапно умер, как будто ни от чего. Он, правда, всегда был какой-то одутловато-бледный, боялся воды. Мы его даже уже и не вышучивали… Но лекции по теорфизике читал, говорят, неплохо, мечтательно улыбаясь поверх голов. Время от времени подпрыгивая.

А как вообще пединститут? Подымай выше, он уже давно университет. Алма-Ата, то есть Алматы, прислала нового ректора – настоящий южный казах, селфмейдмэн, родился в каком-то Джамбульском, пардон, Жамбыльском ауле, окончил школу-интернат, Алма-атинский университет, защитил докторскую в Москве по национально-освободительному движению, в институте истории партии – показал, как ВКП(б) еще до революции помогала разрушать Российскую империю. Был депутатом, женат на сестре жены министра, связи имеет высочайшие, в приемной акима никогда не ждет – проходит прямо…

– Аким – это тот, кто теперь сидит в обкоме, – ввернула Аня. – У нас же никакой демократизации не было, вся номенклатура по-прежнему на высоких постах, только перетусовалась немного.

– Важна не перемена личности, а перемена структуры управления. – Вадим, однако, подковался… – Возможности войти в элиту у казахов сейчас резко расширились.

– Зато сама элита понизилась…

– Зато она своя. В университете сейчас три четверти казахов: на казахском отделении все казахи и на русском половина. Очень много из села.

– У кого есть деньги.

– А деньги – орудие демократизации. Их в отличие от родовитости в принципе может приобрести каждый.

– Блат, по-моему, как-то человечнее денег, – ностальгически вздохнул я. – Личность оказывает личности услугу и благодарности ждет от нее же. А деньги готовы служить каждому, они добра не помнят…

В старое доброе время дядя рассказывал мне, что блатников на истфак поступает примерно половина, но в основном за счет липовых справок о двухлетнем стаже: детям начальства их выдавали вместе с аттестатом. Дядя при этом всегда подчеркивал,

что казахи (человек семь-восемь из пятидесяти) нисколько не уступают русским – только на физмате они послабее. Одно плохо – в аспирантуру выдвигают кого похуже.

А личный блат шел в основном через декана, напрямую к дяде частное лицо обратилось только однажды: приходи, мол, с женой ко мне на бешбармак.

Бешбармак… Нашел, чем удивить. Вот когда к дяде привел за ручку директора животноводческого комплекса сам уполномоченный областного КГБ, он повел себя уже не мальчиком, но мужем: немедленно выставил несчастному заочнику просимый зачет, особо оценив деликатность гебиста: вы не беспокойтесь, он обязательно все выучит. Восемь лет на Воркуте научили дядю уважать органы. Хорошо еще, что самое высшее начальство почти не докучало, отправляя своих отпрысков прямиком в Алма-Ату, а то и в Москву.

– Не расстраивайся, – заверила меня Аня. – Блат тоже берегут. Кто из какого жуза – это святое!

– А это, часом, не раздувают? Миф о всемогуществе блата, взяток очень уж выгоден неудачникам.

– Так сейчас вполне официально открыли платное отделение. А чтобы поступить на бесплатное, надо заплатить почти столько же, только не в рассрочку, а разом. Наша хорошая знакомая платила. Сейчас вообще идут разговоры о приватизации университета.

– Ты хочешь сказать, что если даже ты все блестяще знаешь…

– Теперь вместо экзаменов тесты, – с отстраненным объективизмом сообщил Вадим. – Одни и те же, их публикуют в «Учителе Казахстана». Требуется только пометить правильные ответы – и у нужных людей всегда помечено что надо. Это решает сразу несколько проблем – и открывает доступ малоподготовленным, и лишает возможности обжаловать: стопроцентно правильных ответов почти не бывает, а если ты набрал девяносто два процента, всегда можно сделать проходной девяносто три. У Генки Цая – он теперь, кстати, полковник по особо важным телам – начали тоже вымогать взятку. Он пришел на беседу с карманным диктофоном – правда, записалось плохо. Но достаточно хорошо, чтобы пойти с этим к ректору. Этот мудрейший человек все решил к обоюдному удовольствию. Хотя декан потом Генкиного сына все-таки прижимал.

– Этого декана даже арестовывали, в газете карикатура была: декан требует со студента холодильник. Но потом выпустили.

– Ректор специально на собрании выступал: обвинили честнейшего человека… Хотя сам на деканов покрикивает: он их хорошо кормит – иномарки каждый год меняют, двухэтажные

коттеджи, все как положено. Зато с остальными исключительно вежлив – всегда с улыбкой, за руку… Как и учил Макиавелли, не наносит малых обид. Но в делах серьезных сразу объявил: незаменимых людей не бывает (и при нынешнем уровне образования и быть не может). Раньше у нас случалось, пугали администрацию: подам заявление! Но он два-три таких заявления немедленно удовлетворил – и все, больше не заикаются. Кто посильнее, по конкурсу перебираются в Челябинск, в Омск – их заменяют казахами. Стараются только из старых преподавателей выцарапать методичку, чтоб новые по ним так и чесали. Русских теперь уже нет даже в бухгалтерии, в отделе кадров, на всех ключевых постах: казаха возьмут, а русского нет. Зато все кандидаты наук теперь профессора, а не кандидаты доценты: проголосовали – и ты профессор. Свобода – нам теперь Москва не указ!

– Это будет какая-то планета обезьян – одна имитация цивилизации, – я не мог бы и подумать, что Аню это будет до такой степени заедать.

– Возможно, на первом этапе это не так уж важно. Мы ведь тоже доходили до идиотизма: позор, он не может решить квадратное уравнение!.. А зачем его решать? – Вадим не позволял себе опуститься до обывательских эмоций.

– А зачем шлепать столько юристов и экономистов? Два факультета! Сколько их нужно Казахстану?

– На первом этапе, вероятно, достаточно вовлечь как можно больше народу в цивилизованную жизнь, в частное предпринимательство. А качество дадут уже их дети.

– Щас! Если планку снизить, их детям будет вообще уже не на кого равняться. У меня в школе очень умные в математике казахские дети есть – ну и кого они в университете увидят? Если смотреть не на уровень знаний, а на национальность…

– А если смотреть не на национальность, а на уровень знаний, они никогда не выйдут из-под русского влияния. Было бы странно, если бы они заботились не о своем народе, а о нас.

– Казахи сами проиграют, если будут хуже врачи, учителя…

– Население проиграет, а народ выиграет. Я тебе тысячу раз объяснял: население и народ – это не одно и то же. Население обновляется каждые семьдесят лет, а народ живет века, тысячелетия. И то, что идет на пользу народу, очень часто идет во вред большинству населения.

– Сел на своего любимого конька.

– Пардон, пардон, что это за птица такая – польза народа? Как это у миллионов людей, у десятков поколений может быть какая-то общая польза?

– А что такое твоя личная польза? Как это у миллионов твоих клеток – и сегодняшних, и тех, которые возникнут через двадцать лет, может быть общая польза? Польза многопараметрична. Тебе нужен и ум, и физическая сила, и сытость, и почет, и долголетие – а все в какой-то мере приходится наращивать за счет другого. Если целый день накачивать физическую силу, будет некогда учиться, если очень гнаться за сытостью всех родов, нанесешь ущерб почету… Здесь огромный простор для личного выбора – ясно только, что в крайности бросаться, все вкладывать только в одно точно нельзя. А мы в России исключительно этим и занимаемся: или накачиваем танками державу, а личность используем как сырье – или уж стараемся, хотя бы в теории, напичкать личность всеми колбасами и свободами, а целое пускай рассыпается в прах. Но я только сейчас начал понимать, насколько им дорожу.

– За державу обидно?

– Не только. Обидно и то, что Россия от нас отвернулась. Но не начинать же из-за нас войну. Да и русский народ как целое в нас немного потерял – структуру свою он и без нас сохранит. Мы – не более чем бесструктурное население.

– Скажи, – Аня азартно, хотя и не без кокетства обернулась ко мне, не найдя лучшего представителя великой России, – если бы наши войска вошли в Северный Казахстан, неужели правда началась бы новая Чечня? Казахи ведь не чеченцы! Когда чеченцы тут жили, их и русские, и казахи обходили подальше.

– Чечня-то вряд ли… Но международный шум, окончательный развал СНГ – ведь это для всех предупреждение: Россия не признает своих договоров… Да и все благородные люди в России обрушатся на правительство – ведь благородство требует во всех спорных случаях становиться на сторону противника. Если речь идет, разумеется, не о личных делах. А дела государственные – это забота начальства, нам же положено только всемерно ему пакостить – пускай повертится!

– И при демократии правительство все равно первый враг?

– Мы, как все избалованные дети, больше всего на свете ненавидим свою бонну. Но ведь вас-то в Казахстане почти что большинство, вы являетесь самой квалифицированной частью населения – вы можете если уж не провести своего президента, то как минимум составить в парламенте («не в парламенте, а в мажилисе») могучую фракц…

– Оказалось, что без государства, без принудительной организации мы ничего не можем, – Вадим констатировал это с каким-то надменным спокойствием, словно речь шла о редком достоинстве. – Казачки как будто шебуршатся, но в тридцати

верстах уже и эха не слышно. И, возможно, слава богу, что не слышно: силовое противостояние – это… Для любого общего дела нужна хоть маленькая готовность на жертвы: сходить на митинг, разнести листовки, потерять в зарплате… А если люди желают только улучшать свое материальное положение, это почти всегда надежнее делать в одиночку. Все и стараются либо пристроиться, либо уехать. Ну, скажем, мою должность сократили, а через месяц восстановили. И взяли на нее казаха. У меня есть возможность нарисовать плакат и устроить марш протеста против дискриминации. А можно сесть и подшить валенки. Что выгоднее? Если нас будет сто человек, от протеста толку не будет. А если сто тысяч – будет уже все равно, со мной они идут или без меня: в любом случае лучше подшить валенки.

– Я уже давно думаю, что человека разумного правильнее называть человеком фантазирующим: объединять людей могут только коллективные фантомы, коллективные иллюзии, а реальные интересы чаще всего разъединяют.

Эта моя мысль не показалась Вадиму слишком новой.

– Национальная солидарность фантомна только в том смысле, что она факт не материального мира, а социальной психологии, она основана на мнениях людей, на общих привычках, вкусах, исторических воспоминаниях – ну и что, что наполовину выдуманных? – их роль от этого не уменьшается. Собственно, это и есть национальная идея – огромная совокупность факторов, которая заставляет людей ощущать свою принадлежность к единому целому, приносить ради этого хоть мизерные жертвы. А без жертв, повторяю…

– Нет, это невероятно – он думает, что у шоферюги, у чабана есть какая-то идея! Да все нормальные люди думают только о куске хлеба, о детях, о футболе…

– И болеют на футболе за свою команду. И оратору с одним разрезом глаз поверят, а с другим – нет. И если, упаси бог, начнется война, своего они спрячут, а чужого выдадут. Да и мы такие же, только до нашей национальной солидарности очень трудно доскрестись: ведь русскому народу как целому ничего не угрожает. Потерять десять миллионов населения, миллион квадратных километров территории – для структуры народа это не страшно. По крайней мере, нам – вернее, вам в России – так кажется. Чтобы добраться до нашего – до вашего – национального чувства, нужна совсем уж какая-нибудь страшная угроза. Впрочем, и у нас здесь даже своего заметного лидера нет.

– Потому что все стоящие люди уже разбежались. Или пристроились.

– Не потому. А потому, что никакого лидера никто не

поддержит – ни фашиста, ни демократа, ни праведника, ни авантюриста. Помнишь, во время выборов избили одного кандидата – как его фамилия?

– Егоров. Нет, Георгиев…

– Ну вот. А если бы его имя знала каждая собака, с ним вышли бы на демонстрацию, провели предупредительную забастовку, глядишь, и он не отступил бы. Или кто-то другой на его славу польстился.

– Пожалуй, чтобы бороться за национальные интересы, действительно нужна национальная солидарность, – вынужден был признать я. – Но чтобы создавать… Создают только одиночки.

– Создают-то одиночки… Но что создает одиночек? «Евгения Онегина»-то написал, бесспорно, Пушкин, но вот попробуй создать Пушкина отдельно от тогдашней его России… Для начала, конечно, потребуется его генотип, но потом на него придется наложить хотя бы главные его впечатления: воспоминания об оскудевшей родовитости, близость к двору, соседство гусар, культ Марса, Вакха и Венеры, французскую поэзию, Арину Родионовну… Попробуй создай Арину Родионовну вне русской деревни, вне крепостного права, которое привязало бы ее к барскому дому, – в общем, чтобы воссоздать великого поэта, потребуется воссоздать всю структуру страны. Откуда бы взяться пушкинскому культу воинской чести, если бы не войны, которые вела Россия, – национальные войны, других тогда быть не могло.

– Ты хочешь сказать, что без национального разделения не было бы и Пушкина, – н-ну, пожалуй. Но это было двести лет назад.

– И чтобы сохранить его, сегодня тоже необходимо национальное разделение. Почти вся культура хранится главным образом по национальным квартирам. Если ее обобществят, результат будет примерно такой же, как при любой коллективизации. Частные дома, частная скотина – это такая отсталость, столько беспорядка, собственнических конфликтов!.. Но когда обобществишь, дома разваливаются, скот дохнет… С национальным разделением жить опасно – без него невозможно. Общечеловеческих фигур в культуре почти не существует – ну, Шекспир какой-нибудь. Да и то он англичанам ближе, мы ведь только его переводы знаем… А вот Пушкин точно не принадлежит к общечеловеческим ценностям, его по-настоящему только мы любим. Это, конечно, не значит, что в России его каждый забулдыга знает, понимает и обожает, – таких, может, во всей России не больше тысячи. Еще тысяч сто обожают его без

понимания, еще миллионов десять уважают понаслышке, но – какое бы узко прагматичное, замудоханное правительство ни оказалось в России у власти, оно никогда не решится вслух ответить этой тысяче знатоков, этим ста тысячам обожателей: да хрен с ним, с Пушкиным, разваливается Михайловское – и пусть себе разваливается, забывают школьники дядю самых честных правил – так он и есть дань, готовая земле. Любой министр, любой губернатор будет вертеться как уж на сковороде, но станет делать вид, что он исключительно ради Пушкина и стремилея в свое кресло. Ну а если бы это пушкинское лобби обратилось к какому-нибудь всемирному правительству, им бы имели полное право ответить: а почему не Ду Фу? А вы знаете, что в Республике Чад погибают народные промыслы? В мире слишком много рвани. Если все на всех поделить, исчезнут именно те островки, которые и являются надеждой для всего мира, отчасти даже кормят его. Если убрать национальные границы, Европа исчезнет, ее затопит голодная Африка, Азия…

– В Швеции в любой детской компании всегда видишь парочку мулатиков, а то и негритят. Думаешь, Швеции скоро не будет?

– Почему – я же не расист! Народ – это не население, а структура – структура управления, производства, образования, воспитания, коллективных привычек, мнений, вкусов, мифов… Само собой – язык… И неважно, какие личности – черные или белые – заполняют клеточки этих структур. Клетки твоего организма, с тех пор как мы не виделись, тоже наполовину обновились, но ты же не скажешь, что это больше уже не ты. Хотя насчет Швеции надо еще посмотреть лет через сто.

Аня поглядывала на меня с улыбкой, в которой смешивались благостная насмешка и торжество: чудак, мол, конечно, но ведь голова!

– С чем я готов согласиться… Действительно, так случилось, что вся культура и цивилизация были созданы в мире, разделенном на нации. Поэтому устранять их нужно с некоторой осторожностью.

– Не просто «так случилось» – как будто могло случиться и иначе. Человечество делает каждый новый шаг далеко не в полном своем составе, основная масса всегда прозябает в относительной дикости – очередной шаг делает какая-то группа прорыва, а остальные потом веками кое-как подтягиваются. Греция создала высочайшее искусство, философию, Рим – право, государство, которое объединило множество народов, евреи дали миру монотеизм, христианство, голландцы…

– Стоп-стоп, у меня сразу несколько вопросов: во-первых,

создали не «греки», а только наиболее одаренные из греков. И христианство создали не «евреи», а какие-то отщепенцы из евреев, а народ как целое, если пользоваться этим выражением, христианство отверг. И в-третьих, если даже прогресс осуществляют группы прорыва – нации, то что же хорошего, что Рим объединил, то есть уничтожил, множество этих групп?

– Отвечаю в обратном порядке. Дробление на племена, малые народности – или большие, но бесструктурные – не позволяло возникнуть структуре достаточно сложной и достаточно мощной для развития высокой архитектуры, техники, скульптуры, театра… В общем, для сложного разделения труда. Внутри-то этой структуры все выдающееся создавали, конечно, одиночки, но вне ее они просто не смогли бы возникнуть и реализоваться. Платон не мог бы возникнуть среди древних германцев, а Кант или Бетховен – среди греков XVIII века. Сказать, что греческое искусство создано не Грецией, а только сотней творческих личностей, все равно что сказать, что яйцо снесла не курица, а только ее матка. А в курице – в целом – намешано слишком много лишнего, противного, опасного: какие-то перья, кишки, клюв… Так все утописты и рассуждают: давайте оставим только нужное, будем питать матку трубочками, создадим современную электронную курицу – мир без эксплуататоров, мир без наций…

– Но ты же не будешь спорить, что общечеловеческие ценности выше, чем национальные?

– Я недавно обнаружил, что не знаю, что такое общечеловеческие ценности. Если это качества, присущие всем людям без исключения, то в общечеловеческие ценности попадут лень, трусость, скупость… И сегодня есть народы, у которых престижно разбойничать. А если назвать общечеловеческими любовь, скажем, к детям, к земле, это чаще всего будет любовь к *своим* детям, к *своей* земле… Невозможно все любить одинаково – поэтому всякая любовь разобщает.

– Ну, ты совсем ретроградом заделался!.. Впрочем, я тоже об этом думал: невозможно, чтобы математик и генерал, англичанин и русский любили в мире в точности одно и то же – хорошо, если они хотя бы избегнут ненависти друг к другу. Поймут, что все мы включены в единую систему, без которой никто не сохранит свою часть.

– Спокойной ночи, – откланялась Аня.

Разумеется, этот диалог – лишь попытка придать хоть какую-то стройность полуторачасовому и впоследствии много раз возобновляемому сумбуру.

– А вот есть такое мнение, – обличил я Вадима, – что никаких

народов нет – есть отдельные люди.

– Слыхали. Леса нет – есть отдельные деревья, муравейника нет – есть отдельные муравьи.

– Но если признать существование нации как целого…

– Спасибо, уважил – «если признать существование муравейника как целого»…

– …То придется признать и существование национальной вины. А я считаю, что вина бывает только личная.

– Вина бывает одна – нарушение закона. Где нет закона, не может быть и вины. Если считать, что существует международное право, то существует и национальная вина. Юридическая вина. Ведь если мы соблюдаем международные договоры, заключенные сто лет назад без нашего участия, выплачиваем государственные долги, сделанные без нашего одобрения, значит, признаем свою ответственность не только за себя, но и…

– За правительство? Но мы же от своего правительства натерпелись еще, может, и больше казахов или прибалтов…

– Это не имеет значения. Все равно никаких других органов, принимающих решения от имени целого, не бывает. Если считать, что народ не отвечает за действия правительства, он вообще никогда и ни за что не будет отвечать, сможет каждый день отрекаться от любых соглашений. Если народ заявляет: у меня было плохое правительство, поэтому я не буду выплачивать репарации за его войны, выполнять заключенные им договоры – такой народ поступает как наскандаливший мужик: я, мол, был пьян, поэтому за свои действия не отвечаю. Тем более что я сам больше всех пострадал: башку себе расшиб, избу спалил…

– А могут народы друг перед другом провиниться без участия правительства? Русские, положим, обживают какие-то земли и вытесняют оттуда местные народности, латыши помогают большевистскому перевороту, евреи… хоть вопрос и деликатный, но наш брат послужил-таки в Чека…

– Другими словами, ответственен ли народ как целое за действие одиночек? Только в том случае, когда их действия вытекают из структуры целого: или их поддерживает правительство, или они осуществляют какой-то общепринятый образ жизни, или следуют каким-то укоренившимся фольклорным, так сказать, мнениям, вкусам… Ну, скажем, в народе воспеваются разбойники, и какой-то одиночка разбойничает.

– Ну и?..

– Ну и, если евреи-чекисты ощущали себя исполнителями какой-то национальной мечты, значит, еврейский народ ответственен за их действия. Точнее, является их причиной – где

нет закона, нет и вины. Если же эти чекисты шли поперек, так сказать, фольклорной народной воли, были, как ты выражаешься, отщепенцами, тогда народ ни при чем. Ну а как там было, я не знаю.

– Похоже, они стремились как раз оторваться от своего народа, шли за каким-то общечеловеческим фантомом. Но тогда евреи не ответственны и за христианство: народ как целое его отверг.

– Возможно. Хотя бывает, что и какие-то отщепенческие течения закономерно вытекают из структуры народа. Я этот вопрос не изучал. Но вот латышские стрелки – те точно орудовали сами по себе.

– Опять эта страшная загадка – в чем же виноваты евреи…

– Я подчеркиваю… вину создает закон. Юридический закон создает юридическую вину, нравственный закон – нравственную вину. В какой мере существовали общие нравственные законы, признаваемые и русскими, и евреями, только в той мере и можно говорить о нравственной вине народов. А в тех сферах, где обе стороны не признают общего закона, не может быть и вины – может быть только причина неприятностей. Кстати, мы сами здесь начинаем превращаться в евреев. Точнее, приобретаем те самые черты, за которые осуждаем евреев: всеми гражданскими правами пользоваться хотим, а в армии служить не хотим, над местными обычаями посмеиваемся – что за музыка, всю Брусиловский написал, что за архитектура – кроме юрты и показать нечего, чуть что – ставят юрту, перед телевизором только хмыкаем: как же, будет вам процветание в 2030 году, разве *в этой стране* что-нибудь может… Все непременно нужно полить скепсисом – какую-нибудь победу над джунгарами, День независимости: пьяная шпана пошвыряла в милицию ледышками…

– Это да, рационального анализа не выдерживают никакие святыни.

Но для меня было новостью, что «ледовое побоище» по случаю назначения Колбина вместо Кунаева превратилось в День независимости.

– Последний вопрос: ты согласен, что национализм – это фашизм?

– Национализм стремится к международному преобладанию по самым разным параметрам, фашизм только по одному – силовому. Фашизм стремится уничтожить сложную структуру прежде всего внутри собственного народа – «навести порядок». А если ты желаешь, чтобы российские автомобили были лучшие в мире – или математики, ты еще не фашист.

– А если я желаю, чтобы российская армия была самая сильная в мире?

– Смотря для чего. Если твоя армия уменьшает в мире роль физической силы, тебя вряд ли можно назвать фашистом.

Пора было наконец успокоиться на чем-нибудь близком, земном, а то, переболтавши, и вовсе не уснешь.

– Ты по науке полставки получал – ваш НИС жив еще?

НИС – для профанов – это научно-исследовательский сектор.

– Не разгоняют пока. Программисты имеют кое-какие заказы, морим крыс, тараканов экологически (и этически) чистым способом – кое-кто верит: ну как же, лаборатория! В университете! Фильтры для воды продаем – с наценкой на наш фирменный знак. Телефоны продаем с автоматическим определителем номера – ну, что у наших научных партнеров теперь есть, все и продаем. Люстры Чижевского…

– А это еще что?

– Специальные люстры, что-то ионизируют… лучше тебе не знать. А то я солидный вид не сумею сохранить. Иногда нас в какой-нибудь банк вызывают: что-то у кого-то здоровье ухудшилось. Нет, говорим, такого быть не должно – а вы пыль вытираете? Ну так чего же вы хотите! А то еще вызывают: смотрите, у нас от вашей люстры потолок потрескался. Ну, значит, работает, – внушительный вид у Вадима неплохо стал получаться.

Когда-то у них в НИСе крутился кристалл в насыщенной жидкости – для лазеров, для инфракрасной оптики, – Сергей по ним и защищался, хотя моя тетя ворчала, что в педагогическом институте лаборатория должна готовить будущих учителей, а не маяться научной дурью.

В отведенной мне комнате на письменном столе валялось несколько рекламных афишек в ростопчинском вкусе:

> Сделай подарок к Новому году —
> Подари себе и близким чистую воду.

Я вышел на улицу (по-прежнему Ленина) с ностальгическим предвкушением, и действительно по щеке моей немедленно скатилась слеза: ударило минус тридцать пять с сухим злющим ветерком. Забытое ощущение: с мороза принесли седой топор и прижали тебе к лицу. Инспекционная прогулка сменилась пританцовывающей рысью с попеременным растиранием то одной, то другой щеки. Народ был одет вполне прилично, правда, в сильно китайском духе (в китайском ширпотребе), но порядочно народу вышагивало в дубленках, женщины – в шубах,

и казахи ни по одному показателю не уступали русским. Хотя, признаться, мороз никому интеллигентности не прибавляет. Несгибаемые ларечники вовсю торговали всемирной дребеденью, и даже еще более несгибаемые мороженщики и мороженщицы приплясывали через каждые сто метров. У гастрономов топтались тетки над мороженными пельменями, на лотках гремела здоровенная мороженая рыба. Все продавцы были вежливы и даже задушевны. Казашек – по контрасту с воспоминаниями детства – это делало особенно обаятельными: как же я раньше не замечал, до чего это красивый народ? Обменять рубли можно на каждом шагу – хочешь в тенге, хочешь в доллары, хочешь в дойчмарки. На тенгах – Чокан Валиханов, Абай, аль-Фараби в чалме.

Всюду слышится писк бензопил: из прозрачных ледяных блоков, подмачивая, возводят арки и целые павильоны – готовятся к Новому году. Обком – акимат и областной маслихат, продувная площадь звенит от мороза, но – напротив акимата притоптывает валенками русский парнишка-шашлычник. Я бы отведал, но больше полуминуты мне здесь не выстоять.

Ленин тоже стойко шагает к акимату, которому, собственно, он и подарил независимость. Впрочем, улиц Куйбышева, Дзержинского тоже не тронули – опустили почему-то одного только Калинина, покрыв его Алтынсариным. Зато Социалистическую окрестили именем расстрелянного в 37-м секретаря обкома, при котором и состоялся страшный голод начала 30-х – неизменный и абсолютно обоснованный козырь антироссийской пропаганды. Но принцип «Главное – наш» восторжествовал над поверхностным антисоциалистическим началом.

В главном – при мне еще единственном – здании пединститута (пардон, университета) и в самом деле почти одни казахские лица – юные, умные, красивые… Неприятно вспоминать, сколько среди них блатников или «платников» (в сфере духа деньги вроде бы ничего не должны решать), но… Люди, готовые платить за образование, все же не худшая часть общества. Если не желать чего-то заоблачного.

Доска вдохновления – схематичные портреты выдающихся теоретиков права: Перикл, Платон, Юстиниан, Макиавелли, Гоббс, Казыкбек би, Айтеке би, Бахытжан Каратаев, А. Ф. Кони, Абай, представленный изречением: «Злодеяние бесчеловечно. Тот, кто все время норовит сделать людям зло, теряет свою человеческую сущность и превращается в зверя». Я постарался подавить в себе еврейскую иронию. А как еще можно включить казахские авторитеты в общемировую систему?

Рядом с юридическими тузами сияла отличными цветными

фотографиями – хоть на выставку «Интерпрессфото» – обширная мозаика, посвященная шестидесятилетию ректора Казыгельдина, академика НАН (Национальной академии наук – я уже успел заметить, что и КГБ успел превратиться в КНБ) и почетного гражданина штата Пенсильвания: на первых пяти фотографиях было запечатлено в разных ракурсах рукопожатие Казыгельдина с губернатором Пенсильвании. И казах, и англосакс – оба были достойны представлять свой народ. Казыгельдин принадлежал к круглолицему типу, но лицо его выражало твердую волю и мягкое достоинство заслуженного успеха. Вот Казыгельдин осматривает библиотеку Кембриджского университета – с прямыми международными связями стало явно полегче. А вот он присутствует на состязаниях на приз Казыгельдина по борьбе казакша-куреш – так, по крайней мере, ее называли, когда мне доводилось в ней участвовать: полагалось держать противника за пояс. Вот Казыгельдин в окружении восхищенных коллег и озабоченных представителей прессы перерезает ленточку в «Казыгельдин-фонд» – это что еще за учреждение? А вот основатель фонда в майке (пышные белые плечи, ноги калачиком, рядом красивая казашка в национальном платье) сидит с хорошеньким внуком на руках на огромном ковре в огромной пустой комнате – совсем такой же, как мы, только взгляд чуть мудрее и тверже.

Я заглянул в ректорат в надежде хоть краешком глаза взглянуть на этого великого человека, но увидел лишь одного из проректоров с секретаршей – оба чрезвычайно любезные: ни тени неотесанности или байства, кажется, с этим пережитком прошлого действительно покончено, по крайней мере, в качестве идеала. И оба красивые – в этом отношении перемены тоже, вероятно, необратимые.

На базаре – здесь его никогда не называли рынком – закованная в валенки и полушубки интернациональная торговая публика теснилась за прилавками с пестрым импортом, совершенно одинаковым от Москвы до самых до окраин. Почему-то бьют в глаза разноцветные пластмассовые снаряды всевозможных химических лимонадов. Но в крытом рынке уже полно отличного мяса, лука, чеснока, и по божеской цене, то есть примерно как у нас. Мед, сметана, творог, подсолнечное масло, развалы винограда, хурмы из Узбекистана, и тоже, в общем, доступной – прежде тут такого не водилось, разве что для знати. Ну а бананов, которых сейчас целые когтистые горы, – тех, я думаю, и первый секретарь здесь не видел.

Чистенькие приветливые и очень разумные кореянки

убеждают купить в прозрачных пакетиках всякие маринованные закуски: струганная картошка-спагетти, рис, проросший белыми плетьми, лохмотья грибов, мертвенная спаржа, рубленая щука, попахивающая тиной, – я набиваю тугими мешочками карманы, готовясь к вечеринке у бизнесмена Сереги.

В инспекционных целях я взял в буфете порцию мантов в невесомой одноразовой тарелочке. Вопреки былым обычаям, не ощущалось никакой вони, и мясо не было вытеснено жеваным хлебом – только стол был заляпан, как при старых господах. Гнутых сальных вилок из дюраля тоже не осталось, их заменили белые одноразовые.

В случайном магазинчике без всякой очереди и хамства набираю копченых и полукопченых колбас, ветчины двух сортов, сыра – все вполне приличного качества. Масло тоже похоже на масло. Любопытства ради прихватываю бутылку казахстанского шампанского (недурной сидр) и разбавленного китайского пива «синцзян» с дрожжевой отрыжкой. Из ностальгических чувств беру кислого молока с вечно просившимся в бесхитростный каламбур именем «катык» (совсем жидкий), из чувств исследовательских – акдалинский водянистый йогурт в фирменной пластмассовой баночке. Рекомендованных мне акдалинских конфет не оказалось: застрял на границе вагон с бобами.

Перед моим отъездом в Акдалу дядя по телефону попросил передать самый пламенный привет Марии Игнатьевне – они дружили домами. Мария Игнатьевна с мужем переехали в Акдалинск уже на покой из совхоза «Московский», едва ли не самого передового на всю область. А «Московский» они построили сами, мобилизованные волей роковой Никиты Сергеевича Хрущева: муж работал в Министерстве сельского хозяйства, отказаться не мог – пришлось и ей, как жене декабриста, оставить научный институт и в голой степи строить школу, чтобы сделаться ее директором. Покойного мужа ее я хорошо помнил – ужасно славный был толстяк. Не дурак выпить в хорошей компании, пошутить, спеть, он принадлежал к не слишком почитаемому в героической России человеческому типу, энергичному и находчивому не в борьбе за права, а в работе – странно было видеть на его парадном пиджаке сверкающую мозаику боевых орденов и медалей: наверное, война и в самом деле только трудная работа, если такой мирный из мирных мужик мог там дослужиться от студента-ополченца до подполковника, правда, саперного.

На целине он тоже вышел из агрономов в директора, получил

еще пару-тройку орденов, уже на пенсии получив квартиру в Акдалинске, был постоянно зван во всякие юбилейные президиумы и, умирая, был убежден, что оставляемого им почета и восьми тысяч на сберкнижке достанет его жене окончить жизнь в покое и достатке. И это было похоже на правду: на его похороны из «Московского» добровольно приехало два автобуса народа (он уж больше десяти лет там не работал), понавезшего всякой снеди на поминки.

В свои семьдесят девять Мария Игнатьевна вполне сохранила особое обаяние интеллигентной столичной дамы, умеющей и подоить корову, и окучить картошку, и нащепать лучины для растопки. Как ни хрупко было ее материальное положение, от угощения пришлось отбиваться (готовила она классно, это я тоже запомнил). Квартплата у нее две тысячи тенге, а пенсия – две девятьсот. Но и ту задерживают. Всех пенсионеров занумеровали и, словно о мобилизации, объявляют по радио, до каких номеров дошла очередь. Но все равно давка. Многие из близлежащих районов, где положение еще хуже, любыми способами стараются прописаться в Акдале – хоть в общежитии, но поближе к кассе.

Сын по-прежнему работает врачом. Был главным, теперь поставили казаха. Со всеми приработками набирается тысяч десять – по нынешним временам терпимо. В больницу люди приходят со своими бинтами, лекарствами, бельем. Недавно в Алма-Ате (Алматы Мария Игнатьевна игнорирует не то из принципа, не то по привычке) был съезд врачей – сидели серьезные люди, практики, научные работники, – и перед ними выступила жена президента с докладом, как нужно голодать и холодать по системе голодаря и холодаря Иванова. И после этого все доктора и академики говорили уже не о медицинских проблемах, а о пользе холода и голода. До сих пор, когда привозят тяжелого пациента, в больнице пошучивают: может, его в прорубь опустить? Срочные операции все же делают бесплатно, а плановые – за деньги, две-три зарплаты. Весь инструмент износился, скальпели по второму разу хромируют – как раз на том заводе, где работает невестка Марии Игнатьевны.

На заводе из трех тысяч человек осталось шестьсот, здания посдавали под склады, под какие-то полукустарные производства: и связи распались, и дизели их устарели, и вообще овес нынче дорог – два года вообще не получали зарплаты, сидели в пальто при отключенном за неуплату отоплении, все на что-то надеялись. И наконец очередной директор, немец из местных, сумел поднять один цех (или одну линию – поршневую, что ли). Плату с бывших совхозов и нынешних акционерных обществ получают в основном натурой – зерно, мясо, птица, так что на

работе кормят от пуза, и домой все уходят с кошелками (тут я понял, почему на кухне оказался полиэтиленовый мешок с десятком булочек). А зарплату платят на двадцать процентов, остальное переводят на счет – когда его распечатают и распечатают ли вообще – бог весть. Но хотя бы сыты. Когда в Алма-Ате надумали переводить поршневую в Джамбул, рабочие заточили пики и дежурили у цеха круглые сутки. Из столицы приезжали уговаривать, сулили деньги – нет, ни в какую.

Если называть демократией страх правительства перед населением, то демократия в Казахстане сделала несомненные успехи.

Русских с наиболее привлекательных мест выдавливают по обычной схеме: отдел сокращают, а через месяц набирают новых людей. А в отделе кадров сидит казашка. Внук весной окончил университет, юрфак, получил бакалавра – знания, конечно, не очень, хоть и платили по тысяче долларов в год, из кожи лезли, но ведь и у других не лучше – и полгода не мог никуда устроиться. Уже и через знакомых узнавали: нужен такой специалист. Но как посмотрят на него – сразу «не нужно». Да еще в армии не служил – не надо нам таких. Он и сам, впрочем, говорит: там же одни казахи, как я там буду работать, всегда буду последним человеком. Совсем недавно устроился в частную фирму на пять тысяч в месяц, занимается оформлением договоров.

– А в России сейчас есть антисемитизм? – По вполне понятной ассоциации поинтересовалась Мария Игнатьевна с вполне понятной осторожностью (русским почти всегда кажется, что евреи преувеличивают значение этого вопроса, а евреи с горечью ощущают, что полного понимания не встретишь даже среди самых милых людей, если дело их лично не касается) и вполне понятной надеждой услышать о чем-то приятном для своих добрых знакомых, а также снять с себя толику национальной вины.

– Государственного нет. До такой степени нет, что это уже стимулирует антисемитизм бытовой – столько на высоких постах оказалось инородческих фамилий.

– Говорят, что сейчас больше не любят кавказцев?

– Кавказцы – враг временный, вроде соседа по коммуналке: разъедетесь – и через неделю забудете. Как сказал бы один мой знакомый мыслитель, кавказский торговец раздражает население, но не опасен для народа, а еврейский интеллигент полезен для населения, но опасен для народа. Для народа как целого. Хотя повышая экономический потенциал или обороноспособность, еврей служит и державе.

– Что-то очень сложно…

– Еврей в России, как, похоже, сегодня и русский в Казахстане, чаще всего не государственник, не националист – их обычно называют либералами. Впрочем, есть и евреи, считающие себя аристократами по рождению, но это аристократия вырождающаяся, либералов намного больше. А либерал главным в человеке считает его личные качества. И этим подрывает единство в решении общенациональных задач. Поэтому для тех, кто желает сплотить народ в единое целое, либерал всегда будет более серьезной опасностью, чем даже открытый враг с оружием в руках: тот не покушается на структуру целого.

– Это у вас в России теперь так рассуждают?

– Нет. У нас в России о национальных проблемах рассуждают такие господа и товарищи, что… Они подают их в таком коктейле лжи, зависти, невежества, злобы, реваншизма, что на этом месте еще тридцать лет ничего не будет расти. Они добились того, что слово «национальное» и выговорить неприлично – полагается зажать уши и твердить зажмурясь: общечеловеческие ценности, общечеловеческие ценности, общечеловеческие ценности… Или личность, личность, личность… Ладно, давайте о чем-нибудь менее взрывоопасном: какие-нибудь заводы все-таки работают?

Нормально работает только кондитерская фабрика – совместно с немцами, на новом оборудовании, даже упаковки красивые, как иностранные. Мясокомбинат пока тоже работает. Химический завод все цеха распродал под малые предприятия. Камвольный комбинат тоже – кто-то шкуры обрабатывает, кто-то еще что-то. Ремонтный завод что-то еще мастерит для совхозов, но те и сами постоянно без света сидят, животноводческие комплексы, рассчитанные на доильные аппараты, вымирают, скот забивают на мясо, целые районы пустеют, стоят брошенные села. Казахов ввозят из Монголии, те поживут и едут обратно.

Зато Акмолу отстроили! Если бы не эта показуха, могли бы с половиной долгов расплатиться, сейчас в районы ходит по одному автобусу в день, с некоторыми пунктами вообще нет связи, пенсионный возраст хотят повысить до шестидесяти трех лет. А правительственный аппарат со всей челядью переезжает в европейские квартиры.

– Почему бы им с палаток не начать, если они такие патриоты? Как мы в пятьдесят пятом…

Что больше всего задевает Марию Игнатьевну – не материальные лишения: такое ли переживали! – мучает ее неблагодарность. Когда они поднимали целину, казахам насильно развозили квашеную капусту: у всех был авитаминоз, трахома, туберкулез…

– Мы их научили мыться, туалетом пользоваться, а теперь все забыто: мы все сами! Женщины теперь такие холеные, в манто… И слава богу, но надо помнить, кто эти дороги проложил, кто эти дома выстроил, воду провел. Нет, пожилые люди русским еще сочувствуют, а молодежь – что вы, они сами с усами! Если о целине что-то услышишь, то обязательно про экологический ущерб – но ведь хорошее тоже надо помнить?

– Хорошее вы делали для населения, а не для народа. Хотя и вообще неясно, имеется ли в структуре хоть какого-то народа орган для благодарности. Или там все предназначено только для собственного утверждения.

– У нас одно окошко в мир осталось – российское телевидение. И то урезанное до последнего. Даже ОРТ теперь передают через Алма-Ату. Чтобы не пропустить, если что-то будет не по шерсти. Рассказывают, что во время визита Назарбаева Жириновский дал ему пощечину, так теперь цензура следит день и ночь, чтобы эту сцену перехватить, – Мария Игнатьевна горько улыбнулась. – А казахское телевидение – только как у нас все хорошо и какой у нас мудрый президент, все предусмотрел до 2030 года. Вот вам и демократия по-казахски. У вас ведь президента критикуют?

– У нас только один президент за что-то и отвечает. Вернее, за все. Сегодняшнюю сводку погоды в России передали бы так: градусники показывают минус шестьдесят, у людей сжимаются кулаки, скоро и русскому долготерпению придет конец – а президент играет в теннис!

– У нас все иначе: градусники показывают минус двенадцать, это на три градуса теплее, чем в аналогичном квартале прошлого года, – мудрая политика президента приносит свои плоды. Не знаю – мне кажется, власть не должна так сильно над людьми возноситься.

– Но и валяться у них в ногах тоже не должна. Люди тоже должны понимать, что дело власти заботиться не о тебе лично, а об общественном целом, как его, это целое, ни понимать. В эпохи перемен, когда все готовы друг друга передушить – не обязательно физически, можно ценами, налогами, – в такие эпохи только сильная власть может заставить богатые отрасли, регионы поделиться с бедными. Да и бедных поставить на место. Власть может быть мягкой в двух случаях: или уже воцарилась полная гармония, все довольны друг другом, или она не выполняет своих обязанностей.

Если бы десять лет назад кто-то сказал мне, что я когда-нибудь буду всерьез размышлять о проблемах власти… Пусть власть сама беспокоится о своих проблемах, а мое дело по мере

сил и храбрости над ней глумиться. И, разумеется, ни за что не отвечать. В ту пору при всех слабостях я еще все-таки напоминал истинного интеллигента, считающего главным своим делом – быть совестью. Только не своей, а чужой. А еще лучше – общегосударственной. Но сегодня меня уже не прельщает служба по раздутому министерству праведности – меня гораздо сильнее заботит не чистота моего морального облика, а что в реальности будет со страной через десять, двадцать, пятьдесят лет. И когда я всерьез задумываюсь о последствиях каждого государственного решения и вижу, что все они потенциально жестоки и опасны, я уже не чувствую в себе сил с презрением отнестись даже к такому заведомо греховному институту, как правительство.

Аня кормила уличными пельменями заглянувшего в гости отца – так и не померкшую звезду местной журналистики: его резкие статьи (на грани дозволенного) частенько перепечатывала и центральная пресса, а еще более резкие реплики вслух (уже и за гранью) не раз навлекали на него неприятности, придавая его славе особую пикантность. Крупный мужик, в молодости служивший матросом, он, несмотря на седину, сохранял в ухватках что-то от добродушного могучего парня-увальня. Мне всегда нравилось сочетание простонародности и интеллигентности в его облике, однако он и сейчас раскланялся со мной не без некоторой настороженности: не то ему казалось (совершенно ошибочно), что мне в жизни все слишком легко дается, не то он подозревал меня в тайном высокомерии – тоже напрасно, и все же… Гармония недосягаема.

Пельмени были настоящие – тугие, с соком: меня, едока пельменей в четвертом поколении, глубоко возмущает та мешанина из клочьев раскатанного теста и сухих фрикаделек, которую в обеих столицах смеют называть пельменями. А тут прямо на улице, гремучие, как галька…

Пользуясь отсутствием Вадима с его охлаждающим научным объективизмом, Аня спешила наябедничать побольше.

Скоро вступит в силу закон о государственном языке, а русские дети учить казахский язык не хотят. Но и казахские преподаватели совсем не стараются, даже директор на педсовете сказал: вы как будто хотите вызвать неприязнь к своему языку! Они совсем не привыкли к ответственности… По истории Казахстан подается как жертва колониальной политики, постоянно возвращаются к геноциду тридцатых годов, но учителя пока что позволяют себе говорить, что не все так однозначно, Россия несла и культуру, и цивилизацию. Но все это можно, пока нет учебников. По литературе заставляют изучать творчество

писательских нацкадров – это новая «Мать» и «Молодая гвардия». В селах тысячи детей не ходят в школу, а раньше за одного голову снимали. В одном селе девушка не могла учиться и покончила с собой – должна была содержать всю семью и все равно не вытягивала. И в день ее похорон процессия столкнулась с новым «мерседесом» акима: как раз ехал из Акдалы показать народу светлое будущее.

Пельмени сделались совершенно безвкусными. Вяло дожевывая, я кисло возразил, что когда мой дядя ездил по аулам с инспекторской проверкой, так в школах не только посещаемость была более чем условная, но и сами школы открывались уроку эдак к третьему: «Еще рано, директор еще магазин не ходила».

– Но тогда хоть показухи какой-то требовали!

– Скажи, пожалуйста, что такое «Казыгельдин-фонд»?

– Это как бы научная организация с коммерческими льготами: десять человек изучают борьбу с русской колонизацией, а остальные торгуют зерном, гээсэм…

– Что-что?..

– Гээсэм – это горюче-смазочные материалы.

– Ты, однако, тоже набралась… А чем вообще население кормится?

– Кто может, торгует, челночничает…

– Но продавать можно только тем, у кого есть деньги – откуда они у тех, кто не торгует? Что область вообще производит?

– Зерно. В Снегиревско-Арайском карьере очень даже неплохо живут, руду поездами гонят. Недавно им хотели казаха поставить – устроили забастовку: нам и с этим директором хорошо – отстали. Что еще? Электричество, наверное, Сарыкамышская ГЭС… Но в основном, наверное, зерно.

Все это время ее отец приглядывался ко мне, словно взвешивая, достоин ли я серьезного разговора, и, наконец, хмурясь, сообщил, что производство зерна обходится дороже его рыночной цены, долги хозяйств растут. Правда, есть несколько крепких бывших совхозов, а те, что разделились, теперь приходится собирать обратно: если при дележе досталось двадцать пять га плюс колесо от трактора К-700… Буквально хотят возродить институт помещиков – кто возглавил бы новые кооперативы. А приезжает президент – все как попки: все хорошо, все хорошо… Хотя сами только что… Газеты на русском языке имеют тираж в десять раз больше казахских, раньше их вообще клали стопками на предприятиях бесплатно – и все равно никто не брал, так и лежали. Да что газеты – если уж уцененный Шекспир на казахском лежал по двадцать копеек… А теперь требуют, чтобы половину материала в русской газете тоже

печатали на казахском – тогда придется закрывать газету.

Я поинтересовался давним дядиным студентом, который теперь какая-то шишка в администрации акима.

– У таких всегда все хорошо. Поет по-казахски… Недавно на областное совещание опоздал, так согнулся, как червяк, прямо прополз в первый ряд… Ну опоздал ты, так сядь сзади!.. Но нет, надо же засвидетельствовать почтение, в глаза заглянуть…

Я с удивлением подумал, что этим любимчикам судьбы – здоровым мужикам – в каком-то смысле труднее жить: им более неудобно сгибаться.

Отношения столицы с провинцией напоминают отношения двух соседствующих культур – одна блестящая и влиятельная, другая малозаметная, но гордая (утрачивая гордость, культура перестает быть культурой – экзистенциальной защитой): наиболее патриотические представители слабой культуры, желая удержать при ней одаренную молодежь, стремятся изолировать ее от соблазнов – и стыдом, и гордостью, и материальными границами. Когда соперничающие культуры – национальные, сделать это намного проще: можно опереться и на красивые лозунги, и на кое-какие международные принципы. А вот когда патриотический барьер не национальный, а только региональный… Словом, хорошо, что не всем молодым людям тесна их малая родина – иначе высосанная столицей провинция осталась бы совсем без элиты.

Мои школьные приятели все вышли в люди: Вадим – первый математик, Сера – завлаб, производитель спецкристаллов для солидных КБ, Генка – полковник по особо важным делам, Леха (Скворец) – главный инженер химического завода… К сожалению, он не сумел выбраться на нашу вечеринку, но мы все равно отлично посидели.

Как они вписались в новую действительность? Когда перестали платить за кристаллы (пали и сами отрасли, для которых они предназначались), Сера начал приторговывать телефонами с автоматическим определителем номера – аппараты ему поставляли ровно те же самые екатеринбургские коллеги, с которыми он сотрудничал по кристаллической части. Как-то он расторговался очень удачно – на руках у него на целый месяц оказались чужие пятьдесят тысяч (зарплата за десять лет). Пара бойких мэнээсов из его же лаборатории, сделавшиеся его торговыми агентами, взялись прокрутить эти бабки через Москву: в Лужниках джинсы были чуть ли не вдвое дешевле, чем в Акдале.

Джинсы оказались несколько дороже, нежели

предполагалось, зато подвернулся солидный мужик, который только что пригнал из Турции целый фургон и теперь распродавал джинсы мелким оптом даже несколько дешевле, нежели планировалось. Оборотистые научные работники со своими гигантскими сумками отправились с ним куда-то на Кольцо. Неподалеку от подъезда турецкий оптовик попросил их подождать – чтобы перед соседями лишний раз не маячить: «Вы же знаете наш народ». Серегины подчиненные замешкались, не решаясь передать незнакомому, в сущности, человеку столь серьезную сумму, но тут подоспели другие покупатели, которые принялись скандалить, что они сговорились раньше. Влезши без очереди, нахалы всучили продавцу деньги и пустые сумки, через десять минут получили сумки обратно с аккуратными стопками новеньких джинсов, пересчитали и удалились. Спровадивши наглецов, акдалинцы тоже отдали деньги вместе с пустыми сумками и только через два часа наконец уверились, что ждать дальше бесполезно.

Пришлось всей лабораторией обирать знакомых, уже напрямую добывать в той же Москве испытанные телефоны, а когда долг был выплачен, подвернулась новая удача: в налоговую инспекцию понадобились десять компьютеров (информацию передал агент влияния, завербованный своим мужем – сотрудником Серегиной лаборатории). Екатеринбургские умельцы сумели и это, налоговая инспекция явила пример своевременной и точной уплаты – и тут из-за грянувшей денежной реформы были запрещены переводы в Россию. Кто-то сообразил делать это через зарубежные банки и, заработав 200 000$, свалил в неизвестном направлении, дабы не искушать рэкетиров. Другой финансовый гений предложил Сереге перевести деньги через дыру в финансовой границе – легендарный Байконур (екатеринбургские сэнээсы сами брали компьютеры в кредит и звонили Сереге по пять раз в день). Однако Серега завозился с платежкой, и байконурская партия ушла без него – и без следа растаяла в космосе. Тогда-то Серега в отчаянии и выщупал эту нишу – бумага! Он удачно толкнул акдалинским редакциям два вагона и покрыл все долги. Так с тех пор он и кормится бумагой, купил квартиру с видом на бескрайнюю пойму, отделал ее обоями «под дерево» – не отличить от настоящего: с сучками, с занозами… Не поймите меня слишком буквально: отличная квартира, только забыли поставить унитаз. Но это дело поправимое.

В этой квартире мы и предавались воспоминаниям под аппетитную закуску и элегантную выпивку: прославленная арайская водка и какое-то суперфранцузское вино, утопающее в

медалях, – цветная водичка с разболтанной эссенцией. Рынок все поставил на свои места!

Генка внешне переменился меньше всех, но – раньше он был очень смешливый, а теперь, можно сказать, посуровел. Губы разжимает в минимально необходимом объеме, изъясняется таким примерно языком: «брызги мозгового вещества», «кольцо желтого металла», «субъект кражи». У следователей есть популярный прием – чередование «злого» и «доброго» – так Генку всегда использовали в качестве «пряника». Если таковы там «пряники», каковы же «кнуты»? Но постепенно и Генка расслабился – я наконец начал в нем узнавать прежнего симпатягу: лучшего «пряника» и пожелать невозможно.

Он в своем департаменте второе лицо, а первым ему не бывать: здесь тоже не расисты сидят, им что кореец, что русский. Тем не менее его пытались перетянуть аж в КНБ – умение работать все-таки кой-чего стоит. Генка (это я уже стороной узнал) известен еще и неподкупностью. Однако брать самому и смотреть в сторону, когда берут другие, – вещи очень разные. Люди друг с другом, низ с верхом здесь крепко связаны и повязаны. Сейчас он занимается громким делом: в загородном ресторанчике у переезда через Убаган был застрелен из автомата вместе с шестью (!) шестерками уголовный авторитет краевого значения, пировавший с начальником следственной части района.

– Но самому тебе предлагают? – допытывался я.

– Бывает.

– Ну и как, трудно устоять?

– Иногда приходят в голову мысли исправить свое материальное положение. Но как приходят, так и уходят.

– А угрожают?

– Бывает.

– Ну и что ты делаешь?

– Ничего не делаю. Живу.

– И много вас таких?

– Есть. Но надо учесть и социальные корни. Постовые милиционеры, вот те самые, кто нас охраняет, по полгода не получают зарплату – значит мы должны закрывать глаза на то, что они щиплют ларечников.

– А какие новые преступления ты чаще всего видишь?

– Директора совхозов пищат, их обкладывают данью. Поставят во время уборочной запчасти, гээсэм под будущее зерно, а потом не разрешат продавать, гноят на элеваторе – выжидают цены.

Когда мы, дружно потирая щеки, возвращались по ночной Акдале, Генка со значением указал на бывший обком: все уходит сюда. Мы с почтением оглядели темную дылду с новым гербом.

Не изменяй теченья дел: привычка – душа держав. Может

быть, на этом самом месте начальник здешнего ОБХСС, как все в Акдале, бывший дядин студент, так же значительно показывал ему на это же самое здание: «Все уходит сюда».

Витька жил в одном доме с моей тетей – типичном доме старого Акдалинска: рубленый верх и кирпичный низ – между примерно такими же домами, в одном из которых располагалась милиция, а в другом вытрезвитель. Потом все три дома снесли и выстроили новое, идеально безликое двухэтажное здание УВД со всеми службами разом. Тетушка с дядей переехали в новую пятиэтажку, а Витька остался служить в милиции. И дослужился до майора. Выше не пошел – «отказался обрезаться». Зато облысел дочиста. Работу выполнял малоприятную – то он участковый, то ответственный за «химиков», особых подвигов не совершил, но и особой благодарности не требовал: пенсию выслужил, и слава богу. А любить он по-прежнему любил рыбную ловлю, и чем дальше от социума, тем лучше клевало. Поэтому ему что Россия, что Казахстан – один хрен. Но он опасается, что его пенсионные тенге в количестве восьми тысяч вдруг возьмут и перестанут платить: пошлют договор с Россией туда же, куда и весь Союз, – и чего будешь делать?

Г. Померанц где-то писал, что в современном мире совсем уж невозможно разделить «войну» и «мир» – историю и частную жизнь: самые внеисторические, так сказать, люди начинают рассуждать о вопросах исторического масштаба. В этом одна из серьезнейших опасностей переломных эпох: люди, впервые об этом задумавшиеся, выносят приговоры в таких вопросах, в которых никогда еще не сходились искушеннейшие профессионалы, и вносят туда модели, выработанные в бытовых столкновениях: «Чечня началась из-за того, что у Черномырдина там был бизнес». Витька молодец хотя бы уже за то, что не ищет за своими неприятностями злого умысла кучки заговорщиков.

– Чего меня бесит – на самых крупных деньгах, начиная с пятисот тенге, везде аль-Фараби! Своих бабаев было не набрать! Он родился в Чимкенте или Джамбуле – значит ихний! Жалко, что Хрущев не доделал: он Крым отдал хохлам, а северный Казахстан собирался отдать русским – и был бы порядок. А теперь собираются по нескольку областей объединить в округа – аймаки. Если у нашего акима… аким – он же, засранец, парторгом совхоза был!., если у него денег не хватит откупиться, нас отнесут или к Петропавловску или к Актюбинску – будем сидеть и без электричества, и совсем без зарплаты.

Речь идет о зарплате жены – она в паспортном столе уже полгода (какая-то мировая константа) ничего не получает – «а

казашки рядом получают». Жена пыталась челночничать, ездила с бабами в Ленинград (в Акдале он еще далеко не Петербург) за обувью. Нашли в одном магазине самую дешевую, смотрят – а их мальчики внизу поджидают, в коже, со стрижеными загривками. Они к продавцам, те вывели их через черный ход совсем на другую улицу. Пока дотащились до прицепного вагона, чуть богу душу не отдала. За Пермью села братва, всю ночь гудела, а они тряслись на боковых местах – ей этого надолго хватило. Да и место все-таки жалко терять – начнут же когда-то все-таки платить!..

Сам Витька тоже иногда подрабатывает «формой» – сопровождает какой-нибудь груз при погонах (но без оружия). Но это так, мелочевка.

– Мне все равно где жить, мне лишь бы лес, река, облака. И чтобы рядом газ был – остальное я все сам сделаю. Этим летом мы хорошо на рыбе просидели, соседи уже заранее знали, когда я привожу. За квартиру я могу получить тысячи три – две комнаты, место хорошее: рядом милиция, банк – никогда свет не отключают. Бывает, весь город в темноте, а у нас свет. За три тысячи можно в России какую-нибудь развалюху купить? Предлагали в Краснодарский край ехать, но там много богатых армян, я там на своем «жопорожце» буду вроде бомжа, надо ехать в Нечерноземье, там ты на любой мыльнице человек.

Но и Витька не хочет оставаться вне истории.

– В газетах только «ура, ура, ура», по телевизору по-казахски гонят одни эпизоды, а повторяют по-русски – они уже другие. Любой бардак – президент, как проститутка, только разводит руками: что же это получается? Нет, куда это годится? Да что ты разводишь руками, накидай им пачек, ты же президент! Да они на него забили, эти жузы-фуюзы – они его сильнее. Он специально в Акмолу переехал, чтобы эту сеть разорвать. Ну и русских, конечно, прибрать покрепче. Хотя нас и так обложили, уже и НТВ перекрыли: говорят, дорого, – хорошо, устроили тендер, выкупили частоту – старики бабки сдавали, предприятия! Сто тридцать тысяч долларов дали – нигде частота столько не стоит, самое большее – тридцать тысяч! И все равно заморозили, деньги так на счету и лежат. Уезжать надо – лес, река, облака… Но что тут у них будет, я не знаю. У казахов раньше семейные устои были – железобетон! По десять детей, все замурзанные, но все при отцах. Но у таких народов если уж начнут отрываться, то совсем без тормозов: в интернатах одни казачата. Брошенные, да. Бывает, русские бездетные пары хотят усыновить, так некого – одни узкоглазые.

– Ты это точно знаешь?

– Все говорят.

Мне тоже известны вовсе не факты, а лишь рассказы. И привожу я их отнюдь не потому, что считаю непогрешимо достоверными: они больше говорят о настроении людей, чем о полной панораме сегодняшнего – даже не Казахстана, а пускай хотя бы одной Акдалы. Реконструировать же события, создающие такие настроения, можно способами самыми противоположными – в зависимости от общей модели мира, исповедуемой реконструктором.

Вадим устроил мне встречу с историчкой и литераторшей, преподающими в русской школе по казахской программе. Пока еще, насколько я понял, не отлившейся в авторитарный гранит. Историчка была немолодая, видавшая виды от XX съезда до перестройки и великолепно владевшая собой. Она говорила очень спокойно, плавно, не оставляя ни малейшего зазора для закипающих вопросов, а если какой-нибудь вопросец ввернуть все-таки удавалось, отрады из этого выходило немного. Вот и Сократ не любил писаную мудрость: кажется, что книга тебе что-то сообщает, но когда задаешь ей вопрос, она повторяет то же самое. Понял я только, что отдельные перегибы, конечно, имеются – так, например, в освещении ВОВ не видно народа-победителя, преувеличена роль союзников. Однако эти уклоны необходимо терпеливо, кропотливо выравнивать, не впадая в огульное очернительство и кампанейщину, давая отпор нытикам и маловерам.

Все же у меня создалось впечатление, что благодаря всемирной отзывчивости русского человека ребят удается убедить, что национальный противник одного народа вполне может быть национальным героем другого, и нужно отнестись к этому с пониманием.

Литераторша отражала в своем облике большую хрупкость искусства в сравнении с наукой, тем более – политизированной: худенькая, средних лет, выжженно белокурая, с испуганно оцепенелым взглядом. «А вы не журналист? Для печати я ничего говорить не буду, я уже имела неприятности, сейчас все старое хотят отбросить, все лягают роман "Мать", а ведь это великое произведение, мы с ребятами обсуждали, для чего нужна литература, и пришли к выводу, что для развития сознания. А что такое сознание? Это духовность, это проявление самого высокого, самого благородного…» Мне с большим трудом удалось вырулить на собственно казахскую литературу.

– Казахская литература? Как можно ее не любить – Абай

основоположник критического реализма, Ауэзов впервые раскрыл творческий процесс, это энциклопедия казахской жизни…

Вновь не имея возможности, да уже и охоты вклиниться, я перелистывал лежавшую на учительском столе хрестоматию по казахской литературе. Если считать эталоном «Мать», это было не так уж далеко от совершенства.

– …Плохо, что уделяется мало часов. Но для печати я ничего не говорила!

Леха Скворец своим поэтически вытянутым обликом явно тянул на романтика, но мы в наши юные годы не знали такого слова, вернее, не мыслили применить его к кому-то из нас. Поэтому Лехины порывы то к объятиям, то к обидам старались деликатно пропускать мимо глаз. Помню, перед раздачей контрольной работы он вдруг схватил меня за руку: «Смотри, как сердце бьется!» – меня поразило не столько то, что оно действительно ударяло трудными тычками, сколько то, что человек вообще способен вспомнить про такую экзотику, как сердце.

Мне было трудно представить Скворца колбасным торговцем, но когда в гастрономе «Целинный» рядом с отдельно стоящим колбасным прилавком я увидел ражего мужчину, я не почувствовал особого диссонанса: Скворец сделался вдвое шире и выражение лица имел озабоченно-хозяйственное. Но прежде чем мы обнялись, я успел ощутить мгновенный спазм тревоги: я давно отдалился от тех слоев, где считают налитой румянец первейшим признаком здоровья. Как бы не гипертония…

Прилавок с колбасой, даже приватизированной, не лучшее место для дружеских излияний. Мы договорились встретиться в шесть у ворот пятнадцатого гаражного кооператива.

В мое время это была еще дикая степь, но с тех пор там отгрохали престижный, по Лехиным словам, район многоэтажек, а фирма «Пегас» (бывший таксопарк) всегда готова домчать тебя туда на своих низкорослых, но выносливых «жигулях» за какие-нибудь сто пятьдесят тенге. Кстати, не только такси, но и частные автобусы сделались в Акдале невиданно дисциплинированными: «В свой карман работают».

Одним словом, я оказался у ворот без трех минут шесть. Мороз жег нещадно – человеческий организм мог выдержать не более одиннадцати минут. Когда прошли первые три, в моих приплясываниях под единственной лампочкой начали возникать тревожные перебои: романтический Скворец не мог оставить друга на вымерзание – значит что-то случилось. Ряды железных гаражей мертвенно чернели, престижные окна, напротив, за

шоссе, горели, как многоярусный театр волчьих глаз. Наконец от одного из гаражей отделилась черная фигура и быстро зашагала к воротам. Леха, закутанный до глаз, сделался как будто пониже ростом, но еще могутнее.

– Здорово! – я радостно хлопнул его по плечу.

– Здорово! – ответный хлопок был еще более дружелюбным.

– Выпить возьмем? Я поблизости ларек видел.

– Выпить всегда не вредно.

– Так пошли?

– Пошли.

Только тут я разобрал, что это не Скворец. Компанейский все-таки народ живет в Акдале. И деликатный – не начал дознаваться, почему это я вдруг от него отстал.

Жить мне оставалось минуты полторы. Последним усилием меркнущего сознания я понял, что бесплодно приплясывающий у шоссе силуэт – это и есть Скворец: «возле ворот» можно толковать расширительно. Он вышел встретить меня поближе к дому – кто же мог подумать, что «Пегас» способен пролететь вдоль гаражного забора.

Как истинные полярники, мы общались посредством азбуки Морзе.

– Водка есть?

– Возьмем в ларьке.

– Говорят, арайская неплохая.

– Семипалатинская лучше.

Бег трусцой к бесстрашно сияющему среди космической тьмы капиталистическому аквариуму и разнузданный галоп к горящим окнам, таким обнадеживающим и гостеприимным.

Я слышал, что Леха развелся, живет один, хотя и… Но не будем об интимном.

Двухкомнатная квартира, насколько я в этом смыслю, была великолепно обставлена. Уютная кухня отличалась продуманностью. Пельмени были божественны: «Какими вы не будете», – презрительно вспоминал я столичную рвань. На журнальном столике (плата за элегантность – вокруг них удобнее всего сидеть по-казахски, ноги калачиком) теснилась разноцветная рать всяческих салатиков.

– Мне женщина приходит готовить, – правильно расшифровал мой взгляд Леха и тут же ответил на еще одну шифровку: – Нет, за деньги.

Успокоившись, так сказать, что процесс пошел, Леха откинулся в пухлом кресле и задал тон задушевной беседе двух стареющих друзей юности:

– Ответь мне, пожалуйста: почему Горбачев еще на свободе?

Его же надо с кольцом в ноздре по улицам водить! Развалить такую страну… Впрочем, извини, я не знаю твоих политических убеждений…

– Ничего, я не выношу только благородства. Претензии на неземную праведность. А так, мне кажется, если мы аплодировали Горбачеву, да еще и требовали решительности – значит мы тоже ответственны за все последствия.

– Да, я даже на работу с транзистором ходил – чтобы по дороге чего-нибудь не пропустить: это же была струя воздуха!..

– Струя-то струя, но когда все разом потребуют своих законных прав, любая страна развалится. А уж плановая экономика и вовсе несовместима со свободой.

– Ты думаешь? – В Лехе не появилось ничего торгашеского, скорее даже некая застенчивость, прямо ранящая при его налитом лице.

– Не только я. Заставить миллионы людей действовать по единому плану – для этого не выдумано ничего, кроме армейской субординации: каждый приказ выполняется без обсуждения. Свобода разрушает армию в считанные месяцы, и нашу страну разрушила именно свобода. А мы все хотим найти кого-то одного.

Леха вошел в перестройку главным инженером химического завода – производство сам выстраивал: полимеризация, вакуумные процессы, тонкое литье, хромирование, прокат – первая стадия в Акдале, вторая в Арайске, третья в Сладкогорьковске… Их продукцию ждали в Германии, в Голландии, она нужна и космонавтам, и вертолетчикам, и…

– И почему же завод стоит?

– А почему все стоит? Ты что, с луны свалился? Извини, у меня гипертония, сразу давление подскакивает…

– Но твоя версия – почему стоит именно твой завод?

– Я думаю, Дюпон постарался: зачем ему, чтобы кто-то под ногами путался – ну вложил большие деньги… А чуркам ничего не надо, лишь бы России чего-нибудь не уступить.

– Я думаю, процессами такого масштаба управлять невозможно: если наши друзья не всемогущи, то и враги не всесильны.

– Ты это моим детям объясни, а то они каждый день есть хотят. – Все-таки раздражительность разъедала его душу. – Люди на работу ходили без денег, уже анекдоты сочиняли – директор спрашивает: а что они делать будут, если проходную закрыть?

– А сам директор куда делся?

– Поставили директором Краснохолмского комбината. Он же многих кормил.

– Но, может, ваша продукция была слишком дорогая?

– Конечно, будет дорогая, если цена за киловатт за потолок полезла! Но можно было обернуться, энергетикам хвост прижать, маленьких электростанций настроить, а не ломать такую махину!

– Дюпон, видно, и энергетикам заплатил…

– Я сам два года ждал: не может же этот дурдом продолжаться вечно – и упустил время, можно было заняться зерном, цветными металлами… Здесь же все есть: медь, свинец, нефть, железо – можно только продавать за границу и тройные карманы нашивать. Ладно, а то давление подскакивает. Я сломал себя, пошел таксовать. Со знакомых не мог деньги брать, а половина города знакомые. Стал возить в район с вокзала, из аэропорта. Завелись живые деньги. Потом нащупал местечко в Арайске – небольшой вроде бы буфетик, но очень ходкий – мафия вытеснила. Арендовал прилавок в «Целинном» – кормит, и неплохо, сыну по двести долларов в Москву посылаю. Дочь уже сама откладывает… Но из «Целинного» тоже выживают, Цукерман хочет для сына весь магазин купить… Значит, снова надо искать.

– Очень это трудно – торговать?

– Теоретически нет: в пять часов встать, поехать на мясокомбинат, посмотреть, что загружают, – отрезать и попробовать, следить, что покупатель любит, взвесить, отвезти, выгрузить… Все просто, только каждый день, без отпусков и без больничных. Больше всего я боюсь упасть. Ну если на день слягу, еще ничего, а если на неделю – все раскатится. Как наш Союз. Если что, вместо меня никто за руль не сядет, кому надо не сунет… За сына и рад, и боюсь – просто стучу по дереву: их сейчас так легко потерять – у нас была только пьянка, а теперь наркотики… Откуда эта зараза на нас взялась?

– Оттуда, что человек решил, будто он рожден для счастья, как птица для полета. Только при этом не заметил, что полет – это труд, что он имеет конкретную цель. А когда целью стало счастье, самым коротким путем к нему оказался героин.

– Я об этом не думал… Сын тоже пытается заработать, он говорит, что в Москве и миллион не деньги.

– Деньги, деньги…

– Он мне предлагает заняться книгами: он бы мог из Москвы поставлять. Я, бывает, часами наблюдаю за книжным прилавком, что народ берет, – иногда как будто вообще не берут, ну, отрывной календарь купят… Но продавщицы говорят – ничего. Я подумываю, не надо ли переиздать казахских классиков на русском: их по нужде будут изучать, как раньше Маркса – Ленина.

– А ты знаешь, что ты молодец? Город рухнул, а ты построил себе избу, натопил и живешь.

– Это, ты считаешь, жизнь?

– А почему нет? Я боюсь, мы все платим за давнишнюю гуманистическую иллюзию, будто жизнь может быть легкой и беззаботной. А она может быть только трудной или ужасной. Как только люди пытаются устроить рай, так тут же попадают в ад.

Семипалатинская вышла, но и за чаем из казахских пиал беседа струится ничуть не хуже. Но надо когда-то и расходиться. «Пегас» по первому звонку уже через двадцать минут долбил нетерпеливым копытом звенящий снег. В черном морозном пекле мы снова обнялись – может, и правда больше не увидимся…

Так и случилось.

Да, со знакомых денег не брал, да, гипертония, подтвердил Вадим.

– Я в свое время хотел, чтобы он буфеты в университете арендовал: раньше вонь стояла, как будто на машинном масле жарили, кексы – великая сушь, гвозди на них можно было выпрямлять, буфетчица к тебе поворачивается с видом «чего пришел?». А сейчас во всех корпусах турки арендуют – ничего особенного, но нам особенного и не надо: печеньице вкусненькое, сосисочка жареная с кетчупом, кофе растворимый, но горячий, в чистом стакане… Продавцы тоже приветливые, хоть и плохо по-русски говорят, – видно, наших с концом вымело.

– Теперь где-нибудь Ельц… Назарбаева проклинают.

– И ведь зарабатывать могли – нет, злоба, лень оказались даже сильнее жадности.

Наутро морозные жар-птицы на окнах были залеплены снегом – разразился один из прославленных акдалинских буранов, прежде валивший заборы, наглухо затромбовывавший двери, но в современной Акдале уже перебивающийся мороженными тополевыми ветками.

– С русскими я уже наговорился, – сказал я Вадиму. – Все говорят приблизительно одно и то же, только примеры разные приводят. Сведи-ка меня с каким-нибудь казахом. Но с настоящим – культурным и не прохвостом.

– Мурат, – не задумываясь выбрал Вадим. – Он всегда был националистически настроен. И первый из университета вылетел.

Мурат окончил нашу школу года на три позже нас, и потому я его не помнил, а он меня знал. Его вполне можно было показывать на выставке достижений ленинской национальной политики: сын партийного работника – и скромный, казах – и золотой медалист, выпускник московского физтеха, защитивший диссертацию в Московском университете. В эпоху обновлений он первым выступил против нового порядка на ученом совете.

– Вам нужно подумать о другом рабочем месте, – сказал ему

ректор.

– А может быть, вам об этом нужно подумать?

Однако ноне был не старый режим – Мурат мигом оказался за дверью. Теперь ходит в коммерческих директорах у жены, приватизировавшей аптеку. Относится к работе по-научному, читает книги о маркетинге. Но принял нас по первому звонку.

Мы с Вадимом изо всех сил отворачивались от мира, закрываясь перчатками и ежеминутно меняя отмерзающие руки, пряча отдежурившую в карман. Но даже сквозь снежную мглу было видно, что теперь уже и пельменщицы, и мороженщицы попрятались. Только парнишка-шашлычник, рассыпая искры, маяком капитализма притопывал валенками напротив обкома, то есть акимата. Враждебные вихри тщетно трепали его плакат «Вы даже не представляете, до какой степени мы вас ждем!».

Внешне Мурат принадлежал к тому же типу, что и Казыгельдин, но выражение доброты, заранее огорченной тем, что честность может вынудить его к высказыванию кое-каких малоприятных истин, – это выражение делало его лицо детски трогательным. Мурат знал всех ханов и биев (судей), изображенных на тенгах и за их пределами, до таких частностей, которые далеко превосходили мою непритязательную любознательность. Подвиги и предательства старшего и младшего жузов в их столкновениях с джунгарами, калмыками, туркменами и русскими были исполнены для него животрепещущей злободневности – он как-то едва не отвесил пощечину коллеге, несправедливо оценившему роль одного из жузов в Оренбургской присяге российскому трону, состоявшейся в 1738 году. Я долго и почтительно вслушивался во все эти драгоценные подробности, стараясь усыпить его бдительность (в делах национальных люди самые добродушные способны наливаться параноидальной подозрительностью), но едва не усыпил себя самого. Мурат был действительно глубоким патриотом своего отечества: человек менее увлеченный ни за что не поверил бы, что можно так долго и с такой увлеченностью слушать о делах, лично тебя не касающихся. Начал я с вопросов будничных, и Мурат, даже несколько забегая вперед, сурово признал, что казахи сегодня обращаются с русскими хуже, чем при Союзе русские обращались с казахами.

– А может быть, лучше, чтобы никто ни с кем как-то специально не обращался, а просто не замечал, кто перед ним находится?

– Не замечал – и на каком языке обращался?

– Ну, на том, который оба знают…

– Значит, на русском? Можно повернуть иначе: пусть все

общаются на том языке, на котором есть больше литературы, на котором говорит больше людей… А я хочу говорить на таком языке, который поможет сохраниться моему народу, – Мурат покосился, не обидел ли меня (я выразил предельное сочувствие), и с облегчением продолжал: – Если считать, что казахский народ должен прежде всего думать о том, чтобы принести как можно больше пользы человечеству – сейчас принести, не через двести лет, – это будет означать, что он должен исчезнуть.

– Но ведь люди, составляющие народ, не исчезнут?..

– Разве вам… может, перейдем на ты?.. Разве тебе Вадим не объяснил, что народ – это не население, а структура? И все ценное создает не просто человеческая масса, а именно структура. Ну, так я люблю свою структуру. Нет, людей я тоже люблю, но даже ради их благополучия жертвовать структурой не согласен. Да, я националист, я считаю, что нужно заботиться не только о народе, но и о его структуре.

– Вадим, – осторожно пошутил я, – как патриот своего отечества, ты должен был бы проповедовать любовь только к нашей структуре.

– Я патриот всех отечеств. Я думаю, распад национальных организмов никому не принесет радости, а только наполнит землю трупным ядом. Люди отпадают от своего народа чаще всего не ради более обширного целого, а ради чистого шкурничества.

– А как же конфликт «я» и «мы» – гуманного интеллигентного «я» и жестокого примитивного «мы»?

– Конфликта «я» и «мы» не бывает, бывает только конфликт разных «мы». Беспримесное «я» – это животное. Любая возвышенная личность набралась своих принципов от какого-то «мы» – пусть даже его члены жили в разные эпохи и в разных странах. Нации, как и люди, должны не разлагаться, а дополнять друг друга.

– Мурат – я чисто теоретически – а что мешало бы сохранить национальную структуру в едином государстве с Россией?

– Мы бы всегда подвергались дискриминации.

–?..

Оказалось, дискриминация началась еще в Российской империи: русские не уважали казахских обычаев, видели в них только дикость, которую нужно преодолеть, между тем как у казахов была своя сложнейшая структура, демократия, разделение судебной и исполнительной власти: хана могли судить! Потом, в структуре любого народа важнейшее место занимает элита – военная, духовная, а русские не признавали дворянами потомков Чингисхана, да и с тимуридами отношения

складывались не лучшим образом (хотя тем, конечно, было на это плевать), ну а духовную элиту вообще старались вытеснить русско-европейским просвещением – может быть, и с лучшими намерениями, но народ в результате остался почти без элиты. Это же обезглавливание продолжалось еще интенсивнее в советское время: сколько было русских космонавтов? А казахов ни одного. Притом что Байконур – исконно казахская земля. Сколько есть русских писателей, ученых? А сколько казахов?

– Но казахам было легче и издать книгу, и защитить диссертацию…

– Я же не об этом, я о настоящих достижениях, – лицо Мурата выразило искреннее страдание. – Я согласен, когда поступаешь в Москве, в Ленинграде, к тебе относятся так же, как ко всем…

– Тогда это не называется дискриминацией.

– …Но насколько труднее туда поступить из аула, чем из русского города!

– Но… Но если бы не союз с Россией, и поступать было бы некуда?..

– Верно. Зато у нас сохранилось бы цельное развитие всей структуры. А так интеллигенция у нас оторвалась от народа, народ остался без элиты. Получилось так, что чем лучше ты выучишься в Москве, тем дальше ты уйдешь от своего народа.

– Но какие-нибудь японцы уезжали учиться в Европу, в Америку и не переставали быть японцами. Как будто бы.

– Японец возвращался в японскую среду. А не в обрусевший город. Японца защищало чувство национальной исключительности. А нам его всегда не хватало, наоборот: чем больше ты похож на русского, тем престижнее. Русские могут себе позволить не зацикливаться на своей национальности – они, даже если захотят, не могут раствориться. А мы уже наполовину растворились.

– По твоему мнению, какие параметры улучшились от вашей независимости: уровень жизни, культура, наука, степень коррупции, гражданские свободы, могущество государства?..

– Коррупция – не то слово, всем теперь владеют триста – четыреста семей. Я думаю, все параметры ухудшились. Зато теперь мы сами определяем свою судьбу.

– Что значит вы сами – влияние народа на власть, все говорят, только уменьшилось.

– Не народа, а населения. А народ как целое – пускай авторитарное целое – начал развиваться самостоятельно. Я уверен: Горбачева история еще оценит. Столько народов получили свободу!

– Но свобода – это иллюзия, все равно вы будете зависеть от

развитых стран, в одиночку вам не поднять ваши…

– Не так, как от России. Культурное влияние Америки всегда будет поверхностным – на уровне вывесок, жвачки. Никогда половина нашего народа не будет говорить по-английски. Никогда половина нашего населения не будет американцами. И нас они к себе никогда не пустят в серьезном количестве. Когда мы свободны, наше возрождение может наступить через сто, через двести лет – я верю в мой народ. А пока мы не отделены от России, оно не наступит никогда, мы так и будем оставаться второсортным народом, сколько бы тысяч из нас ни преуспели – в качестве русских ученых, бизнесменов, министров: народ все равно остался бы бесструктурным быдлом.

Спрашивать было больше не о чем. Потолковали о его собственных делах. О них он тоже говорил с большой ответственностью. Попутно выяснилось, что застреленный в загородном ресторане авторитет был родственником Мурата и даже помог ему однажды вернуть две тысячи долларов, которыми Мурат по благородству души и недостатку опыта выручил одного делягу, впоследствии просто смеявшегося ему в лицо. Но что еще более интересно – родственником ему оказался и убитый там же милицейский чин: в милиции у него вообще было много родственников. Этот факт Мурат проиллюстрировал специфически казахстанским дополнением к известному анекдоту. Маленькая еврейка приходит из школы: «Мама, нам велели завтра прийти в национальной одежде». – «Гриша, ты слышишь: наша дочь уже хочет норковую шубу». Приходит из школы казашонок: «Мама…» – и так далее. «Но где же я возьму такую маленькую милицейскую форму?» – сердится мама.

– Родственники в милиции – лучшее средство от рэкета?

– Очень полагаться тоже не надо, клановые связи тоже распадаются. Но если на меня серьезно наедут, я лучше аптеку закрою. Это же очень серьезное дело, наркотики…

На прощание, пока не совсем стемнело, я попытался в последний раз взглянуть на пойменные дали. Но с бывшего берега можно было разглядеть только, как снежная мгла беснуется среди домишек под обрывом, где проживало воинственное племя, именуемое почему-то колесниками: отправляясь купаться, всякий преодолевал их территорию с некоторым напряжением – чужаку запросто могли начистить рожу только за то, что он чужак. Господи помилуй, неужели это мерзкое разделение «наш – не наш», отказывающееся замечать какие-то иные доблести, неужели даже его еще рано изгонять поганой метлой из нашего и без того не слишком уютного мира?

Неужели в мире и в самом деле нет ничего бесполезного?

В краеведческом музее царил дух преемственности: имена партийных секретарей без малейшего подчеркивания перетекали в имена акимов, постановления ЦК КазССР мирно соседствовали с указами президента Республики Казахстан.

Площадь перед акиматом-маслихатом была ярко освещена, словно арена гладиаторских схваток снежных вихрей. А на краешке подступающей тьмы одиноко пританцовывал парнишка-шашлычник, неустанно поддерживавший огонь в своем рассыпающем искры маяке. Я не выдержал: «Один, пожалуйста!» – прокричал я сквозь завывания вьюги. «Сто тенге!» – с невыразимой благодарностью прокричал он и засуетился. Но когда я увидел, что готовых шашлыков у него нет… «Вы сюда, за дерево спрячьтесь», – умолял он меня, укладывая шампур с мороженым мясом на адски сверкающие угли.

Сбежать было невозможно. Укрыться за деревом тоже, ибо ветрище по акдалинскому обыкновению пронизывал с четырех сторон сразу.

Внезапно мы оказались в темноте.

– Наверное, линию электропередачи где-то повалило, – поспешно прокричал парнишка жалобным голосом, чтобы я не подумал, что в этом есть какая-то вина его фирмы.

Борясь с соблазном плюнуть и на тенге, и на шашлык, и на инспекционное любопытство, я все же доплясал до полной шашлычной готовности. «Хлеба, хлеба возьмите, лучше будет», – умоляюще подсовывал мне кусок черного ударник капиталистического труда, и я, уже не опасаясь обжечься, стянул с шампура первый кусок. Он был на диво нежен и сочен. Второй был столь же прекрасен, вот только не холоден и не горяч, а третий уже облеплял рот застывшим салом. «Вы погрейте, погрейте», – от всего сердца втолковывал мне пацан, и я, приплясывая в адских отсветах и завываниях, вертел вертел над жаром и давился куском за куском – хотя в них не было ни единой жилочки.

Лихорадочно растирая щеки, я прокричал слова благодарности и зарысил в мрак. А маяк продолжал мчаться сквозь тьму, рассыпая искры, словно допотопный паровоз.

Снова, наш паровоз, вперед лети!

Утром продолжало задувать и завывать, но погода была явно летная. За три часа до вылета я по телефону высвистал «Пегаса», сердечно простился с Вадимом (Аня, как всегда, была в школе), потом на всякий случай позвонил в аэропорт – рейс был

перенесен на два часа по метеоусловиям Алматы. Через два часа мы еще раз простились, уже несколько более формально, а потом и прощаться перестали. Отлет каждый раз переносили на такой срок, чтобы никто никуда не успел отлучиться – а то есть капризники: самолет задержится на какие-нибудь восемь часов, а они билет сдают и едут на поезде.

Когда стемнело, я догадался позвонить уже не в справочную, а знакомому в диспетчерскую, и он по секрету рассказал, что никаких метеоусловий в Алматы нет, а просто у «Эр Казахстан» не хватает самолетов – они ждут, пока какой-нибудь высвободится, а пассажиров тем временем водят за нос. Но когда наконец самолет даже и появится, очень уж ликовать все равно не стоит: в Акдале нет керосина, если даже слить из всех банок, хватит только слетать на дозаправку в Актюбинск, Оренбург…

В полночь справочная раздраженно проквакала, что самолет прибудет через час. «Пегас» притормозил у крыльца ровно через двадцать минут – вот у кого бы поучиться «Эр Казахстану». Еще двадцать минут среди снегов, вспыхивающих в размахах фар, – и я в полуосвещенном почти пустом аэровокзале. После мороза лишь минут через пять начинаешь чувствовать, что плюс восемь не так уж и тепло, надо время от времени спускаться в подвал помахать руками и побегать взад-вперед мимо табличек «Туалет», «Камера хранения» и «Намаз бол-меси» с пояснением на русском и английском «Комната для молитв». Запасшись теплом у дверей храма, я возвращался на лавку и старался разобрать, о чем толкуют в русскоязычной (наконец-то это словцо сделалось уместным) печати Алматы и Акдалы.

Появились специальные рубрики «Президент», «Правительство», «Парламент». Косяком шли тендерные комиссии, инвестиции, банки, курсы доллара: «Жезказган-цветмет», «Мангистаумунайгаз», «Казахром», «Алюминий Казахстана» активно участвовали в общественной жизни. Борьба с организованной преступностью сопровождала путь гигантов. Предлагалась мебель из Румынии, Франции, Испании, Германии, России и Белоруссии – мир стучался во все окна. Лучшие умы размышляли о «Стратегии-2030» (двадцать тридцать), посылая правительству предостережения не навести на страну «голландскую болезнь» слишком роскошными социальными программами за счет легких сырьевых денег – а то народ может утратить инициативность, во всем надеясь на государство. Эта цель, похоже, уже достигнута – особой веры в государство не замечается, можно перейти к более сложному этапу: развитие экспортоориентированных отраслей промышленности.

Нет, в газетах не только троекратное «ура!» – выступление

премьер-министра лишь очень тонкий знаток мог бы отличить от нашего: жесткая кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика, структурная перестройка, турецкая помощь малоимущим, завершение приватизации, стимулирование инвестиций, отмена необоснованных налоговых льгот, поддержка среднего и малого бизнеса, борьба с коррупцией…

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (Китай, Россия, Турция, Израиль, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан).

Министр внутренних дел сетует, что в кабинетах следователей орет радио, торчат посторонние люди – нет никакого ощущения, что ты находишься в государственном учреждении, снижается и качество проведения осмотра места происшествия (Генка в этом мастак); об оппозиции – у них нет позиции ни по казачеству, ни по курдским экстремистам, ни по сепаратизму. «Я апологет порядочности, и поэтому мы должны защищать общественный порядок». Но все равно на их митинги никто не ходит. Хотя они и пытаются спекулировать на избиении одного из своих лидеров, но наши правоохранительные органы до такого не опустятся.

Восьмидесятилетие партии «Алаш», вынесшей историческое решение о создании автономного государства с Временным народным советом «Алаш-Орда» во главе, – ее идеи актуальны и сегодня. Создание частного пенсионного фонда (о нем все говорили с тревогой: уже поняли, что с частных компаний и вовсе ничего не слупишь). Да вот вам: пытаются хоть что-нибудь высудить вкладчики трастовой компании: один из учредителей скрылся за границу, другой – в психбольнице: признан шизофреником.

О пособиях казахам, ввозимым из Монголии. О партнерстве с Китаем в борьбе с российским Газпромом, не желающим выпускать казахский газ на международные рынки. Интервью с английским аналитиком, что-то советовавшим президенту насчет армейского обустройства: он не уверен в официальных цифрах (армию Казахстана составляют 42 тысячи человек), но в любом случае республике по карману лишь очень маленькая армия, и лучше пусть она будет еще меньше, но зато сытая и вооруженная, а то сейчас половина машин стоит из-за нехватки бензина. Да, соглашается советник, завоевать Казахстан ничего не стоит, но его можно развалить и без единого выстрела – экономически.

Пора идти греться к «Комнате для молитв».

Вваливается не очень крупная толпа из нашего, наконец-то прибывшего самолета. Вид у алматынцев более столичный, чем у нас, но и они верят, что их задержали по метеоусловиям Акдалы.

Сначала они галдят, бродят по гулкому залу, но через часок-другой тоже начинают впадать в кому. И просматривать газеты больше не мешают. Про вас же, про вас читаю…

Статья о голоде 31–33 годов: поголовье скота с 29-го по 34-й год упало с сорока миллионов до четырех миллионов (мой дед помнит, как прямо в степи валялись трупы казахов), вымирают целые аулы, людоедство – уже поднадоевшие массам достижения коммунистов, не испытывающих по этому поводу ни тени смущения. Вымерла треть населения – ударные темпы перемещения кочевников в оседлое состояние.

Восточный колорит в привычной перебранке министров с депутатами: не все, что летает, птица, не всякая птица орел. Заявление президента конфедерации свободных профсоюзов: «У нас в стране только два мнения! Одно – мнение президента, второе ошибочное». Надвигающийся военный суд над двумя блестяще аттестуемыми заместителями министра обороны, польстившимися на дармовые квартиры, – люди всюду люди, генералы всюду генералы, генералы тоже люди… Найден застреленным в кабинете начальник Жамбыльского УВД – тоже блестяще аттестуемый, прежде всего как честный человек. В связи с невыплатой зарплаты горняки Кентау начали марш протеста к президенту; в срочном порядке перегораживается мост через Арысь-Туркестанский канал, подтягивается ОМОН; местные власти отдают приказ выдать кентаусцам матрацы, руководство компании и аким области обещают в кратчайшие сроки…

Бельгийская фирма «Трактебель» овладевает не только алматынской энергетикой, но и получает в концессию газотранспортную систему Казахстана, антимонопольный комитет предлагает бороться с монополистами, используя для обогрева небольших микрорайонов списанные паровозы – наш паровоз… Профсоюзы объявляют о взрывоопасной обстановке в Талдыкоргане: монополии взвинтили цены на коммунальные услуги в два-три раза выше, чем в других городах, электричество получают только торговые точки и дома местной знати. Порядочные женщины и девушки ищут работу, интим и гербалайф не предлагать. Некоторые отказываются лишь от интима, другие только от гербалайфа. Большое предложение секретарей-референтов женского пола, но некоторые из них согласны быть и нянями. Два парня ищут *любую* работу. До крайности привлекательное предложение высокооплачиваемой службы без будильника и начальника.

В зале начинается движение: спокойная русская женщина в шубе начинает продажу деклараций, у меня снова не хватает мелочи, и она вновь оказывает снисхождение.

В газетах целые развороты заполнены объявлениями: оптом колготки, ковры, полотенца, здания, мукомольное оборудование, вакуумные котлы, кофе, масло, бритвенные принадлежности, поролон, автокраны, парфюмерия, запчасти, гвозди, бензиновые генераторы, автобусы, экскаваторы, мебель, мебель, мебель, мебель, уголь, цемент, стекловата, шины, телефоны, рис, гречневая мука, чай, кабель, горох, фасоль, аппаратура по производству макаронных изделий, костюмы, шоколад, путевки во Францию, Германию, Чехию, Турцию, куда хотите – двери в мир распахнулись необратимо…

«Аргументы и факты Казахстан» (так!) жалуются, что их через прокуратуру обязывают печатать материалы на казахском языке, хотя газета частная, закон же о печати выражается расплывчато: СМИ «используют возможность» перевода. Вот о телерадиовещании сказано ясно: время передач на государственном языке не должно быть меньше, чем на всех других языках вместе взятых.

Массовая добыча цветных металлов из действующих телефонных кабелей и высоковольтных проводов. Минеральная вода «Сары-Агаш» должна стать в один ряд с пепси и кокой вместе взятыми. Нашествие фальсифицированных сигарет.

Уф… Вновь, свершив намаз, отвожу душу в «Частной жизни» – новая рубрика в «Акдалинских новостях», из новостей, так сказать, новости. Интеллигентное письмо анонима о пороках института семьи. Вступив в связь с девушкой, аноним из-за косности окружения должен был жениться и в результате не имеет от жизни никакого полового удовлетворения: жена вся в заботах о ребенке, он – о заработке, а самое непоправимое еще впереди: пик мужской сексуальности приходится на двадцать девять лет, а женской на сорок.

Да, если считать, что на свете нет ничего важнее сексуальности, жизнь окажется исключительно неудачно сконструированной – вся. Начиная с семьи: додуматься же – заниматься любовью (любовь нынче считается таким делом, которым можно «заниматься») там, где все напоминает о заботах, обязанностях, где даже и пофорсить невозможно, потому что тебя все равно знают насквозь… На любой вечеринке присутствует больше эротического электричества.

В Южной Корее, рассказывал мне приятель, человек без семьи до сих пор считается чем-то вроде мусора, в Спарте холостяки обязаны были голыми обходить зимой городской рынок, юноша отказывался встать перед знаменитыми полководцем: у тебя нет сына, который когда-нибудь встанет передо мной. Пока люди понимали жизнь как труд, долг, она и была жизнь как жизнь:

устал – отдохнул, поплакал – посмеялся, а как иначе? Когда не брак как некое общее дело, а сама любовь присоединилась к высшим ценностям, женщину завоевывали какими-то социальными доблестями: храбростью, где доблестью считалась храбрость, богатством, где чтили богатство, умом, где был в почете ум, – любовь пробуждала в мужчинах высшие стремления (хотя часто и мешала их осуществить, как справедливо отмечал Оскар Уайльд). Но когда человек решил, что не он должен служить миру, а мир должен служить ему (все для блага человека), тогда всякое деяние, дарение сделалось для него обузой – и любовь стала ему не по карману: столько мороки, риска, ответственности за покоряемый «предмет» – вырежем-ка из любви одну приятную сторону, центр внимания перемещается к сексу (одновременно утрачивается мощнейший созидательный стимул). Но и секс – это труд, зависимость: нужно хоть на полчаса ублажить и партнера… Нет, спокойнее всего мастурбация – совсем никому ничего не давать, совсем ни от кого не зависеть.

Если уж впадать в катастрофизм, мастурбационные тенденции гуманистической культуры можно усмотреть всюду – все пытается служить самому себе, даже искусство ведет себя подобно прочим ведомствам: цель искусства – само искусство, цель человека – счастье, то есть он сам. Но ведь все удовольствия – лишь побочные ощущения каких-то более важных функций: вкус еды – пустяк в сравнении с голодной смертью. Когда мы возвели в венец мироздания самоудовлетворение, когда мы вообразили, что созданы для счастья, как птица для полета, мы немедленно оказались в аду. Жизнь никогда не будет легкой и беззаботной, она всегда будет требовать труда и предусмотрительности, ибо все, к чему мы стремимся, идет против ее естественного течения: перестанешь мыться – зарастешь грязью, перестанешь ремонтировать дом – будешь жить в руинах, разве это не ад?

А разве не обидно, что почти все сигналы нашего тела – это сигналы боли? Там трет, там жмет, там жжет… Это удовольствия нужно организовывать специально, а боль сама подстерегает под каждым кустом. И потому те из нас, кто посмелее или полегкомысленнее, идут единственной легкой дорогой к счастью – вмазываются героином. А кто поосторожнее, те так и тянут свой постылый воз, проклиная судьбу.

Когда нас наконец допустили в самолет, мы уже не были избалованными детьми – нам напомнили, что такое жизнь: в Актюбинск так в Актюбинск, все-таки движемся, могло быть и намного хуже. В Актюбинске безжалостный вьюжный рассвет, аэродромные служители заправляют нас, отворачиваясь от ветра:

жизнь не позволяет им спрятаться в тепло – за каждой слабостью последует расплата.

Почти весь самолет спит под хриплое дребезжание фюзеляжа, и я тоже между сном и явью пытаюсь нагрезить националистическую утопию, как всегда, плавно переходящую в антиутопию.

В некотором царстве, на некотором острове народ в течение веков кормился дарами моря: береговое население било рыбу острогой, а лесные жители в обмен на рыбу поставляли ему остроги и копья – хрупкие, но других не было. Жили бедно, однако собираемой дани местной аристократии доставало, чтобы вести барский образ жизни, получать европейское образование и даже блистать в европейских салонах. Окультуренная поэзия островитян, проникнутая национальными мотивами, высоко ценилась в Европе, а один поэт даже получил Нобелевскую премию, породив многочисленных подражателей. Мифы островитян вошли в сокровищницу мировой культуры, а их религия сделалась предметом многолетней моды среди западных интеллектуалов, попутно оказав серьезное влияние на ряд крупных философов. Резные статуэтки лесных жителей высоко ценились коллекционерами, а один знаменитый скульптор прямо называл себя продолжателем их традиций.

Словом, присутствие островитян в духовной жизни человечества было вполне ощутимым – в отличие от их присутствия в мировой экономике. Тем не менее благодаря патриотизму населения и геополитическим противостояниям остров сумел сохранить независимость в эпоху обвальной колонизации. Однако со временем наиболее просвещенная часть островитян начала ощущать потребность в модернизации: либералов оскорбляло бесправие населения, патриоты опасались вторжения соседей, гуманисты сочувствовали народной нищете, да и относительно продвинутые жители побережья уже и сами начинали с завистью поглядывать на европейские стандарты.

В итоге остров раскрылся для мировой торговли. И оказалось, что рыба – редчайший сорт – пользуется бешеным спросом, а остроги и копья не пользуются никаким. Более того, береговые жители быстро обзавелись металлическими подводными ружьями, заключили мудрые оборонительные союзы и в услугах лесовиков больше вообще не нуждались, предпочитая обзаводиться шортами, барами, видиками и плеерами. Таким вот образом лесные жители оказались под угрозой голодной смерти: одна лишь охота и собирательство не могли прокормить их.

Какое-то время правительству удавалось заставлять

«рыбников» делиться со своими лесными братьями, но ропот нарастал, да и бывшим «острожникам» незаработанные подачки не шли на пользу: им пора было переселяться на побережье и вливаться в сферу обслуживания тех, кто сидел на рыбе (вакантных мест там уже не было). Однако трудиться в барах и прачечных лесовики не привыкли, у них была собственная гордость, собственные представления о занятиях, достойных мужчины и женщины, – они начинали спиваться, безобразничать, чувствовать себя обойденными, поскольку тоже стали примериваться к европейским стандартам, о которых прежде не имели понятия. А между тем было ясно, что остров недостаточно богат, чтобы всем обеспечить европейский образ жизни: когда рыба делилась на всех, ее хватало только-только, но когда она стала оставаться в руках лишь части населения…

Правительство пыталось расчистить путь в лес иностранным инвестициям, но инвесторы упорствовали: ни климат, ни нравы, ни инфраструктура не располагали к эффективной сборке компьютеров или швейных машин – жизнь, в отличие от либеральной утопии, вовсе не собиралась походить на сказку с хорошим концом для всех, кто будет хорошо себя вести. Тем более что население было не так уж и склонно вести себя хорошо.

И два молодых патриота – ну, скажем… Мидав и Тарум, – окончившие Сорбонну и Гарвард, решили любой ценой спасти отечество. Причем не столько население, сколько драгоценную его структуру, так много принесшую в прошлом и еще больше обещавшую в будущем. Решительный Тарум предложил прежде всего снова отгородиться от мира, чтобы народ поскорее перестал считать нормой образ жизни пяти процентов населения Земли. За границу же смогут выезжать лишь преданные общему делу люди, чтобы впоследствии клятвенно подтверждать, что народ в Америке и Европе утопает в разврате и безработице. Это же должны повторять все местные газеты, радио и телевидение – иные средства массовой информации не допускаются. Подводные ружья изымаются – все в обязательном порядке переходят на остроги местного производства, – те, кто окажет сопротивление, будут отправлены на подкормку рыбам.

Для этого придется перебить треть населения и держать в ужасе остальные две трети – мы недостаточно для этого сильны, сомневался Мидав. А если бы нам даже удалось набрать достаточную армию недовольных, структура народа все равно бы погибла – он бы сделался народом заключенных и надзирателей. Нет, мы пойдем другим путем! Мы разъясним мировому сообществу (а если нужно, и надавим на него!), что промышленно-торговая конкуренция как высший судия – почти

такое же упростительство и обеднение жизни, как прежний культ военной силы. Если в древности дикий народ мог покорять народ цивилизованный только потому, что был сильнее, так сегодня духовно богатому народу может диктовать народ духовно бедный только потому, что умеет лучше производить, предоставлять товары и услуги на международный рынок. Но и этому упростительству жизнь должна противиться всеми способами. Мы уже поняли, что принцип «Кто силен, тот и прав» опасен и бесплоден, но мы еще не поняли, что не так уж далеко ушел от него принцип «Прав тот, кто лучше производит». Владыкой мира будет труд, говорит миру западная цивилизация, но мир не должен покоряться никакому владыке, если хочет оставаться разнообразным и максимально свободным от принудительной состязательности по какому бы то ни было одному – следовательно, примитивному – параметру.

В цивилизованном обществе верзиле уже не позволяют притеснять дохляка-математика или поэта, напротив, им стараются (хотя бы в идеале) выделить безопасный уголок, где они могли бы творить свои теоремы или поэмы – абсолютно бесполезные, но, в сущности, только и оправдывающие существование человечества. Любое сколько-нибудь развитое общество имеет зоны относительной свободы, обитатели которых избавлены от борьбы за существование – благодаря государству или меценатам, – зоны, где могут творить ученые и артисты. Но в международном мире до сих пор царит борьба за существование по параметрам самым первобытным…

Этому пора положить конец. И в качестве первого шага предоставить международный грант нашему народу за его высокую духовность, дабы он, освободившись от примитивной конкуренции, мог по-прежнему поставлять миру некоммерческие плоды своей культуры.

Если же мир откажет, придется искать способы подтолкнуть его в неподатливую спину.

Нет, резко возражал Тарум, культура – продукт дела, продукт реальной жизни, а не ее имитации. Люди будут творить гениальные гимны богам, только если верят в богов, и культура, незримым облаком окутывающая свадьбы, похороны, труд и охоту, никогда не будет истинной культурой, если люди не станут относиться к этим занятиям с предельной серьезностью. Занимаясь парниковой музейной имитацией, они будут создавать разве что те подделки для туристов, которые уже почти вытеснили подлинное искусство наших предков. Выход не здесь: состязательность по примитивнейшему промышленно-торговому параметру пожирает разнообразие мира из-за того, что пять

процентов мирового населения установили у себя индивидуалистический, чудовищно расточительный образ жизни и обеспечили его такой высокой производительностью, что ввергли остальное человечество в необходимость или принять их вызов и уподобиться им, разрушая все природные и национальные структуры, или сходить с исторической арены. Остановить эту разрушительную гонку можно лишь одним способом – уничтожив лидера.

Ну а средоточие, империя зла – это, вне сомнения, Соединенные Штаты Америки. Конечно, и какая-нибудь Южная Корея задает несносный темп, но она, по крайней мере, несет в мир лишь один разрушительный соблазн, а Соединенные Штаты – сразу два: культ производства и независимость индивида, то есть атомизацию всех мыслимых структур. Карфаген должен быть разрушен! Мы должны поддерживать в Америке все разрушительные тенденции, помогать экстремистским группам, заваливать молодежь дармовыми наркотиками, восхвалять гедонизм как соврменную утонченность и осмеивать жертвенность как архаическую отсталость, все народы, желающие сохранить свою структуру, должны объединиться в священной войне против…

Получалось, полубредил я, что для сохранения национальной структуры только одного лишь острова необходимо взорвать весь мир. А почему бы и нет? Если дорожить только структурой своего народа – и только в угодном тебе виде – и быть совершенно безразличным к структуре мирового целого, тогда во имя народа будет дозволено все. А вот как быть тому, кто дорожит общечеловеческим целым, но беспокоится при этом и за судьбу собственного народа? Причем не только за население, но и за его структуру? Вряд ли это такой уж непростительный грех – больше тревожиться о судьбе своего, а не чужого народа: грех не в любви, а в размере тех жертв, на которые ты готов ради нее пойти. Причем жертв обычно напрасных, ибо приносятся они чаще всего в борьбе за невозможное. Когда смотришь с высоты на бесконечные снега с редкими пятнами игрушечных городков, когда видишь вокруг измученно спящих людей и невольно поглядываешь, не слишком ли встряхнулись крылья, когда самолет проваливается в невидимую яму, – тогда особенно остро чувствуешь, как мало мы можем. Мир трагичен – противоречив, непредсказуем и бесцелен: приближаясь к самой желанной цели, неизбежно удаляешься от других, не менее желанных, любая достигнутая мечта тонет в лавине непредсказуемых последствий, не существует никакой высшей инстанции, которая могла бы одобрить или осудить наши решения, нет и никаких

«естественных» процессов, к которым нам оставалось бы только примкнуть. В человеческом мире искусственно все, мы обречены каждую минуту сами принимать решения и нести за них ответственность, так и не зная, правильно мы поступили или неправильно.

Национальные проблемы – не исключение: никто вместо нас не решит, за что стоит держаться, а что уже бесповоротно обречено. Никто, кроме нас, этого не решит, но и мы ответа знать не можем. Надо рисковать, помня при этом, что от тебя почти ничего не зависит.

Быть энергичным, мужественным, ощущая при этом бесконечную слабость своей мысли и своих сил, – этот героический пессимизм не по плечу слабодушным: они согласны жить, только уверив себя в своем могуществе и непогрешимости. Я думаю, если называть националистом всякого, кто на мировом ристалище болеет за собственный народ, это слово окажется почти ненужным, ибо таковы практически все нормальные люди. И сам я желаю Казахстану успеха изрядно сильнее, чем другим «странам СНГ» (не считая, разумеется, России), только потому, что провел там детство (а моя мать, когда училась в Москве, тоскуя по дому, ходила на вокзал встречать казахстанские поезда – посмотреть на родных казахов в их чапанах). Вероятно, было бы целесообразно называть националистами лишь тех, кто не просто мечтает о процветании своего народа, но еще и твердо знает форму этого процветания и готов ради нее требовать от мира (и, следовательно, от своего народа тоже) серьезных жертв. Первородный грех националиста все-таки интеллектуальный, он преисполнен уверенности в мире, не допускающем уверенности.

Через пограничный контроль в Домодедове тянемся вполне солидно – как самые образованные иностранцы. Ни в какие редакции уже не успеть, а завтра суббота… Ну его к черту, я уже насиделся за границей – домой, домой.

Борясь с очумелостью, побродил по музею изобразительных искусств. Сколько великих народов уже исчезло или впало в незаметность – по-видимому, это нормально, хотя и грустно. Приходится утешаться тем, что лишь смерть цивилизаций придает им подлинную поэзию, только обломки и бывают по-настоящему драгоценны.

Поезд отошел вовремя. В купе было чисто, светло, вежливо: может быть, это величайшая с нашей стороны гордыня – желать еще чего-то сверх этого? Может быть, и правда пора смириться с тем, что духовную культуру еще никому не удавалось создавать целенаправленно. А наше дело – и то очень нелегкое! – лишь

добиваться сытости, чистоты и аккуратности? Спутники были любезны, говорили негромкими голосами и, кажется, имели больше отношения к рыбе, чем к острогам. Но самый рыбный господин ввалился – вернее, был введен сзади под локотки – последним. Благообразный, седеющий, упитанный, напоминающий Горбачева, только не слугу мирового сионизма, а народного артиста СССР, он был пьян до полного изумления. Но и он был благовоспитан – не бузил, а всего только заваливался на соседа.

– Вам лучше наверх, – терпеливо повторял сосед, на которого псевдо-Горбачев укладывался, и до того наконец дошло.

Он принялся тупо раздеваться и в бессознательности стащил с себя вместе с брюками и трусы, оставшись совершенно голым. Он был настолько круглым, глянцевым и розовым, что не выглядел даже особенно неприличным, напоминая пластмассового пупса. Затем он принялся карабкаться к себе на полку. Мы деликатно промолчали, и лишь минут через пять один из нас произнес: «Большой оригинал».

Лежа поверх персонального одеяла, при свете персональной лампочки я досматривал последние казахские газеты. Приятно находиться среди воспитанных людей, которые не вовлекают тебя ни в какое общее дело, – именно активисты-общественники более всех вскормили ту иллюзию, будто можно прожить одним индивидуальным.

Заглянул милиционер, тоже предельно любезный:

– Кто здесь Митрофанов?

Мы выразили вежливую неосведомленность. Через минуту он снова заглянул:

– Мне же сказали, что Митрофанов в вашем купе.

Но никто из нас не хотел быть Митрофановым. С помощью проводника, однако, было установлено, что отключившийся пупс и есть Митрофанов. Милиционер сунул ему под подушку оброненное красное удостоверение.

Все вновь углубились в личные дела, и я принялся разбирать дальше обращение президента Назарбаева к казахскому народу по случаю перенесения столицы в город Акмолу.

…Отныне и на века здесь, в центре огромной страны… Сердце нашей Родины… Гражданское и культурное единство многонационального… Территориальная целостность… Достояние не только нынешнего, но и будущего… Одним из мощных коммуникационных центров этого огромного суперматерика… Не в форме прежних утопий, а в форме серьезного и точно рассчитанного… Стратегия «Казахстан-гозо» – это не только экономический документ, это способ

интегрирования интересов всего… В этот благословенный день… О создании Фонда по поддержке малообеспеченных… Станут личные взносы президента, депутатов парламента, членов правительства… Последовать этому примеру…

XX век для Казахстана стал хрестоматийным по жестокости и национальному геноциду. Наша приверженность демократическому выбору – это не дань либеральной формуле, это осознанный и выстраданный всем народом… Быть бдительными и жестко пресекать… К национальной и социальной вражде, монополии одной партии или одной личности на абсолютную… Под святым небом Сыры-Арки…

За этим выбором стоят прозорливость Тауке и величие Аблая, мудрость легендарных биев и бесстрашие тех юных сердец, которые в декабре 1986 года показали всей планете, что такое национальная гордость, за этим выбором стоит воля миллионов наших соплеменников, отдавших жизни за право быть хозяевами своей судьбы.

Будем достойны этого выбора.

«Кажется, трудно отрадней картину нарисовать, генерал?»

И вот двадцать лет спустя…

В пору моей юности мои приятели-казахи не только не знали, но и стеснялись казахского языка. Зато в сегодняшней грандиозной Астане он звучит повсюду наравне с русским и – в той среде, где мне пришлось общаться, – с английским. Умная, образованная, воспитанная, красивая молодежь свободно чешет на всех трех и поет под домбру, над которой в мое время потешались, казахские песни ДИВНОЙ КРАСОТЫ. Но что происходит в казахской литературе, я узнать не успел.

А между тем не только каждому человеку – каждому народу необходимо художественное зеркало, в котором он сможет видеть свою жизнь пускай мучительной, но красивой, наделенной пускай иллюзорным, но высоким смыслом. Эти образы, эти смыслы создает прежде всего литература. И европоцентризм современной культуры выражается еще и в том, что даже европейские имена для нас в России «роднее» азиатских. Если героев зовут Роберт или Генри, а их возлюбленных Пат или Кэтрин, нам отождествить себя с ними не только легко, но даже лестно. Это опасный симптом – когда чужая жизнь кажется нам красивее собственной: Советский Союз погиб прежде всего от эстетического авитаминоза, от которого продолжает страдать и его правопреемница Россия.

Подозреваю, подобная опасность грозит и казахстанской

культуре – отсутствие всенародно авторитетного воодушевляющего образа собственной страны.

Обаятельный образ сегодня принято называть коммерческим термином «бренд». Но чем нас можно «обаять»? Если нам сказать, что гражданин сорок лет ходил на работу и ни разу не опоздал, мы почтительно покиваем, но с оттенком скуки. Если прибавить, что он при этом ни разу не изменял жене, мы снова покиваем, но уже с оттенком сострадания. А вот если он спрыгнул с самолета без парашюта…

В России издавна пользовалась любовью Испания – в ту пору одна из самых бедных и отсталых стран Европы. Никому не было никакого дела до ее экспорта-импорта, урожайности, производительности труда – нас чаровали Дон Кихот, Дон Жуан, Кармен, испанская гордость, коррида, Севилья, сегедилья…

Сами испанские слова звучат для нас музыкой! И это едва ли не главный «бренд» – красивая сказка.

Своя сказка есть и у французов, и у англичан, и у немцев, и у итальянцев, и в этом сегодня перед Россией и Казахстаном стоят родственные задачи – поиск красивой сказки, способной очаровать господствующую западную цивилизацию, но прежде всего – очаровать нас самих.

Если новая культура хочет войти в сложившуюся цивилизацию и не раствориться в ней, она должна принести туда нечто невиданное. Стремление же к цивилизованности, понятое как стремление к ординарности, вернейший способ культурного самоубийства.

И для роста национальной литературы чрезвычайно плодотворно, но и чрезвычайно опасно взаимодействие с какой-то высокоразвитой цивилизацией, способствующей развитию, но и грозящей культурным поглощением. Так, высокая корейская литература на протяжении целых веков не могла развиваться из-за того, что вся корейская аристократия говорила на китайском языке. Похожая ситуация складывалась и в России с французским языком, и только патриотически настроенная российская аристократия сумела успешно конкурировать с европейской литературой сначала внутри страны, а к концу XIX века даже и вовне.

Зато по отношению к казахской культуре русская культура сыграла примерно ту же роль, что китайская по отношению к корейской. Но теперь культурное поглощение угрожает им обоим. А оборонительной силы ни в виде погруженного в национальные сказки патриархального крестьянства, ни в виде гордой просвещенной аристократии уже нет ни у той, ни у другой. И возродить патриархальное крестьянство задача совершенно

неисполнимая (и к тому же лишившая бы страну экономической конкурентоспособности). Задача же возрождения национальной аристократии – общественного слоя, одновременно влиятельного, культурного и патриотичного, – задача непростая, но все же, на мой взгляд, осуществимая.

Мне кажется, Казахстан отдает решению этой задачи гораздо больше сил, чем мы, если она у нас вообще кого-то интересует.

А лично я ощущаю серьезной виной перед своей казахстанской родиной, что по юношеской глупости в свое время не сделал попытки проникнуть в казахскую культуру. Хотя и трудно обвинять глупого мальчишку в том, чем грешит вся европейская культура: истинная культура, истинная цивилизация только-де она, а все остальное годится разве что для этнографического музея.

Зато сегодня меня волнует сама музыка казахских имен: Нурсулу, Умуткан, Жансулу, Бахыт, Кайрат…

И я много лет живу с чувством, что мне по дороге попался золотой самородок, а я его не поднял, потому что спешил на футбол. И после встречи с родиной меня снова начала томить греза: а вдруг мне через столько лет все-таки удастся поднять его?

Гром и молния

После триумфального явления народу солженицынского шедевра «Один день Ивана Денисовича» его автор почти сразу же скрылся за политическими тучами. Из которых время от времени доносился сначала гром и лишь затем молния – сначала появлялась разгромная статья и лишь с большим опозданием, на папиросной бумаге, на одну ночь, а то и на полчаса кто-то из друзей подбрасывал едва различимый текст, породивший эти громы. Сейчас уже и не припомнить, что в них было, в памяти осталось лишь собственное ощущение: так их, режь правду-матку!

Зато «Красное колесо» прикатилось к нам в перестроечную пору, когда появилась возможность различать и художественные качества: историческая составляющая необыкновенно интересна, лирическая из рук вон плоха.

Впрочем, историософская идея, явившаяся среди демократического пиршества, от этого не становилась менее сенсационной: Россию убила демократия, «большевицкая» диктатура сумела овладеть только трупом. Но лишь урок «Как нам обустроить Россию» явился своевременно – сначала молния, а затем гром. От него и осталось впечатление чего-то всеобъемлющего и громокипящего, не поддающегося ясному и сжатому пересказу. Отчего впоследствии я с большим почтением выслушивал сетования почитателей Солженицына, что если бы-де его послушали, то все пошло бы гораздо лучше: стало быть, сумели его понять по-настоящему умные головы!

Попробую же к ним присоединиться хотя бы двадцать лет спустя: известно же, что задний ум крепче переднего.

Первое, от чего в свое время радостно захватывало дух: МЫ – НА ПОСЛЕДНЕМ ДОКАТЕ.

Вроде бы что ж тут хорошего? Да ведь это не мы, это наши враги, наша власть оказалась на этом самом докате, а уж мы-то сумеем обустроиться, только бы нам их свалить! И то, что Солженицын не разделял этой эйфории разгулявшегося детсада, говорит о его гораздо большей политической искушенности: мир полон конфликтов, которых мы пока еще не видим. И первейшие из них – национальные: «Ничто нас не убедит, что наш голод, нищета, ранние смерти, вырождение детей – что какая-то из этих бед первей нашей национальной гордости!»

Уже один этот приоритет национальных проблем позволял наиболее благородным нашим интеллигентам отмахиваться от них, приклеивая Солженицыну ярлык националиста: ведь у нас в детском саду порядочные люди национальностей старались не

замечать – избалованные дети больше всего ненавидят свою бонну. Только утекшие годы и утекшая кровь помогли мне понять, что главные наши враги действительно не власть и не бедность (по отношению к пяти процентам обитателей земли), а старость и смерть, бесследное исчезновение. Спастись от чувства бессилия перед которыми мы хоть отчасти можем, лишь отождествляясь в своем воображении с чем-то могущественным, почитаемым и долговечным – ничего подобного, кроме национальной принадлежности, сегодняшний безрелигиозный мир предложить не может. И потому тот, кто покушается на наше национальное достоинство, действительно покушается на самые основы нашего душевного благополучия. Оттого-то из-за материального ущерба готовы на убийство лишь отдельные изверги, а из-за национального унижения почти все. По крайней мере, отвернуться, когда это делают другие. Именно поэтому Солженицын был глубоко прав, когда начал с вопроса: «А как будет с нациями? в каких географических границах мы будем лечиться или умирать?»

Но как же он отвечает на этот вопрос? «Надо безотложно, громко, четко объявить: три прибалтийских республики, три закавказских республики, четыре среднеазиатских, да и Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, эти одиннадцать – да! – *непременно и бесповоротно будут отделены».* Казахстан, правда, излишне раздут, поэтому его «русский север» должен отойти к России. Теперь-то мы понимаем, что подобные «отходы» осуществляются лишь военным путем, а Солженицын уповал на некое мирное сотрудничество неких экспертов – как будто не догадываясь, что тот политик, который уступит хотя бы пядь «родной земли», навеки даст своим конкурентам возможность клеймить его предателем. Такие решения по силам лишь сверхавторитетным вождям, да и то под давлением неодолимых обстоятельств, понятных даже «простому человеку». Который в тот момент никаких таких обстоятельств не видел.

Ну а «Слово к украинцам и белорусам» еще более наивно: «Да народ наш и разделялся на три ветви лишь по грозной беде монгольского нашествия да польской колонизации. Это все – придуманная невдавне фальшь, что чуть не с IX века существовал особый украинский народ с особым не-русским языком. Мы все вместе истекли из драгоценного Киева, "откуду русская земля стала есть", по летописи Нестора, откуда и засветило нам христианство. Одни и те же князья правили нами: Ярослав Мудрый разделял между сыновьями Киев, Новгород и все протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома и Белоозера;

Владимир Мономах был одновременно и киевский князь и ростово-суздальский; и такое же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси и создал Московское государство. В Литве и Польше белорусы и малороссы сознавали себя русскими и боролись против ополяченья и окатоличенья. Возврат этих земель в Россию был всеми тогда осознаваем как *воссоединение».*

Что, если бы какой-то патетический американец воззвал к англичанам и австралийцам с призывом воссоединиться? Мы-де и происходим из единого корня, и говорим на одном и том же языке… Или Испания с Португалией предложили это Латинской Америке, если не друг другу? Им ответили бы, что с тех пор возникли новые народы с собственной историей, причем не той, какой она выглядит со стороны, ибо каждый народ руководствуется не научной, а воодушевляющей историей, только и могущей защитить представителей этого народа от страха мизерности, который и заставляет людей объединяться в нации. И то, что в нашей общей истории нам представляется объединяющим, в их воодушевляющей версии может оказаться главным поводом для разъединения.

«И вместе перенеся от коммунистов общую кнуто-расстрельную коллективизацию, – спрашивает Солженицын, – неужели мы этими кровными страданиями не соединены?» Но мы-то уже знаем, что именно «голодомор» служит на Украине одним из важнейших пунктов антироссийской пропаганды…

«Сегодня отделять Украину – значит резать через миллионы семей и людей», – предостерегает Солженицын, хотя отделять и другие им намеченные республики тоже означает резать через миллионы людей и семей – впрочем, о тех миллионах позаботятся всемогущие и великодушные эксперты. Да и Солженицын о них помнит: «Каждое новосозданное государство должно дать четкие гарантии прав меньшинств». Забыв лишь о том, что любые выданные гарантии сильное большинство, гласно или негласно, тут же заберет обратно, когда найдет это выгодным. Слабым всюду живется не очень сладко…

Чувствуя это, Солженицын начинает взывать к неким высшим мотивам: пришел крайний час искать более высокие формы государственности, основанные не только на эгоизме, но и на сочувствии, не гнаться лишь за ИНТЕРЕСАМИ, упуская не то что Божью справедливость, но самую умеренную нравственность. Но какая сила заставит людей отказаться от их интересов – прежде всего психологических, которые и объединяют людей в нации? «Уже кажется: только вмешательство Неба может нас спасти».

Но не посылается Чудо тем, кто не силится ему навстречу».

Искать спасительного Чуда не для торжества над конкурентами, а для мира с ними – это уже само по себе было бы чудом.

Какие чудесные силы должны и ввести в России частную собственность, и не допустить «напор собственности и корысти – до социального зла, разрушающего здоровье общества», то есть какие силы должны помешать сильным эксплуатировать слабых, – на этом неприятном вопросе Солженицын не останавливается, тем более что единственными в тот момент хоть сколько-нибудь организованными силами были ненавистные ему КПСС и КГБ. Которые, не помню, сделали ли на рубеже девяностых хоть один необратимо решительный шаг – похоже, мы этими страшными «органами» больше запугивали себя сами.

Откуда возьмется то верховное САМООГРАНИЧЕНИЕ людей, в чьей природе стремиться к расширению своих возможностей? Противник каких бы то ни было партий – отделения частей от целого, Солженицын уповает на некие спасительные «низы» – «и здесь, как и во многом, наш путь выздоровления – с низов». Но если под низами понимать малые коллективы и небольшие территориальные образования, то групповой эгоизм им присущ ничуть не менее, чем целым государствам. Если не более, поскольку их ИНТЕРЕСЫ нагляднее для каждого.

А нужно еще спасать и семью, и школу, и библиотеки, то есть общественная нравственность должна прийти на помощь именно тем институтам, которые сами ее и порождают. «А вот спорт, да в расчете на всемирную славу, никак не должен финансироваться государством, но – сколько сами соберут». Хотя именно национальный спорт мирового уровня как и всякое явление, увеличивающее восхищение человеком, очень мощно служит сплочению нации.

Солженицын как будто и сознает неконструктивность своих политических рецептов: «Если в самих людях нет справедливости и честности – то это проявится при любом строе». Разумеется, если бы люди были ангелами, им были бы не нужны законы. А вот как обустроить далеко не ангелов? И тут у Солженицына отыскиваются лишь стандартные заклинания: очищение, слово СОБСТВЕННОГО раскаяния…

То есть нужны движения души, присущие людям совестливым, тогда как проблема заключается в обуздании бессовестных. Для противостояния которым и люди среднего нравственного уровня начинают считать совесть непосильной и неуместной обузой. В итоге нравственность должна породить самое себя. Обычные же политические инструменты: партии, профсоюзы – все это эгоистические корпорации. Остается только укорять единственную организацию, чья миссия – печись не о

земном: «Оживление смелости мало коснулось православной иерархии. (И во дни всеобщей нищеты надо же отказаться от признаков богатства, которыми соблазняет власть.)»; «Явить бы и теперь, по завету Христа, пример бесстрашия – и не только к государству, но и к обществу, и к жгучим бедам дня, и к себе самой».

Мало кому удается соединять небесное с земным, смешивать два эти ремесла – пророка, взывающего к совести и небу, и политика, дающего исполнимые советы. Но героическая судьба и масштаб личности Солженицына все-таки затмили его политическую неудачу – он занял прочное место в воодушевляющей истории: в нее попадают за размах, а не за унылое искусство возможного.

Но если все-таки поговорить о Солженицыне-политике? Тогда можно будет сказать, что двадцать лет назад возникла партия из одного человека, объявившего себя противником партий: «Разделиться нам на партии – значит разделиться на части. Партия как часть народа – кому же противостоит? Очевидно – остальному народу, не пошедшему за ней. Каждая партия старается прежде всего не для всей нации, а для себя и своих».

Именно пламенной антипартийностью над царством грез о спасительной многопартийности прогремел солженицынский трактат «Как нам обустроить Россию». Автор коего противостоял всем реальным политическим силам.

Коммунистов он ненавидел пламенно, а «демократов» не без оснований подозревал в групповом эгоизме и самоупоении. Служа в своем воображении, по-видимому, тем низам, которые не способны даже сформулировать свои требования в виде политических программ. Да это и не важно: «Чем размашистей идет в стране политическая жизнь – тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа».

Но открыть простор или даже пробудить духовные силы народа и обеспечить его творческий досуг должна все-таки политика? Из эпохального текста легче понять то, как нам не нужно обустраивать Россию, чем то, как ее нужно обустраивать. Что не нужно: не нужно удерживать Советский Союз – все равно развалится (это 90-й год!), нет сил на империю – и не надо: «Могла же Япония примириться, отказаться и от международной миссии и от заманчивых политических авантюр – и сразу расцвела».

Я думаю, даже самые суровые наши прокуроры согласятся,

что если Россия и не достигла идеальной скромности по части миссионерства и авантюризма, то сделала огромный шаг в этом направлении. Так почему же он не сделался хотя бы крошечным шагом еще и к расцвету? Почему коэффициент полезного действия оказался столь мизерным? Может быть, скромность – лекарство международного, а не только внутреннего употребления?

«А до каких пор и зачем нам выдувать все новые, новые виды наступательного оружия? да всеокеанский военный флот?… Может подождать – и Космос». Насчет наступательного оружия звучит завлекательно, только хотелось бы узнать: может ли армия выполнять оборонительную, профилактическую функцию, не обладая наступательным потенциалом?

По Солженицыну, нам многого не нужно: не нужно гордиться, не нужно надеяться на иностранный капитал, не нужно допускать крупной земельной собственности и вообще такой собственности, которая подавляла бы справедливость и нравственность, – притом что «независимого гражданина не может быть без частной собственности». А если независимый гражданин сам попирает справедливость и нравственность? Тогда остается лишь вздохнуть: «Если в нации иссякли духовные силы – никакое наилучшее государственное устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти, с гнилым дуплом дерево не стоит».

Но откуда возьмутся духовные силы – вопрос остается открытым. Кто допустит «хорошую» собственность и зажмет «плохую», тоже не слишком ясно. Ясно только, что свободные выборы автоматически к этому не ведут: «При полной неготовности нашего народа к сложной демократической жизни – она должна постепенно, терпеливо и прочно строиться *снизу,* а не просто возглашаться громковещательно и стремительно сверху, сразу во всем объеме и шири».

Строиться снизу… Но КЕМ строиться? Кто тот строитель чудотворный, обладающий мудростью, терпением и *силой,* способной удержать неподготовленный народ в созидательных берегах? «Все указанные недостатки почти никак не относятся к демократии малых пространств: небольшого города, поселка, станицы, волости (группа деревень) и в пределе уезда (района)».

Это, пожалуй, единственное, что напоминает практический рецепт: «Наш путь выздоровления – **с низов».** Но как может государство опираться на силу, которая сама нуждается в опеке? И поглощена исключительно местными проблемами? Дух и единство народа пробуждаются единством исторических задач, таких как, скажем, завоевание космоса, а не благоустройством

разрозненных малых пространств – при всей очевидной нужности этого дела.

И тут является универсальный рецепт – раскаяние и самоограничение: «Западную Германию наполнило облако раскаяния – прежде, чем там наступил экономический расцвет»; самоограничение – от чего оно только не лечит, восклицает Солженицын в другом своем бестселлере «Двести лет вместе».

Я могу сказать, от чего оно не лечит: от низкой самооценки – тормоза всякой сколько-нибудь рискованной деятельности, от чувства бессилия и безнадежности – причин «безуемного пьянства», упадка инициативы и даже в значительной степени коррупции, в которой «низы» менее повинны в основном лишь в силу своих малых возможностей. Человеку не дано ограничить самого себя точно так же, как поднять себя за волосы. Человеку дано лишь отказываться от худшего в пользу лучшего. А если у него нет лучшей альтернативы, он неизбежно будет довольствоваться тем, что под рукой. И раскаяние – ощущение, что упустил лучшее в погоне за худшим, – может явиться только к проигравшему. Кем и были немцы.

Святой отказывается от стяжательства в пользу Царствия Небесного, благородный человек отказывается от взятки в пользу красивого образа себя. Сам Солженицын отказался от успешной советской карьеры ради неизмеримо более воодушевляющей миссии народного заступника и борца с «красной чумой» – а чем он предлагает воодушевляться рядовому гражданину? Сметать с улиц сор? Полезный труд. Но даже самый маленький человек – все-таки тоже человек, он тоже нуждается в психологической защите от чувства мизерности и бренности. Интересный народ народные заступники: себе для самоутешения избирают высокую историческую миссию, а подзащитным оставляют обустройство собственного двора. Сообщество народных заступников – это прямо какое-то общество защиты животных!

Пробуждение народного духа нужно начинать «с верхов» – с вызывающих восхищение исторических задач: наука, космос, искусство и даже спорт, тоже презираемый Солженицыным. Благодаря блистающим верхам и рядовой гражданин тоже начинает чувствовать себя участником исторических дел, не завершающихся с его смертью. Включить человека в череду поколений, служащих какому-то великому наследственному делу, – одна из важнейших задач любого государства, в кризисные же периоды просто важнейшая.

А либералы еще обзывали Солженицына государственником…

Творческий консерватизм

Поскольку в наше время властителями душ являются шоумены, то идеи консерватизма овладеют массами не раньше, чем их начнет проповедовать Ксения Собчак. Но покуда попробуем порассуждать собственными скромными силами.

Что хорошего в консерватизме? Разве не лучше вечное обновление и улучшение – нравов, штанов, мобильных телефонов? Увы, слишком большой выбор порождает в человеке чувство неуверенности в собственных решениях, слишком частое обновление обостряет ощущение бренности всего земного… В романе «Горбатые атланты» я вообще выдвинул ту идею, что причиной самоубийств являются свобода и новизна.

Я бы сформулировал принцип консервативной философии так: **долговечное важнее сиюминутного.** Или **– экзистенциальное важнее социального:** у человека нет более важной задачи, чем преодоление ужаса перед бесконечно могущественным и безжалостным мирозданием, перед своим неотвратимым исчезновением. Поэтому государство должно в первую очередь хранить и развивать традиционные культурные механизмы, поддерживающие в людях чувство причастности к бессмертию, могуществу и красоте. Поскольку создание новых механизмов такого рода – дело почти невозможное или как минимум требующее нескольких поколений.

Новые цели следует изображать не отрицанием, но продолжением прежних, «вечных», старые ценности следует не уничтожать, но реинтерпретировать в пользу новых. И народ полюбит консерваторов, работающих на вечность, когда узреет не только их слова, но и дела, позволяющие ему ощущать себя красивым и бессмертным. Только где их взять – творческих консерваторов, готовых не торговать однодневками, а творить великие дела, оставляющие след в истории? Это невозможно без возрождения национальной аристократии, то есть творцов и служителей коллективных наследственных мечтаний.

Аристократический консерватизм должен смотреть на вещи с точки зрения если не вечности, то долговечности, предпочитать «широте» – «долготу». Постоянно ставить перед собой не тот вопрос, который сегодня считается главным: насколько широкого круга людей это касается? – но вопрос, сегодня слишком уж непопулярный: как долго эта проблема будет оставаться актуальной? Многих ли она будет волновать через одно – два – три – десять поколений?

Подобный подход сегодня расхожий гуманизм заклеймил бы

как антидемократический, ибо демократично только то, что служит повседневным нуждам так называемого простого, массового человека, однако подобная трактовка гуманизма и демократии основана на глубочайшем презрении к этому самому простому человеку и, в сущности, даже на отказе считать простых людей людьми. «Простых людей», не нуждающихся в том, чтобы чувствовать себя причастными чему-то долговечному, не заканчивающемуся с их жизнью, не существует.

Пожалуй, наиболее долговечное в нас и есть наиболее человеческое. А потому смотреть на вещи «с точки зрения вечности» очень часто означает интересоваться наиболее человеческим в людях.

Долговечным же бывает только то, что поражает воображение, а в веках живут вообще одни лишь легенды. Поэтому, если Россия хочет жить долго («вечно»), ей абсолютно необходимы люди-легенды, события-легенды. Те, кто нацелен на дела, способные жить в памяти потомков, и составляют национальную аристократию. Именно благодаря своей аристократии и выживают народы: их сохраняет не территория и не экономика, а предания о великих предках и надежды оказаться их достойными. Да, народы сохраняются, *консервируются* воодушевляющими фантазиями – становящимися смертельно опасными для народа, если они уходят слишком далеко от наблюдаемых фактов, и ведущими к распаду нации, если они исчезают вовсе.

Следовательно те, кого действительно ужасает стон «Россия погибает!», должны признать первейшей задачей («национально идеей») развитие национальной аристократии, расширение круга людей, мечтающих поражать воображение, свое и чужое, и этим оставить след в памяти потомков. Что, разумеется, не отменяет ни борьбу с бедностью, ни борьбу за увеличение пенсий, за качество здравоохранения и прочая, и прочая. И все-таки одновременно с этим **нужно делать ставку на особо одаренных и особо романтичных во всех областях человеческой деятельности – это и есть первейшая задача творческого консерватизма.**

Но разве интеллигенция не есть та самая взыскуемая аристократия? Нет, интеллигент – это поверженный аристократ. Отвергнутый от исторического творчества, а потому объявляющий недоступный виноград зеленым. Поэтому аристократ стремится к свершениям – интеллигент оплакивает издержки. Аристократия – двигатель, а интеллигенция – тормоз общества. Тормоз – вещь, разумеется, крайне важная, но без двигателя и он не понадобится.

Как, вознегодует интеллигент, по-вашему, простые люди, равнодушные к вечному и долговечному, опять должны служить материалом для творящих историю «великих личностей»? Отвечаю: не нужно жалеть простого человека больше, чем он жалеет себя сам. Разве не самые что ни на есть простые люди первыми голосуют за фашистов и коммунистов, сулящих им национальное и классовое величие? Ибо и у власти, и у рядового смертного есть общий могущественный враг – ощущение ничтожности и бессмысленности существования. Против этого врага народ и объединяется с властью.

Но что же мешает интеллигенту примкнуть к союзу, к которому его влекут и экзистенциальные, и профессиональные нужды? Ведь ни высокая наука, ни высокая культура не могут выжить без помощи государства…

Ему мешает гордость. Ему кажется (и он совершенно прав), что народ, а особенно государство, недостаточно его ценит. Однако если народу как стороне малопросвещенной и тоже страдающей он это неуважение простить еще может, то снисходить к государству очень трудно даже мысленно – слишком уж неравны силы и возможности. Но обидчика, которого не можешь презирать, приходится ненавидеть…

Если государство возьмет за правило систематически делать по отношению к интеллигенции символические жесты уважения и признания, оно практически бесплатно обретет аристократическое движение творческого консерватизма.

Чего хочет террорист?

В Ираке, Израиле, в Чечне взлетают на воздух автомобили, а то и люди, нагруженные взрывчаткой, – «народ борется с оккупантами». Но Лондон, Мадрид, где вроде бы никто никого не оккупирует… «Чего же ты хочешь?» – взывает цивилизованный мир к террористу: если он ищет комфорта, дадим ему комфорт, если ему нужен социальный рост – откроем ему все пути. А может быть, он просто запуган своими вождями и тогда нужно внушить ему еще больший ужас?..

Террор – устранение или устрашение соперников – так же стар, как само человечество. Однако самое первое, архетипическое убийство – убийство Каином Авеля – не было вызвано корыстными мотивами: это было убийство в борьбе за близость к Богу. Вот и современный идейный террорист лично ничего не приобретает, а вдобавок и убивает большей частью тех, кто ни ему, ни пославшим его не сделал ничего конкретно плохого. Сегодняшний террор стремится не столько запугать врагов, сколько воодушевить единомышленников: противник не так уж всемогущ и всеведущ, мы-то будем покруче!

Но неужели все эти героические злодейства творятся всего только ради утоления простейшей хулиганской потребности быть лучше ненавидимым, чем презираемым? Это сходство слишком уж внешнее – современный терроризм гонится за удовлетворением не материальных и даже не социальных, но **экзистенциальных** потребностей. Потребностей в чем-то вечном и бесспорном, позволяющем забыть о жалкой участи человека в бесконечно могущественной и бесконечно равнодушной к нему вселенной. **Страх ничтожности** – вот сокрытый двигатель современного терроризма: **современный террор порождается ущемлением не материальных и даже не социальных, но метафизических потребностей человека. Современный террорист борется не за почетное место в том или ином социуме, но за почетное место в мироздании. Точнее, за воображаемую картину мира, в которой он не ощущал бы своей мизерности и мимолетности.**

Но зачем для этого стулья (и судьбы) ломать? Увы, каждому обществу, ориентированному на достижение реальных, «земных» целей, хочет оно того или не хочет, приходится вступать в состязание с романтическими идеологиями, предлагающими человеку иллюзорное участие в великих и бессмертных свершениях. И если даже гражданское общество, сосредоточившись на чисто прагматических задачах, и не помнит

о романтических соседях, оно все равно остается для них источником соблазна – особенно если оно окажется материально преуспевающим: самим своим свободным и комфортабельным образом жизни оно будет невольно намекать, что можно очень даже приятно прожить, не напрягаясь ради чего-то отдаленного и незримого.

Не случайно же мишенью современных террористов – как внешних, так и внутренних – сделались отнюдь не деспотические и эксплуататорские, но, напротив, самые свободные и благоустроенные государства современности. И удар наносится вовсе не по власти, а именно по обществу – по случайным людям. Можно сказать, **по образу жизни. По конкурентной культуре.** И лучшие умы ломают голову, как бы так превратить конфликт культур в диалог культур. В либеральном мире даже возникла своя риторика, в которой святая троица «диалог, компромисс, толерантность» предстает такой же панацеей, как обобществление в марксизме-ленинизме. Но увы: толерантными и прагматичными бывают только победители, желающие спокойно наслаждаться плодами своего успеха, – побежденные же всегда их ненавидят и сочиняют самоутешительные сказки в том духе, что проиграли они исключительно из-за своего великодушия и благородства, а победители восторжествовали над ними только потому, что были подлыми и безжалостными, – **из компенсаторных сказок побежденных в основном и вырастают террористические химеры.** Заметно увеличить количество толерантности в нашем мире (уменьшить количество потенциальных террористов) можно, лишь уменьшая количество людей, которые ощущают себя побежденными. Однако ни на каком пьедестале почета не могут разместиться многие…

В борьбе с ужасом ничтожности каждый народ выстраивает этот пьедестал для себя сам, создавая свою культуру для самовозвеличивания (не только в социальном мире – в мироздании!); *когда же его коллективные грезы угасают, от него первыми отворачиваются собственные отпрыски, чувствуя, что национальные сказки уже не в силах защитить их от космического холода и одиночества.*

Потому-то, вопреки либеральному катехизису, национальные культуры не сближают, но, напротив, наиболее остро разобщают нации. Я имею в виду, разумеется, не респектабельные «вершки» культур, но полубессознательные «корешки» предвзятостей и преданий, «обосновывающих» убежденность (всегда иллюзорную) каждой нации и включающей ее цивилизации, что именно она «самая-самая», – ради этой убежденности они и создаются.

И компромиссный диалог возможен при дележе прибыли, но

не на конкурсе красоты, где победителем может быть признан только один или, по крайней мере, немногие. А состязание народов больше похоже на конкурс красоты, чем на торг дельцов. Нации создаются и объединяются в цивилизации не ради достижения каких-то практических материальных целей – для этого существуют промышленные и финансовые корпорации, включая криминальные, – а ради обретения (всегда иллюзорного) чувства избранности, уникальности, причастности к чему-то прекрасному, почитаемому и долговечному.

Но представляете себе общество, в котором избранными себя считают все? Когда конкурируют не прибыли или технологии, но воодушевляющие фантазии?

И можно ли избежать ненависти, когда конкурент пытается разрушить твое жилище? А главным жилищем всякого человека являются его иллюзии. И для них разрушителен любой рациональный анализ, любое соседство чужой сказки, обнаруживающее относительность нашей: слишком тесное соприкосновение культур всегда бывает гибельным как минимум для одной из них. Хотя культура победившая, вобравшая в себя какие-то приглянувшиеся элементы уничтоженной соперницы, уже может позволить себе великодушие, принявшись воспевать исчезнувших индейцев, черкесов или сарацинов.

Но в настоящем, вопреки либеральным химерам, чем лучше народы узнают, тем сильнее и раздражают друг друга: каждый все отчетливее понимает, что его возвышенному образу самого себя нет места в мире другого, что другой точно так же, как и он сам, приберегает возвышенные чувства для борьбы с собственным, а не с чужим страхом ничтожности.

Конфликты иллюзий самые непримиримые, и диалог их может только обострять. Ибо и в самом деле невозможно доказать, что именно моя мама лучше всех, а моя Дульсинея самая прекрасная дама во всем подлунном мире. Возражая против этого, мы не переубеждаем, но лишь оскорбляем друг друга. А переубедив, уничтожаем миражи, которые только и наполняют нашу жизнь смыслом и красотой, скрывающими от наших глаз ужасную правду о нашем бессилии и мимолетности.

Но таких дураков, которые бы с легкостью позволили чужим миражам вытеснить свои, на свете нет и не предвидится.

Короче говоря, откровенный диалог культур, равно как и слишком тесное их сближение, почти всегда ведет к конфликту. В котором проигрывающая сторона рано или поздно берется за оружие. И подкупить или запугать идейного террориста социальными средствами невозможно, ибо он борется не за место в социуме, а за место в мироздании. Его можно только

соблазнить. Открыв ему возможность ощутить себя красивым внутри какой-то иной иллюзии. Не имея новых грез, он станет защищать прежние, не щадя своей, а тем более нашей жизни.

Корейские чудеса

Когда мы готовились перепрыгнуть в рыночную экономику – непременно одним прыжком, пропасть не одолеть в два прыжка (какие метафоры тогда еще были в чести – «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», «нельзя быть немножко беременной»), – главной сказкой была вера в Систему: должны работать не люди, должна работать Система. И рыночная система всегда работает хорошо, а административно-командная плохо: в Западной Германии живут хорошо, а в Восточной намного хуже, в Южной Корее хорошо, а в Северной совсем плохо. А начинали одинаково ужасно.

Но южных корейцев спасло корейское чудо, нас же спасет русское.

Русского чуда пока не видать, зато корейское переживает что-то вроде юбилея.

Когда после опустошительной гражданской войны Корея окончательно разделилась на социалистическую и капиталистическую, по нашим перестроечным представлениям, рыночная часть во главе с доставленным из либеральной Америки Ли Сынманом должна была двинуться к процветанию, а тоталитарная – к деградации, однако получилось ровно наоборот. Северная Корея со скрипом двинулась в гору, а Южная погрузилась в нищету и тотальную коррупцию. Тогда-то и случилось первое корейское чудо: на фоне экономического развала, беспросветной зависимости от американской помощи и чудовищной безработицы Ли Сынман в марте 1960 года собрал 88,7 процента избирательских голосов. Народ, однако, в чудо не поверил, выборы были признаны фальсифицированными, начались массовые демонстрации, схватки с полицией, появились убитые и раненые, а в день 19 апреля («кровавый вторник») погибли сто восемьдесят шесть человек, свыше шести тысяч получило ранения.

В итоге 26 апреля отставки Ли Сынмана потребовало Национальное собрание, американцы тоже осудили «клику Ли Сынмана» и от греха подальше помогли ему перебраться на Гавайи. В Корее же после хаотической свалки спасителей отечества пришла к власти военная хунта во главе с генералом Паком Чонхи. Она прижала наиболее неукротимых борцов, расправилась с наиболее намозолившими глаза коррупционерами и «сатрапами», но с 1 января 1963 года в стране была снова разрешена политическая деятельность. Так что в новых президентских выборах Пак Чонхи участвовал уже как глава

сколоченной менее чем за пару месяцев Республиканской партии *(Конхвадан)* и победил с очень небольшим преимуществом.

Далее о нарушениях демократических процедур и прав человека отцом корейского экономического рывка можно рассказывать очень долго, однако чудо превращения разоренной и отсталой страны в богатеющую на глазах и передовую состоялось именно при нем. И, что самое удивительное, а для России еще и поучительное, никакой новой Системы генералу не понадобилось. При Ли Сынмане были чэболи – семейные финансово-промышленные корпорации, занимавшиеся всем на свете, – и при Паке Чонхи остались чэболи; при Ли Сынмане от предпринимателей требовалась лояльность – и при Паке Чонхи строптивость отнюдь не поощрялась. Секрет генеральского успеха заключался, по существу, в одном: он *действительно* желал видеть государство сильным и процветающим, власть была для него не высшей целью, но средством достижения другой, гораздо более высокой цели. Ради которой он был готов рисковать головой и в конце концов ее и впрямь потерял: во время одного из покушений была убита его жена, а сам он 26 октября 1979 года среди очередного политического кризиса был застрелен начальником Центрального разведывательного управления. Можно сказать, прямо на производственном совещании.

В момент гибели Паку Чонхи ненамного перевалило за шестьдесят, но за восемнадцать лет его правления южнокорейская модернизация достигла совершеннолетия. И дальше могла жить и развиваться самостоятельно. Отчего и недовольство его режимом усиливалось не по мере неудач, а по мере успехов: требования политических свобод росли вместе с верой, что теперь-то уж для зажима демократии нет никаких серьезных оправданий.

Никаких экономических Америк генерал и подлинно не открыл. Бедных он заставил не бузить, а работать, богатых же – не воровать и не транжирить, а развивать производство. Государственные и межгосударственные льготные инвестиции и выгодные госзаказы получали те, кто справлялся с *пятилетним планом.*

Государственное планирование тоже выстраивалось без затей. Поскольку подниматься приходилось с нуля, производить начинали наиболее простые вещи, продавая их туда, где за них платили наиболее дорого, – в богатые развитые страны. Вырученные же средства вкладывались не в зарубежные дворцы и футбольные команды, а в новые технологии и образование, которое позволяло бы населению этими технологиями овладевать.

Для успеха всего-то и требовались *люди* – могучая кучка

держателей власти, всерьез желавшая послужить своей стране. Для нынешних практичных времен это и есть главное чудо.

Терапия успехами

Либеральные идеологи не раз дивились, почему народ ужасным авторитарным модернизаторам вроде Петра или Сталина прощает если не все, то очень многое, а либеральным всякое лыко ставит в строку. Ответ ясен: если женщина меня не ценит, значит, она испорченная дура, если народ предпочитает тиранов, а не нас, таких гуманных и просвещенных, значит, это нация рабов, обожающая поклоняться убийцам.

Но отчего народ не сложил ни одной песни о Чикатило? Почему в тюрьмах никто не проникается преданностью надзирателям-садистам?

Все разговоры о нации рабов – либеральные самоутешительные сказки: таких наций не бывает. Человек всегда испытывает неприязнь к тем, кому вынужден подчиняться не по доброй воле, и, более того, всегда испытывает тайную или явную ненависть ко всякому, кто внушает ему страх. Люди почитают и охотно повинуются тирану лишь до тех пор, пока видят в нем орудие *своих* целей. И если какой-то тиран – особенно если не за их счет, а тем более в прошлом – наворотил целую гору подвигов вперемешку с горой ужасов, потомки стараются закрывать глаза на ужасы, ибо воспоминания о подвигах предков укрепляют их экзистенциальную защиту, ослабляют страх собственной ничтожности, а именно ощущение нашей мизерности в мироздании есть главный враг и разрушитель человеческого счастья.

Модернизаторы же, которые не ставят перед народом великих целей, не поддерживают в нем абсолютно необходимое каждому народу ощущение собственной исключительности, но всего лишь предлагают ему уподобиться некоей норме, сделаться в лучшем случае двенадцатым в дюжине лидеров, – они экзистенциальную защиту разрушают. Ибо представление о собственной дюжинности разрушительно как для личности, так и в неизмеримо большей степени для народа. За какие же коврижки народ станет прощать хоть малейшие неудобства планировщикам, которые, перестраивая дом, оставят хозяев без крыши воодушевляющих мечтаний? Пускай страдания не столь уж невыносимы, но зато они вовсе не имеют высокого оправдания. Лишения, вызываемые либеральными преобразованиями, могут быть оправданны только в том случае, если они будут сопровождаться укреплением национальной экзистенциальной крыши.

Начиная модернизацию, необходимо прежде всего

озаботиться экзистенциальной защитой граждан, изображать обновления не как стремление к дюжинности, а как еще не виданный в истории подвиг. Что не так уж далеко от истины: не припомню, чтобы какая-то держава по доброй воле расставалась с милитаризованным тоталитарным прошлым. При ослабленной экзистенциальной защите каждая неудача (а любой реальный путь бывает переполнен неудачами) порождает не нормальную досаду, но – отчаяние, способное погубить даже самое успешное дело.

И единственная терапия от подобного отчаяния – терапия успехами. Хотя бы небольшими. Хотя бы воображаемыми. Хотя бы не собственными, а успехами тех, с кем униженный и оскорбленный эмоционально себя отождествляет – вплоть до любимой футбольной команды. Или тем более успехами его страны, эмоциональное слияние с которой являет собою главный слой его экзистенциальной защиты.

Но что делать, если в исцелении нуждается именно страна? К счастью, всегда остается множество аристократических личностей, исполненных веры в свое дело, готовых творить подвиги во имя своей мечты и тем поддерживать воодушевление остальных. Аристократических натур полным-полно среди учителей, врачей, библиотекарей, инженеров, ученых, военных, спортсменов – я долго не находил среди них лишь менеджеров, они казались мне мелкотравчатыми прагматиками, бесполезными в делах исторического масштаба. Но вот недавно мне пришлось пообщаться со студентами нового финансово-экономического института, и предубеждения социального расизма меня оставили. Прелестные девушки-экономистки так же стремились послужить чему-то прекрасному и бессмертному, как физики и лирики нашей молодости.

Похоже, все-таки есть на кого оставить Россию!

Борьба с протезом

Наркомания действительно чума – уже XXI века. И если бы можно было отгородиться от нее кордонами, я бы стоял за то, чтобы пограничники на этих кордонах имели право стрелять без предупреждения. Правда, и тогда было бы неясно, какие мотивы побудили бы борцов с наркомафией не доить, а давить ее: ссориться с нею куда опаснее, чем с контролирующими организациями, которые, во всяком случае, не станут убивать по одному лишь подозрению в предательстве – так что для охраны антинаркотических границ нужны тысячи и тысячи бесстрашных идеалистов. Откуда им взяться в обществе, где высшей мудростью объявлен прагматизм?

И какими заставами можно отгородиться от болезни, возбудитель которой находится внутри человека? Ибо человек трезвыми глазами на жизнь смотреть не может – слишком она страшна и скучна, если вглядеться в нее с холодным вниманьем. И прежде люди опьянялись средствами культуры – воодушевляющими выдумками. Именно культура доставляла человеку захватывающие переживания, наполняла его жизнь смыслом и красотой, защищала от чувства бессилия и заброшенности. Но когда в погоне за практичностью человек уничтожил все красивые сказки, он остался наедине с устрашающей наготой жизни и начал добивать до нормы психоактивными препаратами.

Наркотики пытаются выполнять ту функцию, которую в обществе прежде выполняла культура, подобно тому как протез пытается взять на себя функции утраченного органа. А потому, удаляя протез, необходимо бороться с экзистенциальным кризисом, восстанавливать ощущение красоты и значительности мира, в котором мы живем.

XX век – век великих и ужасных романтических химер – породил рационалистическую реакцию, утопию безутопизма: не нужно думать о высоком, далеком, героическом, наследственном – нужно заниматься исключительно личным благоустройством. Так что надеяться на то, что подобная либеральная идеология может оказаться полезной в борьбе против наркотиков, еще более наивно, чем заливать костер бензином. Наркомания вызвана упадком романтических грез, а потому и потеснена может быть отнюдь не рациональностью, но тоже лишь какой-то воодушевляющей мечтой.

Она совсем не обязательно должна быть одна на всех – вполне возможно демонстрировать молодежи героев во *всех*

профессиях, ибо в каждой из них есть место подвигу. Второе – необходимо деромантизировать наркотическую субкультуру. И лично я в своем антинаркотическом романе «Чума» старался показать не столько то, что наркотики – это страшно (прыгать с парашютом тоже довольно страшно), сколько то, что наркотики – это отвратительно. И этим нужно заниматься постоянно – хотя бы просто давать слово людям, которые знают, что такое наркотики, не из баек о роскошных пороках рок-звезд.

Но все-таки самым мощным антинаркотическим средством является причастность к чему-то великому, участие в великом историческом деле. И столь необходимые России модернизационные преобразования не сделаются воодушевляющим антинаркотическим стимулом, если изображать их «догоняющей» модернизацией. Не следует предлагать народу всего лишь уподобиться некоей норме, сделаться в лучшем случае двенадцатым в дюжине лидеров: нашу модернизацию нужно изображать чем-то невиданным и неслыханным, чем она и является, ибо еще ни один народ не расставался с тоталитарным наследством по доброй воле.

Борьбе с наркоманией и наркомафией должна сопутствовать борьба с отверженностью, государственная программа, открывающая молодым людям из социальных низов путь наверх. Не на тот верх, с которого можно на всех плевать, а на тот, где можно объединиться в труде со всеми сообща и, как следствие, заодно с правопорядком.

Ибо, сколь ни желательна романтизация нашей действительности, романтизировать пустоту все-таки невозможно – необходима первичность материального деяния исторического масштаба.

День стыда и бесстыдства

27 января – день освобождения Освенцима – в ряде европейских стран объявлен днем памяти и скорби о жертвах холокоста. Но чудом выживший итальянский писатель Примо Леви в тот день на лицах советских солдат увидел *стыд,* «который испытывает честный человек за чужую вину». А в 1987 году среди благополучнейшей жизни Леви решился на то, на что не покушался среди жизни поистине чудовищной, – на самоубийство. За год до того в своей последней книге «Канувшие и спасенные» подведя итог опыту, который наш Шаламов считал абсолютно бесполезным.

Примо Леви *всерьез* задает вопросы, многократно задававшиеся как риторические: запомнит ли мир ужасы холокоста? Извлечет ли из них необходимые уроки? Ответы обычно подразумеваются оптимистические типа «Не забудем!» и «Не повторится!», но Орфей, побывавший в аду, в этом далеко не уверен.

Прежде всего сами источники коллективной памяти написаны редчайшими везунчиками. Готовыми при этом выживать за счет товарищей по несчастью – иной возможности просто не было. Не было ни единого шанса выжить и у тех гордецов, кто был не согласен с утра до вечера глотать оскорбления и удары. Поэтому люди с особенно чувствительной гордостью и особо обостренной совестью (а именно их свидетельства представляли бы главную ценность) имели наименьшие шансы выжить – и наибольшие мотивы скрыть постыдную правду.

Да, да, **стыд испытывали жертвы, а вовсе не палачи.** Примо Леви не оставляет камня на камне от той слащавой педагогической сказочки, которой прогрессивная общественность уже десятилетия испытывает терпение россиян: немцы-де покаялись – берите и вы с них пример. Образцы покаяния, приводимые П. Леви, и впрямь могут служить примерами софистики и лицемерия. Вина перекладывается и на атавистическую злобность человеческого подсознания, и на власть дьявола, и на роковой выбор между нацистами и коммунистами, и на хитроумную ложь гитлеровской пропаганды, и на невозможность открытого выступления при тоталитарном режиме…

Только самооправдание под маской покаяния и пробуждает металл в усталом голосе писателя: за свою вину надо отвечать лично, не перекладывая ее на дьявола, не нужно делать вид,

будто Гитлер хитроумно скрывал свои цели – в его «Майн кампф» есть и кровь, и родная почва, и жизненное пространство, и вечный враг, евреи, и высшая человеческая раса, немцы, и другие страны с отведенной им ролью немецких подданных.

«Эсэсовцы, убивая евреев, действовали по приказу, но в войска СС они шли добровольно! В Катовицах после освобождения я своими глазами видел бланки заказов на бесплатное получение главами немецких семей одежды и обуви для взрослых и *детей* со складов Освенцима. Кто-нибудь озадачился вопросом, откуда взялось столько детской обуви?

…Будучи жителем Италии, знаю я и то, что "восставать в тоталитарном государстве невозможно"; но мне известно также, что существуют тысячи менее опасных способов выразить свою солидарность с угнетенными, и к этим способам прибегали в Италии многие даже во время немецкой оккупации, но в гитлеровской Германии случаи выражения такой солидарности были очень редки».

И это пишет человек, давно смирившийся с тем, что в Освенциме даже немногочисленные герои сопротивления могли вести свою подпольную деятельность, лишь в той или иной степени становясь подручными убийц. Жаль, что химик Примо Леви не додумался ввести такое понятие, как «удельная подлость»: величина совершенной подлости делится на величину принуждавшего к ней давления, – вполне возможно, что по коэффициенту удельной подлости наши наставники серьезно обошли бы воспитуемых.

В послесловии к «Канувшим» известный социолог Б. Дубин отмечает, что холокост «не относится для сегодняшних россиян к решающим событиям XX века, к его крупнейшим катастрофам». Для европейцев же, добавлю я, холокост относится к числу тех осточертевших катастроф, по поводу которых нужно постоянно демонстрировать постную мину, отводя душу лишь на преувеличениях насилий «израильской военщины».

Попытки заставить людей жалеть кого-то больше, чем хочется, могут вызвать лишь неприязнь и к воспитателям, и к тем несчастным, принудительного сочувствия к которым они добиваются.

Интересно, что нацисты старались оградить палачей от невольного сострадания посредством «бесполезной жестокости» – она должна была расчеловечить будущие жертвы, сделать их отвратительными. Для этого и нужно было раздевать их догола, лишать отхожего места, чтобы им приходилось справлять нужду где придется… Штагль, комендант Треблинки, выразился с предельной ясностью: заключенных следовало лишить

человеческого облика, чтобы убийцам было легче их убивать.

Примо Леви не первый, кто отмечает, что труднее было сломить людей, обладающих верой – религиозной или политической. Зато нет и таких жестокостей, на которые люди не решаются, когда чувствуют опасность для своих воодушевляющих иллюзий, – собственно, и уничтожение евреев было защитой воодушевляющих химер немецкого народа.

Для каждой системы воодушевляющих сказок есть три главных источника опасности: обновление образа жизни, приток носителей иной культуры (иных сказок) и рационалистический скепсис. Это и есть три источника фашизма, и евреи, на их беду, оказались причастными ко всем трем.

В этой стандартной ситуации и был запущен стандартный оборонительный механизм: 1) успешный конкурент объявляется врагом, 2) он упрощается и «опускается» – изображается сгустком корысти и злобы, 3) он расчеловечивается – лишается даже и человеческого облика.

Этот механизм так прост, надежен и бесконечно воспроизводим, что на простые вопросы Примо Леви напрашиваются такие же простые ответы.

Запомнит ли мир ужасы холокоста? Не запомнит, ибо помнить о них слишком мучительно. Извлечет ли из них уроки? Не извлечет, ибо они разрушат защитный слой утешительных иллюзий. Может ли это повториться? Сколько раз потребуется, столько раз и повторится. Никакая умирающая мечта не станет церемониться, стараясь нанести последний и решительный удар. В нашей власти лишь не дразнить ее сверх того, что с нею проделывает естественный ход вещей. В кризисной ситуации, когда народ подвергается мучительному обновлению и массовому притоку чужаков, осмеивать его защитные иллюзии означает подталкивать его к фашизму – вот, пожалуй, тот главный «урок холокоста», в котором укрепил меня Примо Леви.

Что ныне лежит на весах?

В первые дни грузино-осетино-российской схватки, когда суждения лидеров еще не отлились в максимально неуязвимые пропагандистские клише, французский министр иностранных дел Бернар Кушнер с досадой обронил что-то вроде «Россия развернула масштабный конфликт с микроскопическими ставками». Проговорившись тем самым, что ни один серьезный человек не поверит, чтобы другой серьезный человек мог посчитать достойной ставкой спасение чьих-то экзотических жизней. Какая-нибудь там нефть, территория на весах международной дипломатии смотрятся гораздо солиднее…

И тем не менее рациональных оснований для войн у великих держав – держательниц ядерного оружия давно уже нет: все, что можно завоевать, сегодня гораздо дешевле купить. Сегодня ни территория, ни ресурсы (пресловутая «нефть», из скромного энергоносителя превратившаяся в символ) не определяют богатства народов. Ибо главным его источником уже давно сделался человеческий капитал, косвенным свидетельством чего является высокая ценность жизни в общественном мнении развитых стран: потери, по поводу которых Наполеон лишь обронил: «Одна ночь Парижа их покроет», сегодня бы низвергли любое правительство.

Поэтому главной целью развитых стран стала безопасность. И это было бы чудесно, если бы высокая ценность человеческой жизни сделалась пацифистским тормозом для всех государств разом. Но поскольку в мире остается удручающе большое и едва ли не увеличивающееся число режимов, не ставящих человеческую жизнь ни во что в сравнении с великими идеологическими и государственными целями, то угроза вожделенной безопасности исходит именно от них. А потому в сегодняшнем мире главная линия борьбы пролегает между рациональностью и иррациональностью, и с этой точки зрения Россия и Запад должны быть союзниками, ибо при всех пороках обеих сторон наши общества все же в огромной степени являются человекоцентрическими, а не идеоцентрическими.

И все-таки на радость своим истинным врагам они позволяют втянуть себя в холодную войну из-за фантомов, из-за ценностей времен Древнего Рима и Карфагена. Хотя сегодняшние ценности требуют ровно обратного – они требуют сильным и рациональным объединяться против слабых и иррациональных, ибо агрессия исходит от слабых. Однако пока что мы наблюдаем обратное: похоже,

рациональность сама впала в мессианство, обратившись, таким образом, в свою противоположность, да еще и вообразила, что может поставить иррациональность себе на службу, навербовать из ее рядов надежных марионеток. Которые на деле способны работать лишь на самих себя, из года в года натягивая нос своим создателям: иррациональные Давиды – от Кастро до бен Ладена (о тех, что слишком близко, мы лучше помолчим) – десятилетиями используют квазирациональных Голиафов в своих сверхчеловеческих амбициях и даже ухитряются в глазах простаков выглядеть жертвами.

В итоге борьба за безопасность сделалась главным источником опасности. Стремление к идеальному и вообще есть лучший способ разрушить сносное – если бы каждый из нас задумался, каким образом он мог бы сделать своих конкурентов абсолютно не опасными для себя, он очень скоро пришел бы к выводу, что их для этого необходимо истребить всех до одного. А поскольку они в своем стремлении к той же самой цели прекрасно понимали бы ход наших мыслей, то и они немедленно пришли бы к выводу, что спастись они могут, лишь опередив нас. Имея на своей стороне то весьма правдоподобное оправдание, что их действия были всего лишь превентивными.

Некий уровень взаимного недоверия, взаимного страха неизбежно стимулирует агрессию, в которой каждая сторона совершенно искренне ощущает себя жертвой, а вопрос «Кто первый начал?» всегда трактует в свою пользу. Поскольку и в самом деле ни один исторический процесс не имеет начала: прежде чем перейти к «горячей войне», участники конфликта годами, если не веками, обмениваются уколами и ударами, каждый из которых при желании может быть истолкован как казус белли. В итоге нам пришлось бы ответить: первым начал Каин, но и он наверняка возразил бы, что Авель его спровоцировал.

Словом, ставить вопрос «Кто виноват?» – вернейший способ превратить любой межнациональный конфликт в безысходный. Там, где сталкиваются две разные морали, моральный подход абсолютно аморален. Не мораль, но лишь целесообразность дает какие-то шансы на примирение. Но для этого квазирациональный мир должен вспомнить, что его цель – безопасность, а не такие фикции, как нефть или контроль над теми или иными территориями. Ибо, если дойдет до большой драки, все равно никто ничего проконтролировать не сможет (много ли наконтролировали американцы в Ираке или мы в Афганистане?), а добывать нефть ценой безопасности в сегодняшнем мире означает питаться кусками собственного тела.

Но именно это и делает цивилизованный мир, воображающий себя форпостом разума в океане фанатизма. Он забыл, что на весах лежат не полусимволические приобретения в том или ином региональном конфликте, а – без преувеличения! – жизнь человечества. Ибо никакие ракеты и радары, никакое введение новых членов в старые мехи и союзы никого ни от чего не спасет: как, друзья, вы ни садитесь, ядерная зима накроет всех, и живые будут завидовать мертвым. Вся эта мелкая коммунальная склока – кого куда подвинуть и кого за кем усадить – ни в малейшей степени никого не защитит от гибели, а приблизить ее очень даже может.

И если еще недавно главной причиной войн был избыток страха народов друг перед другом, то сегодня причиной мировой войны может сделаться его недостаток. Цивилизованный мир так долго не участвовал в глобальных войнах, что перестал верить в их реальную возможность. Не замечая вследствие этого, что трехдневная стрельба на Кавказе в сравнении с тем, что в реальности лежит на весах, лишь незначительный эпизод в опаснейшей Большой Игре, более всего напоминающий предупредительную стрельбу в воздух. Ту самую стрельбу, роль которой хорошо понимали бабелевские налетчики: если не стрелять в воздух, можно убить человека.

Конечно, это кощунственно – покупать безопасность ценой сотен человеческих жизней, но раз уж это все равно произошло, хотелось бы, чтобы они погибли не напрасно и цивилизованный мир наконец как следует перепугался. И перестал считать абсолютно бесполезную коммунальную возню борьбой за безопасность. Ибо этот увлекательный геополитический спорт на самом деле есть не что иное, как игра со смертью.

Империя свободных зон

Приятель прислал мне по электронной почте эффектный фрагмент из выступления перед учеными отца русской демократии, за которого мы с этим самым приятелем в свое время голосовали всякий раз, когда к тому открывалась возможность. Приятель, правда, уже давно пытался поднять бунт, указывая на то, что эти «отечества отцы, которых мы должны принять за образцы», пока что ничего не сделали для вечности, но мне все казалось, что прошло еще слишком мало времени, а вот когда свободный рынок отбросит последние стеснения – тут-то и расцветут все искусства и науки.

Однако когда я прочел, что ученым следует не просто ждать спасения от лавочников, но еще и самим сделаться лавочниками… Так нашего брата не опускали даже при коммунистах! Когда мы поступали в университет, считалось желательным два года простоять у станка, что открывало дорогу многочисленным троечникам и особо упорным евреям, но даже в ту суровую пору не считалось необходимым вечно совмещать профессию ученого и фрезеровщика. А теперь нам предписывают вечное совмещение лаборатории с лавкой.

Поэтом можешь и не быть, но бизнесменом быть обязан. В приказчичьих кругах не верят, что «служенье муз не терпит суеты», что ученый должен быть свободен от забот о земном: даже простейшие эксперименты показывают, что чем с более серьезными деньгами связывать результат работы, тем лучше люди начинают шевелить руками – и хуже мозгами. Ученые чудаки, не замечающие, в каком мире живут, – это персонажи не только из анекдотов, таким был Бор, в какой-то степени Эйнштейн, а Сахарова мы помним сами.

Однако особого пути не должно быть не только у народов и государств, но даже и у профессий – лавочником должен быть каждый. Культ лавки либеральная пошлость называет деидеологизацией, однако всякому идеологическому действию есть удвоенное противодействие. Раз уж маски сброшены – чем так априорно плохи идеологии особого пути, считающиеся уклонением от светлого будущего всего человечества, а то и претензиями на исключительность?

В пионерлагере это было самое страшное обвинение: ты что, особенный?! Но если бы этот вопрос услышала наша мама, она бы несомненно ответила: конечно, особенный! Те, кого мы любим, всегда особенные, ординарны и взаимозаменяемы только те, к кому мы равнодушны. И мир, а в первую очередь наши

конкуренты, с утра до вечера учит нас скромности, поскольку именно высокая самооценка придает нам сил, и в конце концов мы овладеваем наукой ни на что не претендовать, пропускать вперед тех, кто поумнее да покрасивее, чего они от нас и добивались. Но когда вдруг в нас кто-то влюбляется и говорит: ты единственный, таких, как ты, больше нет, наша душа отвечает не всплеском скромности – всплеском радости…

Каждый человек и каждый народ может любить только тех, кто поддерживает в нем естественное для всякого живого существа чувство собственной уникальности. Зато когда нас оценивают по какому-то чужому критерию, да еще и выставляют не слишком высокую оценку, – тогда-то нам и хочется отвергнуть и оценщиков, и саму их шкалу: мы начинаем настаивать на своей особости, когда нам в ней отказывают. Но поскольку глобализация все больше стран и народов выстраивает по единому ранжиру, а высокие места в любом состязании достаются лишь немногим, то проигравшим поневоле приходится искать утешения в идеологиях особого пути – их расцвет есть реакция на унификацию. И правительства, которые откажутся идти навстречу этой реакции, будут утрачивать популярность, уступая дорогу более услужливым.

Таким образом эта могучая психологическая потребность столь многих (в сущности, большинства) народов неизбежно найдет удовлетворение в разного рода идеологиях «особого пути» – только одни из них будут оборонительными, а другие наступательными. Оборонительными идеологиями я называю те, которые декларируют отказ от приза, за который ведется борьба, а наступательными те, которые призывают насильственно захватить этот приз или, по крайней мере, максимально отравить торжество победителей. Уничтожить этот механизм психологической компенсации никому не под силу – попытки его высмеять, изобразить архаической нелепостью могут разве что превратить оборонительные идеологии в агрессивные (направленные в том числе и на своих разоблачителей).

Многие социологические опросы отмечают у россиян симпатию к некоему особому пути, однако никто даже не ставит вопрос, оборонительный или наступательный характер носит эта симпатия. Лично мне кажется, что в основном пока что оборонительный, но если почаще выводить этот способ самоутешения на чистую воду, то в конце концов удастся превратить его и в агрессивный.

А между тем Россия и в самом деле в одном очень важном отношении чуть ли не два века действительно шла особым путем и достигла совершенно потрясающих результатов, благодаря тому

что творческое меньшинство в ней оказывалось освобожденным и от серпа, и от молота, и от безмена. Этим творческим меньшинством оказывалось то дворянство, то научная интеллигенция, но результат каждый раз оказывался то великим, то просто великолепным.

Уже давно сделалась пошлостью констатация той очевидности, что в России всегда жестко, а то и до нелепости жестоко подавлялась политическая свобода. Однако очень редко или даже никогда не обращают внимания на то, что в России постоянно возникали *свободные зоны.* Зоны, свободные от корысти и заботы о бренном. Зоны, почти невозможные в более демократических странах, где требуется не только трудиться, но и обращать в товар продукты своего труда: недаром гениальнейший из смертных не желал зависеть ни от царя, ни от народа. Хрен редьки не слаще – Пушкин хотел служить лишь своей поэтической прихоти.

На таких-то островках свободы («праздность вольная – подруга размышленья») и рождалась величайшая литература, великая музыка, великолепная наука, позволявшая ученым утолять собственное любопытство за государственный счет. И как раз эти-то островки постаралась уничтожить революция лакеев и лавочников под знаменем рационалистического либерализма. Против которого давно пора возвысить знамя либерализма романтического, отстаивающего для творческой личности принцип «Не продается вдохновенье». А служит красоте и величию человеческого образа. Творит бессмертные дела.

Нет-нет, я не покушаюсь на святое, на свободу торговли. Но побеспокоиться об этой свободе найдется кому и без нас. А вот кто позаботится о свободе ОТ торговли?

Гарантии свободы для служения не бренному, но бессмертному, идеология романтического либерализма хотя бы для узкого круга – это и есть особый путь России.

Сталинизм по-английски

В петербургском БДТ шиллеровский «Дон Карлос» идет с успехом прочным, но не оглушительным – оглушительной бывает только пошлость. А театр платить эту дань не желает, тем более что и мир Шиллера задумывался как мир высоких страстей, противостоящий миру суеты. В этом мироздании даже канонический злодей Филипп Второй, которого гениально играет Валерий Ивченко, предстает бесконечно одиноким, тоскующим по элементарной человечности, трагическим рабом католической химеры, убежденным, что доверчивость и милосердие гибельны для властителя, ведущего Большую Игру в клубе (в клубке) великих держав. Такова природа трагедии – любой серьезный конфликт изображать как столкновение двух правд, а не как столкновение добра и зла.

Зато народный эпос, не менее величественно воссозданный Шарлем де Костером в «Легенде об Уленшпигеле», изображает Филиппа мерзким садистом, истязающим людей без всякой идеологии, из бескорыстной любви к истязаниям: еще ребенком, хилым уродцем, он сжигает обезьянку, а взрослым правителем заставляет кошек «играть» на клавесине, прижигая им хвосты. Для эпического сознания усмотреть в личности врага какие-то человеческие черты означает искать ему оправдания, изменить своему народу.

Вот два главных метода исторической памяти: либо возвышать всех, либо предельно поляризовать друзей и врагов – в друзьях ни пылинки зла, во врагах ни искорки добра.

Наше интеллигентское сознание эпично. В наиболее чистом своем воплощении оно воображает Сталина бескорыстным садистом, творящим зло исключительно из ненависти к красоте и добру. В более же идеологизированной (например, солженицынской) версии Сталин при-глуповатый раб коммунистической химеры («Учения»), стремящийся подчинить ей все языки без всякой выгоды для собственной страны. На отечественном фоне особенно интересно рассмотреть, каким виделся вождь мирового пролетариата Джорджу Оруэллу, мечтавшему послужить этому пролетариату, хотя бы и ценой жизни, в Испании, в рядах наиболее последовательной компартии POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista – Объединенная марксистская рабочая партия). У Оруэлла не было причин ненавидеть Сталина за уничтожение и притеснение наших кумиров, он наверняка не слышал имен Вавилова, Мандельштама, Платонова; ни он сам, ни его близкие никоим

образом не участвовали в борьбе за власть в Стране Советов и нисколько не пострадали от сталинских репрессий – Оруэлла волнует отнюдь не судьба советской интеллигенции, но именно, без дураков, борьба за освобождение рабочего класса. То есть он судит Сталина именно как преданный служитель коммунистической химеры.

И его возмущало прежде всего то, что Сталин этой химере *изменил:* «Коммунистическое движение в Западной Европе началось как движение за насильственное свержение капитализма, но всего за несколько лет оно выродилось в инструмент внешней политики России». Политики вполне традиционной – поиска сильных союзников, способных дать отпор потенциальному агрессору, при очень слабой озабоченности их идеологической окраской. Иными словами, по мнению Оруэлла, договоры с капиталистическими державами во имя единого антифашистского фронта сделались для Сталина важнее международного рабочего движения – он предал коммунистическую грезу во имя государственных интересов Советской России.

Мало того, его ставленники из Коминтерна ради умиротворения своих капиталистических союзников были готовы расправиться (и расправлялись!) с теми, кто оставался верен делу рабочего класса! Тем не менее, как истинный интеллектуал, Оруэлл более всего ненавидит не тех, кто расправлялся, находясь на линии огня, а тех, кто оправдывал измены и расправы, сидя в безопасной Англии, – «людей, духовно раболепствующих перед Россией и не имеющих других целей, кроме манипулирования британской внешней политикой в русских интересах». Он называл их рекламными агентами России, солидаризирующимися с русской бюрократией, готовыми во вторник считать гнусной ложью то, что еще в понедельник было безоговорочной истиной.

«Пришел к власти и стал вооружаться Гитлер; в России стали успешно выполняться пятилетние планы, и она вновь заняла место великой военной державы. Поскольку главными мишенями Гитлера явно были Великобритания, Франция и СССР, названным странам пришлось пойти на непростое сближение. Это означало, что английскому и французскому коммунисту надлежало превратиться в добропорядочного патриота и империалиста, то есть защищать все то, против чего он боролся последние пятнадцать лет. Лозунги Коминтерна из красных внезапно стали розовыми. "Мировая революция" и "социал-фашизм" уступили место "защите демократии" и "борьбе с гитлеризмом"». Однако самым поучительным во всех этих метаморфозах для Оруэлла было то, что именно в антифашистский период молодые

английские писатели потянулись не к демократическому, но к коммунистическому антифашизму.

И причины этого были, как всегда, не материальные, но психологические, экзистенциальные – желание слиться с чем-то могущественным, долговечным и несомненным. «Вот оно, все сразу – и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а – года с 35-го – еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отрекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава – все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель – все в одном слове: Сталин. Бог – Сталин, Дьявол – Гитлер, Рай – Москва, Ад – Берлин. Никаких оттенков. "Коммунизм" английского интеллектуала вполне объясним. Это патриотическое чувство личности, лишенной корней».

В упоении от счастья наконец-то обрести эти корни ученики начинают воспевать убийства, возносясь даже выше своих учителей – ведь «гитлеры и Сталины считают убийство необходимостью, но и они не похваляются своей задубелостью, не говорят впрямую, что готовы убивать: появляются "ликвидация", "устранение" и прочие успокоительные эвфемизмы».

Намек достаточно прозрачен? Сталинизм заполняет пустоты, выжженные индивидуалистическим либерализмом, замыкающим человека в его личной шкуре. Те, кто ощущает себя частью чего-то бессмертного – народа, науки, искусства, церкви или даже семейного клана, – в подобных суррогатах вечности не нуждаются. «Для душевной потребности в патриотизме и воинских доблестях, сколько бы ни презирали их зайцы из левых, никакой замены еще не придумано» – так вот умел выражаться главный обличитель тоталитаризма! Европейский сталинизм и был попыткой найти им замену.

Но не таков ли и сегодняшний наш сталинизм? Ведь мы теперь тоже европейцы.

Сто лет без компаса и тормоза

Если бы российская цивилизация надумала подчеркнуть свою особость собственным летоисчислением, для его начала было бы трудно найти более авторитетное в цивилизованном мире событие, нежели рождение Льва Толстого. Хотя явление Толстого цивилизованному миру произошло в такую пору, когда уже отчетливо выявилось, что цивилизация есть движение от дикости к пошлости: все титаническое нейтрализуется в качестве курьеза и утилизируется в качестве шоу.

Толстой это успел и увидеть, и оценить. Еще при его жизни матерый человечище на международной выставке был включен в «шествие мудрецов» наравне с Сократом, Конфуцием и прочими учителями человечества (актеры были загримированы под учителей не только снаружи, но даже изнутри: они могли отвечать на вопросы зрителей в духе своих учений). И когда один из преданнейших почитателей прибежал к нему с этой радостной новостью, Толстой лишь покривился: они из всего сделают комедию. Лев Николаевич отнюдь не намеревался поражать мир своим архаическим титанизмом – он желал увести его и прежде всего Россию с того пути, который и сегодня считается магистральной дорогой человечества.

Толстой не видел оснований считать рациональным (разумным) тот образ жизни, который отнюдь не делает людей счастливее, да еще и несет с собою в лучшем случае взаимное отчуждение, а в худшем ненависть, доходящую до внутренних и внешних войн. У нас тоже, казалось бы, мало причин обожествлять «прогресс», пролегающий через ГУЛАГ и Освенцим, через Сталинград и Хиросиму в полную неизвестность. Но все-таки, если бы мы пожелали отыскать ту дату, после которой все попытки свернуть с «общечеловеческого пути» уже были трачены завистью к более удачливому «золотому меньшинству», это был бы год смерти Толстого. Его аристократическое отвращение к успехам либеральной цивилизации уж никак не было отвращением лисицы к недозрелому винограду – русский гений презирал «прогресс», взирая на него исключительно сверху вниз.

На Западе прогремели главным образом те «анархические и нигилистические» взгляды позднего Толстого, за которые он был отлучен от Нобелевской премии, – как же это можно *всерьез* отрицать и государство, и церковь, и собственность, и брак в его тогдашнем (а тем более нынешнем) состоянии! Однако Толстой еще и в пору первой серьезной российской либерализации рубежа шестидесятых в собственном журнале «Ясная Поляна»

высказывался о прогрессе и либерализме очень даже нелицеприятно. Начиная с самого святого – с университетов: их-де было бы совсем неплохо уничтожить, ибо *университеты дурны.*

«Никто никогда не думал об учреждении университетов на основании потребностей народа. Это было и невозможно, потому что потребность народа была и остается неизвестною. Но университеты были учреждены для потребностей отчасти правительства, отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с потребностью народа. Правительству нужны были чиновники, медики, юристы, учителя, – для приготовления их основаны университеты. Теперь для высшего общества нужны либералы по известному образцу, – и таковых приготавливают университеты. Ошибка только в том, что таких либералов совсем не нужно народу».

Из университетских студентов выходят «или чиновники, только удобные для правительства, или чиновники-профессора, или чиновники-литераторы, удобные для общества, или люди, бесцельно оторванные от прежней среды, с испорченною молодостию и не находящие себе места в жизни, так называемые люди *университетского образования,* развитые, т. е., раздраженные, больные либералы». «Кто та малая часть, верующая в прогресс? Это так называемое образованное общество, незанятые классы… Кто та большая часть, не верующая в прогресс? Это так называемый народ, занятые классы…Прогресс тем выгоднее для общества, чем невыгоднее для народа». «Чем более человек работает, тем более он консерватор, чем менее он работает, тем более он прогрессист».

Вы, нынешние, – ну-тка! Этот консерватор и правительство, и дворянство заносит в прогрессисты, а в консерваторы – «мужика-земледельца, чиновника на месте, фабричного, имеющего работу». А все потому, что гармонию Толстой считал более важным качеством, чем развитие, ибо утрата гармонии есть утрата счастья, ощущения своей жизни правильной и разумной.

Птица, коза, заяц, волк должны кормиться, «множиться», кормить свои семьи, и человек должен точно так же добывать жизнь, с тою только разницей, что он погибнет, добывая ее один, ему надо добывать ее не для себя, а для всех. «И когда он делает это, у меня есть твердое сознание, что он счастлив и жизнь его разумна». Это уже зрелый Толстой эпохи «Исповеди».

Консерватизм Толстого – стремление вернуться не к каким-то «старозаветным», но прямо к почти биологическим началам бытия. Но как же заканчивается его потрясающая «Исповедь»? Ему снится, что он висит над бездонной пропастью, и он понимает,

что если будет смотреть вниз, то соскользнет в бездну. И он начинает смотреть в небо – и сосредоточенность на бездне вверху спасает его от ужаса перед бездной внизу.

Небо спасает от ужаса перед землей! Толстого можно упрекнуть, что, избирая для себя защитой небо, прочим смертным он предлагает уподобиться животным. Однако можно и усмотреть в его судьбе намек на уникальное свойство классической русской культуры: в ее наиболее мощных образцах высокое, небесное верит в силу и мудрость земного и часто даже готово служить ему. И при всех в том числе и справедливо уничижительных словах о русском мессианстве приходится признать, что цивилизованный мир напрасно пропустил мимо ушей урок Толстого: социальный прогресс невозможен в отрыве от неба и земли, от метафизического и первозданного.

И если бы мы пожелали найти ту дату, после которой модернизационный порыв российской цивилизации остался без авторитетного представительства архаики и метафизики, я бы предложил год 1910-й – год ухода Толстого. То есть недавно мы завершили первый век новой эры – эры освобождения от власти земли и власти неба. Теперь мы «нормальная», то есть ординарная, страна и можем, как и подобает посредственностям, смело идти путем середины – не опираясь на землю и не устремляясь в небеса.

Но отвергнутые биологические основы и грезы о бессмертии мстят падением рождаемости, упадком жизненного тонуса – что, если оценить успехи народов-«счастливчиков» расходами на транквилизаторы и психотерапию?

Закваска Брейвика

Пока больше года шли споры, безумен или нормален Андерс Брейвик, мне постоянно приходила на ум одна и та же мысль: они готовы лечить, сажать, только бы не вдумываться. Хотя если бы Брейвик даже и оказался душевнобольным, его чудовищная акция все равно осталась бы ничуть не менее значимым социальным симптомом. Еще лет сорок назад, посещая лекции по психиатрии в клинике Скворцова-Степанова, я обратил внимание, что довольно многие пациенты в гипертрофированной форме выражают страхи или мечты множества нормальных людей: они оказываются увеличительным стеклом, через которое можно заглянуть в душу общества. Однако никто не воспользовался лупой Брейвика.

Помогла, как всегда, удача. Поджидая в университете приятеля-социолога, я разговорился с его студентом по обмену из Швеции, который русский выучил только за то, что на нем, пусть и с акцентом, можно разговаривать без политкорректного лицемерия, – приехал, можно сказать, за свободой слова.

Всю жизнь круглый отличник, спортсмен и в каком-то смысле даже комсомолец, он в престижном шведском университете постоянно получал сниженные баллы за недостаточную либеральность своих эссе. Он и мне клялся, что относится с уважением и сочувствием к любому народу, к любой культуре и религии, но к собственному народу и собственной религии – все-таки с большим. Даже с гораздо большим. Что усугубляется еще и тем, что он ощущает себя глубоко верующим христианином и не хочет, чтобы его религия сделалась принадлежностью религиозного меньшинства, до чего, как ему кажется, осталось не так уж много времени, если говорить о молодом поколении.

На мое замечание, что верить можно и в одиночку, он резонно возразил, что даже для отправления религиозного культа требуется материальная инфраструктура – по крайней мере, в наши дни, когда люди отвыкли приносить вере серьезные жертвы и не готовы снова начинать с катакомб.

Это касается и вообще поддержания привычного образа жизни, а он уверен, что рост, например, изнасилований связан с притоком мигрантов, хотя эта тема настолько запретна для обсуждения, что приходится ориентироваться на слухи, которые, возможно, все изображают гораздо хуже, чем есть на самом деле.

Мой шведский собеседник был настроен чрезвычайно мрачно – ему грезилась какая-то европейская реконкиста, которая выдвинет лидеров, не менее отмороженных, чем Брейвик, но

гораздо более расчетливых и красноречивых, умеющих воодушевлять и организовывать, как это умели Гитлер и Муссолини, Ленин и Троцкий, ему грезились штурмовые отряды и концлагеря. Он был абсолютно нормален, и эти видения внушали ему не восторг, а страх, но более всего его страшило то, что цензура политкорректности не позволяет не только делать что-то для предотвращения этих кошмаров, но и обсуждать проблему – хотя бы в академической среде. И он надеялся найти эту среду в России – на территории, как он это называл, интеллектуальной свободы.

Такой взгляд на нашу страну показался мне крайне непривычным, но в каких-то европейских кругах он, возможно, не столь уж исключителен. Поскольку этот шведский парень и выглядел вполне нормальным, и, главное, прожил жизнь нормального человека, не склонного ставить жизнь на карту даже ради теоретически близких ему целей. Идея хорошо, а счастье лучше – именно так рассуждают нормальные люди.

Но когда огромная масса людей начинает испытывать страх, что их вытесняют из привычной им материальной или духовной ниши, непременно находятся личности, в которых этот страх и его следствие – озлобленность – концентрируются до степени свирепой агрессивности и жертвенности. Эти люди ненормальны лишь в том смысле, что они редки, но появление их нормально, то есть закономерно.

Гитлера ради самоутешения можно называть бесноватым, однако его появление и успех нормальны. Можно потешить себя, клеймя Сталина параноиком, однако и его торжество есть нормальное явление. Порождать чудовищ – для кризисных времен это нормально.

Когда народовольцы убили лучшего российского царя-реформатора, они руководствовались социалистической сказкой, с высоты которой успешное развитие страны представало невыносимым гнетом, ведущим к краху. И Толстой в письме к наследнику призывал его «воздать добром за зло», ибо дело не в самих убийцах, а в их «закваске». Бороться же с духовной закваской, с ложными идеалами, считал великий непротивленец, можно, лишь противопоставляя им более высокие и привлекательные идеалы.

Зато жертвенность во имя сколь угодно опасной и ложной идеи непременно придает ей романтический ореол, особенно в глазах молодежи, мечтающей о доблестях, о подвигах, о славе. И этот ореол уже мерцает во многих интернетных отзывах. Противопоставляются же им одни проклятия.

Лично же я считаю, что закваской сегодняшней агрессии

служат не идеалы, но простой страх за свое будущее, за свой образ жизни. Борьба с этим страхом и была бы борьбой с закваской Брейвика.

Но для ослабления страха люди должны почувствовать, что их кто-то защищает…

Слишком человеческое

Геноцид сегодня считается чем-то зверским, нечеловеческим. А в ассиро-вавилонские времена кичились грандиозностью убийств и опустошений: «Как буря, устремился я на врагов. Я наполнил их трупами горные овраги. Я окружил, я завоевал, я сокрушил, я разрушил, я сжег огнем и превратил в пустыри и развалины. Вытоптал поля, вырубил сады и виноградники. Дикие ослы, газели и всякого рода степные звери стали обитать там».

Это был, можно сказать, гордый, романтический геноцид, усматривающий в истреблении целых народов путь к славе и бессмертию.

К счастью, с этих варварских времен протекли века и тысячелетия. Но обратимся к самому, пожалуй, гуманному в истории XIX веку и к самой просвещенной и демократической стране того времени – к Британской империи. Еще в середине века белые фермеры организованно охотились на тасманийских аборигенов, а тогдашние интеллектуалы предавались размышлениям, являются ли темнокожие людьми или это какие-то особо умные обезьяны.

Это, так сказать, геноцид свысока, те, кто его творят, считают истребляемых какими-то недочеловеками.

Высокомерный геноцид может естественно переходить в рациональный: если так можно поступать с недочеловеками, почему нельзя точно так же обойтись и с людьми или даже целыми народами, которые тебе кажутся чем-то опасными: нет человека – нет проблемы. Окончательное решение лучше промежуточного.

Первая мировая война. Тогдашнему турецкому правительству представляется, что армянское население, оказавшееся в прифронтовой зоне, враждебно настроено по отношению к мусульманской Турции и готово помогать христианской России – так почему бы не избавиться от этого населения?

Но просто перебить огромную массу людей, как это делалось во времена царя Ассаргадона, уже стало не вполне приличным. Что ж, тогда к классическим погромам и резне можно присоединить депортацию: выгнать беспомощных людей в пустыню и гнать их без пищи и воды, пока не упадет последний. И тогда можно будет на ясном глазу утверждать, что это было не намеренное убийство, но всего лишь массовая смертность из-за дурных условий содержания.

И все это под носом у так называемых цивилизованных держав, поглощенных собственными делами – изо всех сил

старающихся уничтожить друг друга. Так что ужасающая репетиция холокоста прошла без помех, будущие немецкие фашисты получили убедительный сигнал: никто не вступился за армян – не вступятся и за евреев.

Типичный геноцид XX века правильнее всего назвать прагматическим. Устраивают его уже не классические варвары, но вполне образованные и «модернизированные» люди, какими были тогдашние «младотурки» Талаат-паша, Джемаль-паша и Энвер-паша.

А Германия в тридцатые годы XX века и вообще была едва ли не самой «цивилизованной» страной мира – она и поставила массовые убийства евреев на фабричную основу, позаботившись даже о психологии убийц, чтобы немецкие солдаты не слишком переживали, убивая беспомощных людей, включая грудных младенцев: из этих гуманных соображений расстрелы были заменены газовыми камерами, а закапывание в землю – сожжением трупов.

Важную функцию в немецких лагерях уничтожения выполняла и «бесполезная жестокость». Она должна была расчеловечить будущие жертвы, сделать их отвратительными, чтобы убийцы видели: это не люди, это свиньи.

Все это делалось во имя построения дивного нового мира, в котором будут править сильные и романтичные: германский геноцид был геноцидом утопическим.

При этом современные турки и немцы самые приятные люди на земле. Но кто же тогда творил все эти кошмары? Это творили мы, люди. Не турки, не немцы, но *люди вообще* – страшные существа. Если людям покажется, что какие-то личности или даже целые народы представляют угрозу для жизненно важного их достояния или для драгоценной их мечты – нет такого преступления, на которое они не пойдут, – и при этом еще и объявят преступление подвигом.

Геноцид не есть нечто зверское – звери не стремятся к окончательному истреблению своих конкурентов, это стремление человеческое, слишком человеческое.

Притом пойдут на эти истребления не какие-то исключительные изверги, но обычные люди, которые до поры до времени чаще всего и не подозревают, на что они способны, когда потребуется выполнить самые жестокие приказания начальства – об этом говорят известные эксперименты Милгрэма.

Как же смягчить жесткость в отношениях между народами, жесткость, всегда готовую обернуться жестокостью? Хорошо известно, что неприязнь, а затем и вражду, доходящую до ненависти, порождает всякая конкуренция. А сотрудничество в

каком-то достойном деле, наоборот, порождает взаимную симпатию.

Вспоминаются совместные запуски космических ракет, совместная помощь жертвам стихийных бедствий и эпидемий, но мало, мало…

Если бы почаще заменять международную конкуренцию международным сотрудничеством! Особенно в громких масштабных делах, вызывающих гордость за род людской.

Мужчины без женщин и государство без семьи

Восьмое марта давно миновало, а тема все не отпускает.

На заре своей славы кумир шестидесятых Евгений Евтушенко написал: лучшие мужчины – это женщины, и в мужестве наших женщин, я думаю, убеждался каждый, кому выпадало горькое счастье видеть их в борьбе за то, что им по-настоящему дорого. То есть в борьбе за нас, за их детей и любимых мужчин, к которым они до некоторой степени относятся тоже как к детям: если за ними не проследить, они обязательно съедят что-то не то, разольют, сожгут… Слушая их, иной раз перестаешь понимать, как же мужчины обходятся без женщин в экспедициях, на войне? А таки плохо обходятся. Я даже включил в свой роман «И нет им воздаяния» рассказ бывшей разведчицы, которую изо всех сил сначала сватали в авиацию: «Вы не представляете, как нужны девушки-связистки, когда ты в воздухе! По тебе зенитки молотят, немецкие истребители в любой момент могут вынырнуть, а тут заботливый женский голос: "Небо, слышите нас?" И сразу как-то подтягиваешься, не хочется же перед женщиной трусом выглядеть».

Мужчин создают женщины, а женщин – мужчины. Трудно представить, во что мы все превратимся, если утратим стремление завоевывать восхищение и благодарность друг друга, утратим важнейшие стимулы быть красивыми и благородными. И даже немного загадочными друг для друга. А потому от нашего взаимного обаяния мало что останется, когда мы сделаемся одинаковыми и полностью открытыми друг для друга, как это уже делается в общих банях некоторых «просвещенных» народов.

Моя давняя приятельница, много лет живущая в одной из идиллических скандинавских стран, недавно пожаловалась, что у них на вокзале объединили мужской и женский туалет – кабинки пока еще разные, но в очереди с мужчинами приходится стоять в общее помещение, а в «левом» муниципалитете уже обсуждалось предложение отменить писсуары, дающие мужчинам незаслуженное преимущество. Авторы предложения, помимо социальной справедливости, апеллировали к другой верховной инстанции – к гигиене: заниматься этим делом сидя якобы полезно в рассуждении простатита, да и полы будут почище, хотя, казалось бы, чище уже некуда, а тащить что-то в рот с сортирного пола вроде бы и не обязательно.

Это предложение, хвала Аллаху, пока еще только

обсуждается: не нужно устраивать революций, столь радикальное новшество нужно вводить поэтапно.

Аллаха я помянул всуе не случайно: та же моя приятельница жалуется, что у них в магазинах нет нормальных юбок – или короткие, «проституточчьи», или брюки. А за нормальными юбками приходится идти в магазин для мусульманок.

Правда, этих магазинов – еще раз хвала Аллаху, но не пророку Исе – в городе хватает. И в том же муниципалитете пресерьезно обсуждают, как растущее словно на дрожжах мусульманское меньшинство интегрировать в местную культуру. Но как можно кого-то интегрировать в то, чем не дорожишь сам?

Мощнейшее, вернее, главное орудие интеграции, она же ассимиляция, как ни уклоняйся от этого слова, – это соблазн. Интегрирующая культура должны казаться более красивой, обеспечивать лучшую экзистенциальную защиту – защиту от чувства мизерности человеческой жизни. И что же красивого суперлиберальная субкультура может предложить тем культурам, в которых мужчина – это мужчина, а женщина – это женщина, в которых отец – это отец, а мать – это мать, а не супруг А и супруг Бэ?

Я допускаю, что однополые браки когда-нибудь впишутся в систему продолжения человеческого рода, но мне трудно представить, что эти А и Бэ окажутся способны вобрать в себя тот громадный запас поэзии, которой нагружены слова «материнство» и «отцовство».

Утратят обаяние слова «мать» и «отец» – перестанут воздействовать и образы отечества, родины-матери.

Последняя беспредельность

Кажется, это было – ну, конечно, не три дня назад, но самое большее три года. Я плетусь в школу каменистой улочкой шахтерского поселка, ныне оставшегося в иностранном государстве по имени Казахстан, а навстречу мне еще более бодрой походкой, чем обычно, спешит отец и, поравнявшись со мной, радостно выкрикивает: «Человек в космосе!» И торопится дальше с этой радостной новостью. И мною вдруг овладевает необыкновенно хорошее настроение, и походка моя становится почти такой же бодрой, как у отца.

А надо его знать, чтобы подивиться, что ему эта Гекуба – в космосе, не в космосе… Мой отец был типичный интеллигент, то есть в любых достижениях стремился видеть прежде всего страдания народа, которому приходится за эти достижения платить. Какой космос, когда больница ютится в бараке, какой космос, когда народ живет в мазанках, какой космос, когда асфальт наляпан только перед райкомом-исполкомом, одним из трех двухэтажных зданий в поселке. Однако этот подвиг и его привел в восторг. И даже меня, хотя меня в ту пору восхищал героизм исключительно советских разведчиков да местных блатных авторитетов с финкой за голенищем – недоразвитой шпагой, как некогда выразился Евгений Евтушенко.

Это был судьбоносный момент, когда культ победы над врагом можно было конвертировать в культ победы над природой, и мы этот шанс еще раз профукали во время нашей либеральной революции. С каким довольством собственной мудростью тогдашние властители дум повторяли, что надо не рваться в космос, а устраивать чистые сортиры, – что не продается, того и делать не следует. Хотя человек может гордиться собой, а следовательно, и жить счастливо, только совершая нечто НЕБЫВАЛОЕ. И подавляющее большинство людей может совершать небывалое лишь вместе со своей страной. «Нормальная», то есть заурядная, страна – это не та страна, ради которой стоит напрягаться, тем более что и сам от нее не получаешь никакого драйва. Драйв дают только страны-чемпионы хотя бы в каком-то виде международных состязаний – а в чем мы сейчас первые?

Вот вам еще одна история моего современника. Одаренный пацан замирает от радости, высмотрев наконец-то в ночном небе быстро перемещающуюся звездочку – искусственный спутник Земли. Не земли с маленькой буквы, а именно Земли с большой. И мечтает когда-нибудь и сам запускать ракеты в космос. А его не

берут в космический «ящик» как инвалида пятого пункта. Но, в конце концов, на космосе свет не сошелся клином, он делает неплохую научную карьеру в более земной области, и даже когда образование из сферы служения превращается в сферу услуг, а преподаватель, следовательно, из Учителя в лакея, он вполне прилично замолачивает в коммерческом вузе, успешно торгующем дипломами. И все-таки перед лицом подступающей старости он видит, что самой красивой порой его жизни были годы, когда он мечтал покорять космос.

И он отправляется к тому «ящику», который когда-то отказался открыть ему свои врата…

В своем романе «Тень отца» я попытался заговорить от лица того, кто так и не был допущен к космическим свершениям: «Колючая проволока так навсегда и отрезала меня от этого Эдемского сада. Хотя я, случалось, подобно отвергнутому Ромео, часами бродил вдоль этой оштукатуренной стены, увенчанной бесконечной спиралью Бруно. Будь у них контрразведка поставлена на должной высоте, меня должны были бы трижды арестовать, хотя из-за ограды виднелся один только шпиль на сталинской башенке. За этой оградой решались проблемы стабилизации и мягкой посадки космических кораблей, и два однокурсника, большие почитатели моих дарований, пытались всеми правдами и неправдами протащить меня в этот Храм бессмертных, хотя мне уже было отказано, как выразился начальник отдела кадров, "черным по белому". То есть хотя и устно, но ясно и понятно.

Однако мои дружки все таскали и таскали мне возникавшие по ходу их великих дел теоретические задачки, за которые я хватался с такой поглощающей страстью и нелепой надеждой, каких не вкладывал и сотой доли в собственные дела. Я прекрасно понимал, что никакие победы не помогут, но мне неудержимо хотелось в десятитысячный раз показать, до какой степени неправы те, кто меня отвергает. Мои друзья однажды даже уломали побеседовать со мной своего начальника, который наверняка согласился на эту встречу, только чтобы отвязаться – а может, и из любопытства: что там за умник, о котором ему столько талдычат?

Я ждал их неподалеку отсюда в столовке с ресторанными поползновениями вроде относительно чистых скатертей и удвоенных цен, и он что-то сразу во мне раскусил. Блекло-кучерявый, мосластый и вместе с тем слегка бабистый, он без спроса взял лежавший передо мною черный том Хемингуэя и огласил приговор:

– Читал Хемингуя – не понял ни…я.

Впрочем, что ворошить прошлое – пришли мы к одному итогу. Я брел вдоль поникшей заржавевшей колючки, уже угадывая в стене разрастающиеся трещины, нежный мох и вкрадчивый плющ, а за стеною распадались корпуса, пока еще стянутые хилыми бечевками торгующих в храме – торгующих помадой, сигаретами, водкой, кроссовками и мечтами, упакованными в солидные эзотерические тома, и мои губы сами собой повторяли и повторяли: все великое земное разлетается как дым, ныне жребий выпал Трое, завтра выпадет другим…»

В своем романе я попытался изобразить драму личности, отторгнутой от великой мечты. Но сегодня в припадке саморазрушительного прагматизма мы отторгли от этой мечты, от мечты о еще НЕБЫВАЛОМ расширении нашего ареала обитания уже не одного, не сто и не тысячу человек, но весь свой народ. Мы отняли у своих детей, а может быть, даже у внуков и у правнуков шанс сделаться героями космической эпохи великих открытий, превзойти Колумба и Магеллана.

Власть великой мечты над человеческими сердцами полнее всего выразилась даже не в Циолковском, а в Королеве. Когда глухой чудак-бессребреник, не умеющий жить на земле, мечтает о полетах в иные миры, это не так впечатляет, для чудаков грезы – их будничный хлеб. Но когда космосу посвящает жизнь вполне земной парень из стройпрофшколы, умеющий и строить планеры, и летать на них, и ладить с начальством, и управлять промышленной империей, – тут уж мы воочию видим власть неба.

Все, что перестает расти, начинает увядать. Если мы хотим только обустроить Россию в земном комфорте, мы не обустроим и ее. Если у человечества не останется грезы о чем-то еще небывалом – хотя бы о встрече с собратьями по разуму, – его убьет скука, как она уже убила Советский Союз.

Узнать свои пределы и примириться с ними – это и есть старость. И для человека, и для народа, и для человечества. Космос – один из очень и очень немногих оставшихся путей, к которым еще приложимо понятие беспредельности. Не будем же опускать перед собой шлагбаум.

Евреи-гении и евреи-вожди

Толпа была взвинчена. Сколько можно?!! Долой!!! Речистый и решительный молодец легко двинул бы массу на штурм властных твердынь, но – чем пламеннее гремели витии, тем более охлаждалась толпа.

Всего лишь потому, что большинство ораторов были евреи: а, так это, оказывается, какое-то еврейское дело…

Эту картинку времен первой русской революции донес до нас Владимир Жаботинский: лидирующее участие евреев в массовых движениях способно лишь ослаблять эти движения.

Но ведь Красная армия, созданная евреем Троцким и в значительной степени руководимая комиссарами-евреями, разгромила всех своих врагов! Да. Породив невиданную прежде ненависть проигравших к еврейству. Во время Кишиневского погрома погибло около пятидесяти человек – во время погромов Гражданской войны было убито от двухсот до трехсот тысяч евреев. И это было только начало.

Германская революция, положившая конец Первой мировой войне и начало версальскому унижению, тоже была огромным успехом ее еврейских лидеров – успехом, оплаченным шестью миллионами жизней других евреев: жертвы холокоста оказались пушечным мясом для еврейских пассионариев, устремившихся спасать русский и немецкий народы от их варварских заблуждений. Вы не будете отвечать за то, что Ленин русский, говорил Бердяеву его домовладелец, а я буду отвечать за то, что Троцкий еврей (он еще не знал, что объявят евреем и Ленина). В «Майн кампф» Гитлер без конца повторяет, что именно революция, вонзившая нож в спину фронту, открыла ему глаза, что евреи – враги немецкого народа, а о том, что террористический режим в России установили именно евреи, он упоминает как о чем-то общеизвестном.

И сколько бы мы ни доказывали, что революции происходят по причинам «объективным», люди станут действовать в соответствии с тем, в чем уверены не мы, а они – в том, что укрепляет, а не ослабляет их экзистенциальную защиту, их ощущение себя красивыми и значительными. Ибо первейшая функция нашей психики – самооборона: именно для того, чтобы избавиться от мучительного ощущения собственной ничтожности, люди и объединяются в нации, и тот, кто думает, что национальные интересы заключаются в материальном процветании, не может быть политиком, но разве лишь политическим интриганом или скучным утопистом.

И не нужно обольщаться трюизмами, что все честные российские граждане, независимо от их национальности, заинтересованы в одном том же – в росте материального благополучия, в снижении коррупции и прочая, и прочая, и прочая, – нас разъединяют разные системы защиты. Красивый образ личности невозможен без красивой родословной, а родословные у русских и у евреев очень уж разные, и те исторические события, которые русские заинтересованы трактовать как безусловные подвиги предков, евреи психологически заинтересованы интерпретировать куда более вольно. А иногда едва ли и не противоположным образом. Вот когда мы накопим общий запас подвигов и злодеяний, тогда и методы экзистенциальной защиты у нас сблизятся.

Жаль только, жить в эту пору прекрасную… А до той поры и даже после любые политические действия, улучшающие материальное положение народа, но ослабляющие его экзистенциальную защиту, будут им восприняты как враждебные, а их инициаторы – как агенты какого-то чуждого влияния. Ну а если среди этих инициаторов окажется еще и повышенный процент «чужаков» – людей, использующих для своей экзистенциальной защиты какую-то иную систему иллюзий, с высоты которой иллюзии титульной нации представляются набором дурацких предрассудков, то их даже самые благие намерения неизбежно будут истолкованы как сознательная злонамеренность. Разумеется, это будет глубоко несправедливо, но люди всегда будут следовать правилу «справедливость хорошо, а счастье (экзистенциальная защита) лучше».

Участие евреев в опасных обновлениях может сойти еврейству с рук только в том случае, если от обновлений никто не проиграет (то есть никаких обновлений не произойдет), либо евреи станут участвовать в них на малозаметных ролях. И если первое вполне возможно, то второе невозможно уже никак: и какой же еврей не любит быстрой политической славы, укрепляющей его личную защиту.

К счастью, нынешняя борьба за честные выборы представляет собою первый случай: участие в ней наравне с нацистами не будет иметь для евреев опасных последствий именно потому, что не будет иметь последствий сама эта борьба.

А вот в творчестве евреи весь XX век прекрасно шагали в ногу с русскими. Вот евреи-гении и сближают народы лучше всего, а евреи-лидеры политических смут, затеваемых даже с самыми благородными намерениями, в конечном итоге только разобщают.

Прогрессивное бесплодие

Если бы мы сегодня пожелали найти замену клише «все прогрессивное человечество», это было бы словосочетание «все модернизированное человечество». Слово «модернизация», однако, означает всего лишь уподобление каким-то современным стандартам. Стандарты при этом задают сильнейшие, поэтому в период расцвета Арабского халифата или Монгольской империи модернизация требовала бы уподобиться монголам либо арабам, а лет через сто, возможно, потребует уподобления китайцам либо индусам.

Лично же я склонен считать современными всех, у кого хватает сил быть тем или иным способом конкурентоспособными. В биологическом мире конкурентоспособность обеспечивается самыми разными и даже противоположными доблестями, а с чьей-то точки зрения, даже пороками – индивидуальной силой или плодовитостью, агрессией или робостью, напором или уклончивостью, коллективизмом или эгоцентризмом, стремительностью или неторопливостью, броскостью или скрытностью, способностью объедаться впрок или умением довольствоваться малым, – не странно ли, что в социальном мире конкурентоспособность начинает определяться лишь объемом ВВП или производительностью труда? Если бы в какой-то период весь животный мир уподобился тогдашним победителям – каким-нибудь саблезубым тиграм или мамонтам, – жизнь на Земле давно прекратилась бы, ибо не раз оказывалось, что к новым вызовам лучше готовы не те, кто блистает на авансцене.

Драгоценно разнообразие не только доблестей, но и слабостей, ибо они, возможно, тоже доблести, еще не дождавшиеся своего вызова, – они составляют фонд рецессивных аллелей человечества, всего человечества, а не только прогрессивного.

Сильные, а следовательно, «прогрессивные» (любовь к прогрессу есть не что иное, как преклонение перед успехом), однако, всегда стремятся навязать слабым роли в собственной игре, и в не столь уж далекие бесхитростные времена главным орудием для этого было завоевание. Но после Первой мировой войны Вудро Вильсон пожелал уравнять малые и физически слабые народы с большими и могучими, провозгласив право наций на самоопределение. Сослужив миру и самим малым народам дурную службу, ибо они тут же сделались разменной монетой в Большой Игре великих держав.

Тем не менее вера в фельдшерское средство национального

самоопределения сохранилась в неприкосновенности, и после распада социалистической системы всем, кто этого очень уж сильно хотел, снова было выдано по национальному государству. Увеличило ли, однако, национальное самоопределение возможности самоопределения культурного? И насколько способны национальные государства «отсталых» народов защищать людей от чувства бессилия и эфемерности? А в этом я вижу главную миссию государства, поскольку все прочие его функции могут выполнять и частные корпорации. Но есть ли у них мотивы противостоять культурной глобализации? Куда чаще они становятся ее проводниками.

Однако государство не в силах защитить своих граждан, само оставаясь мизерным и бренным, «не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда». Тем не менее никто и не думает оценивать «прогрессивность» государств по этому важнейшему критерию – *по числу гениев, возросших в его пределах,* по шансам его граждан обрести бессмертие в исторической памяти. Имперская «отсталая» Россия прекрасно с этим справлялась, но справится ли Россия «передовая»? Или ее ждет прогрессивное бесплодие?

Я уже давно мечтаю о специальной государственной программе «Производство гениев», ибо ничто другое не стоит так дешево и не защищает так надежно. Широкая сеть школ и вузов, учеба в которых сулит большие труды и не сулит особых денег, – вот рецепт отбора самых одаренных и романтичных.

Из них и выходят гении. Если повезет.

Но до сих пор везло.

Каждому народу необходимо ощущение собственного участия в истории, и делать это руками национальных гениев – не так уж мало. Но еще лучше, когда у более широких масс открывается возможность творить историю собственными руками. И в прежние времена едва ли не единственным орудием вовлечения народов в общее историческое дело были империи, оставляющие широкие возможности для культурной автономии и открывающие наиболее одаренным и энергичным представителям национальных меньшинств возможности вхождения в имперскую элиту. Однако, поскольку «хозяином страны» все равно, как правило, считался «государствообразующий» народ, то львиная доля славы, а следовательно, и самый надежный слой экзистенциальной защиты доставались ему, а остальные чувствовали себя обделенными.

Это и заставляло их добиваться национального суверенитета и служило главной причиной распада империй: каждый начинал защищаться в одиночку. Что, как правило, оказывалось им не под

силу перед экономическим и культурным напором авторитетнейших и сильнейших. Поэтому пора создавать новые ассоциации «периферийных» наций уже не ради поглощения друг друга, но ради совместной борьбы с прогрессивным бесплодием – для работы над международными проектами, способными оставить бессмертный след в истории.

Требуется невиданное

Мгновения прессуются в года, сливаясь друг с другом до почти полной неразличимости. Сейчас уже не решаюсь с уверенностью сказать, в каком году случился тот кровавый Первомай в Москве, когда коммунистические орлы закидывали омоновцев отделочной плиткой из подземного перехода – новым оружием пролетариата. Кажется, в 93-м. Да, точно, третьем – это была репетиция уже по-настоящему кровавого Октября. Хотя и 1 мая один омоновец был раздавлен грузовиком из оцепления, а убийцу так и не нашли.

Тогда было по-настоящему тревожно – а черт их знает, сколько еще может набраться отморозков, готовых не просто ругаться, митинговать, требовать, но – убивать. Однако один известный либеральный реформатор снисходительно уверял меня, что капитализм заставляет людей быть рациональными и не заниматься тем, что не приносит прямой выгоды, а следовательно, бешеные обречены.

Меня же, считающего, что люди руководствуются вовсе не выгодами, но воодушевляющими химерами, это отнюдь не успокаивало.

К счастью, на этот раз оказался прав он – уж не знаю, на какой срок. Сегодня магма коммунистической химеры на какое-то время наконец-то остыла – уже не слыхать ни про мировую революцию, ни про мир без России, без Латвии – сплошная мелкобуржуазность: зарплаты, изъятие природной ренты…

Посмотришь на нынешние первомайские демонстрации и сразу видишь, что по-прежнему пытаются брести своим особым путем лишь самые наивные да неприкаянные. А если кому неймется без полнокровного социализма, пускай отправляется хотя бы в Финляндию.

Вот там-то мне однажды и довелось встретить истинный Первомай. Все как у нас в лучшие времена, когда на демонстрацию за отгулы направляли от предприятий, – гремит и бухает духовой оркестр, сияют гроздья воздушных шариков, развеваются припасенные флаги, у нас уже вызывающие лишь легкое напряжение, а не страх, когда-то заставивший Бунина написать в «Окаянных днях» слова «проклятого красного цвета». Хорошо одетые, приятные, сытые и здоровые финские господа, которых было бы даже и амикошонством назвать товарищами, в их дисциплинированных рядах полно веселой молодежи.

Они несут плакат с мудрым Марксом, сжимающим в руках плакат «Или рынок, или люди». Они протестуют против

гегемонии Америки. Они призывают демократизировать глобализацию и глобализировать демократизацию. Они настаивают на загнивании капитализма, доведшего мир до кризиса. Их возмущает агрессивный блок НАТО и вторжение в Ирак и Афганистан – все как у нас когда-то. Только Интернационал поют с неподдельным пафосом.

Лозунгов типа «Народ и партия едины», правда, не видал, врать не стану. Ленина со Сталиным тем более. Однако явное отсутствие принуждения лишь демонстрирует еще более явственно, что всякая порядочная греза бессмертна. И клокотать под асфальтом и дерном продолжает всегда. И в какой-то момент снова может рвануть новый Везувий.

Пожалуй, навеки угасла только та скромненькая химерка, во имя которой мы затевали свою капиталистическую революцию.

Мы отказались от всего восхитительного в нашем прошлом, поскольку им оправдывалось ужасное. Вместо того чтобы восхитительным восхищаться, а ужасному ужасаться, мы все перемешали в общую несъедобную бурду. И, с содроганием отвернувшись от этой бурды, провозгласили, что мы «нормальная», то есть заурядная, европейская страна. Конечно, отставшая, то есть похуже прочих, но мы поднапряжемся и сделаемся совершенно заурядными. Наша революция рубежа девяностых и впрямь пошла особым путем – она совершалась не во имя каких-то прекрасных грез, но ради стремления к ординарности.

И много ли уважения, не говоря уже о любви, мы обрели у доминирующей цивилизации? Прежде нас хотя и побаивались, но зато и видели какую-то тайну, какой-то нераскрытый, а во многом и раскрытый потенциал – не зря же кумиры левой интеллигенции стремились отметиться в сталинском кабинете, к Гитлеру что-то никто из них не заехал, как их ни любят отождествлять их духовные потомки. Но раз уж вы сами объявили, что вы такие же, как все, только похуже… Зачем нам ухудшенная копия, когда у нас есть оригинал – мы сами?

Сложившаяся цивилизация не будет смотреть на новичка сверху вниз, только если он предъявит ей что-то НЕВИДАННОЕ. Каждому новому претенденту на место в ее рядах она дает понять: принеси то, не знаю что, но только что-то такое, чего нет у нас самих.

Образ Советского Союза был сложен из черно-белых кусков, как надгробие Хрущева, сотворенное Эрнстом Неизвестным, но каким-то обаянием этот образ обладал, пугающим и влекущим. Теперь, когда мы покрасили себя в ровный серый цвет, от нашей магии не осталось ничего. Да посмотреть хотя бы на наши

вывески – смесь лакейского с американским: «Вижен сервис», «Эдука-центр»…

Сегодня России больше нефти необходима красивая сказка – не агрессивная, но созидательная. Нашей перестройке следовало стать прежде всего не перестройкой экономики, но перестройкой сказки. Не уничтожением ее, но реинтерпретацией. Однако этот шанс мы, похоже, надолго профукали.

Остановиться, оглянуться

Примерно сто тридцать лет назад в России были введены «временные правила» об ограничении прав евреев и установлены ограничения по их приему в учебные заведения – есть повод задуматься.

Антисемитизмом часто считают беспричинное желание чинить евреям неприятности или хотя бы тормозить их карьерный рост. Однако неприязнь не бывает беспричинной – в ее основе всегда лежит соперничество. Введение процентной нормы не было исключением. Отведенные еврейским учащимся десять процентов в черте оседлости, пять процентов в остальных частях империи и три процента в столицах должны были оградить пока еще «неразбуженное» (Солженицын) прочее население от еврейской конкуренции.

Царское правительство полвека старалось включить евреев в «нормальную» жизнь, но чуть треснул обруч кагала, тут же принялось за политику дискриминации, всегда и всюду укрепляющую духовную изолированность национальных меньшинств. Разумеется, незаторможенный порыв еврейской молодежи к светскому образованию привел бы к повышенному ее присутствию в интеллектуальной элите, но – дети еврейских «выдвиженцев», а тем более их внуки перестали бы быть евреями или, по крайней мере, выделялись бы своими политическими взглядами ничуть не более, чем успешнейшее немецкое меньшинство.

В Соединенных Штатах Америки еврейские эмигранты тоже очень активно устремились к образованию и социальному успеху, что и там не могло не вызвать воркотни о еврейской угрозе. У государства, однако, хватило ума не поддерживать этот – подчеркиваю – естественнейший протест, и эффект хоть и не очень быстро, но дал о себе знать. В 1940 году в смешанных браках состояло три процента американских евреев, а к 1990 году их доля превысила половину. Политика пряника оказалась эффективнее политики кнута, соблазн оказался сильнее угрозы. Заставив же евреев пробиваться сквозь государственные препоны, которые ощущались ими как оскорбительно несправедливые, правительство своими руками порождало антигосударственные настроения еврейских радикалов – что в свою очередь укрепляло его уверенность в мудрости дискриминационной политики.

Я не собираюсь обсуждать, способствовало бы или нет процветанию России массовое выдвижение евреев на видные места, – настолько ясно, что такого быть не могло: ни один народ

никогда не смирится с доминированием какого бы то ни было национального меньшинства, не согласится считать себя проигравшим в собственной стране. Но обретать успех в межнациональной конкуренции неизмеримо плодотворнее на творческом, а не на силовом поприще!

Если пробудить жажду образования в широких массах, если облегчить путь в университеты небогатым слоям, то меньшинство в населении автоматически окажется меньшинством и в элите. В русском народе вполне достаточно талантов, чтобы успешно конкурировать с кем угодно: когда в начале XIX века ничтожная часть российского населения – дворянство – оказалась охваченной творческим порывом, Россия практически за одно поколение создала величайшую в мире литературу. Но вместо того чтобы повторить подобный успех уже с разночинцами, правительство почти сразу же после закона о процентной норме для евреев, в 1887 году, издало так называемый циркуляр о кухаркиных детях, ставящий целью при помощи имущественного ценза освободить гимназии и прогимназии «от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию».

Было бы еще понятно, ограничивая «инородцев», продвигать «коренное население», но ограничивать и тех и других…

В позднее советское время, когда «разбужены» были уже миллионы, притеснения евреев при поступлении в высшие учебные заведения, по-видимому, мотивировались недостаточной их лояльностью, тогда как нелояльность эта и была большей частью вызвана притеснениями позднего сталинизма: в двадцатые – тридцатые еврейская молодежь блестяще показала свой советский патриотизм и на ниве индустриализации, и на полях сражений. Но когда их детей впоследствии стали резать на экзаменах при помощи позорных ухищрений…

А между тем никакого русско-еврейского межнационального конфликта в России нет, ибо у российских евреев нет особых национальных интересов внутри России: они не претендуют ни на отдельный язык, ни на отдельную территорию (Биробиджан тщетно ждет своих сынов), ни на – что только и делает народ народом – какую-то отдельную историческую миссию. Нет, каждый отдельный еврей, разумеется, стремится к благополучию либо самореализации и тем самым неизбежно сталкивается с какими-то русскими конкурентами, но даже тысячи и тысячи межличностных конфликтов не могут создать одного межнационального, ибо межнациональный конфликт – это

конфликт коллективных наследуемых ценностей (если кому-то не нравятся слова «грезы», «иллюзии» или «фантомы»).

Поэтому все те, кто припутывает антисемитизм к серьезной политике, ставят личное выше общественного.

Соблазн сверхчеловечности

Мы до сих пор гадаем, какой же магической силой убеждения обладали Ленин, Сталин, Муссолини, Гитлер, если им с такой готовностью повиновались и шли на жертвы миллионные массы. Разумеется, нам приятнее объяснить внушаемость масс глупостью, рабскими наклонностями и т. п. Но вот Альберт Шпеер, министр вооружений и военной промышленности Третьего рейха, был умен и романтичен. Талантливый архитектор, интеллектуал, он впервые увидел Гитлера в 1931 году на выступлении перед студентами и был поражен, что среди оваций этот «истерический демагог» вроде бы просто делится заботами о будущем: «Он сам был убежден, будто говорит именно то, чего ждет слившаяся в единую массу аудитория, словно речь шла о простейшем на свете деле».

Дело действительно простейшее: сделаться вождем можно единственным способом – стать слугой невысказанных мечтаний, подарить надежду на их осуществление.

«Наконец, казалось мне, блеснула надежда, возникли новые идеалы, новое понимание, новые задачи. Вот и мрачные предсказания Шпенглера опровергнуты, и одновременно нашло подтверждение его пророчество о явлении нового императора».

А дальше вступил в действие самый мощный из наркотиков – слияние личных, профессиональных успехов с успехами великого дела, возможность творить историю собственными руками.

Успехи и впрямь посыпались фантастические. Гитлер «благодаря уступчивости западных держав» без единого выстрела взял чешские пограничные укрепления, что, по его же признанию, «было бы крайне нелегко и стоило бы много крови». Но что же Шпеер? Если эталонные демократии отступили перед Гитлером, значит, ему и впрямь можно верить.

А холокост? «Того, что завершилось Освенцимом и Майданеком, я и впрямь не знал, но меру свой изолированности, но интенсивность своих отговорок, но степень своего незнания в конце концов я определял сам». В итоге оправданий «нет и не может быть». А в подтексте: виноват не я, виновата человеческая природа.

И самое грустное, что это правда. Человеческая психика тысячелетиями формировалась в условиях настолько чудовищных, что, будь человек хоть немного менее эгоистичным и способным более трезво смотреть на мир, то он бы просто не выжил. А потому покаяние в преступлениях нацизма может быть только лицемерным: в них нет ничего бесчеловечного, напротив,

в них сосредоточено слишком даже человеческое стремление обрести чувство единства с чем-то великим и бессмертным.

Зато и поколебать это чувство способно лишь столкновение с чем-то еще более могущественным. «Ранее Гитлер, убежденный в правильности своей теории "неполноценности славянской расы", называл войну с ней не иначе, как "занятием на ящике с песком"». Однако чем дольше длилась война, тем больше он испытывал невольное уважение к русским. На него очень сильное впечатление произвела их способность стойко и мужественно переносить поражения. «Если же он вдруг вновь ощущал уверенность в победе, то с иронией замечал, что после поражения России во главе ее следовало бы оставить Сталина – разумеется, при условии его подчинения германским властям, так как он, как никто другой, умеет управлять русским народом». Хотя, разумеется, к Сталину это относится ничуть не менее, чем к Гитлеру: хорошо управляет тот, кто умеет служить тайным мечтам самой сильной и романтичной части народа.

Это признает и Шпеер: «Музыку заказывала толпа» – именно она жаждала чего-то сверхчеловеческого. Ничем не отличаясь от интеллектуалов: «Когда я теперь размышляю о своих тогдашних ощущениях, то все больше убеждаюсь, что был слишком одержим желанием добиться победы в отчаянной гонке со временем и никакие гуманные соображения не могли заставить меня забыть о производственных показателях».

Судя по воспоминаниям, таков же был и Эйхман, он тоже воодушевлялся сверхчеловеческими целями и только на израильском процессе столь искусно изобразил этакого завхоза, «винтика», которому все равно, что возить – дрова для домашних печей или евреев для печей Освенцима, что внушил Ханне Арендт ложную доктрину банальности зла. «Он сказал, что он с улыбкой прыгнет в могилу, так как он с особым удовлетворением сознает, что на его совести около пяти миллионов человек», – рассказывал заместитель Эйхмана Вислицени. Это никак не банальность послушания, это банальность романтизма, банальность сверхчеловечности.

Лишь разбитая другой сверхчеловечностью, она может временно оценить прелесть человечности, как лишь в тюрьме самого Шпеера сумела растрогать доброта простых солдат: «Многие из них, и в первую очередь советские солдаты, потеряли на войне отца или брата. Но ни один из них ни разу ни в чем не обвинил и не попрекнул меня…Я был бесконечно благодарен судьбе за то, что оказался среди этих людей. Они тщательно соблюдали данные им инструкции, и тем не менее я чувствовал, что они относятся ко мне с симпатией и всегда готовы прийти на

помощь».

И все же человечность милосердия далеко не столь обворожительна, как сверхчеловечность могущества, от соблазна которой мир не освободится никогда: кто первым от нее откажется, проиграет.

Слуги дела и жертвы свободы

Любая больница – не самое веселое место на свете, но если она еще и занесена в пустынные пространства за проспектом Солидарности, куда нужно добираться через проспект Большевиков… Хорошо еще, титул больницы «25 Октября» успели сменить на первозданный и менее свирепый – «Александровская».

В тамошнем урологическом отделении мне пришлось провести довольно много дней году этак в 94-м, когда прогрессивные средства массовой информации изо всех сил содействовали реваншу коммунистов, стараясь превзойти реакционные СМИ, изображая нашу жизнь не просто трудной, но прямо-таки неслыханно ужасной. «Бинтов в больницах нет, лекарств нет, без тысячи рублей медсестра не подойдет, а уж уколоться без десяти тысяч и не мечтай», – на общественных началах упивались властители дум из министерства праведности в унисон с психопатическими тетками, и я уже готовился узреть какую-нибудь палату номер семь. Но чистота была, как при прежних господах, бинтов, слава богу, хватало, с лекарствами было туговато, но выкручивались, а на девичий персонал, брошенный на произвол чистогана, порнографии и пепси-колы, просто трудно было смотреть без слез старческого умиления.

Разговоров я наслушался и среди терпящих, и среди лечащих, и, само собой разумеется, все были недовольны и вообще «бардаком», и скачкой цен, и задержками зарплаты. Тем не менее доминанты были абсолютно разные: среди белых халатов царил вопрос «Что делать?», а среди пижам и тренировочных костюмов – «Кто виноват, что нам приходится что-то делать?». Врачей, повторяю, тоже раздражала задержка зарплаты, но на первом плане все же оставалась задержка мочи у Сидорова из четвертой палаты: каждый превосходно понимал, что, какие бы благие или гибельные катаклизмы ни стряслись – инфляция, дефляция, дефлорация, – все равно он, лично он, должен будет что-то предпринять сам, чтобы Сидоров наконец мог сделать пи-пи. И даже самый обидчивый и амбициозный доктор в принципе не отрицал прав потребителя: слишком уж близко они – «производитель» и «потребитель», «заказчик» и «исполнитель» – стояли лицом друг к другу, чтобы врач мог забыть, на кого он работает. Зато трудовой люд в палатах совершенно искренне и очень давно позабыл, что он тоже должен что-то делать «для кого-то», а не просто «честно трудиться», перемалывая сырье и энергию. Он торжествующе сокрушается, что девчонка-медсестра получает впятеро меньше его: «А?! Это справедливо?! Взять бы

автомат!..» – откуда же демократическому кумиру, простому человеку, догадаться, что девчонка получает впятеро меньше именно оттого, что он, лично он, в рядах своего могущественного ведомства взял ослабевшее государство за горло, угрозами и забастовками вымогая упятеренную зарплату для себя и вовсе уж заоблачную для своего директора, который так до сих пор и держит в ленинской комнате красные знамена, чтобы, вооружая ими коллектив, стращать правительство, кое одно отвечает за все.

Человек с простейшей моделью социального бытия не подозревает, что он душит не только медсестру и учительницу, но и себя самого. Практически каждый из нас одновременно и производитель, и потребитель. «На производстве» мы хотим, чтобы нам платили побольше, а придирались поменьше; на рынке же нам хочется обратного, чтобы все было качеством получше, а ценою подешевле. Массовый труженик уже много десятилетий борется с эксплуататорами, не догадываясь, что кровосос-хозяин в огромной степени лишь полпред потребителя. В итоге трудящиеся левой рукой что есть мочи тянут за ту самую веревку, которую они же изо всех сил удерживают правой, – хорошо еще, если петля не захлестнута на шее общества.

При социализме этот вековой конфликт с самим собой решается в пользу организованного человека труда, а не разрозненного тунеядца-потребителя, которому предоставляется лишь возможность ворчать и доставать с переплатой импортные вещи из той части мира, где культ труда не сумел уничтожить культ результата. Происходит обычная вещь – средство объявляется целью: провозглашая «Владыкой мира будет труд», забывают, что людям нужен вовсе не труд, а его результаты.

Разъяснить закоренелому человеку труда, которому поколения демагогов помогли возвести личный интерес в ранг святыни, что и он обязан на кого-то пахать, очень нелегко – нужно дождаться, пока сплоченные отряды людей труда будут дезорганизованы выходящими из их рядов людьми дела, – а до тех пор любому правительству можно только посочувствовать и даже с грустью понять, почему отдельные его члены склонны заниматься самоутешением: ведь благодарности им все равно не дождаться, поскольку огромные группы населения и могущественные ведомства в их борьбе друг с другом убеждены, что борются с правительством. А ему, в свою очередь, ничего не остается, кроме как следовать единственному неизменному закону политики: уступать могущественным и заставлять расплачиваться слабых, чтобы не погубить всех.

Главная проблема – как пережить те двести – триста лет, покуда массовый человек труда не сменится массовым человеком

дела. И единственное, что зависит от СМИ, – не злить простого человека сверх необходимости, не изображать жизнь хуже, чем она открывается его собственным глазам: если человек с простейшей моделью социального бытия, разгневавшись, совершит решительный поступок, он неизбежно окажется смертельно опасным, ибо свершается в соответствии с мнимой картиной мира, фашизм – это бунт простоты.

А, пожалуй, это была не самая глупая находка советской пропаганды – умягчать сердца очерками о положительных героях, думал я, любуясь, как в развевающемся белом халате (медсестры замирают, глядя вслед, словно уходящему гусарскому полку) проносится по коридору Владимир Васильевич Михайличенко – блестящий хирург, автор целой кипы печатных работ, которому десять лет было не собраться переплести их в теперь наконец-то защищенную докторскую, виднейший специалист по андрологии – по тем деталям, которые отличают мужчин от женщин. При этом сам Михайличенко – интереснейший мужчина с красиво седеющей бородой и голубыми глазами русского витязя, отличный рассказчик и прелестный добрый человек, на свой страх и риск первым в Петербурге взявшийся за операции по перемене пола. Покуда психологи вели споры (вполне серьезные и дельные), кого следует считать «истинным» транссексуалом, Михайличенко склонялся к тому, что истинны любые страдания, и если человек считает свою жизнь невыносимой, надо ему помочь.

При этом свое служение человеку он понимает как-то недемократично: не очень-то интересуется гласом народа, что откуда отрезать и куда подшить. Оперирует он великолепно, стоит у стола буквально по десять часов без перерыва, получает за это гроши – все как надо, – но вот насчет прав человека… Одно оправдание: заказчик в наркозе не имеет физической возможности обсуждать и обличать.

Почтительно любуясь, как Михайличенко летит в операционную в продезинфицированных голубых штанах с безобразными буквами «ОП», я в стотысячный раз убеждаюсь, что ни социализму, ни капитализму не по силам создавать таких орлов, – эти левиафаны могут лишь использовать то, что сама собой творит извечная человеческая среда.

Ах, какой материал для воодушевляющего очерка! Признайтесь по секрету, вы ведь тоже истосковались по положительному герою?

Герой нашего времени

Детство наш герой провел в Новороссийске – барак у заводской стены. Предки были в основном народ простой (в прадеды, правда, затесался грузинский князь), но – в своей среде – люди состоявшиеся, а стало быть, при советской власти в той или иной степени потерпевшие. Но эта порода неистребима – их дети снова берутся за прежнее: не отнимать, не погонять, не драть глотку, не примазываться, а работать – и снова, что называется, выходят в люди. Михайличенко-папа был кузнецом высочайшей квалификации, брал дополнительные заказы и, хотя был не лишен известной слабости русского мастерового, никогда не ругался. Мать была построже, перед родительским собранием приходилось призадумываться о своих грехах, хотя вроде их бывало и негусто. Впрочем, и мать, как всякая нормальная мать, была матерью-героиней: когда началась война, закинула гитару за плечи, взяла двух малышей на руки и двинула пехом подальше от бомбежек.

Кстати, о помянутых слабостях. Они, конечно, никого не красят, хотя сами иногда и скрашивают жизнь. Вопрос «Сколько человек пьет?» гораздо менее важен, чем вопрос «Зачем он пьет?». Если человек, сколько бы он ни выпил, не допускает даже мысли не выйти на работу – употребление и даже злоупотребление алкоголем долго может быть терпимо как неизбежная компонента культуры. Но когда в воздухе ощущается дыхание свободы, когда уже не левые интеллектуалы, а публика самая бесхитростная начинает догадываться, что в этом мире и впрямь все позволено, тогда наркотики (а алкоголь один из самых опасных наркотиков) мгновенно добивают то, что могло бы еще похварывать много десятилетий.

Когда человек приходит к убеждению, что его права абсолютны, а обязанности условны и относительны, когда все учителя жизни – от пророков гуманизма до порно-листков – дуют ему в уши, что все должно служить ему и только он ничему служить не должен – его счастье (его удовольствия) и есть цель мироздания! – тогда он оказывается совершенно беззащитен перед жизнью, которая всегда будет требовать труда и труда, терпения и терпения: наш эгоизм желает, чтобы все служило нам, но смыслом наполняет нашу жизнь только то, чему служим мы.

Я имею серьезное подозрение, что надвинувшаяся на мир наркотическая чума есть закономерное завершение мастурбационных тенденций европейской культуры. В давние времена, когда никому и в голову не приходило, что человек может быть свободен от обязанностей перед родом, племенем, государством, Богом, культурой (тоже не помышлявшей, что цель ее – она сама), – в те эпохи боевые песни исполнялись не только

для того, чтобы прийти в воинственное расположение духа и отправиться спать: их пели, чтобы воевать. Любовной лирикой упивались, чтобы любить, а вольнолюбивой – чтобы бунтовать. Но вот освобожденную от оков человеческую личность ее собственные переживания стали занимать гораздо сильнее, чем события внешнего мира, – ценности деяния начали оттесняться ценностями переживания, всякое реальное дело стало превращаться в обузу.

Та же любовь – она, конечно, штука приятная, можно даже сказать, захватывающая. Но – столько хлопот, риск унижения… Да и в случае успеха новые обязанности – защитника, кормильца, – спокойнее оставить от любви один секс. Впрочем, и секс налагает какие-то путы: хоть на полчаса ублажить и партнера, еще спокойнее перейти на мастурбацию – как и наше искусство, служить себе лишь самому. Однако и мастурбация требует каких-то усилий, специфической готовности – ну так сделаем укол и будем иметь все сразу и без хлопот.

Алкоголизмом обычно называют физическую привязанность к алкоголю. Но ведь диабетик тоже ничуть не слабее привязан к инсулину – оставаясь при этом слесарем, учителем, министром… Алкоголиком человека делает не количество потребляемого алкоголя, а цель, с которой он пьет. Если он засаживает стакан водки, чтобы идти разгружать баржу, – это вредно для здоровья, и только. Если он за бутылкой обсуждает финансовые проекты – это, возможно, вредит их качеству, и только. Но если он пьет, чтобы больше ничего не делать и больше ничем не интересоваться, – вот это уже алкоголизм.

Пить можно для того, чтобы жить с большим – пускай вульгарным – вкусом, и можно пить для того, чтобы не жить, чтобы спрятаться от жизни.

Сегодня слово «тоталитаризм» звучит неизмеримо более устрашающе, чем вчера слово «мещанство». И за дело: это ужасно, когда общественное целое поглощает личность, когда культ поступка стирает в ничто внутренний мир человека. Но когда происходит обратное, когда переживание пожирает дело, а прихоть – долг, это менее впечатляюще, но не менее ужасно. Не только для общества, для личности тоже – посетите клинику, где «переламываются» наркоманы, побеседуйте с их близкими, загляните в кризисное отделение, куда свозят оставшихся в живых самоубийц. В романе все позволено – в романе «Так говорил Сабуров» я позволил себе без обиняков заявить, что глубинная причина самоубийств – свобода. Но я и в публицистике на три четверти в этом убежден: исчезновение авторитетов, которым люди повинуются добровольно, лишает их дара

самообуздания, а заодно и средств утешиться в неудаче (при неограниченных аппетитах вся жизнь есть цепь неудач). Человек – существо трансцендентное, уверяет крупнейший современный психолог Франкл, он не может быть целью самому себе. Люди, оставшиеся без цели и руководящих правил, ценностей, – самые настоящие мученики свободы.

В пору самого раннего формирования личности Владимира Васильевича (а наша личность – это наши стремления) ни о культе прав человека, ни о культе переживания (культе мастурбации) в провинции у моря еще не слыхивали, он намеревался работать, а не самоуслаждаться. В школе у него очень хорошо шла литература, но никому и в голову не приходило, что из любви к книжкам можно сделать профессию. Правда, после школы он хотел пойти в артисты, но мать отговорила (а брат его стал-таки известным актером). Хотя способности были явные. Однажды Владимир Васильевич рассказывал в лицах, как он впервые побывал (студентом) в сумасшедшем доме, – исключительно достоверно получилось. В детские годы он пел, рассказывал стихи с таким успехом, что его возили с концертами по окрестным совхозам – подкармливали, что после войны совсем не мешало.

О врачебной карьере он не смел и мечтать. Как-то пацаном увидел доктора, выходящего из уборной, и был страшно шокирован: «Как, это божество?..» За пределами сцены он был очень стеснительным: его пошлют к рыбакам за рыбой, он подойдет и стоит в сторонке, пока не спросят: «Тебе чего надо?» – «Рыбу…» – «Так чего ж ты молчишь?»

В старших классах увлекся боксом, вышел в чемпионы Краснодарского края, выслужил камээса. В местный мединститут сдал очень хорошо, но… научные работники тоже знают, что часто бывает легче опубликовать статью в центральном журнале, чем в захудалом ведомственном сборнике.

Хотел пойти в молотобойцы к отцу, но снова запротестовала мать – пошел в приборoремонтную мастерскую, дослужился до четвертого разряда. Поступил в Ленинградский медицинский. Урология не понравилась – пахнет мочой, и вообще слишком уж интимно. Распределился в Чебоксары, вырос в хирургического аса, сделался известным в городе человеком, но – потянуло в ординатуру, ему все время нужно что-то преодолевать, он и в отпуске быстро начинает искать какое-то дело – а дело у него известное. Он бы везде работал, ему и в мастерской нравилось – что-то выточить, придумать, а в медицине каждый может найти занятие по плечу: хочешь ничего не делать – иди в физиотерапевты: включил – выключил. А хочешь бегать,

тревожиться, выделять адреналин, жизнь, может быть, тратить – тогда иди в хирурги.

Так он и носится по больнице – брови стянуты к переносице, каждый день кого-то спасает (да и не одного) от страданий, а то и от гибели, между делом опубликовал полторы сотни научных работ, сделал несколько изобретений и кучу рацпредложений, есть за ним и монографии, методики его операций можно найти в учебниках, но пик, наверное, еще впереди. Первым в Петербурге он начал делать операции по перемене пола.

– Но это же страшно – что-то начинать впервые? Ответственность такая…

– Ты же не со двора приходишь.

Изучил, подготовился, потренировался на трупе, отдельные элементы были отработаны раньше на других заболеваниях – в том числе на тюремных фаллосах: тамошние плейбои для пущего объема впрыскивают парафин, от этого кожа дубеет, возникает что-то вроде футляра…

– Неужели вас никогда не охватывает ужас – каждый день кровь, боль, ведь сразу же мысли: это и со мной может случиться…

– Об этом просто не думаешь. А думаешь, что здесь можно сделать. Здесь главное – сначала думать, а потом резать, а не наоборот. У нас в институте были такие, кто еще на первом курсе всеми болезнями переболел: что изучаем – тем они и болеют. Кое-кто даже не смог остаться в медицине.

А есть, оказывается, люди, которые, наоборот, любят болеть и даже оперироваться: сочиняют правдоподобные симптомы, настаивают, ссылаются на авторитеты, а когда их наконец разрежут и ничего не найдут, они начинают новый виток, используя предыдущую операцию в качестве еще одного аргумента, – особенно если хирург для самооправдания напишет что-нибудь туманное. Постепенно они становятся известны хирургической гильдии – коллеги начинают предупреждать друг друга.

Корпоративную этику Михайличенко в целом одобряет: врачи не должны плохо отзываться друг о друге – это нужно не столько им самим, сколько больным, доверие к доктору – важная компонента лечения (у шарлатанов только она и есть), доверяя врачу, больной будет и меньше бояться, и меньше раскаиваться в случае неудачи. Выслушивая больного, врач не должен писать, как бы ни поджимало время, он не должен фамильярничать с подчиненными: если ты сегодня щиплешь медсестру за одно место, завтра уже не сможешь потребовать дисциплины. Когда при появлении профессора все встают – это не нарушение

демократических норм, а создание ореола, бросающего целебный отсвет на всю больницу. И не надо осквернять этот ореол несвежими медицинскими халатами.

На обличение кого-то или чего-то мне так и не удалось его спровоцировать: средств недодают – так не нарочно же, сейчас всей стране трудно, всем будет лучше – и нам будет полегче. Этому праведнику совершенно незнакомо утонченное наслаждение собственной праведностью и неправедностью прочего мира, тогда как истинный интеллигент считает главным делом своей жизни быть совестью – только не своей, а чужой. А еще лучше – общегосударственной: всем указывать на издержки их деятельности и ни в коем случае ни за что не отвечать самому.

«Всем трудно» – для министерства праведности это формула примиренческая.

Кстати, все в том же урологическом отделении один больной после операции на аденоме вытащил трубку из «канала» и побрел в ватерклозет. Ассистент Михайличенко сердито ввинчивал трубку обратно, а самоуправец оправдывался:

– Очень писать хочется.

– Всем писать хочется. Время сейчас такое. Трудное время.

У них время всегда примерно одинаковое: каждый божий день надо что-то придумать, чего-то не прозевать, кого-то вытащить – ведь все время что-нибудь да стрясется…

Социальные нормы – оковы или скелет личности?

Вот вам положительный герой нашего (да и любого другого) времени – воодушевляйтесь! Воодушевились? А если нет – скажите, чего вам недостает, мы-с мигом-с!.. Если не хватает красок, живых деталей, то дело поправимо – однако лишь в отношении художественном, но никак не публицистическом, воодушевляющем: нормального человека, как его ни выпиши, нынче мало кто признает личностью идеальной – идеал должен лежать за пределами нормы, а личность, заслуживающая подражания, непременно должна взламывать какие-то рамки. Лучше всего, понятно, государственные, ибо именно государство более всего сковывает священную свободу человеческой личности.

С приходом свободы среди порядочных людей началось поветрие – иной раз отдающая уже едва ли не раболепием склонность к покаянию: «Увы, я не боролся с режимом, я только строил дома, делал открытия, лечил людей, воспитывал детей, сажал картошку – увы, я не герой… Но ведь героев – единицы…»

Слушаешь, слушаешь, пока наконец не взвоешь: так что – летчик-испытатель не герой?! Не герой пожарный, готовый каждый день лезть в огонь?.. Не герой шахтер, подводник, рыбак, мент из группы захвата, за средненькую зарплату идущий на нож и под пулю?.. Не герой хирург, который каждый день смотрит в глаза смерти и страданию и слышит за спиной дыхание прокурора?..

Что у нас действительно осталось и наследством, и зародышем тоталитаризма – это неистребимая тяга к гегемонизации (упростительству): в общественных нуждах, являющих собой сложнейшее сплетение равно необходимых и вместе с тем трагически противоречивых начал, непременно выделить начальство: если не класс-гегемон, то глас-гегемон, потребность-гегемон, если не монослужение государству, то монослужение правам человека – не особенно задумываясь, что все эти права противоречат не только друг другу, но и тем «идеям и призракам», которые делают людей людьми. Из океана бедствий, окружающих человечество, извлекается одно-единственное озеро (подавление личности государством), и все, кто осушает другие моря, объявляются трусами и конформистами: достойное дело должно быть только одно.

Угнетение личности государственной властью – кто спорит, штука очень опасная. А угнетение личности злобностью ближних, холодом, голодом, болезнью, теснотой, бандитом или психопатом – это ничего не стоит? А угнетение личности невежеством, бескультурьем? Или, точнее сказать, освобождение личности от культуры – от долга перед семьей, профессией, обществом, наукой, искусством, честью, красотой и прочими тоталитарными призраками – разве такое освобождение не гибельно для нее? Что хуже – стесненная человеческая личность или свободная личность, переставшая быть человеческой?

А мы вечно видим опасность только с одной стороны… Какие-то основы нашего уклада представляются нам вечными, природными, как вода и воздух, но сегодня даже они нуждаются в защите. Ну а в мире человеческих ценностей и привычек без специального попечения не выстоит, видимо, ничего. Боюсь, у человека нет практически никаких инстинктов – есть лишь социальные нормы. Уж на что инстинкт материнства казался гранитным утесом, однако и его миллионы мам сумели перешагнуть, покидая своих детенышей на произвол неласкового государства, чтобы упорхнуть в мир свободы и беззаботности. Даже роль матери оказалась предопределенной не биологически, а только социально – биологически предопределенным остался лишь пол.

Предопределенным ли?

Транссексуалы – кто они? Сумасшедшие, фантазеры, симулянты? Хитроумные телята, желающие сосать сразу двух маток, или страдальцы, которым дай бог хоть вполовину получить от жизни то, что имеем мы?

Михайличенко не сразу сумел довести до моего понимания разницу между гомосексуализмом и транссексуализмом – хотя он не только блестяще оперирует, но и читает лекции об этом предмете. Оно и в самом деле с трудом укладывается в голове: гомосексуалист – например, мужчина – ощущает себя все-таки мужчиной, только со специфическим интересом к своим собратьям по менее прекрасному полу, не имея при этом ни малейшей охоты переменить его на более прекрасный: оставьте его в покое – и он обретет счастье со своим любимым, насколько счастье в любви вообще доступно смертному. Мужчина-транссексуал ощущает себя именно женщиной, он и влюбляется не как мужчина в мужчину, а испытывает к своему возлюбленному полноценную женскую любовь, и его пол – тело, ставшее на пути у души, – понемногу превращается для него в объект страстной ненависти, тогда как гомосексуалист относится к своему телу в среднем не хуже нас с вами.

При этом транссексуал-мужчина, ощущающий себя женщиной, и влюбляется как женщина, и отдаваться хотел бы именно как женщина: анальный секс ему обычно неприятен – хотя, подобно любящей женщине, он иногда готов пойти и на него, чтобы доставить удовольствие любимому. Транссексуалу-женщине, ощущающей себя мужчиной, в каком-то смысле легче, она может стимулировать эрогенные зоны партнерши всеми доступными нам средствами, исключая всего лишь одно – из-за него-то и разгорается весь хирургический сыр-бор.

А как же его собственный, извините за выражение, оргазм? При отсутствии физиологического аппарата?

– У оргазма есть две составляющие – физиологическая и психологическая, – отрубает Михайличенко. – Физиологической ограничиваются только дураки.

Я вижу, что это камешек в мой огород, и принимаюсь оправдываться:

– Я понимаю, что быть рядом с предметом любви, слышать его голос, прикасаться, дарить ему наслаждение – это тоже само по себе наслаждение. Но все-таки, хоть убейте, я не представляю оргазма без эякуляции.

– У женщин тоже бывает оргазм, а эякуляции у них нет. И все. Получается, что психология способна взять на себя функции физиологии.

Вообразите, пытался достучаться Владимир Васильевич, что вы однажды утром проснулись – а у вас женское тело. Однако воображение пасовало. Как это? Я иду в ванную и вдруг обнаруживаю… Или спускаюсь в метро, поглядываю на встречных женщин и тут вспоминаю… Нет, немыслимо. Дурь какая-то. Ну, скажем мягче, прихоть. Или еще мягче – фантазия. Нельзя же серьезно относиться к фантазиям!

Но Михайличенко рассказывает о множестве сломанных судеб: сначала детские фантазии девчонки или мальчишки, что они не те, за кого их принимают (дети вообще часто фантазируют), и что со временем это как-то обнаружится; постепенное понимание, что пол – это не самоощущение, но анатомия, а она не знает пощады; потом тщетные попытки примириться, потом жизнь в чужом обличье – с естественным сопутствующим стремлением сменить круг знакомых, затеряться в анонимности большого города… Решающие годы, когда другие овладевают профессией, создают семью и вообще, что называется, прокладывают себе дорогу, уходят на бесплодную борьбу между биологическим и психологическим полом. В итоге чуть ли не каждый пятый доходит до суицидов.

Сейчас положение меняется, а еще лет десять назад даже о самой возможности операции по изменению пола мало кто слышал. В Петербурге Михайличенко начал делать их первым. Сначала бесплатно – из милосердия, из профессионального азарта, но… Операция сложная, затягивается на десять часов, прооперированные лежат подолгу, а ведь речь идет о целой серии операций.

Платит тот, кто заказывает музыку, то есть тот, кто направляет пациента в больницу. А направляют, разумеется, с серьезными, то есть соматическими болезнями: люди страдают от болезней суставов, почек, сердца, даже мозга – до души ли тут! Нет, для души тоже есть лечебницы – психиатрические, так, может, туда и следует обращаться нашим подзащитным? Увы, и умственные, и психические способности у них в полном порядке, души у них вполне здоровые. Только не от того тела.

Но, может, они все-таки того, не вполне?.. Ведь даже в сказках девушка превращается в медведицу, а парень – в медведя: пол остается инвариантным в самых диковинных превращениях. Я встречался с одним, с другим, с третьим (с одной, с другой, третьей), часами беседовал, спрашивал обо всем, что только могло прийти в голову, и убедился, что ответить на вопрос: «Какие они, транссексуалы?» – примерно то же, что ответить на вопрос: «Какие они, люди?» Они и сами это прекрасно понимают:

«Мы, "трансы", очень разные». Кто-то решительный, кто-то застенчивый, кто-то умный, кто-то… Вот тут, пожалуй, и случилась единственная осечка: глупых не нашлось.

Это была единственная особенность: каждый из них был значительно интеллигентнее своей среды. Шофера вполне можно было принять за инженера, телефонистку – за выпускницу гуманитарного вуза, и даже безнадзорная девчонка, считающая себя мальчишкой, выброшенным на улицу семьей алкоголиков, по психологической тонкости значительно превосходила многих своих ровесников – студентов.

Иначе говоря, каждый из них замечал такие мелочи, на которые заурядные люди обычно не обращают внимания, и все они внимательно вслушивались в вопросы и серьезно задумывались, прежде чем ответить. Никто из них ни разу не перебил, не отмахнулся: «Да бросьте вы! Что вы мне говорите!» Как раз после серии встреч с этими ребятами мне случилось вступить в беседу на эту же тему с крупным химиком, членкором, и он по контрасту показался мне полным болваном – после первых же двух слов закричал: «Ну, это сумасшедшие!» Я не стал приводить афоризм Ясперса – психическая норма есть легкая дебильность, – а попытался разъяснить, что главные параметры психической нормы – социальная адаптация и критичность к собственным фантазиям – у них не хуже нашего: каждый из них отлично знает, какого пола он в действительности, только жить ему с этим знанием не хочется.

– Бросьте, бросьте, что вы мне говорите! – мой собеседник все знал заранее. А они не знали. Они были готовы прислушиваться и размышлять. Это я и называю интеллигентностью.

В моем интеллектуальном багаже насчет сексуального конфликта души и тела нашлись лишь записки кавалерист-девицы Надежды Дуровой: сначала досада матери на то, что родилась девочка, а не мальчик, ее вечные жалобы на обреченность несчастьям женской половины человеческого рода, мужское воспитание среди солдат, пистолет в качестве первой игрушки и т. д., и т. п. Но у первого моего собеседника все было наоборот: прекрасная мать, всеми уважаемая, хорошо зарабатывающая, красивая, интеллигентная, любившая свое дитя именно как девочку – со всеми сопутствующими нарядами (но в конце концов примирившаяся с его изменой кружевам и бантикам). Он и самоубийство отверг оттого, что это было бы преступлением перед матерью, пытался смириться, чтобы ее не огорчать, только вдвойне ненавидел свои вторичные и особенно первичные, нормально развивающиеся признаки, придумывал устроить им какую-нибудь болезнь, чтобы их вырезали, к черту:

«Спицу, что ли, туда воткнуть?» Боже, а мерзость месячных!..

Но это только по отношению к себе, вообще же к женщинам он относится как к существам более чутким, чистым – относится, можно сказать, романтически. При этом – сугубо мужская черта – с женщиной ему легче переспать, чем побеседовать по душам: раскрыть душу – это для него что-то более интимное.

Когда и как в нем зародилась и укрепилась фантазия, что он мальчик, а не девочка, он не помнит. К счастью, битва с природой и социумом – вести себя подчеркнуто по-мальчишески, дерзить, класть ноги на стол, ходить в мятой рваной школьной форме, которую другие девочки отпаривают и подгоняют по фигуре, – эта битва не затянулась у него непоправимо долго: он уже лет с пятнадцати целенаправленно готовился к операции. А именно: социализировался в качестве мужчины – вплоть до брака, который является веским аргументом в глазах комиссии, отмеряющей право на перемену пола. После первой операции – удаления молочных желез – требуется пройти еще одно испытание: переменить документы, вплоть до аттестата зрелости, и год прожить уже мужчиной. Нынешнюю жену вынужден использовать для комиссии не без цинизма: «Она хорошая, пока молчит. А рот откроет – хоть стой, хоть падай. В обществе вообще нельзя показаться. А в браке важна общность мировоззрения».

Чтобы заработать нужную сумму, специально приобрел профессию реставратора. Он вообще мастер на все руки, отлично рисует, лепит, в больнице оформлял стенды, изготавливал наглядные пособия. Действовать очертя голову не склонен: «Прежде чем что-то купить, к киоску по два раза подхожу». И вообще не склонен к бурным страстям – он и в женщину не влюбляется страстно: главное – душевное сродство. Только один раз избил лыжного инструктора в Карпатах, который пытался им (ею, как казалось простодушному гуцулу) овладеть: его ужасно оскорбляло, когда его принимали за женщину. «И что он во мне нашел – я вообще тогда был на Мону Лизу похож». Хотел даже выбросить оскорбителя в окно, но удержался: голову он никогда не теряет. И если уж пустился на такое…

В больнице он готовится в мединститут, кровать обложена учебниками. Создать из несчастного урода счастливого полезного члена общества – разве это менее важно, чем прооперировать желудок или сустав? Одно смущает: есть ли у этой странности физиологическая основа? Или это все же чистая дурь? «Где же ваш брат был раньше?» – спрашиваю я. «Молча мучились. Или превращались в уродов, посмешище». Я припоминаю мнение Розанова о «стриженых девках», о женской эмансипации: ее, мол, и вызвали, выражаясь по-нынешнему, транссексуалки, чтобы всех

женщин сделать мужеподобными и затеряться в их толпе. «Нет, мы не хотим, чтобы женщины стали мужеподобными. Мы хотим, чтобы женщины оставались женщинами, а только сами хотим стать мужчинами. Каковыми себя чувствуем».

Да, если мужчина – это решительность, то он гораздо больший мужчина, чем я. Смотришь на него – модная оправа, энергичный ежик, свободный смех, свободная мужская поза – видный парень. Только когда встанет, замечаешь небольшой рост (хотя и мужчин таких полно) и хрупкие плечики. Но он уверенно тащит на них свою ой какую непростую судьбу. И будьте уверены, вытащит.

А вдруг склонность к перемене пола сделается предметом моды, способом уйти от традиционных обязанностей (пример – служба в армии) или, наоборот, приобрести новые права (пример – служба в армии)? Способом ускользнуть от некрасивости, которая прощается лишь мужчинам? Не нарушит ли это естественный баланс мам и пап? И вообще – появление новых выходов способно ослаблять человеческую волю. Но на такие муки, возражают мне, способны лишь единицы, которым действительно невтерпеж. «Хотите покажу? – вдруг краснеет мой собеседник. – Какая женщина даст так себя изуродовать?» – бедро стягивает жуткий шрам. Чтобы свернуть этот пустячок для несчастных сыновей царя Никиты, эту трубочку, без которой, как нам казалось, нет мужчины, требуется вырезать из живого тела «лоскут» минимум в ладонь, а если хочешь быть награжденным пощедрее, так и вдвое.

Ни один человек в здравом уме на это не пойдет. А душевнобольных должна отсеять квалифицированная комиссия. Единичные ошибки, вероятно, будут неизбежны, но цена их, я думаю, окажется менее тяжкой. Тесты на установление психологического пола – штука сложная и продуманная, хотя для полного успокоения все равно хотелось бы отыскать что-то «объективное» – то есть химико-биологическое. Мне говорили, что у нас чаще женщины стремятся перейти в мужчин, а на Западе наоборот: это вроде бы свидетельствует, что транссексуализм – феномен не биологический, а социокультурный. С другой стороны, возможно, что наша социальная среда просто больше способствует выявлению именно этого типа транссексуализма. С третьей стороны…

А с третьей стороны – не все ли равно? Пускай даже это чистая «фантазия». Но ведь все, что возвышает нас над животными – чувство собственного достоинства, стыдливость, любовь к кому-то избранному, вовсе не требующаяся для

продолжения рода, преданность абстрактным идеалам, – все это лишь психологические феномены, «фантазии», «идеи и призраки». Единственная разница – все эти фантазии коллективные.

Иначе говоря, биологические или социальные потребности – потребности животного или однородного коллектива – мы выбираем в качестве критерия того, какие желания индивидуальности достойны, а какие недостойны уважения, пускай даже они делают ее жизнь невыносимой, – вот что такое наше стремление отделить «серьезное» страдание от «дури», недостойной государственного медицинского обслуживания.

Звучит фантастично, но, быть может, транссексуализм – еще один шаг в освобождении человеческой души, человеческой индивидуальности из-под гнета материальных обстоятельств: племенных, сословных, национальных, а теперь еще и анатомических. Слов нет, проторенные тропы – самые надежные, путь свободы – путь неисчислимых опасностей: не так уж глупы дикари, которые страшатся прочертить на своем копье лишнюю полоску, чтобы не потревожить злых духов. Но тех, для кого прежние рамки уже невыносимы, кто готов очень дорого платить за свою «прихоть», – их удерживать, я полагаю, не только жестоко, но и бесполезно, ибо плата за выход мало для кого приемлема, а уважение к запрету и без того не слишком неколебимо. Действенны же лишь те табу, на которые мы не смеем покуситься даже мысленно.

Я не знаю специальных исследований об отношении общества к транссексуализму, но судьбы моих знакомых «трансов» дают множество примеров не только человеческой дикости, жажды беспощадно карать сексуальных дезертиров, но и примеры самой великодушной терпимости. «Я этого не понимаю, может, я глупая старуха, но по мне – лишь бы вы были счастливы» – так деревенская мать напутствовала дочку, связавшую свою судьбу с нищим «трансом» без двух передних зубов.

– Ты, наверное, любишь драться?

– В основном получать. У меня реакции вообще нет: даже не понимаю, как это можно уклониться от удара. (Ох, не женское это дело…) Но я очень гордый – лаяться, ссориться совсем не могу. Сначала спорю, а когда вижу, что человек наглеет, вскакиваю и хватаю за грудки. Если ссорюсь, то навсегда, я не понимаю, как это можно – сначала ссориться, а потом улыбаться, – передразнил с бесконечным презрением: на его мальчишеской морде все страсти пробегают, как по экрану.

Он, как и все, тоже не помнит, когда начал считать себя мальчиком. Половое воспитание? «Вообще никакого воспитания не было – смотрел, как мать с отчимом дрались, на ковшах

вмятины вот такие!» Стандартное материнское присловье: «Жалко, не догадалась тебя вовремя выковырять». «Обычно у алкоголичек по лицу заметно, а она такая цаца, мадемуазель, ах-ах-ах, вы что – на работе только в последнее время заметили, да и то замазали, чтобы пенсию не портить. Теперь уже валяется, гадит под себя… Может, я такой невезучий, что она меня перед иконой прокляла – ну, со всех сторон одни неудачи!» Помнит, лет с семи ходил на стадион смотреть, как мужчины моются в душе, – безо всякой эротики, просто посмотреть, «какие они счастливые…» В женскую баню – лучше убейте, он и не купался ни разу, вернее, один раз, да и то в одежде – «бухой, конечно». Лет в тринадцать удрал из дому, болтался по подвалам, жил ночной перепродажей вина и сам беспрерывно пил: не будешь же с трезвых глаз смотреть на эти трубы, на крыс… Случалось, ел макароны из мусоропровода. «Иногда подумаешь: где я, что дальше будет? – и скорей опять пить». Распознали, что он девчонка, пытались изнасиловать. Потом его пригрела сорокалетняя лесбиянка, держала в общежитии почти взаперти. Но хотя бы сыт был, не только пьян.

И вот этого чумазого щербатого побродяжку пригрела абсолютно нормальная девушка, приехавшая в город за счастьем. Здесь уже поневоле убедишься, что женщины действительно способны влюбляться в душу, в характер – в данном случае все остальное отсутствует до грубости наглядно. Вначале считая его парнем, впоследствии она даже не хотела, чтобы он делал операцию, – зачем, ей и так хорошо (а это и для него «самый кайф»).

Одни во всем мире – без денег, без толковой профессии, запертые в коммуналке с сумасшедшей старухой, которая время от времени напускает на них милицию: здесь, мол, две лесбиянки угнездились. Идти ей в торговлю – «там под кого-то ложиться надо. Я сам должен ее защищать. Если бы не она, меня бы давно на свете не было. Она уйдет в магазин, а у меня мандраж: вдруг с ней что-то случилось? Я тогда точно жить не буду – или инфаркт будет, или инсульт, или крыша поедет. А если бросит – выживу. Она меня на ноги поставила, и теперь я выживу».

Денег на первую операцию раздобыл, удачно спосредничав при перепродаже квартиры. Но больше ничего не подворачивается, хотя он немало башмаков износил в поисках. Притом просто пойти работать в мужской коллектив – не может себя переломить: «Все пойдут в туалет, а ты как? Раз не пойдешь, два – и догадаются».

Скажите, можно ли расходовать казенные средства на такую дурь?

Хрупкий миловидный брюнет с юными усиками и юным же ломающимся баском, но ему за тридцать – они все выглядят лет на пять – десять моложе своего возраста и старательно басят. В общежитии троллейбусного парка, где он живет с женой, несколько лет назад парни ворвались в комнату двух – как считалось – лесбиянок, одну «измудохали», другую выбросили с третьего этажа. К счастью, она осталась жива, потом ее увезли родственники. Моему собеседнику тоже угрожали. «Зависть. Как же так, я настоящий мужик, а у меня нет бабы, а тут ни то ни се… Теперь они тоже обзавелись, и нормальные отношения».

Да, и это тоже способствует сексуальной нетерпимости – сексуальная озабоченность. Хочу подчеркнуть: снисходительность к чужой странности, влекущей за собой страдание, – это совсем не та страсть к опрощению сексуальных нравов, не та борьба за равенство с животными, которая ведется сегодня во многих СМИ. В состязании за женскую любовь бывшие женщины часто выигрывают именно благодаря своим романтическим наклонностям: «У меня один недостаток – я очень долго ухаживаю. Со своей нынешней женой полгода гулял, пока в щечку поцеловал. Да и то повод был – встречал с поезда… Я больше люблю нацменок, они более надежные». Все суждения очень ясные, разумные. «Наше отличие от лесбиянок – лесбиянка ласкает партнершу как женщину и для себя хочет того же. А "транс" не хочет такой симметрии».

Грубая порнография на него не действует, но красивый эротический фильм – начинают заряды постреливать, «хочется». Эрогенные зоны у него спина и голова, когда ерошат волосы – даже в парикмахерской, – начинает немножко кайфовать, подумывать: вот бы девушку мою сюда. Сам же он любит ласкать все, что ниже пояса, главное для него – наслаждение партнерши.

Но твердость духа у него вполне мужская. Удалив грудь (был второй размер) и сменив документы, вернулся в тот же троллейбусный парк, где работал: знают – ну и пусть знают, за спиной называют «оно» – ну и пусть называют. Диспетчерша спрашивает его: «Правда, ты гермафродит?» – «Может быть». – «Дай помацать». – «А вдруг понравится?»

С медсестрами он балагурит очень квалифицированно, хотя: «Я сейчас комплексую – пока фаллопластику не сделают, даже не рыпаюсь».

– Людей люблю. Только не пассажиров. Сейчас народ очень озлобился: раньше зажмешь их дверью – ничего, терпят, лишь бы ехать. А сейчас требуют своих прав, хотят хорошо ехать.

Одна моя знакомая их называет «мешки». «Ты же сама

бываешь "мешком"?» Нет, я в транспорте не езжу, только в метро. Да и то, когда никого нет.

Детей иметь не стремится, но дочь любимой женщины – разумеется, надо кормить, поить и хорошо обращаться, какой здесь может быть вопрос!

Отец после перемены документов (после исчезновения бюста) «не может его воспринимать», спросил его жену: «Тебе что, мужиков мало?» Сестра избегает называть по имени, и только мать: «Лишь бы тебе было хорошо». Если обобщить ситуацию до символа, нельзя сказать, что права лишь Доброта, а Долг совсем не прав. Не случайно, что именно с расширением сфер терпимости и плюрализма люди все чаще ощущают утрату смысла жизни, испытывают сомнения в подлинности всех привычных ценностей, что ведет к депрессиям, самоубийствам, наркомании, немотивированной преступности и т. д., и т. п. Как совместить твердую приверженность собственным ценностям с полной терпимостью к чужим и – что еще более важно и еще более сложно – как передать одновременно и твердость и мягкость детям, способным воспринимать лишь что-то простое и однозначное? – это, может быть, одна из главных проблем нашего времени – из тех проблем, которые, быть может, и вовсе не имеют решения. Но расплачиваться нужно всем вместе, а не взваливать ответственность на немногочисленные и наиболее экзотичные жертвы всеобщего релятивизма, выражающегося, в частности, еще и в размывании границ, отделяющих мужскую социальную роль от женской.

Общечеловеческие ценности… Конечно, должны быть ценности, признаваемые и русским, и американцем, и мужчиной, и женщиной, и ученым, и солдатом. Но при этом каждая социальная группа, выполняющая определенные социальные функции, должна иметь и хранить отчетливые, соответствующие ее частной роли ценности и нормы – несмотря на то что они неизбежно будут противоречить как общечеловеческим ценностям, так и друг другу. Социальное бытие трагично: уничтожить противоречие равно необходимых ценностей означало бы уничтожить жизнь. Стремление к диктату какого-то одного принципа, какого-то одного образа человека есть такое же упростительство, как и полный отказ от каких бы то ни было норм, – во имя, разумеется, свободы личности – ради чего еще стоит стараться. Но если мы хотим сохранить то восхитительное, что рождается структурной сложностью социальной жизни, мы должны сохранить и нормы. Мир норм должен быть не менее многообразным и противоречивым, чем мир социальных функций и ценностей, но многообразие форм – вовсе не бесформенность,

бесструктурность: любовник должен отличаться от любовницы, папа от мамы, солдат от сиделки, а сантехник от профессора. Разумеется, я не предлагаю ради сохранения норм возродить наследственные касты – воинов, слуг, ученых: люди должны иметь возможность переходить от одной функции к другой, однако при этом они должны соответствовать необходимым для отправления этих функций исторически сложившимся нормам. Конечно, нормы и люди должны двигаться навстречу друг другу, однако нормы во много раз медленнее. Структура норм и ценностей, соответствующая структуре разделения общественного труда, являет собой культурную среду, ничуть не менее важную, чем природная среда.

Оберегать веками, тысячелетиями сложившуюся сложность общественной структуры – задача даже более трудная, чем охрана природы, ибо природа – звери, птицы и озера – существует вне нас, а общественные нормы и ценности живы лишь до тех пор, пока мы дорожим ими. «Человеческой природы», которую бы помимо нашей воли хранила сама биология, просто не существует – роли отца и матери не исключение. Можно, конечно, презирать все исторически сложившиеся «предрассудки» и мечтать о вольном мире, откуда будут изгнаны все принудительные стандарты. Но XX век преподал нам слишком уж много жесточайших уроков скромности: лучше поменьше мечтать об усовершенствовании мира, а потщательнее хранить то, что в нем уже накоплено.

Норма без крайней необходимости не должна топтать аномалию. Но она и не должна, как это теперь бывает сплошь и рядом, перед ней заискивать, создавая моду на аномальность и увеличивая число завтрашних жертв. Популярный телеведущий берет интервью у группы лесбиянок, и они защищают свой образ жизни с большим умом и достоинством – зато он не находит ни единого словечка в защиту нашего образа жизни, только из кожи вон лезет, чтобы не показаться отсталым. Неудивительно, что при такой сверхтерпимости половая идентификация становится все более затруднительной. Одежда, манеры, социальные функции – все сближается.

Нормы могут устоять лишь тогда, когда отступление от них не является слишком легким, а тем более – престижным делом. И путь «трансов» к перемене пола никогда не будет усеян розами. Да и сколько их, истинных транссексуалов, – по некоторым прикидкам, один на тридцать тысяч среди мужчин, одна на шестьдесят тысяч среди женщин (взято из книги знаменитого сексолога Льва Щеглова). Притом они хотят всего лишь перейти из касты в касту, вовсе не покушаясь на границы между ними: они

хотят стать настоящими мужчинами – только более верными и стойкими, и настоящими женщинами – только более женственными. Похоже, им это удается.

Алеша – в застиранном больничном байковом халате он напоминает Алешу Карамазова, прошедшего испытание подпольем и каторгой. Ощущение душевной чистоты, кротости и – раненности. Имя вымечталось само – как будто спустилось свыше. Мечтательная красивая девочка из закрытого научного городка, интеллигентная семья – мама уже лет в шесть впервые повела ее к психиатру. Но дети ведь часто фантазируют – кто-то воображает себя принцессой, а кто-то мальчиком. А в целом девочка прелестная – умная, добрая, красивая, прекрасно учится, с шестого класса пишет стихи, много читает, только чрезмерно стыдлива – даже при женщинах наотрез отказывается раздеться, получая записочки от мальчиков, буквально сгорает со стыда.

– А что здесь такого, для вас постыдного?

– Ну а вы бы что почувствовали, если бы в вас Михайличенко влюбился? – вспышка прелестного девического румянца. – Только вы ему этого, пожалуйста, не передавайте…

До сорока лет она была уверена, что она во всем мире одна такая: хотелось затеряться в большом городе, чтобы где-нибудь подальше от места работы хоть иногда почувствовать себя мужчиной. Такие возможности в ту пору давала только работа «по лимиту» – это означало вечное соседство с веселыми девахами в рабочей общаге. Чтобы не выделяться, она пыталась стать на путь исправления – поддавать, вступать в связи с мужчинами, – но ничего, кроме отвращения, ни разу не испытала. Была беременность, аборт…

Сейчас мечтает об одном: дожить без потрясений с любимой женой. Жена была против операции, «как мужчина» он ее вполне устраивал, но он настоял, чтобы зарегистрировать брак.

– Прошлая жизнь для меня, как эта погода, – печально показал он на туман за окном.

Многие «трансы» говорили: мне как будто пять, шесть, восемь лет – отсчитывая от той минуты, когда они окончательно решились считать себя теми, кем всегда себя чувствовали.

И во всех в них я по-прежнему нахожу лишь одну аномалию – интеллигентность. Умение точно говорить об оттенках своих переживаний – видно, дух и впрямь рождается не из гармонии, а из диссонанса мечты и яви.

Спартанец Леонид, энергичный толстячок, лет пять даже в жару не снимал куртку, сутулился, чтобы скрыть грудь, которая, как на грех, уродилась на зависть – большие хлопоты доставила

Михайличенко. Дружит со всеми, но влюбляется только в девушек. Как все – сначала платонически, потом хочется поцеловать, приласкать, ну и так далее: голова есть, руки есть – найдешь способ: «Она говорит, что не хуже». Физического наслаждения он не испытывает, ему приятно, оттого что ей приятно. Его пятнадцать лет держали не в своем теле, и уже в старших классах начались страшные депрессии, а в двадцать один год пошел к психиатру и объявил, что покончит с собой и постарается его обвинить, если тот не даст разрешения. Сейчас учится в институте, собирается жениться.

– У твоей невесты волосы дыбом не встали, когда она узнала, кто ты?

– Нет. У ее мамы встали. У старого поколения тоталитарные взгляды: кем тебе положено, тем и оставайся. А новое поколение больше ценит душу.

Снова приходится признать транссексуализм победой духа над материей, фантазии над фактом, самооценки над анатомией. Он изменил даже фамилию, если в метро случайно услышит свое прежнее имя, прямо вздрагивает от ненависти. При этом расположен к людям, переполнен позитивными планами – мало кто из нас отказался бы от такого сына.

И от этого микеланджеловского пророка Даниила тоже – особенно сейчас, когда молодежь, как известно, утопает в разврате, безделье, наркотиках и торгашестве. Открытое лицо, юная мужественность. Окончил техникум, но ради «площади» работает дворником. Коллеги – нормальные люди, не синяки – всегда относились очень хорошо, а после операции стали относиться еще лучше. Он и в девичьей ипостаси имел много приятелей и поклонников. «Но я к ним не испытывал ничего, кроме дружбы. В уме проигрываю – мог бы? И вижу, что нет». А в женщин влюблялся с первого класса – платонически, хотелось только внимания, именно женского внимания. В учительницу был влюблен. Как-то она дернула за косичку – обиделся насмерть.

Как все, ни за что ни при ком не хотел раздеваться. И на операцию стыдно было пойти. Но вот решился и рад. И про оргазм разъяснил без ханжества и хихиканья: и у мужчин, и у женщин бывает возбужденное состояние, когда ласки доставляют наслаждение, – только у мужчин это заметно по внешним признакам, а у женщин незаметно. Когда это состояние проходит, это и означает, что наступил конец.

С женой они любят друг друга, один ребенок у нее уже есть, но, возможно, обзаведутся и вторым. Что такое плохое настроение ни из-за чего, он не знает.

– Да ты, кажется, счастливый человек?..

– Да, сейчас я счастливый человек.

А от Шуры многие не отказались бы и в качестве жены: для нее одно из высших удовольствий – вкусно накормить любимого мужчину. Элегантная, живая, приветливая, стройная – на мой непросвещенный взгляд, несколько излишне худощавая. Впрочем, сейчас, судя по фотомоделям, это модно, а красота создается модой, то есть прихотью, не в меньшей степени, чем биологическим предопределением. Она и в мальчишеский период – при физической робости – отличалась общительностью и дружелюбием, только с отцом были холодные отношения лет с десяти: из двух детей он больше любил дочурку, но, когда вместо сына стала проклевываться вторая дочь, пришел в состояние непримиримости.

Теперь после всех положенных операций и гормонального курса следы мужского начала почти незаметны: и среди женщин таких полно. Работает на почте, никакой обиды из-за уплывшего высшего образования не испытывает, клиенты на нее не нарадуются – мила, приветлива, исполнительна, побольше бы таких. Но когда я рассказал ее историю одному своему приятелю, большому женолюбу, он тревожно поежился: черт, так вот еще попадешь и не догадаешься… Я думаю, действительно не догадаешься: Михайличенко брак не выпускает. Но не только поэтому брак с нею, я уверен, будет счастливым (хотя, конечно, наш мир – рулетка), а потому, что она принадлежит к одному из лучших типов женщины, – так отчего же не позволить ей выполнять извечную женскую функцию: нести в жизнь покой, уют и заботу?

Сегодня, когда любой чудак, извращенец или подонок с ясным челом и при полном почтении всех прогрессивных сил может претендовать на «альтернативный образ жизни», именно этим людям, которые не покушаются ни на какие социальные нормы (не нормы хотят приспособить к себе, а себя к нормам), чинят препятствия вести нормальную жизнь. Мы почти никак не боремся с куда более разрушительными последствиями либерализма – с фашизмом, с массовым сиротством при живых родителях, с наркоманией и ростом самоубийств (я не говорю, что это легко сделать, но мы ведь и не пытаемся) – зато отводим душу на тех, кто покусился на самое святое – на анатомию.

Быть может, абсолютных душевных изъянов не существует вовсе, а существует лишь гипертрофия либо неуместное проявление таких качеств, которые в уменьшенной дозе либо в иной ситуации обернулись бы достоинствами.

Но вовсе не надо быть фашистом, чтобы встревожиться за

будущее человечества: когда ослабевает естественный отбор, биологические виды начинают хиреть – против этого трудно что-то возразить. И утешиться здесь можно, пожалуй, только тем, что человек как биологическое существо и с самого начала не мог тягаться зубами с волком, а шерстью с зайцем, – и все-таки сегодня их приходится защищать от него, а не наоборот: человека вознес на трон царя природы его интеллект – научный, технологический, социальный, духовный, – позволивший ему устроить сложнейшую систему разделения общественного труда, которая, в частности, не могла бы существовать без начала солидарности, исторически воспитанного, как считал Дюркгейм, или, как считал Кропоткин, биологически заложенного в человеке. И ниоткуда не следует, что эти мощнейшие факторы становления человека чаще действовали через здоровяков, а не дохляков, – по крайней мере, из доступной взгляду истории этого совершенно не видно: как правило, даже в военном деле все решала изобретательность и воля – Цезарь, Наполеон, Суворов отнюдь не были атлетами и, однако же, держали в руках тысячи силачей и храбрецов.

Но, оценивая человека как вид прежде всего его духовными параметрами, как индивида не слишком ли часто мы оцениваем его параметрами чисто физическими? Можно надеяться, что роль двух этих великих орудий человечества – солидарности и разделения труда – при всей ее громадности в прошедшем в дальнейшем будет становиться еще более решающей и в конце концов не только позволит найти место в жизни все нарастающему количеству инвалидов, но со временем еще и поможет вновь уменьшить их число – может быть, даже методами генной инженерии. Безумно интересно, под какие стандарты начнут подгонять наши прапрапра… внуки свой облик и свою физиологию, когда к тому откроются неограниченные возможности. Заказать сына под Аполлона или под Эйнштейна, заказать дочь под Венеру или Аллу Пугачеву… А может быть, наши потомки додумаются даже до того, что дочь под принцессу Диану – это вроде как уже и не дочь, ибо настоящая дочь должна быть похожа на папу с мамой. А папа с мамой – кто знает – не начнут ли к тому времени так дорожить своей индивидуальностью, что не захотят с нею расстаться даже во имя самых престижных стандартов. Может быть, дело даже зайдет так далеко, что они вообще откажутся от каких бы то ни было стандартов – или, по крайней мере, тысячекратно увеличат их набор. В психологической сфере, как мы только что видели, это уже давно произошло – почему бы не допустить, что плюрализм когда-нибудь распространится из сферы духа в сферу тела? Тем

более что плюрализм духа на первый взгляд гораздо опаснее: именно он, по сильному подозрению в том числе и автора этих строк, является одним из важнейших источников неврозов и даже самоубийств.

А от плюрализма тела – во всяком случае, в субъективном мире – пока что не видно ничего, кроме добра, хотя он неуклонно ширится и крепнет. Уже и сегодня язык не сразу поворачивается назвать инвалидом даже человека, прикованного к креслу, если в этом кресле он срывает аплодисменты на спортивных состязаниях, путешествует по миру, производит фурор на научных конференциях… Такие инвалиды наводят на мысль, что мы все еще руководствуемся пещерными нормами здоровья и нездоровья: называем более здоровым того, кто с большей легкостью мог бы выжить в дикой тайге, а не того, кто более успешно выживает в современном цивилизованном обществе: подсознательно мы продолжаем считать основной средой своего обитания «природную», а не социальную среду. Человек, который в центре пустыни погибнет, если иссякнет вода в колодце, здоров, а человек, который в центре города погибнет, если иссякнет инсулин в аптеках, болен. И только потому, что колодец – «естественная» система, а фабрика инсулина – «искусственная».

Ну хорошо – инвалида в коляске я готов снять с обсуждения: все-таки он практически лишен естественных средств передвижения (хотя и блестяще это компенсирует искусственными – как все мы компенсируем нехватку скорости автомобилем, а нехватку крыльев – самолетами и вертолетами). А рассмотрим менее контрастную и более распространенную пару: одному дарована природой фантастическая система пищеварения, способная справляться с политурой, хлорофосом, дихлофосом, так что, приводя в изумление собутыльников, он дотягивает аж до сорока и оставляет без средств к существованию четырнадцать дебильных детей от одиннадцати мам. Другой с детства вынужден сидеть на диете, остерегаться острого, крепкого – и так и остерегается до восьмидесяти восьми лет в окружении преуспевающих детей и прелестных внуков. И вот первый опять-таки здоров, а второй нездоров… Нет, со стороны Всемирной организации здравоохранения было не так уж глупо включать в определение здоровья совокупность всех физических, социальных и психических возможностей, позволяющих человеку справляться с жизненными невзгодами, – здоровье человека все-таки не то же самое, что здоровье животного. Здоров ли горбун? В свое время его организм великолепно справился с болезнью, нарастив такую костную систему, которая спасла его от неминуемой гибели: горб – это курган победы над смертью. Причем обладатель этого горба

очень часто оказывается силен, умен и всего только… Всего только не соответствует определенным антропологическим стандартам: исчезни стандарты – и он немедленно обрел бы отменное здоровье, потому что его физические, социальные и психические качества позволяют ему лучше многих и многих справляться со всеми сюрпризами, на которые так щедра действительность. Со всеми – кроме наших предрассудков. Иначе говоря, при допущении плюрализма в сферу физических свойств человека мы смогли бы уже без всякого сарказма повторить слова проповедника, ответившего горбуну, который стал пенять ему на несовершенство отдельных божиих творений: для горбатого и ты очень хорош.

Кто-то блондин, кто-то брюнет, кто-то лысый… Лысые, похоже, уже давно победили в борьбе за равноправие, а вот горбуны еще нет. Сами того не замечая, мы часто подгоняем себя под некие якобы гигиенические, медицинские, научные, а на самом деле чисто эстетические либо устаревшие стандарты. Мы завидуем крупным, рослым людям, хотя, как правило, дольше живут сухонькие живчики. В очень многих случаях, может быть, даже в большинстве, иметь эстетические стандарты совсем неплохо – здоровье вообще не должно служить высшей ценностью, – но вместе с тем стандарты не должны вступать в непримиримую борьбу с нашими генетическими данными. Накачивание физической силы нередко приводит к прямо-таки профессиональным болезням, загар провоцирует новообразования, а анорексию (самоубийственное голодание) иногда называют болезнью отличниц: если уж девушка, наделенная повышенной ответственностью и волей, решает сделаться худенькой, тогда как для нее нормально быть полной…

Особенно обидно, что конфликт коллективных идеалов («норм») с индивидуальными биологическими ограничениями ударяет по лучшим! А потому плюрализация физических норм сберегла бы очень много нервов, а то и жизней – в противоположность плюрализации поведенческих норм. Физические стандарты уже много десятилетий в необразованных слоях оберегаются несравненно тщательнее, чем в образованных: заикание или маленький рост поэта, сутулость или косоглазие профессора, брюшко или пришепетывание менеджера едва ли не придают им дополнительного обаяния в глазах их поклонниц, крупный начальник чуть ли не рисуется, влагая под язык валидол, – хуже ли это, чем скрывать нездоровье?

Ослабление физического отбора ухудшает человеческую породу? Но ведь есть как минимум две разновидности отбора. Первая подвергает испытанию каждую особь в отдельности –

примерно такой отбор проходят хищники, охотящиеся в одиночку. Вторая же разновидность испытывает на прочность весь социум как целое: типичный пример – муравьи, у которых отдельные особи, оставшись в одиночестве, были бы уже не способны сделаться Адамами нового муравейника. Человек – пример почти такой же типичный: в одиночку он, если бы вообще выжил, был бы обречен влачить самое жалкое существование. Более того, я склонен думать, что значение той разновидности отбора, которая подвергает экзамену целые племена, народы и цивилизации, с веками только возрастает. А потому становятся все более и более важными не столько личные доблести индивидов, сколько структура, в которую они включены. Классик мировой социологии Эмиль Дюркгейм более ста лет назад назвал механической солидарностью власть универсальных правил, единых для всех индивидов, а взаимосвязь всех индивидов через участие в коллективной системе разделения общественного труда – органической солидарностью и сформулировал закон о неизбежном перерастании механической солидарности в органическую. Естественно, механическая солидарность склонна устанавливать для всех и единые стандарты здоровья (в древней Спарте общество даже брало на себя уничтожение некондиционных младенцев), тогда как органическая солидарность в принципе не отторгает ни одного индивида, если только он вписывается в систему взаимного обслуживания.

Сегодня в развитых странах ему помогают это сделать уже целенаправленно: каждому типу солидарности соответствует свое представление о здоровье – вместе с развитием общества меняется и это представление. А между тем, уже давным-давно вступив в мир органической солидарности, мы по-прежнему храним почти спартанские воззрения на физические нормы. Помогает ли это индивидуальному отбору? Разумеется, нет, поскольку со скалы мы все равно никого не сбрасываем, «ущербные» оставляют ничуть не меньше потомства, чем «полноценные». Ну а отбором второго рода, отбором социумов, неустанно и с особой жестокостью занимается сама история. Поэтому все общественные организмы, уцелевшие в течение хотя бы нескольких последних веков, на мой взгляд, выказали и выказывают чрезвычайную жизнеспособность. И общества, построенные по законам органической солидарности, пока что неизменно торжествуют над тоталитарными механизмами: гейзеры механической солидарности, одетой в униформу того или иного цвета, сегодня прорываются в основном в маргинальных слоях и странах. Однако мир медицинских норм по-прежнему тоталитарен – во всяком случае, в обыденном

сознании, оно сортирует с легкостью необыкновенной: это нормально, это ненормально… Правда, экстравагантности социального характера переплывают из рубрики в рубрику довольно шустро: гомосексуализм из распущенности побывал болезнью и закрепился альтернативным образом жизни, наркомания в подобном движении так и осталась болезнью – с полным, впрочем, основанием.

Слово «норма» в нашем языке имеет два оттенка – констатирующий и рекомендательный. Мы называем нормальным как то, что просто наиболее широко распространено, так и то, что мы желали бы видеть в качестве эталона, образца для подражания. И оба эти оттенка перетекают друг в друга совершенно незаметно – вознамеримся только констатировать и сами не заметим, как начнем навязывать. Мы единодушно признаем нормальным явлением роды – процесс не только мучительный, но и опасный для жизни – и ни за что не признаем нормальным пародонтоз, хотя от него страдает чуть ли не сто процентов городского населения: в слове «ненормальный» всегда таится либо надежда улучшить, либо желание отбросить. Поэтому имело бы смысл если уж не вовсе запретить слово «норма» в применении к человеку как наследие механической солидарности, то, по крайней мере, резко сузить ареал его обитания.

Пророк и пропагандист

Воля к простоте

До прихода к власти и в первые годы своего правления Гитлер удостаивал… Да не удостаивал – заговаривал до полусмерти (он был абсолютно закрыт для диалога) довольно интеллигентных собеседников, способных внятно пересказывать и даже систематизировать некие эмоциональные азы его учения. Книга одного из них – Германа Раушнинга, занимавшего высокий пост в вольном Данциге – в 93-м году выходила в Москве, но, к сожалению, не была достаточно громко и разборчиво прочитана. И, может быть, самыми неожиданными для широкого читателя были неоднократные гитлеровские признания, что национал-социализм есть то, чем мог бы стать марксизм, если бы освободился от своей противоестественной связи с либерализмом, с демократическим устройством: он, Гитлер, многому научился у Ленина, у Троцкого. Главное в их опыте – работа с массами, объединяющие шествия, листовки, долбящие одни и те же примитивные лозунги, неизменные, как у католической церкви. Главное, не вносить обновлений в символы веры – народ не принимает близко к сердцу логических противоречий. Вообще поменьше логики: у масонов Гитлер научился воспитывать символами и ритуалами – помимо просвещения разума, путем оплодотворения фантазии. Надо будоражить массу фантастическими выдумками, вводить ее в экстаз – только возбужденная, опьяненная масса становится управляемой, апатия массы – это уже форма самозащиты, протеста (что совершенно верно, ибо отсутствие энтузиазма есть присутствие критического чувства, способности искать доказательства). На разумном убеждении, уверял Гитлер, ничего прочного построить нельзя: если даже вы сегодня в чем-то убедили толпу, завтра ее вполне может кто-то разубедить, никогда не нужно заниматься обоснованием собственных мнений или опровергать чужие и вообще опускаться до сомнений или разъяснений. С противниками никогда не спорить – только дискредитировать: если, скажем, вашим оппонентом оказалась женщина, нужно объявить, что у нее дети завшивели, а она таскается по митингам. Истины не существует ни в моральном, ни в научном смысле – знание должно быть заменено волей, все решает воля. Слово «убеждать» следует заменить словом «овладевать» – подчинять более слабую волю более сильной.

Всякое действие имеет смысл, всякая пассивность противна жизни. Всеобщее образование – разлагающий яд, изобретенный либерализмом на свою погибель. Каждое сословие должно иметь свое образование, а свободное образование – привилегия правящей элиты. Низшим сословиям вообще будет дарована неграмотность (грамотность редко уживается с верностью) – но и класс господ не должен поддаваться искушениям духа и так называемой свободной науки. Ключевое слово всего гитлеровского мироощущения – а заодно и ключ к любой практической проблеме – это воля. Воля может все. Нам нет преград. Нет таких крепостей, которых бы не могли взять нацисты. Марксизм опередил Гитлера в том, что заменил понятие всеобщей истины классовым интересом. Но марксизм все-таки не решился освободиться от рудиментов научного мышления, предполагающего существование объективных законов развития общества и требующего хотя бы имитации доказательств, – Гитлер с презрением отбрасывал весь этот занудный исторический материализм, полагающий, что материальные обстоятельства диктуют человеческой воле: нет, это воля диктует материальным обстоятельствам!

На этом постулате Гитлер основывал и практическую свою политику – в том числе проводимую самыми жуткими средствами. Он признавался, что не испытывает никакой любви к террору, но, увы, других способов сломить волю противника часто не существует. Пушки, бомбы, виселицы, концлагеря – все это лишь средства сломить волю. Объективных трудностей он не признавал – всюду видел или бездарность, или саботаж. В экономике нет никаких законов, инфляция, спрос, предложение – все это чушь: денег можно напечатать сколько угодно, а затем послать штурмовиков в лавку, где посмели поднять цены, – и не будет никакой инфляции. Большевики в конце концов тоже пришли к своей истинной политике, соглашался Гитлер, но лишь длинным окольным путем. Ленинская идея сделать всех рабами государства была, безусловно, глубоко верной (верной дорогой идете, товарищи) – только к чему эти мещанские увертки насчет того, что из рабства когда-то каким-то хитроумным путем возникнет свободное развитие всех и каждого. На самом же деле рабство должно сделаться вечным, чтобы воля сильнейшего (сильнейшая воля) могла реализоваться без препятствий. «Революционная воля не нуждается в идеологических подпорках!»

Но какова же цель этой воли, осторожно спрашивал собеседник, и Гитлер приходил в неистовство: «цель» – что за мещанство! «Как вы не можете понять, что никакой раз и навсегда установленной цели не существует!!!» Что решит воля

сильнейшего – сильнейшая воля – то и есть цель! Другое дело, что подчинять людей этой воле совсем не обязательно так топорно, как это сделали большевики: «Зачем нам социализировать банки и фабрики – мы социализируем людей». Люди мыслят примитивно: если они находят на месте привычные предметы – имущество, доходы, чины, порядок наследования, – они воображают, что все идет по-прежнему. Хотя они уже в руках у государства и делать будут то, что прикажем мы, нацисты. Демократия, с глубоким удовлетворением подчеркивал Гитлер, не может защититься от психологической агрессии, не вводя авторитарного правления, а для этого она должна перестать быть собой. Поэтому мы, нацисты, будем расширять свою власть внутри мягкотелых демократий до полного господства. Простой человек с улицы уважает только грубую силу, людям нравится видеть что-то ужасное. Побитые на наших митингах первыми записываются в национал-социалистическую партию (чтобы самим бить других).

До прихода к власти Гитлер специально приказывал наносить как можно больше членовредительств оппонентам, затесавшимся на их митинги, чтобы скандал непременно попал в газеты. И либеральная печать не отказывала ему в этой малости. Она поддерживала Гитлера даже материально: она обращалась к нему за интервью по всем поводам, а на вырученные звездного уровня гонорары он содержал свой штаб. К слову сказать, перебежчиков из коммунистического лагеря Гитлер всегда готов был приветствовать: из либерала, говорил он, никогда не выйдет хорошего национал-социалиста, а из коммуниста – сколько угодно. Главное – и тот и другой презирают все, кроме реальной силы.

А казалось бы – полная противоположность! Марксизм обожествляет скуку жизни, он наделяет верховной властью над человеческой душой хозяйственную деятельность, которую всякий нормальный человек ощущает лишь средством, позволяющим хоть отчасти реализовать свою волю. Гитлеризм – воплощенная романтика: именно волю он объявляет верховным распорядителем хозяйственной и прочей деятельности. Но общее в них то, что одну из частичных истин – не только соперничающих, но и дополняющих друг друга – и марксизм, и гитлеризм объявляют единственно верной и окончательной, верховной и исчерпывающей. Стремление заменить отношения борьбы и одновременно взаимного дополнения многих равноправных факторов абсолютной их иерархией – это, возможно, и есть одна из общих формул фашизма. По-видимому, протофашистскими являются все модели общества, исключающие

противоречивые оценки и прогнозы, модели, дающие однозначный выбор во всех социальных коллизиях. В расхожей публицистике фашизмом часто называют все формы агрессивного национализма, но я думаю, что какого-нибудь безжалостного английского колонизатора, готового покорять туземцев огнем и мечом, но при этом гордого британскими свободами для внутреннего пользования, все же не стоит называть фашистом. Хотя тип он, конечно, крайне неприятный. Более того – настоящий фашизм стремится навести порядок прежде всего внутри собственного народа, резко упростив его структуру, истребив все «лишнее», «паразитическое», то есть бесполезное для достижения какой-то простой (четко очерченной) грандиозной цели. Нужно сначала создать народ, говорил Гитлер, и только потом дать ему великую задачу.

Придя к власти в значительной степени на обличении совершенно реальных язв либерализма, Гитлер начал «создавать народ», отсекая «лишние» ветви и укрепляя власть правящей верхушки. Но сделать верхушку надежной можно было лишь одним способом – что-то ей «предложить за годы борьбы», материально заинтересовать ее в сохранении гитлеровского режима, – это явление можно было назвать преднамеренной коррупцией. В узком кругу Гитлер выражался прямо: «Делайте что хотите, только не попадайтесь». Вероятно, такой тип власти и есть тайная мечта сегодняшних коммунистов, которые, скорее всего, уже и не хотят социализировать всю эту мороку – неподъемно тяжелую промышленность и беспросветно сельское хозяйство: гораздо спокойнее социализировать их владельцев… В Германии тридцатых каждый банк, каждое предприятие должны были иметь свою партийную «крышу», нацистские бонзы занимали по три, шесть, двенадцать должностей. Утратив правовую защиту, спокойным себя не чувствовал никто, поэтому все стремились перевести капитал за границу и запасались компроматом друг на друга. Честные гауляйтеры были вынуждены вести себя так же, чтобы не потерять должность или вовсе не исчезнуть. Все это не расходилось ни с тактическими целями, ни с принципами Гитлера: «Мои люди не ангелы, а ландскнехты. Мы не станем повторять глупости о духовном возрождении. Мы – сила нации, вырвавшаяся наружу». Честность была ему даже подозрительна – честному человеку могут прийти в голову вещи самые неожиданные. «В мою задачу не входит нравственное улучшение человечества – я лишь хочу пользоваться его слабостями. Хотя я и не желаю славы врага морали – зачем давать противникам лишние козыри. Но полагаться я могу лишь на тех, чья карьера неразрывно связана с нашим общим делом,

мне подозрительны чистюли, для кого патриотизм – единственный мотив их действий». Когда Гитлеру напоминали о былых обещаниях – дешевые квартиры, поселки для рабочих, – он отмахивался: «Дома для народа может построить и марксистское, и буржуазное правительство, а мы должны строить общественные здания: величие их архитектуры покажет народу величие нашей воли».

Дело обычное – первой мишенью фашизма всегда оказывается собственный народ: абсолютное подчинение любой единой цели не совместимо с правом личности делать то, что ей нравится. Но когда свобода личности раздавлена – пусть даже во имя наиблагороднейшей, но жестко очерченной общей цели, – когда во имя этой цели личность отдана в почти неограниченную власть партийного начальника – он должен быть ангелом, чтобы не использовать ее заодно и в своих личных целях. Этот перпетуум-мобиле – власть, которой невозможно злоупотреблять, – существует лишь в воображении обносившихся почитателей товарища Сталина.

Особой любви к немцам Гитлер не питал – для него они были не более чем средством реализации его великой воли: проигрывая войну, он с ленинской простотой заявлял, что немецкий народ должен исчезнуть, ибо он оказался не на высоте своих задач, пусть миром правит сильнейший (снова «правит», а не сотрудничает). Но изначальной ненависти к другим народам он также, похоже, не испытывал – он ненавидел их лишь в той степени, в какой они препятствовали его сверхчеловеческой воле. Другое дело, что Гитлер вполне безмятежно верил в несокрушимые расовые особенности каждого народа – так же, в сущности, беззлобно, как мы констатируем, что дог сильнее болонки. Славяне – недочеловеки не потому, что он питает к ним неприязнь, а потому, что это так и есть на самом деле. Интеллигенция им не нужна, довольно с них простой сытости и самых примитивных развлечений. Во время войны, когда голодающее население оккупированной России устремлялось на юг, Гитлер объяснял это тем, что русские – природные кочевники. В наши дни его мнение снова подтвердил челночный бизнес.

Вообще Гитлер молол столько чепухи, почерпнув невероятное количество всевозможных сведений из шарлатанских брошюр, которых с падением цензурного гнета и у нас развелось предостаточно, что его беспрерывные умствования могут показаться беспорядочной грудой мусора, как это выглядит, скажем, в прекрасном фильме «Молох»: влияние северного сияния на душевные болезни, наклонности чешских усов, стратегические достоинства крапивы… Доминанту не сразу и разглядишь: люди

должны быть подчинены единой бесконтрольной воле. Фюрер то планирует предоставить в восточных провинциях как можно больше индивидуальных свобод, чтобы люди там оставались на как можно более низкой ступени развития (свободные люди начинают себя вести как обезьяны); то он сетует, что Гражданская война в США между Севером и Югом разрушила новое великое общественное устройство, основанное на идеях рабства и неравенства, – но принципиально важные суждения часто утопают в расистской ахинее: немецкая часть американского народа – источник его обновления, когда-нибудь она пробудит дух нации против еврейского и балканского отребья. А до тех пор Америка (расовая смесь) не будет опасной.

Любопытно, что о евреях Гитлер порой отзывался едва ли не с восхищением. Он совершено серьезно считал современную экономику созданием евреев: «Это их сверхдержава, которую они развернули поверх власти всех государств мира. Что за гениальное творение, какой изощренный и в то же время простой экономический механизм!» Но два народа не могут быть избранными одновременно – или евреи, или немцы (всегда должно остаться что-то одно: или пить – или есть). По-настоящему, уверял он, борьба и ведется между немцами и евреями – остальное только маска. Несмотря на очевидную нелепость буквального смысла этого утверждения, Гитлер, возможно, имел в виду борьбу двух моделей социального устройства – модели либеральной, основанной на свободном обмене, и модели иерархической, основанной на подчинении низших высшим. Снова вместо взаимного дополнения – борьба на уничтожение. В этом и заключается суть фашизма всех цветов: чудовищная гипертрофия, абсолютизация какого-то (или каких-то) – часто разумного – принципа. Не случайно Раушнинг характеризует Гитлера примерно теми же словами, что Бердяев Ленина: мастер упрощать. И «красный», и «коричневый» фашизм – это бунт энергичной простоты против трагической сложности, неустранимой противоречивости социального бытия. Упростительство Гитлера простиралось даже на вполне специальные вопросы – та же роль евреев в строительстве капитализма должна быть не просто заметной, но именно решающей. Хотя какие-нибудь средневековые Медичи могли бы заткнуть за пояс тогдашних Березовских. Иное дело – наиболее инициативные финансисты и торговцы действительно часто выходили из каких-то национальных или конфессиональных меньшинств, слабо связанных с традиционным укладом, – но нет никаких оснований думать, что евреи на этом поприще отличились существенно круче шотландцев.

Впрочем, истина для Гитлера была делом десятым. «Протоколы сионских мудрецов» – фальшивка? Ну так и что! Антисемитизм – наиболее ценная часть нашего пропагандистского арсенала: нужно все пороки либерализма приписывать проискам евреев, и тогда люди в борьбе с этими происками будут неизбежно приходить к «нашим» идеалам. Ведь чтобы прижать любое меньшинство, требуется отказаться от всеобщего равенства перед законом – а это серьезнейший шаг к фашизму.

Весьма разумно. Сегодняшние коммунисты тоже вполне планомерно расшатывают демократию, делая вид, что ополчаются всего лишь на еврейское засилье. Да и демократический «бардак» служит веским аргументом в пользу тоталитаризма – особенно в качестве реакции на либеральную утопию: развитому обществу, многочисленные части которого выполняют необходимые, но соперничающие функции, действительно нужен человек, принимающий окончательные решения, полагающий предел свободной борьбе социальных сил. Но абсолютизируем – и будем иметь: «Все должны быть рабами одного». По-видимому, повторяю, это общий закон: всякая модель социального устройства, не допускающая внутренних противоречий и неопределенности, точно и окончательно отвечающая на все социальные вопросы, неизбежно является протофашистской. Поэтому окончательная победа над фашизмом невозможна, ибо стремление к максимальной простоте, к непротиворечивым и исчерпывающим моделям всех явлений – одно из тех важнейших свойств нашего разума, которые создали современную науку: все должно быть объяснено, ничто ничему не должно противоречить. И так легко эти правила Аристотелевой логики незаметно распространить на принципы социальной жизни…

Единственное противоядие от простоты фашизма, которая хуже воровства демократии, – прививка трагического мировоззрения, предполагающего мир противоречивым и неисчерпаемым, неуправляемым и непредсказуемым.

Иными словами, мироощущение может быть лишь трагическим или утопическим.

Стараясь уловить сущность фашизма, по-видимому, не следует особенно считаться со сложившейся практикой словоупотребления, ибо фашистскими слишком много раз называли режимы, отнюдь не претендовавшие на радикальное обновление структуры общества, а только жесткими или даже жестокими средствами не позволявшие одной его части поглотить другую. А фашизм – это именно стремление подогнать структуру

общества под какой-то заранее избранный идеал, в котором все социальные противоречия будут преодолены раз и навсегда, в котором на все вопросы будет дан раз и навсегда правильный ответ. Если попытаться выразить суть фашизма одним словом, то лучше всего подошло бы, пожалуй, слово «планирование» – тотальное планирование дел и мыслей, предлагающее полное и окончательное разрешение всех конфликтов, в том числе и таких, в которых недопустима победа ни одной из сторон.

Никакие реальные общественные проблемы такого планирования не требуют – его требует лишь психология тоталитарных лидеров. Да-да, социальных причин, с неизбежностью предопределяющих возникновение тоталитаризма, не бывает – бывают только факторы, благоприятствующие его появлению, но возникает он лишь тогда, когда общественное движение, порожденное этими факторами, возглавит тоталитарная личность. То есть личность, не ведающая сомнений, знающая окончательный ответ на все мыслимые вопросы и поклоняющаяся только собственной воле, личность, которую не интересует ни богатство, ни почести, ни даже успех какого-то реального дела – вернее, интересует, но лишь во вторую или десятую очередь, а в первую очередь ей требуется, чтобы все делалось так, как ей когда-то почему-то втемяшилось. Националисту важен международный вес его страны, честолюбцу – слава, корыстолюбцу – золото, ради этого они способны изменять первоначальные планы, вступать в компромиссы, но тоталитарную личность подкупить нечем – ей ничего не нужно, кроме того, чтобы мир жил по ее воле. А что из этого получится – там посмотрим. А во что это обойдется миру – да не все ли равно.

Я подчеркиваю: реальные проблемы, из-за которых массы идут за подобным лидером, нимало его не волнуют – он лишь использует эти проблемы для захвата власти, а власть ему нужна только для того, чтобы все делалось так, как он решил. Рабочие в предреволюционной России действительно хотели улучшить свое положение, солдаты действительно хотели прекратить войну, но для этого совсем не требовалось переустроить Россию по принципу единой фабрики, как это желалось Владимиру Ильичу Ленину. Обладатели собственности в Веймарской Германии тоже безусловно искали защиты от коммунистов, националисты тоже, безусловно, хотели возрождения армии и пересмотра Версальской системы, но для этого вовсе не требовалось учреждать новое мироустройство, основанное на рабстве и расовой селекции, – это была уже персональная мечта Адольфа Гитлера: лидер-прагматик избрал бы неизмеримо более простой и надежный путь, без всех этих супербарочных излишеств.

Слово «фашизм», повторяю, столько раз применялось к вполне свободным от утопического начала авторитарным режимам, а с другой стороны, у фашизма столько общего с коммунизмом как с еще одной формой агрессивного упростительства, что, возможно, было бы правильнее употреблять термины «правый тоталитаризм» и «левый тоталитаризм». Различая их опять-таки не по методам, неспецифическим и лишь уводящим от сути, а по целям, по идеалам. Правый тоталитаризм стремится навязать миру какой-то архаический (и притом мифологически упрощенный) образ жизни: древняя Спарта, Древний Египет, древние родоплеменные общества – вплоть до биологических форм: волчья стая, муравейник, дерево с его корнями, уходящими в почву… Левый же тоталитаризм навязывает что-то «архисовременное», «ультрапередовое», полупридуманное-полуподсмотренное в каких-то организационных или технических достижениях цивилизации: завод, механизм с его деталями и «винтиками», судно с капитаном у руля – этот арсенал образов сегодня может включать и компьютер, и Интернет… Мне такое уже встречалось: Интернет разрушает границы, делает ненужным государство… Но стопроцентное разделение и тут не всегда удается: так Ильич в своем воображении скрестил современную фабрику с первобытным коммунизмом.

Здесь надо особо оговорить, что древние общества, оплодотворяющие фантазию тоталитарных лидеров, при всех чудовищностях, с которыми в них подавлялась личность, сами по себе не были фашистскими, ибо они не были учреждены по чьему-либо плану, хотя бы даже легенды и приписывали их обустройство одному человеку вроде Ликурга. И самые жестокие и бессовестные вожаки народных движений, которые в давние времена прорывались к власти на волне недовольства или энтузиазма, тоже не были фашистами, ибо, как правило, они стремились захватить высшие места в существующей структуре общества, но не обновить радикально эту структуру. Нет, такие попытки тоже предпринимались, но – в рамках религиозных, а не секулярных движений. Фашизм зародился тогда, когда тоталитарные личности обратили свой взор с небес на землю и начали переустраивать жизнь, опираясь уже не на авторитет Бога, а на авторитет Науки. Хотя настоящая наука не терпит несомненности, дух науки – трагический дух, она беспрестанно пытается разрушить рукой критики то, что возводит рукой фантазии.

Но это к слову. Главный же практический вывод для нас – при всех социальных «готовностях» (Щедрин) тоталитаризм

невозможен без тоталитарной личности, как соленый огурец без соли. Он невозможен без уникальной личности, сочетающей бешеную устремленность к абсолютно непрактичной утопии и невероятную практичность в решении промежуточных тактических задач.

И таких личностей на политическом небосклоне, благодарение богу, пока что не видать. Талантливых интриганов можно сыскать десятки и сотни, но в наше столь поносимое мелкотравчатое время никто из них не горит грандиозной упростительской целью. А потому отдадим заслуженную дань мелкотравчатости и прагматизму. Быть может, мы даже не догадываемся, от какой бездны они отвели и отводят нас.

«Я национал-большевик»

Публикация дневников Геббельса в недавнее время вызвала две довольно типичные реакции: «благородная», которая за самыми обычными человеческими чувствами будущего министра народного просвещения и пропаганды усматривала личину лжеца и садиста, и «объективная», вменяющая себе в обязанность во всех сомнительных случаях становиться на сторону врага, она признавала Геббельса злодеем и лжецом, но – лжецом гениальным (подтекст: нынче таких, благодарение богу, нет). Однако, если бы автор дневников носил имя не Геббельс, а Вертер, никому и в голову бы не пришло искать что-либо лицемерное или садистское в размышлениях нищего, бесконечно одинокого хромоножки (разумеется, это не означает, что он не был чудовищем, но чудовищное вырастает из человеческого, слишком человеческого). «Товарищи меня никогда не любили, нога причиняет много страданий, дети бывают ужасающе жестоки» – это мог бы написать каждый, фашизм начинается с признания жестокости нормой: но такова ведь природа – разве она не чудовищно жестока? Право сильного – вечный закон природы. Борьба за существование – между людьми, между государствами, расами – разве не самый жестокий в мире процесс? Проповедуйте пацифизм перед тиграми и львами! Все эти мысли молодой Геббельс записывает для себя, а не для публики. Самое страшное в фашизме не его ложь, а его правда: не то, чем он обманывает других, а то, во что он верит наедине с собой. Фашизм – это прежде всего упростительство, стремление один, пусть и важный фактор бесконечно сложной социальной жизни превратить в фактор-гегемон. Традиционный фашизм абсолютизировал борьбу, но своего рода фашизму бывают не

чужды не только националисты, но и гиперинтернационалисты, не только аморалисты, но и праведники – словом, все, кто думает, что один принцип может быть поставлен превыше всех остальных. Реальный мир, скорее всего, трагичен, он не допускает гегемонии ни одного начала, даже самого благородного, а уж объявлять силу высшей мудростью… Но и здесь фашизм ничего не выдумал. После Макиавелли, изобразившего мир политической борьбы царством нагой целесообразности, не допускающей ни грана морали (это тоже упростительство), немецкий фашизм если и внес что-нибудь новое, то не в области средств, а лишь в области целей: Геббельс уже в пору бедности и заброшенности мечтает очистить ценные породы людей от мусорных примесей (цыгане, евреи, славяне), защитить сильных от слабых (почему их нужно считать сильными, если они нуждаются в защите?), не преследовать утопические планы улучшения мира, а сделать Германию сильной и великой. «Я национал-большевик», – записывает Геббельс в интимном дневнике. Сделать свою страну сильной и великой – разве только садисты этого хотят? Смертоносно здесь лишь упростительское, первобытное представление о силе и величии – как о неограниченном военном, а не научном, культурном, техническом преобладании, о чистом гегемонизме вместо смеси борьбы и сотрудничества: чудовищность рождается из страшной обедненности того – неизбежно противоречивого – спектра критериев, по которым должна оцениваться социальная реальность.

Упростительская моноцель делает насилие всего лишь неизбежным следствием. Подчинить миллионы людей, каждый из которых имеет собственные нужды и вкусы, единой цели – в чем бы эта цель ни заключалась! – для этого человечество не придумало ничего, кроме армейской субординации, восходящей к главнокомандующему (императору, генсеку, фюреру) на вершине. После этого и пропаганде остается лишь бесконечно обосновывать божественную мудрость вождя и мерзопакостность всех нарушителей дисциплины, нытиков и маловеров – Геббельс был и здесь не более чем последователен: главное – не истина, а успех у масс. Надо говорить и писать не для интеллигентов, а для народа, и тут надо действовать совершенно примитивно – до этого вывода молодого Геббельса додумывается каждый, кто намерен вести необразованные толпы на сложнейшие общественные структуры. Назвать мудрого консерватора Эдмунда Берка сикофантом, находящимся на содержании у английской олигархии (Маркс), именовать интеллигентных оппонентов прислужниками помещиков и капиталистов (Ленин) – это не

более и не менее лживо, чем объявлять Рузвельта Розенфельдом и верным слугой мирового еврейства. Не принимать во внимание горстку «умников» (которые все равно будут противниками любой власти) – не так уж сложен этот секрет всех демагогов: его быстро уясняют все вожди народных масс, способных зажигаться лишь катастрофически упрощенными моделями социального бытия. Когда современные коммунисты обзывали оккупационным режимом общественное устройство, позволявшее им составлять парламентское большинство и свободно клеветать на любые действия власти, они вовсе не нуждались в уроках Геббельса: все эти немудрящие приемы не только каждый демагог, но и каждая коммунальная склочница способна открыть самостоятельно. Геббельс, правда, был откровеннее, он-то прямо заявлял в своих речах: мы вступаем в рейхстаг, как волк в овечье стадо, чтобы побить демократию ее собственным оружием, чтобы, получив депутатский иммунитет и право бесплатного проезда, во всеуслышание поносить систему и получать от нее же хорошее жалованье.

Пропагандистские средства в огромной степени определяются целью. Наши реформаторы всегда были так скромны в неправде, что ее почти невозможно было отличить от добросовестного заблуждения, – ну пообещают к седьмому числу покончить с инфляцией, ну запланируют экономический рост на 0,3 процента, но уж никак не назовут Зюганова агентом мирового исламизма, не устроят протечку в печать конфиденциальных сведений о его гомерических доходах или – уж врать так врать! – его гомосексуальных связях. Однако не распространяли подобных агиток они не только из-за щепетильности, недомыслия или высокомерия, но еще и из-за того, что им требовалось не объединить население, а, скорее, разъединить его, вводя в оборот индивидуалистические правила игры, не внушить ему глобальную иллюзию, обещающую скорое всеобщее благоденствие, а, скорее, приучить к трезвому взгляду на жизнь. (А неприукрашенной жизни так трудно бороться с красивой ложью… Но правительство профессионалов было выше подобной сентиментальной чепухи.)

Со своей стороны и Геббельс делал примерно то же, что, ставя перед собой такие же цели, делало бы – и всегда будет делать – любое неглупое должностное лицо. И пропаганда его тоже вовсе не обладала магической силой: она была действенной лишь до тех пор, пока оппоненты, как в автобусе (старый анекдот) или сидели, или тряслись, а политике Гитлера сопутствовал успех. Когда же успех кончился, начались анекдоты, а с падением террора наступило и массовое «прозрение». Геббельсовское

требование, чтобы критик был готов заменить высмеиваемого артиста, для мало-мальски интеллигентных людей всегда было анекдотическим, но для необразованной толпы годилось. Так было и в другом. При слове «культура» он не всегда хватался за пистолет: народ, считал он, должен быть воспитан в духе единого мировоззрения (этого требует любая моноцель), а потому государство никогда не сможет выпустить из рук газеты и радио (до TV он не дожил). Его политические суждения с двадцатых по сороковые, конечно, будут посерьезнее поприщинских («Когда Англия нюхает табак, Франция чихает»), но они не слишком возвышаются над размышлениями рядового газетного политолога с журфака – в этом можно убедиться, перелистывая его дневник.

«У государственного социализма есть будущее. Я верю в Россию». «Интернационалисты в коммунизме – евреи. Настоящие рабочие национальны до мозга костей. Их беда в том, что евреи так превосходят их умом, что своей болтовней побивают их». В науке он видит средство не для отыскания истины, а для развития национальной гордости; воспитание, считает он, должно завершаться на военной службе – все то же подчинение всего и вся первобытной моноцели: если такие умные, почему строем не ходите? О показательных процессах 37-го: «Советы безумствуют». В октябре 40-го: «Америка населена смесью рас, которую не назовешь народом. Тьфу!» Примерно тогда же: немецкая пресса служит государству, а либеральная английская сплетничает из принципа, разглашает все тайны и дает немцам все необходимые отправные пункты.

Рузвельт и Черчилль вынуждены слишком уж считаться с общественным мнением, от которого совершенно свободен Кремль. Евреи для Геббельса – в интимном дневнике, не в пропагандистской показухе! – последнее организующее начало России (первое, разумеется, немцы), после уничтожения которого она рассыплется. Недовольство союзниками принимает у него вполне обыденные формы: «много крика, а по сути ничего» (испанцы), «гнилое трусливое отребье» (это уже итальянцы). С вполне естественным удовольствием об одураченном Сталине: уставился на нас, как кролик на удава. О его же внутренней политике: он отрезает слишком разросшиеся ветви, но в этом суть большевизма, он не терпит выдающихся людей – тогда как фашизм «культивирует личности». Перед последним ударом по своему тезке Иосифу Виссарионовичу (кстати, тоже меченному физическим дефектом) и «стоящим за ним евреям»: «не ликвидирует ли Сталин постепенно и евреев, вероятно, он называет их троцкистами только для того, чтобы ввести в заблуждение весь мир». О «русском» терроре в Прибалтике:

лишенные интеллигенции, эти народы будут для Германии менее опасны. Впечатление от делегации Молотова: более чем посредственны, бросается в глаза суть большевизма – страх друг перед другом. «Это ужасно! В этом мире жизнь не имеет никакой ценности». Вспоминается джеромовский невоспитанный мальчишка, которого на улице матрос отчитал за сквернословие. Но это не лицемерие – это искреннее впечатление частного лица. А глобальные размышлизмы, в которых целые народы и массы военнопленных рассматриваются исключительно как сырье, «человеческий материал», – это уже думы государственного человека. Знаете, как превратить экзальтированного заморыша в чудовище? Заставьте его верой и правдой служить грандиозной упростительской цели. Вы спросите, кто его заставлял? Высокое мнение о собственном предназначении, не позволяющее смириться с будничным существованием рядового смертного.

Чувство избранности (присущее и Гоголю, и Толстому, и Маяковскому), не подкрепленное талантом в конкретной профессии, штука крайне взрывоопасная. Хотя тоже довольно будничная: мы тоже успели повидать героев перестройки, борцов с коммунистическим режимом, которые назавтра же призывали к новым великим свержениям, – им не за что себя уважать, когда они не бросают вызов чему-то грандиозному. Ну а жертвы – самоуважение им дороже. Геббельс заблуждался, полагая, что национал-социалистом нужно родиться: такого рода чудовища ежегодно рождаются сотнями – черными или красными. Или белоснежными – цвет праведности.

«Я плачу от отчаяния перед нуждой» (кстати, деньжат подбрасывал родительский друг-еврей). «Впервые Достоевский. Потрясен». «Пессимизм. Мысли о смерти». Ну что здесь редкостного, чудовищного? Это обыкновенно, как его работа над диссертацией (кстати, под руководством еврея). «Отчаяние. Я ни во что не верю» – разве мало отчаявшихся молодых людей «кровью сердца» писали собственную историю (роман «Михаэль»), отвергнутую всеми издательствами? Вполне возможно, что кого-то из них сегодня также оскорбляет отсутствие почвы (серьезности, правды) у нынешних знаменитостей, как Геббельса оскорбляло отсутствие «расы» у Томаса Манна – одна цивилизация. А у евреев вообще сплошная ирония и сатира! И это в тот миг, когда Германия тоскует о вожде, как иссохшая земля тоскует о дожде, – Геббельсы являются из среды патетической и не слишком удачливой, но уж никак не иронической. Молодой Геббельс посылает 50 (пятьдесят!) статей в одну из «ротационных синагог» – в «Берлинер тагеблатт» (кстати, и здесь редактор был еврей) – не напечатана ни одна. Остается задавать себе вечный

вопрос всех возвышенных натур: «В чем моя миссия и мой смысл?» И попытаться утешиться: квинтэссенция нового человека – мы, молодые без рода и традиций.

И, наконец, животворящие, как дождь в засуху, возвышающие душу переживания причастности к Большому Делу – человеческие, слишком человеческие: всеобщее братство во имя народа, гвардия Гитлера, прекрасные юноши – будущее, надежда, – самое обольстительное в фашизме не то, что в нем лживо, а то, что в нем искренне и патетично. От этой спасительной отдушины во всенародное из подполья своей индивидуальности Геббельс уже не оторвется ни за какую цену. Пусть «90 % немецкого пролетариата дерьмо» – он будет бороться, повинуясь своему демону, чтобы перед вторжением в Россию вновь испытать просветление: лишь бы жил наш народ, для них, живущих одним днем, живем и боремся все мы, беря на себя любой риск. Он будет упрощать и сам себя, убивая вкус к чтению, к живописи, а когда придет минута, убьет и собственных детей. «Умирать пойдем в сад!» – «Нет, на Вильгельмплац, где ты всю жизнь работал», – ответ истинно немецкой женщины. Дети, по мнению Элиаса Канетти, оказались не расплатой за пропагандистскую деятельность, а ее кульминацией: «Для грядущих времен примеры еще важнее, чем люди». Лучше умереть надутым великой целью, чем жить в своих истинных размерах…

И сейчас где-то рядом с нами пылкие молодые и не очень молодые люди жаждут обрести великую миссию – хотя бы и ценой нашего жалкого благополучия. Потерпев крах в личном созидании, они пытаются напитаться физическим могуществом масс. К счастью, мы уже получили кое-какую прививку от мегаломанической демагогии – мы сделались если и не умнее, то скептичнее. Мы все меньше верим в честный банк с пятью сотнями процентов годовых и в честную партию, гарантирующую всеобщее счастье распивочно и навынос. Пожалуй, не в уме, а в скепсисе сегодня наша надежда.

Правда, горьковатая – какой только и бывает неподслащенная правда. Случай Геббельса подсказывает нам минимум две психологические причины, влекущие людей в массовые тоталитарные движения. Первая – простое человеческое одиночество, холод которого гонит искать в толпе хоть какого-то тепла. Вторая – тоска по высокой миссии. Человек, одержимый этой тоской, может искать утоления своего неясного голода в сопричастности чему-то глобальному, всемирно-историческому. Для него политика не просто средство достигнуть конкретных результатов, а возможность доставить себе воодушевляющие

(пускай трагические) переживания: поэтому все рациональные аргументы, разъясняющие опасности и бесперспективность тоталитаризма, производят на него не большее впечатление, чем на наркомана лекции о вреде героина: он ищет переживаний, а не результата.

Психологическая опасность сегодняшней политической ситуации заключается еще и в том, что нынешняя либеральная идеология ничего не дает политическим наркоманам: она не сулит ничего грандиозного, а просто «нормальную» жизнь (то есть именно ту, в которой наркоман не находит ничего пьянящего), она не обещает разом покончить со всеми мировыми безобразиями, а больше советует каждому устраивать собственные дела, она не стремится объединить народ для универсальной великой цели, подчиняя «отсталую» часть населения «передовой», – она всего лишь развязывает руки деятельному меньшинству, пассивному же большинству лишь обещая выигрыш в отдаленном будущем и т. д.

Сегодняшняя всеобщая и полная деидеологизация, стремящаяся покончить со всеми претензиями на универсальность, может нечаянно отнять у людей и смысл их существования – увы, не все способны жить одними лишь будничными личными интересами или найти удовлетворение в творчестве. Да, «аристократов духа», которых к тотальному и тоталитарному толкают подобного рода нематериальные мотивы, всегда бывает немного, но – их обычно достает на закваску, а остальную массу составляет гораздо более простая публика. Выражение «простой человек» здесь и далее используется в специфическом значении, слабо связанном с уровнем образования: «простой человек» – это человек, имеющий простую, то есть лишенную противоречий и неопределенности, модель социального бытия. Все возможные разновидности фашизма в широком смысле этого слова – красного, коричневого, белого, зеленого – можно определить как бунт простоты против непонятной и ненужной, а потому враждебной («паразитической») сложности социального бытия. Для «простого человека» в мире непереносимо много лишнего – белоручки, нытики, чиновники, журналисты, абстракционисты, волосатики, извращенцы… Если он токарь – для него может оказаться паразитом всякий, кто не стоит у станка («пролетарский фашизм»), если он крестьянин, в паразита может превратиться и токарь – вкупе со всем городским населением (возможен даже «пастушеский фашизм»), для «простого технаря» лишним может стать любой гуманитарий, в глазах «простого гуманитария» технарь может выглядеть существом если уж не совсем бесполезным, то, по крайней мере,

низшим, которому, по крайней мере, следует слушаться высших. Фашизм есть стремление части какого-то многосложного целого уничтожить либо в лучшем случае подчинить своему диктату остальные органы. Боюсь, фашизм никогда не станет ни чем-то навсегда миновавшим, ни чем-то исключительным. Возможно, сползание в фашизм – неустранимая опасность всякого общества, где широкие массы всерьез участвуют и даже доминируют в решении вопросов, в которых еще ни разу не сошлись мудрецы. Может статься, многообразие социальных целей и взаимосвязей вообще превышает познавательные человеческие возможности и протофашистская страсть дать очередной «последний и решительный бой» очередным «паразитам» может быть ослаблена не столько глубиной постижения общественных проблем, сколько скромностью, отказывающейся от всех глобальных учений, от претензий обеспечить универсальную победу Добра над Злом. Полезной антифашистской прививкой могло бы даже оказаться представление о том, что мир безысходно трагичен, что зла, которое нужно отрезать и выбросить, просто не существует, что оно растворено во всем, или, если угодно, зла вообще не существует, а существует лишь гипертрофия необходимого, но частного добра.

Фашизм тоже не есть некое самостоятельное чудовищное качество – это, так сказать, чудовищное количество, чудовищная передозировка нескольких начал, каждое из которых в умеренной дозе является либо нормальным (общепринятым), как, скажем, патриотизм, либо просто необходимым, как, например, организованное государственное насилие (полиция, суд и т. п.). Даже расизм (присущий, кстати, далеко не всем фашистским течениям), выделенный в чистом виде, являет собой не более чем необоснованную научную гипотезу: судя по всему, расовые факторы действительно исчезающе малы в сравнении с социокультурными. Тем не менее вопрос о врожденных расовых особенностях в принципе тоже мог бы сделаться предметом научной дискуссии, если бы всякое гласное обсуждение не вовлекало и толпу, у которой шарлатан всегда вызывает больше доверия, чем настоящий врач: у шарлатана все понятно и увлекательно, у доктора – трудно и скучно. Притом шарлатан всегда знает окончательный ответ, а наука только ищет. Интеллектуальное преступление нацизма и заключается в том, что он не только объявляет ничем не подтвержденное предположение истиной, но еще и разворачивает на основании поверхностной гипотезы громадную и страшную преобразующую деятельность. Хотя он и в этом только последователен – в своей верности «жизнеутверждающему» принципу «деяние выше

размышления»: снова вместо смеси «соперничество – сотрудничество» – голая гегемония.

Из того факта, что фашизм как социальное уродство есть чудовищная гипертрофия нормальных институтов и тенденций, следует, в частности, что научное его определение не может быть абсолютным, а только относительным – в сравнении с общепринятыми нормами. А потому окончательную квалификацию фашизма должна давать не наука, а суд – точно так же, как он устанавливает «чрезмерность» самообороны и «заведомость» лжи. Сегодняшние же суды, оправдывающие явных нацистов, выносят этим приговор самим себе.

Интеллектуальное смирение, признающее недостаточность человеческих умственных сил перед неисчерпаемой сложностью социального бытия, отнюдь не исключает решительности – особенно в столкновении с силой, вовсе не знающей сомнений: сомнение и решительность тоже составляют вечно борющуюся и вечно дополняющую друг друга пару. Скромность российских судов перед наступающим фашизмом особенно контрастирует с их же собственной в иных случаях твердостью – и вообще с царящей в обществе безапелляционностью суждений. До господства интеллектуального смирения еще очень далеко – если оно вообще когда-нибудь наступит: человек уж очень любит ощущать себя не ведающим сомнений хозяином собственной судьбы, преобразующим мир по безошибочным чертежам. Сегодня интеллигенция может одно – не колыхать: масса «простых людей» (людей с примитивной моделью социального бытия) на все раздражители макромира может отвечать только фашизмом того или иного цвета – у нее просто нет возможности реагировать иным способом: таковы ее идеалы – необязательно скверные, но смертоносно упрощенные. «Простой человек», окруженный сонмищами «паразитов», и без того постоянно недоволен окружающим «бардаком», но покуда в водопроводе есть вода, в холодильнике еда, а на улице автобусы и троллейбусы, он ворчит, но терпит. Зато когда разражается кризис (о чем он давно предупреждал), он наконец теряет терпение и устанавливает какой-то «новый порядок» (который, разумеется, и близко не похож на тот, что ему грезился, но отступать бывает поздно).

Заставить «простого человека» усомниться в собственной непогрешимости чрезвычайно трудно – гораздо легче не выводить его из терпения. Чем больше интеллигенция будет твердить, что Россия как-то невиданно бедствует, что у нас какое-то небывало негодное правительство (с тем подтекстом, будто существует «годное», которое одним махом покончит и с коррупцией, и с преступностью, и со спадом производства, и с развалом армии, и

с…, и с…, и с…), тем сильнее она будет сталкивать страну к фашизму, ибо, повторяю, реакция возможна только одна. Было бы корыто, а свиньи будут, была бы мечта о вожде-избавителе, а Геббельсы найдутся. И тем не менее идеологическая профилактика фашизма требует минимум двух направлений: «наркоманов» – «спички» – нужно обеспечивать опьяняющими, но по возможности безопасными фантомами, а «простых людей» – «дрова» – успокаивать мягкими поглаживаниями. Я не хочу сказать, что это легко сделать, но ведь не делается совсем ничего…

А между тем духовные поиски нынешних наркоманов не обходят стороной и упоенного великой грезой хромоножку. Еще в середине девяностых у нас с израильским классиком Бенционом Томером завязался спор: если бы Гитлер оказался гениальным живописцем, можно ли было бы выставлять его картины? Я считал, что из двух одержимостей – творческой и политической – одна непременно уничтожит другую. По этой причине и литературные поползновения Геббельса вызывали у меня ироническое отношение.

И все-таки мне было немножко жаль, что роман Геббельса «Михаэль», сначала всеми отвергнутый, а потом превознесенный в нацистской Германии едва ли не выше, чем у нас воспоминания Брежнева, не может быть издан в России. Но – я ошибался, сбылась мечта идиота: самое что ни на есть российское издательство «Алгоритм» опубликовало «Михаэля» в серии «ПРОЗА ВЕЛИКИХ». То есть величия достичь-таки можно, по крайней мере, в глазах детей и внуков тех, кого автор романа предназначал либо к истреблению, либо к приведению в полу скотское состояние.

Издательская аннотация составлена с материнской нежностью: «Прежде всего этот роман представляет собой юношескую, во многом наивную, но в то же время и дерзостную ориентацию на предшествующие поколения литераторов: романтиков, реалистов, символистов, экспрессионистов. Юношеская незрелость обусловливает восторги, откровенность, непосредственность мышления и чувств автора, его постоянно оттачивающуюся афористичность, что находит сильное отражение в тексте.

Роман проникнут осязаемым влиянием Гете, Ницше, Достоевского, Евангелия. Некоторые спорные моменты, имеющиеся в романе, сегодня представляются безусловным анахронизмом, но следует помнить, что в эпоху, когда роман был создан, они имели не маргинальное, а широкое хождение во всех

слоях общества, потому мы не вправе упрекать автора за те или иные взгляды, которые даже не могли являться его личными».

Тогда и Гитлера мы не вправе упрекать за его взгляды – он тоже лишь сконцентрировал и воплотил в жизнь то, что и без него носилось в воздухе, и вообще каждый человек не более чем продукт своего времени и своей среды.

Но я не собираюсь шить издательству дело о пропаганде нацизма – в конце концов и оно не более чем продукт нашей эпохи. Но вот как бы нам применить к себе пятый пункт геббельсовских «Десяти заповедей национал-социалиста»: «Ты должен гордиться отечеством, ради которого миллионы отдали свои жизни»? Или лучше переоформить акцию «Алгоритма» из разряда кощунства в разряд обычной коммерческой пошлости: велик всякий, кто прогремел, нравственно все, что приносит прибыль?

Меж гибельной трезвостью и гибельным опьянением

Последний наезд государства на Академию наук мы в какой-то степени накликали сами. Ведь наши толки об угасании науки, не угасающие уже лет двадцать, могут пробудить только планы – разумеется, каких-то реформ, чего же еще? Пусть прима сядет против вторы, тогда пойдет уж музыка не та, наука сделается – вот оно, петушиное слово! – *эффективной.*

Но догадываются ли эффективные менеджеры, готовые вчера управлять лавкой, а сегодня академией, что наука и эффективность имеют между собою чрезвычайно мало общего? И наука появилась на свет так недавно именно потому, что древние гнались не за знаниями, а за эффективностью.

Возможно, и обезьяны так и не могут превратиться в людей из-за того, что слишком уж озабочены эффективностью: они стараются не делать ничего, что не приближает к зримому практическому результату. Если подвесить перед ними банан, наши мохнатые родственники станут прыгать до изнеможения и, лишь отчаявшись, примутся искать, на что бы взобраться. Если поблизости есть ящик, они подтащат его ровно до того места, откуда уже можно еле-еле допрыгнуть. А если ящик загрузить камнями, чтобы испытуемые не могли сдвинуть его с места, они примутся до изнеможения тянуть его, толкать, и только самые гениальные догадываются выложить камни. Притом ровно столько, чтобы можно было, надрываясь, доволочь ящик до нужного места – до такого, откуда опять-таки можно едва-едва допрыгнуть.

Многие великие державы древности до обидного (для рода человеческого) походили на обезьян. В Египте была великолепно развита астрономия, но только для сугубой пользы – для прогнозирования разливов Нила. Египтяне знали приближенные формулы вычисления простейших площадей и объемов, но абстрактную геометрию не развивали. Не хватало воображения? Нам бы его столько: египетский мир богов и царство мертвых – сооружения еще более пышные, чем храмы и пирамиды, – вот куда была брошена их фантазия.

Зато древние греки заложили основы и логики, и геометрии, и теории чисел, отыскивая в их закономерностях закономерности мироздания, но – до низкой жизни, до эффективности, эти аристократы духа не опускались, гордясь бескорыстной любовью к знанию: практическими делами занимались ремесленники,

равнодушные к наукам, не приносящим немедленной пользы (стремление к пользе Сократ именовал рабской склонностью). Но разве, скажем, римлянам в их бесконечных войнах не пригодились бы пушки вместо катапульт? Для этого всего-то навсего требовалось изобрести порох. Правда, в те времена на него можно было лишь набрести случайно, ибо химии не только не существовало, но никто и не помышлял о ее создании: даже алхимиков впоследствии интересовали не бескорыстные законы взаимодействия веществ, а получение золота из неблагородных металлов и обретение бессмертия, то есть стремились они или к ближайшей выгоде, или к чуду.

И медицина, даже когда она уже начала нащупывать целебные средства опытным путем, все равно не собиралась отказываться от помощи чудес: к лекарствам прилагались еще и заклинания. Наука и родилась в том учреждении, которое не без успеха пыталось приватизировать мир чудесного, – в церкви. Конфликт между наукой и церковью веками оставался внутренним церковным конфликтом, ибо простому народу во все времена было не до подобных изысканностей, а тогдашняя аристократия меча считала достойным делом исключительно войну и государственное управление. Вовлекли ее в научный мир, кажется, тоже прежде всего «чудеса науки».

Науке в первую очередь нужны свобода и бескорыстное восхищение: великих ученых, как и великих футболистов, рождают болельщики. Но нынешние массы, похоже, не могут испытывать почтение к тому, что не уважается властью. И, покуда власть ценит только эффективность, науки в России не будет, как ее не было в сверхэффективных для своего времени Риме и Египте.

Но мороком эффективности сегодня одурманена и научная элита. Хотя, перестав считать себя солью земли, согласившись мерить свое дело мерками купцов, промышленников и генералов, ученые перестают быть учеными, но тоже превращаются в купцов и генералов, которых и следует отправить в войска и супермаркеты, ибо в науке от них толку будет мало: ученые должны чувствовать себя собой кастой более высокой, чем все воротилы мира сего.

И распоряжаться учеными не должен никто, кроме ученых, – любой чиновник или менеджер может разве что их обслуживать, ибо, чтобы руководить учеными, нужно быть не просто умнее, но *идеалистичнее,* – где вы такое встречали среди эффективных менеджеров?

Мне могут сказать, что и в нынешних академиках и директорах научных учреждений идеалистичности не густо, что

они больше беспокоятся о собственном благополучии, чем о развитии, – если так, значит, науке не помогут уже никакие припарки. Но реанимацию ее может осуществить лишь она сама. Не знаю как, но сама.

Разумеется, лишь в том случае, если ее живые органы и клетки окажутся каким-то образом сильнее мертвых. Ну а если внутри самой науки уже недостает бескорыстной любви к знанию, ее будет тем более не отыскать и снаружи.

Но я почему-то верю, что научная коррупция все-таки более чиста и бескорыстна в сравнении с общегосударственной, хотя многие со мною не согласны.

Что ж, если они правы, придется ждать, когда наука снова начнет возрождаться в лоне церкви. Авось в Третьем Риме это пойдет быстрее, чем в первом. Во всяком случае, на плебс, как и тогда, рассчитывать не приходится – толпа во все времена жаждет или выгод, или чудес. Никакие, даже самые умные журналы, борющиеся с лженаукой, науке не помогут, ибо наука, как бы много она ни открывала, всегда еще больше закрывает. Она отрицает возможность добыть энергию ни из чего, наложением рук исцелить смертельную болезнь, словом остановить бурю, по кофейной гуще узнать будущее, посредством блюдечка связаться с умершими – согласитесь, эти чудеса будут куда позавлекательнее всех компьютерных томографов и мобильных телефонов. И, похоже, даже самые квалифицированные борцы с лженаукой не понимают, что борются не с отдельными шарлатанами, но с человеческой природой, жаждущей чудес.

Сегодняшний разгул мракобесия со знахарством и ворожбой – всего лишь возвращение к норме, ибо за все тысячелетия своего существования человечество только считанные минуты прожило без веры в магию, да и в эти минуты оно больше притворялось, что отказалось от нее, под давлением массированной пропаганды и – будем называть вещи своими именами – государственного террора (когда амбициозные безбожники, вообразив науку новой единоспасающей церковью, принялась терроризировать религию, неизвестно, на чьей совести в итоге оказалось больше костров). И в борьбе с воистину неодолимой стихией чудотворчества (жизнь без веры в чудеса слишком ужасна, она по силам лишь тем счастливчикам, кто сумел выстроить свою экзистенциальную защиту на более утонченных иллюзиях) союзником ученых, как ни странно, может сделаться церковь.

Поскольку сама наука никогда церковью сделаться не сможет, научный рационализм никогда не сумеет одолеть людского стремления защититься от знаний, когда они начинают открывать слишком уж мрачные перспективы: извечный конфликт мечты и

реальности – типичный трагический конфликт, в котором смертельно опасна победа как той, так и другой стороны.

С тех пор как человек сделался человеком, то есть существом, способным испытывать страх перед еще только воображаемыми опасностями, перед ним предстали две одинаково важные, но постоянно борющиеся за первенство задачи: предвидеть будущее и примириться с результатами этого предвидения, всегда ужасными, стоит заглянуть в реальность подальше и поглубже. Человечество потратило тысячи и тысячи лет, пытаясь решать эти задачи одновременно средствами магии, и только многие века неудач заставили наиболее мудрую его часть отделить познание (предвидение) от утешения и создать для каждой из этих функций собственный социальный институт: для познания – науку, для утешения (для экзистенциальной защиты) – религию, искусство, социальный утопизм и некоторые другие воздушные замки в царстве грез. Несомненно, на первых порах (тоже длившихся целые века) наука тоже оперировала мало на чем основанными фантазиями и аналогиями, но ее фундаментальное положение, отделившее ее от магии, всегда оставалось неколебимым: наука исходит из того, что все естественные процессы протекают по их собственным законам и мы должны эти законы как-то разгадать, – магия же полагает, что миром правит некая воля (целые сонмища воль), на которые можно воздействовать мольбами, подкупом, правильным поведением, распознанием тайных команд, которым невидимые воли повинуются, другими волями (колдунов и пророков), еще более могущественными…

Словом, магия была попыткой перенести законы социальной действительности на внесоциальную природу – именно расставание с этой химерой и было первым и едва ли не важнейшим шагом ко всем будущим «чудесам науки». Именно так: наука начинается с признания того, что в мире, кроме нас самих, никаким высшим волям до нас нет ровно никакого дела, что у природы нет любимчиков и что каждый из нас, и святой, и гений, и герой, подлежит ровно тем же законам, что и какой-нибудь червяк или булыжник. А потому сегодняшние маги и знахари пытаются поодиночке или разрозненными партизанскими соединениями взять реванш в войне, уже проигранной много веков назад могущественнейшими регулярными армадами, когда-то полностью контролировавшими весь подлунный мир. Сегодняшние шарлатаны и «добросовестно заблуждающиеся» простаки и маньяки любят защищаться тем аргументом, что ученые твердят какие-то вчерашние догматы, тогда как маги осуществляют некий новый поиск, однако дело

обстоит ровно обратным образом: именно маги пытаются твердить зады тысячелетней давности.

Поэтому те общественные силы – конфессиональные, художественные, политические, – в чьи функции входит утешение страждущих, возбуждение в них хотя бы иллюзорных надежд, имеют все основания восстать на колдунов и ворожей, как на недобросовестных конкурентов: ведь все респектабельные религиозные институты и построенные на утопических основаниях политические партии (а таковыми в какой-то степени должны быть все они, дабы выдержать состязание с другими утопиями) уже давным-давно молчаливо сошлись на том, чтобы не соблазнять паству твердыми и конкретными обещаниями чудес, относя их исполнение в неопределенное будущее, а то и вовсе в какой-то иной мир, и сделали это именно потому, что с горечью убедились в невозможности воскрешения мертвецов, в невозможности гармонического сожительства львов и ланей, в невозможности исцеления неисцелимых и вообще пришествия Царства Божия в какие-то гарантированные и обозримые сроки. Конфессиональные и политические лидеры сделали бы весьма благое и для них же полезное дело, если бы воспользовались имеющимися в их распоряжении административными ресурсами, дабы удалить с респектабельной части общественного поля арьергардные осколки давным-давно потерпевшей поражение великой армии, продолжающие использовать неконвенциональное оружие.

Подчеркиваю: не полностью и окончательно удалить их с общественного поля вон, как худую траву, но лишь из его респектабельной части – из газет, телевидения, общественных залов и площадей. Шопенгауэр когда-то очень точно назвал астрологию величайшим проявлением человеческой самонадеянности: люди мнят, что даже звездам есть дело до их разборок, – так что астрологические прогнозы в солидных СМИ он наверняка бы счел национальным позором. А также сигналом всем остальным магам и пророкам: налетай, братва, наша взяла!

Разумеется, полностью защитить простаков от жуликов невозможно: как выразился один либеральный реформатор далекого прошлого, если люди хотят избавиться от своих денег, никакой закон не сможет им в этом воспрепятствовать. Все, что мы можем для них сделать, это затруднить их обирание – загнать наперсточников и шулеров в тараканьи закутки, а побежденных хранителей тайны и веры – в катакомбы, пустыни, пещеры. Пускай слухи о творимых ими чудесах расходятся эзотерическим путем, от посвященного к посвященному, но не через объявления на газетных страницах или телеэкранах отвергнувшей их и

отвергаемой ими цивилизации.

В борьбе с этим вечным возвращением посконной, кондовой и сермяжной магии, мне кажется, наука вполне могла бы заключить оборонительный, да и наступательный союз с наиболее рациональными церковными иерархами, если таковые найдутся. По крайней мере, Южнокорейская пресвитерианская церковь полностью принимает все научные открытия и разве лишь позволяет себе интерпретировать их приемлемым для себя образом: скажем, шесть дней творения надо понимать иносказательно – и волки научного скепсиса сыты, и овцы религиозного утешения целы.

В результате из традиционного буддизма и конфуцианства в Республике Корее сегодня переходят в христианство самые молодые, образованные и предприимчивые – мощная экзистенциальная защита, защита от чувства мизерности и бессилия в безбрежном и безбожном космосе, не разрушается научной рациональностью. И, что особенно важно, не требует при этом шарлатанских чудес.

Может быть, этот слабый свет с Востока еще и какой-то лучик света в обступающем темном царстве?

Я не знаю, есть ли в нынешней церкви силы, готовые сотрудничать с научной рациональностью, не стараясь подчинить ее. Не знаю также, готов ли научный скепсис сотрудничать с верой, не претендующей творить чудеса на каждом шагу, но – в необходимости противостоять наплыву той иррациональности, которая не желает знать никаких берегов, наука и религия вполне могли бы протянуть друг другу руку, отложив свои распри до лучших времен, когда наводнение колдовства хотя бы временно отступит (окончательное его отступление невозможно, покуда человек остается существом, чье главное свойство вовсе не разум, но фантазия). Меня немножко ободрил один подающий надежды юный физик, который, прочитав эту статью, прислал мне такое письмо: «Я довольно давно ощущаю, что главные враги науки вообще и меня лично – это люди, всерьез считающие, что человеческое счастье – это покупка нового айпада или нового автомобиля. И, напротив, в людях, верящих, что душа важнее, чем тело, я вижу своих союзников, даже если они верят в это как-то иначе, чем я (и не пытаются мне запретить верить по-своему)».

Мне тоже кажется, что у науки два главных врага: не желающая знать никаких границ рациональность, презирающая все даруемые фантазией душевные переживания, и не желающая знать никаких границ иррациональность, признающая за истину любые химеры, лишь бы они несли хоть минутное утешение. Если утешительные фантазии по уходящей традиции уподобить

опиуму, то последнюю стихию можно сравнить с разгулом наркомании – миру необходимо отыскать тесные врата меж гибельной трезвостью и гибельным опьянением.

Ствол и семя

С незапамятных времен за человеческое сердце борются двое могущественных соперников – государство и семья. Они оба требуют от человека любви и временами очень серьезных жертв; они оба ревнуют его друг к другу; но поскольку государство физически неизмеримо сильнее, то в периоды обострения этой ревности страстные государственники начинают требовать крутых мер, чтобы разрушить или хотя бы дискредитировать семью как источник всяческого мещанства и хранилище дремучих предрассудков, а либералы в ответ принимаются с удесятеренной страстью воспевать достоинства и достижения семейной жизни в противовес бессмысленной тирании государства. В глубине же души и та и другая страсть стремится обладать предметом своего вожделения безраздельно.

И, разумеется, каждая из них призывает себе на помощь науку.

В начале шестидесятых известный социолог Дж. Коулмен попытался определить, какие факторы определяют уровень интеллектуального развития школьника. После обследования шестисот тысяч учащихся и четырех тысяч крупных школ исследователь пришел к выводу, что для ребенка из хорошей семьи параметры школы (расходы на одного учащегося, наличие лабораторий, качество библиотек, образование учителей) не имеют почти никакого значения – все определяет семья. На юге же, среди бедного чернокожего населения, гораздо более важную роль играет школа, но опять-таки не те неодушевленные предметы, которые покупаются за деньги, а люди: учителя и *особенно одноклассники* – ребенок из социально ущемленного слоя учится хорошо среди товарищей с более высоким социальным статусом и плохо среди ровни. Зато на мальчика из благополучного слоя «дурное соседство» уже не оказывает очень уж существенного влияния.

Таким образом, хорошая семья оказалась главным фактором воспитания не только собственных детей, но и тех, кому посчастливилось оказаться с ними в одном классе. Успешность даже и государственного образования зависит от семьи. «Но кроме интеллектуального развития есть и нравственное, – возражали государственники, относившиеся к частной жизни с недоверием. – А кто поручится, что эти умники усвоили ценности патриотизма и трудового бескорыстия?» Тоже правильно – можно быть коррупционером и при этом прекрасным отцом. И даже

именно ради семьи особенно безжалостно обдирать государство…

Поэтому неудивительно, что примерно в то же самое время – в разгар оттепели – в прогрессивнейшем «Новом мире» была опубликована статья-программа академика С. Г. Струмилина, крупного деятеля государственного планирования, предложившего почти полностью отнять у семьи воспитательные функции: ведь не секрет, что далеко не все родители воспитывают детей правильно, так не пора ли заменить их специально подготовленными профессионалами, как это делается при переходе от кустарного производства к фабричному? Педагогическая национализация должна была осуществиться к 1975-80 годам: к этому времени «каждый советский гражданин (это о новорожденном младенце! – *А.* М.), уже выходя из родильного дома, получит направление в детские ясли, из них – в детский сад с круглосуточным содержанием или в детский дом, затем в школу-интернат» – и так далее, все выше, выше и выше.

Впрочем, никто юного гражданина отнимать даже и у отсталых мамаш не собирался: матерям будет дозволено навещать детей «в свободное от работы время… столько раз, сколько это *предусмотрено установленным режимом».* А за хозяйством будет тоже присматривать «специальный совет», который заодно будет заботиться о пенсионерах и инвалидах *труда.*

Вся эта планировка вполне укладывалась в русло теоретизирований Маркса – Энгельса, писавших о бесплатном общественном воспитании *всех* детей, о производительном труде с девяти лет, однако и до классиков научного социализма государство обрушивалось на семью всякий раз, когда стремилось подчинить общество решению какой-то единой задачи, стремилось с чем-то этаким покончить и что-то такое начать.

В разгар якобинского террора Робеспьер самолично представил Конвенту разработанный Мишелем Лепелетье «План национального воспитания», открывавший миру, что «свирепые враги королей являются самыми нежными друзьями человечества». Нежные друзья человечества намеревались ни больше ни меньше как *создать новый народ,* для чего *все* дети с пяти лет (хотя бы не с роддома) должны были передаваться в общественные заведения по четыреста – шестьсот воспитанников, которых ожидало там полное равенство в строгой дисциплине, производительном труде, почтительном уходе за престарелыми, одинаковая еда, одежда и постель – все дешевое, но «удобное и полезное для здоровья» (вино и мясо исключалось; за воспитателями и завхозами надзирал родительский комитет).

При этом в одном из пятидесяти (какова точность!) воспитанников к одиннадцати-двенадцати годам должен был обнаружиться какой-то талант: ему и будет предоставлена возможность учиться дальше – начальству ли не знать, кто талантлив, а кто нет! Благодарение богу, в этой спартанской обстановке, в изоляции от родителей высшие потребности вряд ли прорезались бы у слишком многих…

Кстати сказать, сами легендарные спартанцы, отнимая детей у родителей, и не претендовали на подобные изысканности: чтению и письму их обучали лишь «по необходимости», а «остальное же их воспитание преследовало лишь одну цель: беспрекословное послушание, выносливость и науку побеждать». Спарта и не породила ни поэтов, ни ученых, с давних пор указывали либералы. Не беда, мужество и самоотверженность важнее наук и искусств, отвечали им государственники во главе с Жан-Жаком Руссо, с которым и сейчас, по-видимому, согласятся многие генералы и даже майоры, полагающие, что солдаты более важны, чем ученые и музыканты.

И спору этому не видно конца…

Но за каким же из этих культов – за культом государства или за культом семьи – все-таки истина? И есть ли она вообще? И что мы, собственно говоря, имеем в виду, когда говорим, что ищем или даже нашли истину? Ведь в наивном быту, где мы обретаем первичные представления о том, что правильно и что неправильно, всегда можно установить, кто самый сильный и кто самый быстрый, какая дорога до магазина самая короткая и где провел время данный конкретный Петька – в школе или в кинотеатре, – и так далее, и так далее. А если после этого ты имел счастье или несчастье специализироваться в точных науках, где все базируется на наблюдениях и логических выкладках, против которых не может восстать ни один жулик или упрямец, то понемногу ты просто перестаешь понимать, *почему такой же неотразимостью не обладают социальные истины?*

Прежде чем ответить на вопрос, что важнее – государство или семья, попытаемся решить более простенькую проблему: что есть истина? Нескончаемая пря между семьей и государством очень важный и все-таки частный случай недоказуемости социальных суждений.

Однако почему их нельзя хотя бы обсуждать спокойно? Почему в вековых дискуссиях на самые что ни на есть вечные темы идеалисты и материалисты, индивидуалисты и коллективисты, модернизаторы и консерваторы, апологеты частной жизни и государственники не просто раздражаются, но

порой доходят прямо-таки до ненависти друг к другу, до обвинений в глупости и нечестности, хотя времени убедить или опровергнуть друг друга фактами и логикой у них, казалось бы, было предостаточно…

И все-таки фактов и логики им никак недостает.

Почему? Ведь вроде бы все эти социально-политические проблемы уж, по крайней мере, не сложнее проблем квантовой механики или популяционной генетики – и все-таки люди примерно одного интеллектуального уровня, примерно одной культуры и даже преследующие родственные цели веками не могут прийти к согласию в самых основополагающих вопросах, что в естественных и точных науках бывает лишь в относительно краткие периоды революционного обновления парадигм…

Так, может быть, дело не в сверхсложности социальных проблем, а в неустранимых изъянах (они же достоинства) нашего мышления?

Тем не менее как-то же их, эти изъяны, преодолевают в точных науках? Увы, если приглядеться, и в точных науках делают это так же, как и везде, – закрывают на них глаза и изгоняют несогласных, только осуществляют это неизмеримо более тонко и завуалированно. Ведь именно точные науки привели меня к убеждению, что человек существо не разумное, а фантазирующее, живущее грезами, сказками… Отчасти личными, но больше коллективными, без которых не способна сохранить долговечность ни одна социальная корпорация. И я в безмятежном детстве тоже жил всеми положенными советскими сказками, играл в футбол, в войну, а математику и физику воспринимал как неизбежное зло. Однако в начале шестидесятых меня захватила новая греза: самые восхитительные люди в мире – это как раз они, физики, математики. Как положено, сказка породила и реальные успехи, пошли победы на олимпиадах, – физика (анализ реальности), впрочем, шла гораздо лучше. Но однажды наш главный кустанайский эксперт по математическим дарованиям, доцент Ким, совершенно чудный человек, как все провинциальные математики, прочел мою работу и объявил мне, что такой логики он еще не видел и что мне нужно идти не в физики, а в математики. Математические боги выше физических.

Так новая сказка и привела меня на ленинградский матмех. И первое, что меня там поразило: то, что у нас в Кустанае считалось доказательством, здесь в лучшем случае годилось в «наводящие соображения», в которых преподаватель сразу находил пятьдесят недоказанных мест. Дошло до того, что на коллоквиуме никто не мог доказать эквивалентность определений предела, если не

ошибаюсь, по Гейне и по Коши, – преподаватель каждый раз обнаруживал незамеченные дырки. И я решил: кровь из носа, а докажу. Сидел, наверное, час, вдумывался, что означает каждое слово, постарался предвидеть все вопросы и на все заранее ответить и наконец напросился отвечать. Преподаватель выслушал и сказал, что да, можно поставить пятерку, только вы в таком-то месте начали доказывать уже ненужное положение, все уже и без того было ясно.

И я ушел в совершенной растерянности: то все время было слишком мало доказательств, а теперь вдруг стало слишком много… Так где же нужно остановиться, что же тогда такое *настоящее* доказательство?.. Можно ли найти какой-то неделимый кирпичик знания, по отношению к которому уже нельзя было бы задать вопрос: а это почему? Этакий логический атом, самоочевидность которого была бы самоочевидна? Самоочевидна всем: гениям, слабоумным, дикарям в травяных юбочках… Они ведь тоже как-то мыслят, приходят к своим умозаключениям, спорят, переубеждаются или остаются уверенными в своей правоте… Так каковы же настоящие, окончательные, *объективные* законы мышления, которые позволяли бы приходить к *неоспоримой* истине?

Ответа я так и не нашел.

Потом мне пришлось работать на факультете прикладной математики, и постоянно к нам приходили какие-нибудь главные теоретики какой-нибудь технической отрасли. И приносили какую-то свою теорию, а их на семинаре начинали рвать на части: и это не доказано, и то не обосновано, а он ведь какой-нибудь доктор каких-то технических наук, классик местного значения… Зато когда математик-прикладник приходит к каким-нибудь топологам или матлогикам, они его точно так же начинают рвать на части. И я пришел в конце концов к выводу, что доказательство – это всего-навсего то, что принято считать доказательством в данной школе. Попросту говоря, что некая авторитетная социальная группа назовет доказательством, то и есть доказательство. А найти самые первые, для всех самоочевидные основания всех оснований невозможно. Даже математика основана неизвестно на чем, на чем-то таком, что всеми в данной школе интуитивно принимается, незаметным образом, но как только мы спрашиваем, на чем это основано, то сразу же обнаруживается, что ответа нет. Или мы понимаем друг друга автоматически – или не понимаем никак.

И я понял, что никого нельзя убедить, отыскав какой-то последний аргумент: его не существует. Убедить может только некий образ, который вызывает душевное потрясение и этим

убивает желание возражать. Логическая возможность спорить остается всегда, но желание исчезает.

Поэтому я и пришел к выводу, что доказанных утверждений просто не бывает, а бывают только психологически убедительные. Так обстоит даже в математике. Только там это разглядеть очень трудно под огромным слоем рациональных цепочек. В философии это гораздо очевиднее, а в литературе совсем очевидно. Что доказательства никакого нет, а есть психологическое внушение посредством какого-то зачаровывающего образа.

И, следовательно, истина – это любая коллективная сказка, коллективная греза, которая нас настолько зачаровывает, что убивает желание с ней спорить. Убивает скепсис.

Истина есть то, что убивает скепсис, – таков мой итог.

В науке, правда, слой измеряемого, логически выводимого настолько огромен, что возникает иллюзия, будто там ничего другого и нет. И все-таки в основе основ любая математика, любая физика, любая точная наука погружена в незамечаемый нами воображаемый контекст, систему базисных предвзятостей, большей частью неосознанных, внутри которой все эти доказательства только и действенны. Попросту говоря, любой факт допускает множественные интерпретации даже в самых точных науках в зависимости от базисного контекста.

Базисом науки является некая воображаемая картина мира, воображаемый контекст, который увидеть так же трудно, как собственные глаза, потому что мы посредством него и смотрим на мир. И лишь внутри него аргументы науки остаются убедительными. А сам воображаемый контекст точных наук точно так же создается внушением, как и в искусстве, его уже не обосновывают – им зачаровывают.

В учебниках дело обычно излагается так, что существовала-де какая-то стройная теория, затем обнаружился новый факт, который она не могла объяснить, затем появился какой-то новый гений, он объяснил этот новый факт, и возникла новая теория или даже, пышно выражаясь, новая парадигма. Однако на самом деле все происходит совершенно иначе. Действительно, появляется какой-то новый факт. Допустим, все уже давно знают, что свет – это волна, он обладает всеми волновыми свойствами: интерференция, дифракция, мешает только один неприятный факт – фотоэффект: свет выбивает электроны из металлов, а волна по разным причинам этого делать не может. И вот является Эйнштейн и заявляет, что свет – это частица, квант. Тогда необъясненное явление, фотоэффект, действительно становится объясненным, зато делается непонятным все остальное – все волновые свойства. Образно говоря, новая парадигма очень часто

затыкает одну дыру, но при этом уничтожает все судно. И, разумеется, ответственные люди призывают подождать: не стоит разрушать вековую конструкцию ради одного факта – может быть, он еще найдет объяснение. Однако эта новая идея настолько восхищает, молодежь настолько очаровывается надеждой стать рядом с классиками, рядом с Герцем, Максвеллом, что она набрасывается именно на новую идею, вместо того чтобы спасать старую, и за несколько иногда десятилетий доводит ее до гениального уровня. И уже через двадцать – тридцать лет доказываемая теория становится лучше, чем старая. А ведь все эти годы сторонники новой парадигмы работают на мечту, на грезу, которая в реальности пока еще не лучше, а хуже… Как и на социализм долго работали не ради его реальных достоинств, а ради пробужденных им надежд. Так бывает всегда: несмотря ни на какие опровергающие факты, ученые будут держаться за гипотезу, пока она их очаровывает. Опровергающих фактов никогда не бывает достаточно.

Поппер, правда, настаивал на том, что, хотя доказать научную гипотезу действительно невозможно, ее все-таки можно опровергнуть. Однако и это не так. Нет никакой возможности отличить опровергающий эксперимент от проблемы, которую предстоит разрешить, – эта граница проводится совершенно произвольно в зависимости от того, адвокатскую или прокурорскую позицию мы займем по отношению к оцениваемой теории. Это вовсе не шутка, а констатация факта: новые теории не только в политике, но и в физике побеждают благодаря тому, что вымирают сторонники старых.

Как искусство, как литература стремятся очаровать, внушить, так же поступает и наука, особенно философия. Философия прежде всего создает тот воображаемый контекст, внутри которого обретает смысл все остальное. Однако обосновать сам себя этот контекст не может. Иначе говоря, философия – это особая разновидность искусства, которое под маской рациональности занимается тем же, чем занимается обычное искусство, – внушением.

Рациональности вообще нет, есть только ее маска. Но бывают маски совершенно прозрачные, как в быту или в политике, где сразу видно, ради чего ведется подтасовка, а бывают почти непроглядные, как в науке, так что сквозь нее и не разглядишь зерно иррациональности, ни на чем не основанного произвольного выбора (глубже всего оно упрятано в математике). Еще в своей первой повести «Весы для добра» я написал: спускаясь от «почему?» к «почему?», в конце концов останавливаешься на «я так хочу!», в основе всего лежит именно

она, ничем не обоснованная воля. Не обоснованная, а только порожденная каким-то воображаемым и чаще всего неосознанным контекстом.

Некоторые формы иррациональности – внушение, к примеру, – существуют цинично и открыто, как в искусстве. Мы и не говорим читателю, что то, о чем мы пишем, – правда, мы открыто соблазняем, очаровываем его нашими образами. Философия же это делает более завуалированно, наука совсем завуалированно, тем не менее в основе всего прячется внушение, зачаровывание системой образов, так что в мире правит искусство. Способ убеждения существует один – внушение, очаровывание. Это еще один мой итог. И потому действенной философией бывает только та, которая очаровывает тайной, чудом, авторитетом, красотой. Актуальная философия во все времена возводит нужду в добродетель, придает неизбежному иллюзорный смысл, а желательному – иллюзорную красоту. Это называется – осмыслить реальность.

Истина – это греза. Настолько мощная, что убивает скепсис. Убийство скепсиса – вот тайная цель всех грез. Когда-то в романе «Горбатые атланты» я написал, что главная цель человечества – бегство от сомнений. Поэтому грезы по отношению друг к другу занимают очень агрессивную позицию, все время стараются друг друга истребить, дискредитировать, внушить, что все прежние теории – это чушь, а вот теперь мы наконец постигли объективную истину, отыскали объективные законы мышления… Пока греза не убьет скепсис, от нее почти нет никакой пользы. Поэтому, если она будет вести себя скромно и говорить: «У каждого своя правда, я несу лишь частицу истины», она будет ненужной. Она не будет выполнять ту функцию, ради которой и создавалась.

Этим-то и раздражает мое «учение», как однажды иронически назвала мою концепцию «человека фантазирующего» Елена Иваницкая: оно возрождает скепсис там, где он до этого спал непробудным сном. И разбуженный индивид с неудовольствием обнаруживает, что его убеждения основаны лишь на его эмоциональной привязанности к ним. И утрачивает одну из важнейших жизненных опор – чувство неколебимой правоты.

Я думаю, что всякое убеждение и вообще любая по-настоящему глубокая идея могут быть обоснованы только при помощи себя самих. И утверждают они себя тем, что убивают своих соперниц, не опровергают их, что невозможно, а стараются лишить обаяния. Как это делается на любой коммунальной кухне, только неизмеримо более изысканно.

Именно в монополии ценность грез. Но вот каким образом

они обновляются? Конечно, удобнее всего новую грезу выращивать из старых, делать вид, что мы не отменяем старое, а, наоборот, укрепляем его еще тверже. Что, скажем, пролетарская диктатура – это и есть настоящая свобода. А гонка вооружений – это безопасность. А отсутствие частной собственности – истинное богатство. Лучше всего не отвергать, но реинтерпретировать старое. Возможно даже, что новую грезу создать просто-напросто невозможно, а все они лишь трансформации относительно небольшого числа архетипических мечтаний, порожденных вечным стремлением человека ощущать себя красивым, сильным, значительным и бессмертным…

Это стремление столь могущественно, что каждая порядочная греза оказывается абсолютно герметичной и для рациональной, и для этической критики: все, что работает на ее укрепление, она называет добром, а все, что работает на ее разрушение, называет злом. Она же сама и разбирает поданные на нее жалобы, с каждым разом лишь сильнее укрепляясь в убеждении, что на стороне ее врагов нет ни крупицы правды, – так всегда бывает, когда заинтересованное лицо одновременно выполняет функции следователя, судьи и палача.

Собственно, все вышеизложенное можно назвать гносеологической версией теории относительности. Теория относительности провозгласила, что не существует никаких экспериментов, которые позволили бы отличить движущиеся системы координат от неподвижных. Точно так же не существует никаких методов, которые позволяют отличить ложную, аморальную, безобразную грезу от истинной, высоконравственной и прекрасной. Ибо сама греза создает и формы эксперимента, и критерии их оценивания, и она всегда создает именно такие критерии и эксперименты, которые работают на ее подтверждение.

И ничего поделать с этим нельзя. Всякая иллюзия может быть нехороша только в рамках другой, соседней иллюзии. Все критерии оценивания и методы опровержения каждой сказкой разработаны под себя. Судно утонуло потому, что экипаж рассердил злых духов, – это мнение так же неопровержимо, как и то, что оно утонуло из-за неправильной прокладки курса. Обычно возражают, что те культуры, которые руководствуются законом материальной причинности, устраивают для себя более комфортабельную жизнь, но этот аргумент убеждает не логикой, а подкупом. Соблазном. И те, кто не поддаются материальному соблазну, а продолжают держаться за иллюзии, дарующие им цель и смысл жизни, поступают ничуть не глупее тех, кто

отказываются от них ради физического комфорта. По крайней мере, статистика самоубийств наводит на мысль, что их рост связан прежде всего с упадком коллективных иллюзий.

Но если иллюзия – всё, часто спрашивают меня, то что в таком случае я называю реальностью? Я называю реальностью любую воображаемую картину мира, по отношению к которой скепсис уже убит или еще не успел родиться. Буддист считает самым главным мороком именно то, что позитивист считает наиболее достоверной реальностью. И лично я воспитан социальной группой, в наибольшей степени убившей во мне скепсис по отношению к тем суждениям, которые порождаются наукой, если понимать под ней, во-первых, стиль мышления, а во-вторых, социальный институт. Именно они образуют ту систему базовых предвзятостей, ту систему отсчета, из которой я наблюдаю мир.

Понятие «реальность» в моей парадигме играет примерно ту же роль, что и понятие «неподвижность» в теории относительности. Размышление начинается с наивного представления, что предметы явственно делятся на абсолютно неподвижные и абсолютно движущиеся. А после того как приходят к выводу, что абсолютного движения и абсолютного покоя не существует, что все зависит от системы отсчета, тогда слово «покой» остается для бытового языка и для тех ситуаций, когда без слов ясно, о какой системе отсчета идет речь.

Но как же так, негодует наивный физик, вот стол – это, разумеется, реальность, ведь я могу его пощупать! Я и сам однажды во сне усомнился: а вдруг это сон?.. И потрогал именно стол – он был такой твердый, что это ощущение до сих пор остается у меня в пальцах. А раненый не может заснуть от боли в ампутированной ноге. А каждый из нас своими глазами видит вспышку света, когда его ударят по глазу. А шизофреник своими ушами слышит «голоса». А Бехтерев написал целый том, посвященный коллективным галлюцинациям. А…

Однако не будем заходить так далеко, вернемся к самой что ни на есть институционализированной науке.

Конечно, цель науки – создать истинную модель мира. И эта модель строится по тем же законам, что и панорамы в музеях военной истории: на первом плане бревно, настоящее бревно, его можно потрогать; чуть подальше – картонный танк, до него уже не дотянешься, но бревно было настоящее, а потому и танк кажется настоящим. А еще дальше вообще идет полная живопись: какие-то холмы, леса, дым, фигурки солдат…

Так и наука: начинает она со знакомых каждому бытовых предметов, которые и составляют арсенал первичных аналогий:

камешки, волны на воде, облака… А когда дело доходит до предметов, которых никто не видел и никогда не увидит, – до каких-нибудь атомов, электронов, – их тоже начинают моделировать по образу и подобию камешков, волн, облаков… Может, и вся физика вырастает из какой-нибудь четверки-пятерки базовых образов: камень, ветер, волна, огонь, облако – не обладая ими, наш мозг вообще не мог бы мыслить… (Это к вопросу, может ли машина мыслить: мыслить не мог бы даже наш мозг, лишенный тела.) И не нужно думать, что кто-то видел атомы или электроны благодаря каким-то хитроумным приборам, – ученые видят лишь некоторую картинку и *теоретически* домысливают причину, которая могла бы такую картинку породить.

Кстати говоря, а как мы вообще начинаем видеть реальность? Каким образом мы начинаем различать предметы? Из хаоса, из огромного скопления каких-то мух, комаров, пыли мы все-таки выделяем что-то самое важное. Рядом с нами происходят миллионы событий, а мы замечаем лишь десятки. И только уже с этими десятками мы работаем: классифицируем, размышляем…

В журнале «Наука и жизнь» когда-то любили печатать очень интересные загадочные картинки. Смотришь – набор хаотических разноцветных пятен, бессмыслица полная, и все-таки требуется найти там какую-то надпись. Ты эту картинку вертишь, крутишь – ничего нет. Но потом вдруг обнаруживаешь, что желтенькие пятнышки складываются в букву «с». Тогда к букве «с» начинаешь еще что-то пристраивать, и постепенно выстраиваешь вторую букву «с», и так лепишь, лепишь, лепишь, и, наконец, выступает надпись: «Слава КПСС». И после того как ты ее увидел, эту надпись, ты уже больше *не можешь* ее не видеть, только взглянешь – и она сама бьет в глаза. Так я и пришел к выводу, что мы видим лишь то, что ищем, о чем заранее знаем. Ведь если бы мы не умели читать, не знали букв, то мы бы никогда эту надпись и не выделили из хаоса. Только предвзятое представление о мире, та воображаемая картина мира, в которой мы априорно пребываем, заставляет нас сортировать, выискивать, группировать…

Словом, работать на ее подтверждение.

Но как же практические успехи науки?!

Они огромны и восхитительны. Но на каком основании именно материальный успех следует считать критернем истины? Не считаем же мы Романа Абрамовича самым умным человеком в сегодняшней России? Избрав в качестве критерия истины практические достижения, наука выбрала именно тот критерий, с точки зрения которого она и есть самая правильная: все критерии

каждой социальной группой создаются под себя. Так поступает каждая греза – каждая из них объявляет себя самой-самой: я самая древняя, я самая красивая, я самая утешительная, я самая общедоступная, я самая высокая, я самая общепримиряющая…

Внутри своей базисной грезы мы заключены целиком и полностью. И пока она нами владеет, до тех пор мы счастливы, уверены в себе и свысока поглядываем на других, убежденные, что мы умные, а они дураки. Мне же очень помогло понять человеческую природу общение с душевнобольными, с умственно отсталыми… Нормальные люди, видя, что параноик не может отнестись критически к своему бреду, что умственно отсталый не может понять, почему дважды два будет четыре, обычно так и считают: они сумасшедшие, а я нормальный, они глупые, а я умный… А я, напротив, вижу, что мы такие же, как и они, только мы живем внутри коллективного бреда, нелепость которого сделается очевидной лишь через пять – десять лет, и достигшими вершины разума кажемся себе исключительно потому, что по случайности еще не нашли никого умнее себя. А может быть, даже и нашли, да только этого не поняли, как и умственно отсталые не понимают нашего интеллектуального превосходства.

Так я и пришел к ответу на простенький вопрос «Что есть истина?». *Истина неотделима от механизма ее формирования.* Что выпускает колбасная фабрика, то и есть колбаса, что порождает наш мозг, то и есть истина. Данной минуты и данного мозга. Пока в нем снова не проснется скепсис. Нет объективных законов мышления – есть физиология деятельности мозга, настроенного доминирующей культурой, системой доминирующих предвзятостей данной социальной группы. И все, что она называет законами мышления, есть не более чем ее идеализированное самоописание. Мозг не может сформулировать некие окончательно правильные законы мышления, как диктатор не может издать закон, который сам не мог бы преступить. Ибо воля диктатора и есть закон, а решение мозга, в чем бы оно ни заключалось, и есть истина. И в итоге истина есть функция базисной грезы.

Вот теперь мы и приблизились к ответу на вопрос, почему в самых элементарных социально-политических вопросах люди приблизительно равного интеллекта и более или менее сходной культуры веками не могут прийти не то что к полному согласию, но хотя бы не к прямо противоположным убеждениям, неизбежно порождающим сначала подозрение в недобросовестности, а затем презрение и ненависть. Причина этого заключается в том, что *в естественных науках модели выбираются из соображений их*

практической эффективности, а при выборе моделей социально-политических люди пытаются решить сразу две взаимоисключающие задачи: добиться практической эффективности и выстроить психологически приемлемую воображаемую картину мира. Тогда как наука, все поставившая на практическую эффективность, выстраивает картину мира, ужасающую каждого человека со сколько-нибудь развитым воображением, рисуя его случайным, мимолетным, микроскопическим и беспомощным скоплением молекул в бесконечно огромном, бесконечно могущественном и бесконечно равнодушном космосе.

И с тех пор как пришли в упадок религиозные грезы, люди начали искать утешения в грезах социальных. И ненавидеть тех, кто у них это утешение отнимает. Отсюда и проистекает тот совершенно немыслимый в естественно-научных дискуссиях эмоциональный накал: на карте стоит не какая-то там прогностическая достоверность, а именно личное счастье.

Цивилизованное человечество в принципе давно разделило эти функции, познание и утешение, поиски практической эффективности предоставив науке, а функции утешительные передав религии, социальному прожектерству, искусству (перечислены по степени убывания чарующей силы), и лишь в социально-политических науках все еще царит первобытный синкретизм. Мне кажется, секуляризация хотя бы той же экономической науки значительно уменьшила бы противостояние различных школ, а может быть, даже уменьшила их число.

Невозможно получать утешение и эффективность в одном флаконе и в полном объеме. Вероятно, для создания синтетической идеологии имеет смысл поискать нечто компромиссное, пожертвовав частью утешительности в пользу эффективности и частью эффективности в пользу утешительности.

Но ведь каждая разновидность утешительности утешает лишь до тех пор, пока остается монополистической?.. Да, однако обрести монополию способна и компромиссная греза. Ведь в каких-то социальных группах возникает же все-таки согласие относительно того, какая социально-политическая модель является наилучшей, сходятся же как-то славянофилы со славянофилами, западники с западниками, либералы с либералами, дирижисты с дирижистами, на чем-то же основано их согласие?

Я думаю, как наука вырастает на базе каких-то элементарных физических впечатлений, так и политические убеждения вырастают из неизмеримо более элементарных и лично

пережитых образов, которые и выполняют функции первичных аналогий. Но если базовые аналогии физического мира у всех примерно одинаковы, то базовые образы мира социального могут быть и очень часто бывают прямо противоположными. Когда мы начинаем рассуждать о достоинствах и недостатках системы всеобщего образования, бывшему мальчику из интеллигентной семьи представляется примитивная училка, вдалбливающая ему Пушкина и Ньютона, в которых сама мало что смыслит, а деревенская девочка, дошедшая до столичной доцентуры, растроганно вспоминает какую-нибудь Марью Петровну, без посредничества которой она никогда бы даже не услышала этих имен.

Ну и, конечно, к числу таких базовых предвзятостей принадлежат и суждения авторитетов, усвоенные в возрасте тотальной некритичности к мнению старших. Затем каждый запасается базовыми аналогиями внутри своей профессии: биологи черпают их в наблюдениях за животными, физики – за двигателями внутреннего сгорания, экономисты – за сводками покупок и продаж, милиционеры – за преступниками, преступники – за милиционерами… В итоге, рассуждая вроде бы об универсальных социальных вопросах, каждый в скрытой форме решает свои личные психологические проблемы, стремясь в завуалированной форме либо выразить кому-то свою личную признательность, либо свести свои личные счеты, собственных личных друзей и личных врагов навязать миру в качестве всеобщих: маменькин сынок больше всего на свете ненавидит свою бонну, несостоявшийся тиран – состоявшихся; тот, кто пострадал от организованного коллектива, ненавидит всякую организацию, тот, кто пострадал от дезорганизованного коллектива, ненавидит дезорганизацию; пострадавший от традиций ненавидит традиции, пострадавший от нововведений ненавидит нововведения… Какой же согласованный критерий возможен там, где каждый пытается возвести личные психологические интересы в ранг объективного закона? Движение к согласию возможно лишь при игре открытыми картами, когда участники дискуссии раскрывают друг другу иррациональные «корешки» своих мнений, а не их рациональные «вершки», делятся базовыми впечатлениями и целями своих подтасовок, чтобы затем подтасовывать вместе.

Все рациональные аргументы действенны лишь внутри общего воображаемого контекста, а общий контекст в огромной степени создается сходным опытом – люди с радикально расходящимся запасом базовых впечатлений не могут прийти к согласию, даже если бы очень этого захотели. Потому социальное

согласие не является результатом отыскания социальной истины, но социальная истина является следствием социального единообразия.

Есть, правда, некие универсальные свойства человеческой природы, однако и они слишком часто лишь разобщают нас. Так, например, каждый из нас, сталкиваясь с людьми, имеющими возможность причинить нам какую-то неприятность, неизбежно испытывает тревогу, а следовательно, и раздражение, доходящее до ненависти, если потенциальная неприятность очень уж огромна. Но робкий мальчик, выросший в благополучном квартале благополучной страны, сталкивается с опасной силой лишь в лице полицейского, а потому более всего на свете и ненавидит полицию (государство, выражаясь расширительно). Другой точно такой же мальчик, выросший в хулиганском квартале, где может ударить, а то и пырнуть ножом каждый встречный, при виде полицейской формы, наоборот, с облегчением переводит дыхание (приобретая базовые впечатления для анализа государственной монополии на применение силы).

В итоге либеральные воззрения способны распространиться лишь там, где значительная часть населения видит для себя главную опасность не в бандитах, не в хулиганах, не в жуликах или относительно законопослушных ловкачах, а в государственных службах – их разнузданность должна производить более сильное впечатление, чем разнузданность индивидов.

А государственнические воззрения… Из аналогии с каким базовым образом вырастает представление о государстве, о нации? На сходстве с чем зиждется их эмоциональное обаяние? Я думаю, представление о нации вырастает из образа семьи – недаром и поныне самые пафосные патриотические образы отсылают к семейным святыням: «родина-мать», «отечество», «убивают наших братьев», «бесчестят наших сестер»… И если когда-нибудь семья из святыни превратится в утилитарную ячейку общества, тогда утратят обаяние и образы-следствия, и нация тоже превратится в одну из множества неустойчивых прагматических корпораций. Которой служат лишь до тех пор, пока это выгодно.

Отношения семьи и государства не есть отношения двух равноправных соперников – это отношения причины и следствия. Поэтому те ревнивые государства, которые стремятся дискредитировать, лишить обаяния своего извечного соперника – семью, уничтожают тем самым источник и собственного обаяния. В мире чарующих образов образ государства вырастает из образа

семьи, подобно тому как могучий ствол вырастает из семени.

С существенной, правда, разницей: государственный ствол и на вершине могущества продолжает нуждаться в том семени, из которого он произрос. Когда величественные понятия перестают отзываться в нашей душе чем-то конкретным и буднично знакомым, они превращаются в пустые слова.

Империя: придите в мирные объятья

Либерализм как прибежище завистника

Когда в романе «Исповедь еврея» мой герой-полукровка пришел к выводу *«нацию создает общий запас воодушевляющего вранья»,* это представлялось ему приговором – ведь на лжи ничего хорошего основано быть не может! И вообще все гуманное и утонченное создается отщепенцами, а единством порождается лишь тупость и жестокость. Однако на пике преображения нужды в добродетель он внезапно понял, что сокрытым двигателем его гимнов отщепенчеству было вовсе не презрение к народному единству, но *зависть* к нему.

Мораль: не мимолетному и бессильному презирать могучее и долговечное. Может, в одиночестве и таится масса достоинств, но счастье можно обрести лишь в единстве с чем-то бессмертным.

В те годы этот вывод был для меня далеко не банален. Но я был еще настолько наивен, что надеялся вызвать у *полноценных* участников национального единства сочувствие к страданиям отверженца. А потому даже несколько растерялся, когда мои друзья, испытавшие на себе едва ли не все формы отвержения, кроме национального, начали упрекать меня в том, что я излишне зацикливаюсь на национальном факторе: меня вот тоже в армии не звали покурить, а меня в детстве тоже дразнили – ну не все ли равно, как тебя дразнят: губастым или черножопым, жиртрестом или жидом?

Должны были пройти годы, прежде чем я понял, что социальные унижения ранят нас так глубоко из-за того, что униженность в социуме обнажает нашу беспомощность и мизерность в мироздании. Но, идентифицируясь с какой-то социальной группой, мы обретаем иллюзию собственной силы и долговечности, если только эта группа сильна и долговечна. Главное – долговечна! В чем же, как не в иллюзорном приближении к бессмертию, и может проявляться сила?

Такой долговечной, как нация, не бывает никакая другая социальная группа. И уж тем более никакая из других социальных групп не обладает столь пышной родословной, какие каждый народ сочиняет для самовозвеличивания в минуты исторического подъема и в особенности – упадка.

Иными словами, после полураспада традиционных религий национальная принадлежность сделалась едва ли не единственным суррогатом бессмертия – извечной и тщетной мечты человека от Авеля до наших дней. И потому быть отвергнутым народом – далеко не то же самое, что быть отвергнутым трудовым коллективом или дворовой компанией.

По этой же причине и национальные унижения переживаются несравненно мучительнее прочих – происходит оплевывание того едва ли не единственного дома, в котором человек может хоть отчасти укрыться от экзистенциального ужаса.

Оплевыванием чужих домов, как правило, занимаются те, кто хотел бы, да не имеет возможности туда попасть. Или кого оскорбил недостаточно теплый прием – ситуация самая опасная: отвергнутая любовь порождает и наиболее жгучую обиду. А если имеется и рациональная причина для конфликта – ею, уж конечно, не упустят случая замаскировать зависть бездомного к обитателям пусть и плохонького, но собственного дома.

И либерализм в его вульгарно-материалистическом изводе может служить вполне респектабельной маской зависти.

Плата за вход

Эту драму во всем трагическом развороте миру пришлось наблюдать примерно век назад, когда наиболее энергичные и честолюбивые обитатели еврейского гетто попытались войти на равных в большой мир народа-хозяина. Встретившего их не так радостно, как им грезилось. В результате чего самыми оскорбленными себя и почувствовали отнюдь не самые сирые и убогие, но, напротив, прежде всего те, у кого были наилучшие шансы добиться успеха, – именно им было невыносимо ощущать себя людьми второго сорта, пусть и в одном, но самом важном пункте – национальном. Можно было бы, конечно, предложить им быть поскромнее, но Бог не создал человека скромным, он создал его по своему образу и подобию…

Вдумаемся, насколько каждому из нас драгоценна иллюзия нашей исключительности. Когда влюбленные в ослеплении своем уверяют нас: «Таких, как ты, больше нет!» – чем отвечает наша душа? Протестом? «Неправда, таких, как я, тысячи!»? Нет, всплеском счастья: наконец-то нас оценили по достоинству! А попробовали бы мы, объясняясь в любви, воскликнуть: «Ты такая же, как все, ты нисколько не хуже других!» Но если народ, с которым ты стремишься слиться, постоянно дает тебе понять, что ты хоть немножко, да хуже…

Выйти из нестерпимого для пассионариев унижения можно было разными путями: завести собственный национальный клуб (сионизм), дойти до полной самоотверженности по отношению к тому престижному хозяйскому клубу, куда тебя не пускают, – сделаться русским из русских; но можно было попытаться и разрушить этот клуб. Это, в свою очередь, можно было сделать двумя путями: объединить все клубы-народы в один (путь коммунизма) или, напротив, разложить все престижные национальные общности на атомы (путь либерализма).

И вот тогда-то во всех общественных движениях, направленных на разрушение традиционных укладов (и в первую очередь своего, еврейского), евреи оказались едва ли не самой активной национальной группой. Народ-хозяин повсюду реагировал бесхитростно: ненавистью, ограничениями, а в самых крайних случаях даже пытался решить вопрос окончательно и бесповоротно – и, например, в Германии уже был в двух шагах от полного успеха. Освенцим стал платой за вход в избранное европейское общество.

Плата за равноправие российского еврейства тоже оказалась очень тяжкой – в погромах Гражданской войны счет шел на сотни

тысяч, а если к этому счету присоединить будущих «безродных космополитов»… И тем не менее самые обидчивые из нас, несмотря на бесчисленные индивидуальные успехи, все равно не чувствуют себя в российском доме полностью своими среди своих. И в отместку стараются внушить тем, кто себя ощущает хозяином своего дома, что стены и крышу над головой имеют одни лишь негодяи. В чем содержится столько же правды, сколько в суждении «все бабы суки», – по этой метке можно почти безошибочно опознать неудачника.

Легитимно отплатить обидчикам такой неудачник может, только объявив себя либералом, поскольку путь коммунизма для национально неполноценных сегодня закрыт: во-первых, компартия теперь уже и сама сбросила маску интернационализма, а во-вторых, она и прежде слишком дискредитировала себя репрессиями против всех на свете, и не в последнюю очередь против национальных меньшинств, не без оснований усматривая в них семена сепаратизма. Сначала культурного, а потом уже и территориального, поскольку каждой культуре и в самом деле необходим свой собственный уголок, где бы она царила безраздельно, без всяких оглядок на какого бы то ни было Старшего Брата. Ибо каждый народ создает свою национальную культуру для преодоления собственного, а не чужого экзистенциального ужаса, в той или иной форме твердя себе: мы лучшие, мы лучшие, мы лучшие…

Это и есть «национальная идея» всех народов мира, которые еще не превратились в «просто население».

И по ненависти к патриотизму можно почти безошибочно определить тех, кто на общенациональном пиру обнесен этой упоительной чашей. Я говорю *«почти* безошибочно» исключительно потому, что люди по-настоящему религиозные, устроившиеся во дворцах куда попрочнее и пороскошнее, могут презирать бараки патриотов вполне искренне. Но те изгои, кто проповедует либерализм в его наиболее нищенском изводе – как несовместимую с жизнью помесь индивидуализма и рационализма, – теми, вне всякого сомнения, владеет зависть проигравшего к удачливому конкуренту.

К счастью, серьезной опасности широкие массы в этих мстителях-одиночках уже не видят, а потому их проповеди лишь дискредитируют либеральные ценности да вызывают не слишком значительный рост агрессивного национализма, поскольку национализм в основном и порождается борьбою с ним, – так организм реагирует повышением температуры на проникновение инородного тела, в частности, на либерализм, когда он является в союзе с угрозой национальному достоинству (безразлично, реальной или воображаемой).

Зато вековая история прорыва из гетто российского еврейства заставляет задуматься о проблеме, грозящей сделаться еще гораздо более масштабной. В последние годы обитателями некоего гетто на обочине «цивилизованного мира» начинают ощущать себя уже не евреи, а русские. При этом намечаются ровно те же способы разорвать унизительную границу, которая ощущается ничуть не менее болезненно даже в тех случаях, когда она существует исключительно в воображении (картина мира и может быть только воображаемой). Первый способ – перешагнуть границу, сделаться большими западниками, чем президент американский. Второй – объявить границу несуществующей: все мы, мол, дети единого человечества, *безгранично* преданного общечеловеческим ценностям. Третий – провозгласить свое гетто истинным центром мира, впасть в экзальтированное почвенничество. И четвертый – попытаться разрушить тот клуб, куда тебя не пускают.

Этот последний путь грозит привести к нагромождению еще больших ужасов, чем их нагромоздили в прошлом веке, и даже сделаться последним в буквальном смысле этого слова, ибо средства уничтожения с той пасторальной поры выросли неимоверно.

Поэтому сегодня гораздо более важно избежать ненависти России к Западу, чем добиться ее любви к нему. А для этого нужно вспомнить, что именно неоцененная любовь наносит нашему самолюбию наиболее жгучие ссадины… И если мы хотим избежать ненависти, лучше отвернуться первыми. Чтоб не наделать гораздо худших бед.

Именно эту логику оборонительной гордости сто лет назад принял светский сионизм: для себя мы достаточно хороши и ни в чьем признании не нуждаемся. И этот отказ от влюбленности в блистательную чужую культуру – унизительной влюбленности свинопаса в царскую дочь (В. Жаботинский) – сделался и отказом

от вражды. Именно путь «национальной спеси» вывел евреев из всемирной склоки и привел к созданию государства Израиль, как-то незаметно уже и принятого в избранный круг «цивилизованных держав», но, похоже, этого почти не заметившего.

Чем-то в этом роде мне видится и наиболее безопасная национальная гордость великороссов, и пресловутый «третий путь» России. Путь сионизма по-русски, пролегающий в пространстве психологии, а не реальной политики, в пространстве слов, а не дел.

Обличители «унешние и унутренние»

Строгие воспитатели, которые хотят видеть Россию скромной и самокритичной, возможно, и впрямь не догадываются, что скромная Россия просто невозможна, что она, как и любая другая скромная держава, рассыплется при первом серьезном испытании, ибо в глазах своих граждан она не будет стоить того, чтобы ей чем-то жертвовать.

«А может, оно бы и неплохо?» – с надеждой вздохнет немало народу, усматривающего в России одну из главных угроз цивилизованному миру, не задумываясь о том, что ослабление ее национальных амбиций откроет дорогу таким реваншистским амбициям униженных и оскорбленных всех флагов и конфессий, с которыми «цивилизованный мир» уже не совладает.

Впрочем, это вариант чисто умозрительный. На деле каждый шажок к скромности Россия будет тут же компенсировать озлобленностью, мишенью которой, прежде всего, сделаются национальные меньшинства. Именно меньшинства более всего заинтересованы в том, чтобы русские уверенно ощущали себя хозяевами страны, ибо только эта уверенность может вернуть им так вожделеемую всеми нами национальную толерантность. Поскольку толерантность является не самостоятельным качеством, но лишь следствием уверенности в своей силе и защищенности. А длительная защищенность порождает даже и великодушие.

Тогда как агрессию порождает *только страх*.

Только страх порождает и неприязнь к патриотизму: а не против ли меня они объединяются? Чьи мельницы будет приводить в движение эта духовная энергия миллионов?

Иными словами, *критика патриотизма чаще всего порождена стремлением лишить своих конкурентов этого сверхмощного оружия.*

Поэтому лишь очень немногие утописты вроде Льва Толстого, желающие уничтожить решительно все эгоистическое, отрицают патриотизм как таковой – в основном его хулят только извне, в чужом лагере объявляя его национализмом, шовинизмом, фашизмом, а высокие слова приберегают для лагеря собственного. Провоцируя тем самым у соседей национализм, шовинизм, фашизм, ибо все эти градации – суть реакции на степень внешней угрозы.

В критике же патриотизма изнутри всегда борется желание и либеральную невинность соблюсти, и капитал не растрясти – и сохранить общенациональный дом, и ослабить влияние тех, кто

именем патриотизма в этом доме распоряжается. Поэтому всякая внутренняя оппозиция, надеющаяся приберечь патриотизм для собственных целей, стремится к отделению патриотизма от государства, то есть от власти, всегда отождествляющей собственные интересы с интересами Родины.

Есть прогрессивное мнение: нужно хранить верность родине, а не ее учреждениям и правителям, которые суть что-то вроде одежды, – какая может быть верность тряпкам!

Хранить верность тряпкам действительно глупо – но так ли уж нелепо хранить верность знамени, которое, если забыть о его символической функции, тоже не более чем тряпка? Да и сами учреждения можно ничуть не менее обоснованно уподобить не одежде, а органам социального организма: разве не глупость заявлять, что я-де обожаю свою жену, но терпеть не могу ее скелет и мозжечок? Что это за Родина такая, которая существует независимо от ее учреждений? И назовите хоть одно учреждение, ущерб которому не нанес бы ущерба и самой Родине, как ее ни понимать.

И обратно: в той части, в которой Родина является всего лишь одной из множества производственных и обслуживающих корпораций, к ней и относятся как к фабрике и прачечной, стараясь заплатить поменьше, а получить побольше. Родина становится исключением из правила лишь тогда, когда обслуживает не материальные и не социальные, но *экзистенциальные* потребности индивида, главная из которых – иллюзия причастности к чему-то бессмертному. Желательно, могущественному и почитаемому.

И когда власть делает нечто такое, что, по мнению населения, увеличивает могущество и авторитет их родины, оно и поддерживает эту власть. Вовсе, повторяю, не потому, что его сознанием манипулируют (это невозможно, человеку отказано в способности действовать в чьих-либо иных интересах, кроме собственных), а потому, что его психологические цели в значительной степени совпадают с целями власти.

Но поскольку сердце Родины составляют наследственные иллюзии, главным национальным интересом все-таки является укрепление и развитие этих иллюзий. А потому главным хранителем и выразителем национальных интересов является не власть и не масса, но национальная аристократия – служители и творцы наследственных грез. Аристократы духа, нацеленные на свершения, которые потенциально способны жить в веках, – этот общественный слой и есть главное национальное достояние каждого народа, без которого и Родина обречена зачахнуть и потерять обаяние в глазах массы, коя сама по доброй воле

подвигов не творит, но остро в них нуждается.

Возрождение национальной аристократии, ставка на самых одаренных и романтичных – вот национальная идея государства Российского, как я ее понимаю. Аристократия, в сущности, и есть главный материальный субстрат той абстракции, которая обозначается этим выспренним словом – Родина с большой буквы. А демократия, которая не дарит чувства причастности чему-то бессмертному, народу не нужна – зато за свершения, остающиеся в памяти потомков, он в конце концов оправдает любого тирана.

Либералов же, делающих ставку на рациональное, бренное, он и далее будет отвергать до тех пор, пока они не поймут, что *экзистенциальные проблемы важнее социальных,* пока не примутся внушать, что и они тоже служат чему-то бессмертному, только делают это лучше и дешевле, нежели авторитарные режимы.

Имперский дух и толерантность

Итак, патриотизм – хотя бы наполовину добро для тех, кто извлекает из него или рассчитывает извлечь какую-то психологическую пользу, и безусловное зло для тех, кто видит в нем лишь источник угрозы. Но давайте и дальше попробуем играть открытыми картами: речь идет не о патриотизме вообще, а конкретно о русском патриотизме. А если бы речь шла, скажем, о патриотизме британском, у многих либералов в России словарь наверняка бы смягчился. В России, но не в Индии – прочтите, что пишет Неру о том самом бремени белых, которое столь горделиво воспел Киплинг. И это тоже нормально: всякий стремится обратить в универсальное зло ту силу, от которой пострадала близкая лично ему социальная группа.

А поскольку в России столь многие пострадали не от Британской, а от Российской империи, то вполне естественно, что слова «имперский дух», «имперское сознание» пострадавшие постарались превратить в ругательство. Чтобы произносить его, не задумываясь и не давая задуматься остальным.

И это вполне достаточная причина наконец вдуматься, что же оно такое – это мерзкое имперское сознание.

Многие либерально мыслящие социологи уверены, что всякое длительно существующее социальное явление непременно выполняет какую-то жизненно важную социальную функцию. Следовательно, не могло бы оказаться столь живучим и пресловутое имперское сознание, если бы вся его миссия сводилась к тому, чтобы наполнять подданных империи бессмысленной агрессией и ни на чем не основанной спесью. Так вот, рискну предположить, что *имперское сознание заставляет жертвовать этническими интересами во имя общегосударственного целого.* То есть имперское сознание *вовсе не высшая концентрация национализма, но, напротив, его преодоление.*

Когда Петр Великий открывал самые высокие государственные поприща инородцам всех мастей – это и было проявлением имперского сознания; когда российская власть включала аристократию покоренных народов в имперскую элиту, позволяя «черни» сохранять культурную самобытность, – это тоже было проявлением имперского сознания. Зато принудительная русификация стала торжеством национального сознания над имперским.

Хотя при этом нужно вспомнить, что этот националистический напор в значительнейшей степени был

реакцией на национально-освободительные движения, – проще говоря, порождался страхом утратить роль «хозяина страны».

Я вовсе не хочу кого-то осуждать – экзистенциальные интересы национальных меньшинств настоятельно требовали обретения своего угла, где доминировали бы их собственные сказки, а экзистенциальные интересы русского большинства не менее властно требовали сохранения привычной роли. Примирить эти интересы было бы чрезвычайно трудно даже в самых благоприятных обстоятельствах, а уж в условиях распада государства, когда на волю вырываются самые безумные фантазии, и вовсе невозможно. Тут уж каждый действует в меру своих физических сил и в национально-освободительном реванше, и в национально-охранительной мести.

Зато после всех этих кошмаров те национальные меньшинства, которым удалось сделаться большинством в собственной стране, принялись добиваться национальной однородности куда более рьяно, чем это делалось и при старом, и при новом российском режиме. В двадцатые годы едва ли не главным врагом коммунистической власти был русский патриотизм, окрещенный великорусским шовинизмом, поскольку именно русская химера была главной соперницей химере интернациональной. Политика «коренизации кадров», в сущности, и была невольным реваншем имперского духа. А сталинская русификация стала отступлением от него.

Хотя, вполне возможно, националистической лестью Сталин всего лишь хотел подкрепить имперский дух русского народа, давая ему понять, что он по-прежнему главный. Ибо угроза государственному доминированию неизбежно порождает националистический реванш, иначе просто не бывает. Еще почти век назад первые сионисты, прибывающие в Палестину, всерьез обсуждали, как бы им так поделикатнее себя вести, чтобы не вызывать раздражения коренного населения, и Жаботинский тогда же с присущей ему беспощадностью ответил: никак. Никакие реверансы не помогут: «Каждый туземный народ, все равно, цивилизованный или дикий, смотрит на свою страну как на свой национальный дом, где он хочет быть и навсегда остаться полным хозяином; не только новых хозяев, но и новых соучастников или партнеров по хозяйству он добровольно не допустит».

Согласитесь, и в царской, и в советской империи имперский дух русского народа все-таки допускал немалое количество соучастников и партнеров по хозяйству. Немцы, грузины очень заметно присутствовали даже в имперской аристократии. В евреях, правда, власть ощущала сильного и недостаточно

лояльного идеологического и экономического конкурента и придерживала на всех поприщах, в особенности на государственном, вызывая раздражение, которое еще более усиливало как еврейскую нелояльность, так и государственное недоверие. И это было, мне кажется, как раз не по-имперски. Имперский дух требует предельно облегчать индивидуальные карьеры наиболее одаренным и честолюбивым инородцам, дабы оставить недовольные национальные группы без потенциальных лидеров. Разумеется, никакой народ подкупить невозможно – ничего равноценного бессмертию предложить нельзя, но все-таки выдающиеся успехи представителей национальных меньшинств заметно снижают их национальную уязвленность, а также представляют соблазн для других нарождающихся вождей не поднимать соплеменников на борьбу, но пуститься в одиночное плавание на ловлю счастья и чинов. И наиболее упорные и одаренные евреи вполне могли достичь очень немалых высот в свободных профессиях, а обитатели еврейских гетто располагали значительной культурной автономией.

Понятно, что все это казалось очень и очень недостаточным, но – в те буколические времена люди еще не знали, с чем сравнивать. Прогрессивная общественность не могла простить империи кишиневского погрома, во время которого погибло около пятидесяти человек, – власть и впрямь проявила, очень мягко говоря, преступную нерешительность. Но когда эта власть пала – счет погибшим пошел на сотни тысяч.

Так и напрашивается призыв к национальным меньшинствам: берегите империю! Только уверенность народа-хозяина в своей силе обеспечивает вашу безопасность.

Мне ли не понимать, что одной безопасности далеко недостаточно, есть еще и гордость, но ведь самоутверждаться вне сферы борьбы за власть можно в тысячу раз более успешно – собственно, за пределами этой коммуналки и начинается самое восхитительное и долговечное! А задирая русское большинство, изображая его естественный патриотизм чем-то низким и злобным, ставя под сомнение его право на государственное доминирование, вы все равно не добьетесь силового равенства, но лишь пробудите мстительность и национальный реваншизм, скинхеды – это еще только самые первые и самые убогие цветочки. Берегите имперское сознание, ибо на смену ему может прийти только сознание националистическое! Относительно же продолжительный мир между народами в историческом прошлом удерживали именно империи, а не национальные государства. А потому поспешный приговор империям должен быть пересмотрен.

Национальное самоопределение

Если бы у нас был выбор между вечной борьбой наций внутри империй и мирным сосуществованием национальных государств, я, конечно же, был бы за безграничное деление всех многонациональных образований вплоть до мононациональных молекул. Но выбор-то в реальности другой! Или вечная борьба наций внутри относительно небольшого количества могучих государств, которым из-за их малого числа легче договориться между собою, – или такая же вечная борьба множества национальных государств, не признающих над собой никакой власти, поскольку любая такая власть была бы нарушением их священного суверенитета.

Нужно не забывать: слово «империя» превратили в ругательство не абстрактные гуманисты, но националисты, сумевшие придать возвышенное звучание словосочетанию «национальное самоопределение». И хотя, разрушив империи, они ввергли свои и чужие народы в кровавые стычки и этнические чистки, я их хорошо понимаю: борьба за национальное самоопределение – это вовсе не борьба за экономическое процветание, свободу или чистоту нравов, но все та же **борьба за бессмертие,** а терроризм – оружие безнадежно проигрывающих в этой борьбе.

Борьбе, выражаясь помудренее, за историческую субъектность.

Концентрирующуюся чаще всего в исторических личностях, при этом почти безразлично, вошедших в историю со знаком плюс или со знаком минус. Тем более что общечеловеческих плюсов пока что не предвидится: ведь их обычно выставляют за победу над кем-то, но не может же человечество восторжествовать над самим собой! Вот освобожденные от советского диктата монголы и устанавливают памятник Чингисхану, французы никак не могут забыть Наполеона, мы Сталина, а сербы называют улицу в Белграде именем Гаврилы Принципа, спровоцировавшего череду поистине чудовищных бедствий.

Правда, именем одного из отцов электрической цивилизации Николы Теслы в сербском Белграде назван аж целый аэропорт, да и в Подгорице (главный город Черногории), и в Загребе (столица Хорватии) имеются улицы его имени. Видите, скольким народам сразу один-единственный гений укрепил экзистенциальную защиту! Причем у всех у них есть основание считать себя причастными к его становлению: серб по национальности, Тесла родился в Хорватии, а учился в Австрии и Чехии – немало он

стран перевидел, пока не реализовался в Америке, где ему тоже установлен памятник, и не каждый вспомнит, что вся история его становления на самом деле протекала в одной стране – в Австро-Венгерской империи.

А если бы все перечисленные страны уже тогда были разделены государственными границами, еще неизвестно, как сложилась бы его судьба, сформировался его талант. Хотя даже в самом счастливом случае реализовать свой дар в маленьком государстве он все равно бы не сумел, ибо грандиозные проекты, для которых был рожден Тесла, для небольших государств неподъемны. Наш Королев тоже не обрел бы бессмертие, если бы не имел в своем распоряжении целую промышленную империю.

Намек ясен? **Отделяясь от империй, малые народы не укрепляют, но ослабляют свою экзистенциальную защиту, не укрепляют, но ослабляют свою историческую субъектность** – оказываются еще дальше от исторического творчества, от возможности оставить бессмертный след в истории. В Большой Игре великих держав, чье величие измеряется прежде всего возможностями наносить неприемлемый ущерб, они все равно остаются пешками. Но самое обидное – с обретением независимости у них резко падает возможность взращивать собственных гениев, являющихся, на мой взгляд, главным достоянием человечества, главным оправданием его земного бытия и главной для его безрелигиозной части экзистенциальной защитой. Вспомнив имена Бетховена, Микеланджело, Толстого, Ньютона, даже самый заматерелый циник невольно почувствует: да, человек – это, пожалуй, звучит все-таки довольно гордо.

Но, чтобы взращивать гениев, нужно забрасывать сеть очень широко и воспитывать их на общении с высочайшими образцами. И есть огромная разница, выбирать из миллионов или из тысяч.

Дело, впрочем, не только в количестве молодежи, из которой производится отбор, хотя и в нем тоже, – дело еще и в качестве ее воспитателей. Представим, что какая-то российская область в силу особенностей происхождения или языка вообразила себя отдельной нацией (а нация и создается системой грез) и выделилась в самостоятельное государство. Тогда декан местного пединститута сделался бы президентом Национальной академии, краеведческий музей превратился тоже в Национальный, единственный член Союза художников оказался бы родоначальником национальной живописи, а член Союза писателей автоматически вырос в национального классика. При этом все они, даже будучи милейшими и одаренными людьми, поневоле оказавшись высшими достижениями своего народа, вместо стимулирования исторического творчества, тоже

поневоле, начнут его глушить, задавая слишком низкую планку.

А одаренная амбициозная молодежь, которая прежде ехала поступать в Москву и Петербург, не покидая при этом собственного государства, будет вынуждена уезжать, пусть и туда же, но уже за границу.

И какая сила заставит их вернуться на свою теперь уже не «малую», а просто родину? Забота об отечестве? Но они ничем не смогут послужить ему, прозябая без необходимых ресурсов и сообщества равных. Есть, конечно, профессии, не требующие особых материальных средств, скажем, теоретическая физика или филология, и тогда один гений вроде Бора или Лотмана может превратить вчерашнее захолустье в научную столицу; однако и в этом редчайшем случае с его уходом, как правило, теряется и «столичный» статус. Да и самих таких наук неизмеримо меньше, чем борющихся за бессмертие малых народов.

Теоретически, правда, можно допустить, что во главе государственного новообразования станет новый Лоренцо Великолепный, который начнет покровительствовать талантам, расходуя на необходимую им инфраструктуру те ресурсы, которые рядовая масса желала бы потратить на жилищное строительство, здравоохранение и пенсионное обеспечение, – однако в век демократии такой народный вождь вряд ли надолго засидится в президентском кресле. Народы, остро нуждаясь в экзистенциальной защите, редко, однако, сознают, что именно успехи их национальных гениев защищают их самих от чувства исторической ничтожности, которое они предпочитают глушить всевозможными психоактивными средствами от алкоголя до терроризма.

Короче говоря, именно тогда, когда нации занялись самообожествлением, империи для малых народов начали становиться в гораздо большей степени орудиями усиления и обогащения, орудиями обретения исторической субъектности, чем орудиями ее подавления, в гораздо большей степени орудиями формирования экзистенциальной защиты, чем орудиями ее разрушения. Лучшей защищенности, к слову сказать, национальным меньшинствам легче достичь в более «отсталой» империи, где на продвинутые малые народы взирают со смесью раздражения и почтения, чем в «передовой» цивилизации, взирающей на новичков свысока.

Империи, чья коллективная экзистенциальная защита открыта для всех желающих (в отличие от наций, стремящихся замкнуться в себе), едва ли не единственное средство вовлечь народы в общее историческое дело. В тех случаях, разумеется, когда имперская власть служит величию и бессмертию

имперского целого, а не националистическим химерам. Немцы в царской империи, евреи в ранней советской сделали более чем достаточно и для государства, и для собственной экзистенциальной защиты – и продолжали бы служить тому и другому верой и правдой, если бы Сталин не принялся превращать империю в национальное государство. Одновременно истребляя и русских национальных романтиков, служащих уже не имперской, а национальной экзистенциальной защите, поскольку справедливо усматривал в них угрозу своему единовластию.

Распад советской «империи зла» тоже привел к появлению новых, не успевших набраться опыта и ответственности игроков на международной арене, понимающих, что нужно жертвовать апломбом ради старого, хотя и недоброго равновесия сил. И покуда право наций на самоопределение будет считаться священной коровой, пред которой должны расступаться все существующие государства, это равновесие будет постоянно нарушаться и вводить в соблазн все новых и новых романтиков и авантюристов, мечтающих тоже пробиться в историю в качестве отцов-основателей новых государств, укрепив личную экзистенциальную защиту до полной бронебойности и ослабив ее у своего народа, может быть, даже навеки.

Национальное самоопределение должно быть низведено из права в простое пожелание, чья осуществимость целиком зависит от цены, которую за его исполнение придется заплатить миру, – непременно с учетом возрастающей либо падающей способности самоопределяющихся народов взращивать собственные таланты, кои уже давно пора объявить *общим достоянием человечества* наряду с выдающимися красотами природы и архитектурными шедеврами. (Намек адресован ЮНЕСКО, тоже очень озабоченному разнообразием национальных культур и мало обеспокоенному творческим потенциалом этих культур, их способностью расширять наши представления о пределах человеческих возможностей.) И это вовсе не значит, что нужды национальных меньшинств должны подавляться в многонациональных государствах, почему-то как черт ладана страшащихся принять на себя имперское имя и имперскую ответственность, которой они все равно не в силах избежать. Избежать в том числе и ответственности за меньшинства, готовые впасть в националистическое безумие.

Сдерживать, однако, подобные безумства может лишь тот, кто сам от них свободен. Народы, на которые прихоти истории возложили имперское бремя, должны помнить, что имперский принцип прежде всего от государствообразующих народов требует преодоления национального эгоизма во имя более

высокого и многосложного целого.

Имперский принцип, в частности, требует не подавлять экзистенциальные нужды меньшинств, но, напротив, всячески поощрять их утоление в созидательной, а не агрессивной исторической деятельности. Для чего необходимо открывать как можно более широкую дорогу их особо одаренной молодежи к элитарному образованию, к работе в высокой науке и высокой культуре. Ее нужно даже вовлекать на этот многих славных путь. Ибо каждый взращенный империей гений, вышедший из национального меньшинства, есть сильнейший удар по национальной агрессии и национальному сепаратизму.

У наций, у культур есть два главных орудия воздействия друг на друга – угроза и соблазн. Угроза, порождающая необходимость скрывать свои национальные чувства, как всякое покушение на экзистенциальную защиту, эти чувства укрепляет, и в периоды вооруженного противостояния сила соблазна многократно слабеет. Но если когда-нибудь в горячих зонах возникнет хотя бы худой мир, тогда-то и вырастет вопрос, чем Россия может соблазнить наиболее страстных и энергичных представителей национальных меньшинств. Имперская Россия открывала им такие поприща, как армия, коммерция, государственная служба, – наверняка с огрехами, возможно, и огромными, но я предлагаю учиться не порокам, а достоинствам империй. Тем более что сегодня к прежним поприщам можно присоединить и уже перечисленные пути в культуре, науке, технике, юриспруденции.

Сейчас мы видим немало примеров, когда в новообразованные независимые государства приходится вводить «миротворческие» силы – не дешевле ль было их оттуда не выводить, не переводить конфликты из внутригосударственных в межгосударственные? Или непременно нужно всем сначала разделиться и навоеваться, чтобы наконец оценить прелести мирной жизни – пусть и на задворках мирового сообщества? Дай бог, чтоб так и было. Но мне всегда приходит в голову моя же давняя мысль: пессимисты портят людям настроение – оптимисты ввергают их в катастрофы.

Второсортные европейцы

Биография поэта, филолога и общественного деятеля Томаса Венцловы (не знаю, склоняется ли эта литовская фамилия) открылась мне лишь из увесистого тома «Пограничье» (СПб., 2015) его публицистики многих лет. Сын известного советско-литовского писателя, обретший в гэбистском досье не лишенную остроумия кличку Декадент, он мог бы сесть не просто за правозащитную деятельность, но еще и за национализм, в старые недобрые времена именовавшийся буржуазным, поскольку национальная независимость, по марксистско-ленинской теории, требовалась только буржуям, борющимся за рынки. Макс Вебер называл национализмом стремление совместить границы государства с границами расселения этноса, однако этот гражданский национализм не мог бы существовать без национализма романтического, приписывающего нации немыслимые совершенства, да еще и объявляющего жалким и ничтожным существование человека, лишенного национального дома.

Я думаю, не случайно романтический национализм создавали вовсе не капиталисты, но поэты и философы (кажется, больше прочих потрудились немцы, но, возможно, они всего лишь предоставили более громкие имена – Гердер, Фихте…), склонные искать в политике то, что может дать только религия, – иллюзию красоты, мудрости, справедливости, недостижимых в нашем трагическом мире, где все идеалы противоречат друг другу: служа одной святыне, непременно попираешь десяток других. Романтический национализм и сделался земным суррогатом веры, почти утратившей свой воодушевляющий и утешающий потенциал, – этот суррогат и разрушил все империи, не сумевшие предложить более красивой и воодушевляющей грезы. Томас Венцлова же такой грезой обладал (истина и гуманность выше нации) и потому на своем общественном полуподпольном поприще немедленно столкнулся с чистопородными, так сказать, борцами за независимость Литвы. В самиздатском журнале с поэтическим именем «Заря» (по-литовски почти «Аврора», «с явными расистскими нотками. Изредка антисемитскими. Хотя, конечно, страшно антирусскими, антипольскими нередко») его упрекали за написанную по-русски статью, где он в духе Солженицына призывал литовский народ покаяться за тех мерзавцев, которые принимали участие в массовых убийствах евреев: дескать, конечно, убивать евреев нехорошо, но в тех эксцессах, что произошли в начале войны, в основном виноваты

сами пробольшевистски настроенные евреи, настолько озлобившие народ, что нашлись подонки…

За которых народ, разумеется, ответственности не несет: преступники, как известно, не имеют национальности, ею обладают исключительно герои и гении. Венцлова в этом сомневался, но полемику вел в мягком тоне, ибо в тот исторический час все были союзниками в борьбе за национальную независимость. Однако на пороге независимости поэт заговорил пожестче: «Я не очень верю, что мы станем "северными Афинами" – уникальным культурным центром, мостом между Востоком и Западом или какими-нибудь другими регионами земного шара. Дай нам бог стать нормальным, скромным, цивилизованным европейским государством (которым мы не совсем успели стать в 1918–1940 годах)».

Увы, скромные государства, не наделяющие своих граждан ощущением включенности во что-то высокое, исключительное, могут существовать лишь до тех пор, пока не требуют от своих граждан совсем уж никаких жертв, не требуют даже предпочесть свое государство более благоустроенным. Но стоит разности потенциалов – разнице уровней жизни – установиться в пользу соседей, как готовность обменять родной язык на хорошую зарплату начнет нарастать катастрофически, ибо для всех, кроме литераторов, язык ценен лишь до тех пор, пока служит символом сопротивления, а в качестве прагматического средства общения хорош тот язык, который позволяет лучше устроиться: мощнейшим орудием ассимиляции является вовсе не угроза, но соблазн. И двадцать лет спустя, когда победа была еще и закреплена вступлением в Европейский союз и НАТО, Венцлова заговорил того резче: «Важны лишь деньги. А историю приплетают как обоснование для добычи их очередной порции; если какая-то партия слишком шумит по поводу величия Литвы, это, скорее всего, означает, что она намерена выиграть ближайшие выборы и набить карманы деньгами – ничто другое ее не интересует. <…> Когда в Литве боролись за независимость, то повторяли: "Ах, большевики уничтожают нацию!" Но сейчас она тает гораздо быстрее. Большевики ее как раз консервировали. Лучшим способом сохранения так называемых национальных ценностей оказалась как раз советская власть – ее по заслугам ненавидели, поэтому ставили акцент на этих ценностях, клялись в верности им. Сейчас это стало скорее демагогией». Что было вполне предсказуемо: нацию разрушает не угроза, а соблазн, и советская власть ограждала от соблазна.

«Расцвет национализма был уже довольно давно, и люди подзабыли, что это такое. На эту приманку сейчас, увы,

поддаются сильнее, чем на коммунистическую», – так она и проще: коммунизм еще нужно строить, а нация уже готовое совершенство. «И возможно, для малых народов она особенно привлекательна – помогает преодолеть комплекс неполноценности, связанный именно с величиной, и превращает этот комплекс в манию величия. Это очень опасно. <…> Сейчас эта тенденция начинает побеждать, и вполне возможно, что об этом придется говорить очень резко и очень откровенно». Хотя куда уж откровеннее! Даже независимость уже не кажется бывшему Декаденту «лучшей гарантией, что язык и культура будут сохранены»: «Гитлеровская Германия тоже была вполне независимой. И сталинский Советский Союз тоже – попробуй ему кто-нибудь что-нибудь указать. А что в них было хорошего? Северная Корея вполне независима. Очень независимая страна – Иран, но не хотел бы я жить там, и, кстати, многие мусульмане не хотят». Больше того: «Если исчезнет нормальная человеческая ментальность, то, на мой взгляд, это хуже, чем потерять язык». Но, разумеется, о том, чтобы вернуться в Российскую империю, не может быть и речи. Даже и в далеком прошлом, «если бы русское национальное самосознание, отличное от имперского, своевременно и полностью сформировалось, история России и всей Восточной Европы была бы счастливее»; «все мы должны любыми возможными способами поощрять русский национализм, нормальный национализм, с которым приходит понимание собственных национальных интересов, а вместе с ним осознание, что империя только вредит этим интересам».

Это, пожалуй, главный пропагандистский успех националистов – они превратили слово «империя» в ругательство (либералы лишь воспользовались плодами их победы), хотя именно развитые империи ввели представление о культурной автономии национальных меньшинств, с которой национальные государства либо покончили, либо пытались и пытаются руками националистов это сделать. Гердер обзывал многонациональные империи государствами испорченными, развращенными, ибо не только совместное проживание, но даже использование чужого языка заражает иностранными пороками (почему-то не достоинствами). Национальные эгоцентрики сумели изобразить имперское сознание еще и высшей степенью национального эгоцентризма, хотя имперский принцип, напротив, требует преодоления национального эгоизма во имя более высокого и многосложного целого.

Большего авторитета, к слову сказать, национальным меньшинствам легче достичь в более «отсталой» империи, где на продвинутые малые народы взирают со смесью раздражения и

почтения, чем в «передовой» цивилизации, взирающей на новичков свысока. Империи, в отличие от наций, стремящихся замкнуться в себе, едва ли не единственное средство вовлечь народы в общее историческое дело. В тех случаях, разумеется, когда имперская власть служит величию и бессмертию имперского целого, а не националистическим химерам. Немцы в царской империи, евреи в ранней советской сделали более чем достаточно и для государства, и для самоутверждения – и продолжали бы служить тому и другому верой и правдой, если бы Сталин не принялся превращать империю в национальное государство.

Однако лично я до последнего остаюсь верным имперскому духу! Меня по-прежнему чаруют имена Шяуляй (непременно через «я»), Каунас, Варена, Друскининкай… Сердце сжимается совсем как в эпоху исторического материализма, когда я мысленно прогуливаюсь по дворикам Вильнюсского университета или на цыпочках, чтоб не спугнуть, приближаюсь к костелу Святой Анны, а русификация мне и тогда показалась бы бредом: меня пленял именно латинский алфавит, и назвать аллею Лайсвес аллеей Свободы для меня было бы верхом кретинизма. А беды, которые Советский Союз принес в родную Летуву, представлялись мне (да и представляются) одной общей бедой, в которую ввергло себя впавшее в безумие человечество, и что считаться обитателям общего сумасшедшего дома, у кого хватило и у кого не хватило сил разорвать смирительную рубашку! С нежностью и печалью я вспоминаю и Алма-Ату, и Тбилиси, и Самарканд, и Киев, но все-таки я не настолько безумен, чтобы хоть на мгновение помыслить о земном воплощении своей небесной империи, – земной мир живет другими сказками, требующими ненависти и крови. Но вдруг мой постимперский синдром каким-то чудом охладит эту ненависть хоть на миллионную долю градуса?..

* * *

Я не сумел заставить себя полюбить поэзию Чеслава Милоша – очень уж он рассудочен, повествователен, сдержан, а когда художнику слишком хорошо удается сдержанность, понемногу начинает нарастать подозрение, что ему и сдерживать нечего. Не говоря уже о том, что верлибр и вообще лишает поэзию музыки. Заслуга писателя тем выше, чем меньше он обязан материалу, а у Милоша сильнее всего получается там, где речь заходит о событиях, в любом изложении производящих сильное

впечатление. Впрочем, о чем, прозаик, ты хлопочешь? Суди, дружок, не свыше сапога. Лучше возьмись за «Азбуку» – одну из последних книг нобелевского лауреата (СПб., 2014). Представьте, что мемуарист, включенный в историю не менее мощно, чем Эренбург или Герцен, написал свои «Люди, годы, былое и думы» в виде словаря, расположив в алфавитном порядке людей, которых он знал, события, участником или современником которых он был, предметы или даже науки, пробудившие в нем серьезные мысли. В таком примерно духе.

«Абраша. С Абрашей я познакомился в Париже, когда жил в Латинском квартале после разрыва с Варшавским правительством, то есть в 1952 году. Он был польским евреем по фамилии Земш, учился в Сорбонне, а точнее, был вечным студентом, то есть принадлежал к числу людей, для которых студенческий образ жизни – алиби: лишь бы не влезать в хомут карьеры, заработка и т. д. Абраша немного рассказывал мне о своем прошлом. Он служил в польской армии в Англии, и, по его словам, там ему не давали проходу антисемиты. Потом воевал в Палестине с англичанами» – и так через студенческий мятеж 1968-го до начала следующей, небольшого формата страницы: «Абраша покончил жизнь самоубийством, но я не знаю ни даты, ни обстоятельств».

И все. Такой вот конспект романа о «типичным представителе» или, если хотите, «лишнем человеке» XX века. И так хочется увидеть его живым, услышать его голос, но у автора нет либо желания, либо времени и сил оживить и приблизить к нам своих героев: «Они должны довольствоваться этим, ибо лучше хотя бы так вырваться из забвения». И Абрашу сменяет **Автомобиль.** Ему отдано раза в полтора больше места, но он и куда более для матери-истории ценен: «Видимо, автомобиль был изобретен в насмешку над пессимистами, которые предсказывали, что число лошадей неимоверно вырастет и города задохнутся от конских экскрементов». И дальше сжатые зарисовки о грязище и вонище своего детства – детства мальчика из высших классов общества, затем беглые размышления о том, какие горы мусора и грязи сопровождали эпоху романтизма: «Стоило бы описать читательниц "Новой Элоизы" не сверху, а снизу – со стороны их ночных горшков (интересно, куда выливали их содержимое?), трусов (которых никто не носил) и эквилибристики при омовениях». В сущности, по своей структуре «Азбука» Милоша похожа на столь же фрагментарную «Разбитую жизнь» Катаева, но, насколько «Разбитая жизнь» переполнена живыми людьми, красками, звуками, настолько «Азбука» беззвучно-информативна – в ней почти нет восклицательных

знаков и слов, означающих какие-либо материальные свойства предметов. Даже странно, что поэт с такой непреклонностью на протяжении пятисот страниц (правда, небольшого формата) отказывается следовать собственному кредо: «Где бы я ни был, в каком бы месте // В мире, от людей скрываю убежденность в том, // Что не отсюда я. // Как будто послан был, чтобы впитать побольше // Цветов и вкусов, звуков, опытов и ароматов, // Всего, что стало // Долей человека, // Превратить то, что узнал я, // В колдовской реестр // И отнести туда, // Откуда я пришел». В реестре «Азбуки» почти нет ни цветов, ни вкусов, ни ароматов, зато есть очень серьезные размышления.

«Америка. Какое великолепие! Какая нищета! Какая человечность! Какое бесчеловечие! Какая взаимная доброжелательность! Какое одиночество! Какая преданность идеалам! Какое лицемерие! Какое торжество совести! Какое двуличие! Америка противоположностей может (хотя не обязательно должна) открыться перед успешными иммигрантами. Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жестокость. Мне повезло, однако я всегда старался помнить, что обязан этим счастливой звезде, а не себе, что совсем рядом находятся целые районы, населенные несчастливцами. Скажу даже больше: мысль об их тяжком труде и несбывшихся надеждах, а также о гигантской системе тюрем, в которых держат ненужных людей, настраивала меня скептически по отношению к декорациям, то есть к аккуратным домикам среди зелени предместий».

Когда-то Алексис де Токвиль предрекал, что двум новым гигантам – России и Америке – предстоит сделаться владыками мира, но Милошу пришлось увидеть американское торжество. «В этом столетии "зверь, выходящий из моря", поверг всех своих противников и соперников. Самым серьезным противником была советская Россия, ибо в столкновении с ней речь шла не только о военной силе, но и о модели человека». Хорошо, что это видят хотя бы поэты: борьба народов – прежде всего состязание грез, состязание воодушевляющих сказок. «Попытка создать "нового человека" на основе утопических принципов была поистине титанической, и те, кто ex post недооценивают ее, видимо, не понимают, какова была ставка в этой игре. Победил "старый человек", и теперь при помощи СМИ он навязывает свой образ жизни всей планете. Оглядываясь назад, следует усматривать причины советского поражения в сфере культуры. Расходуя астрономические суммы на пропаганду, Россия так и не сумела никого убедить в превосходстве своей модели – даже в покоренных странах Европы, которые воспринимали эти попытки издевательски, видя в них неуклюжий маскарад варваров».

Социальное, как всегда, уступило экзистенциальному – национальному и цивилизационному, ибо цивилизация тоже порождается уверенностью какой-то группы народов в совместной избранности, а в позднем Советском Союзе даже его лидеры уже не верили в собственную сказку и пытались состязаться в заведомо проигрышных критериях противника, в уровне и разнообразии потребления, опираясь уже не на интернациональный (имперский), но национальный принцип, требуя невозможного признания верховенства Старшего Брата.

Америка при этом, несмотря на свою пресловутую «бездуховность», умудрилась сделаться еще и культурной столицей мира. «Уже не Париж, а Нью-Йорк становится мировой столицей живописи. В Америке у поэзии, сведенной в Западной Европе к чему-то вроде нумизматики, появились слушатели в университетских кампусах, кафедры, институты и премии. Я сознаю, что если бы остался во Франции, то не получил бы в 1978 году Нейштадтской, а затем и Нобелевской премии».

«Быть может, читатель почувствует это обилие рвущегося наружу материала», – пишет Милош в предисловии, и кое-где он таки прорывается – прорывается прежде всего обида за славянство, за «огромные массы иммигрантов из славянских стран – словенцев, словаков, поляков, чехов, хорватов, сербов, украинцев». Сколько славянина ни корми, он будет помнить «принятые в двадцатые годы законы, ограничивающие число виз для стран второго сорта, то есть восточно- и южноевропейских». «Учитывая высокий процент славянских переселенцев, их незначительное присутствие в высокой культуре заставляет задуматься. Пожалуй, главной причиной было, как правило, низкое общественное положение семей: детей рано отправляли на заработки, а если уж посылали учиться, то избегали гуманитарных направлений. Кроме того, эти белые негры пользовались своим цветом кожи и часто меняли фамилии на англосаксонские по звучанию, поэтому до их происхождения уже трудно докопаться». Что в очередной раз доказывает, что для сохранения национальной культуры выгоднее соседство культурно чуждого народа, присоединение к которому не представляет экзистенциально соблазна: даже делая карьеру среди «варваров», выходец из «избранного» народа в глубине души продолжает смотреть на него свысока. Другое дело, пребывание среди народа, чье превосходство и в глубине души не вызывает сомнений, – тут ассимиляция практически неизбежна, если чужаки еще и не выделяются среди хозяев антропологически.

«Когда рабочие из Детройта узнали, что поляк получил

Нобелевскую премию, они произнесли фразу, заключавшую в себе суть их горькой мудрости: "Значит, он в два раза лучше других". По своему опыту общения с заводскими мастерами они знали, что лишь удвоенные труд и сноровка могут компенсировать нежелательное происхождение». Здесь, однако, народная мудрость не возвысилась до понимания тонкостей национальной политики: умные владыки мира всегда демонстративно поощряют отдельных любимчиков из дискриминируемого меньшинства, постоянно кишащего недовольными, чтобы лишить козырей тех смутьянов, кто станет призывать их к открытому протесту. Правда, сам Милош вряд ли мог бы соблазнить своей карьерой кого-то, кроме кучки интеллектуалов, а более всего литераторов. Он был нужен, скорее, для формирования альтернативной истории польской литературы, и в этом, судя по всему, он свою роль сыграл. И роль, несомненно, положительную, хотя мне и неизвестно, какие «автохтонные» польские поэты были заглушены нобелевскими фанфарами.

Они даже и в душе самого Чеслава Милоша, сверх самых смелых его мечтаний обласканного Западом, не сумели заглушить национальную обиду на **Глупость Запада:** «Признаться, я страдал этим польским комплексом, но, поскольку много лет жил во Франции и Америке, все же, скрипя зубами, вынужден был научиться сдерживать себя.

Объективная оценка этого феномена возможна, то есть можно влезть в шкуру западного человека и посмотреть на мир его глазами. Тогда выясняется: то, что мы называем глупостью, следствие иного опыта и иных интересов». Да, нам всегда представляется чем-то вроде слабоумия – или уж крайней подлостью, когда другие хотят жить не нашими, а собственными интересами. Тем более не шкурными нашими, а высокими, национальными!

«И все же глупость Запада – не только наша, второсортных европейцев, выдумка. Имя ей – ограниченное воображение. Они ограничивают свое воображение, прочерчивая через середину Европы линию и убеждая себя, что не в их интересах заниматься малоизвестными народами, живущими к востоку от нее». Счастливчику Милошу такое отношение к Восточной Европе наверняка виднее, чем любому из нас, «варваров», вольно или невольно внушающих страх одними своими размерами, не говоря о тех десятилетиях, когда мы несли миру «красную заразу». Правда, я уже давно не понимаю, что в противостоянии «двух систем» порождалось идеологией, а что геополитикой. Коммунистические грезы начали быстро оттесняться вечными задачами национального выживания, требовавшими

сверхмобилизации не под теми, так под другими лозунгами: не уверен, что была возможна мирная политика среди военного психоза Тридцатилетней войны 1914–1945 (обойтись без особых зверств и подлостей удалось только тем, кто был для этого недостаточно силен). Альтернативой коммунистической воодушевляющей химере могла быть только националистическая, и вполне возможно, что Россия спасла от фашизма еще и себя самое – коричневую чуму излечила «красной заразой».

Для национальной же гордости мучительнее всего попасть в число «пустых стран, не имеющих значения для прогресса цивилизации», то есть не способных ни особенно помочь, ни особенно повредить. Только почему же Милошу кажется, что такое восприятие порождено ограниченностью воображения, а не «иным опытом», в котором эталонным европейцам от тех стран, за которые у поэта болит душа, и впрямь всегда было ни жарко ни холодно? «Исторические неудачники», – считая меня за своего, как о чем-то общеизвестном однажды обронил о славянах весьма просвещенный корреспондент одной из радиостанций, призванных нести цивилизацию в мир варваров, и, боюсь, всем обольщенным, но не обольстившим народам рано или поздно придется вслед за Милошем понять, что т. н. цивилизационный выбор невозможно сделать в одностороннем порядке: даже формальные корочки члена престижного клуба не гарантируют того, что ты и впрямь принят в него как равный. Больше века назад подобную неполноценность в европейском бомонде ощутили евреи – тогда-то и возник светский сионизм, пытавшийся и сумевший создать собственный клуб. Подозреваю, что когда-нибудь этого же пожелают и народы Восточной Европы. И попытаются создать какую-то мирную версию Варшавского договора.

Ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие общей опасности. Варшавский договор был направлен против военной угрозы, которую никто не воспринимал как реальную, и потому он ощущался ненужной обузой даже в России, если говорить о наиболее «модернизированной» части ее населения. Но сегодня у «второсортных европейцев» не может не нарастать ощущение исторической ущербности, для противостояния коему требуется уже не оружие, но прорыв в созидании чего-то **небывалого** – в науке, в технике, в искусстве. Страны, составляющие ядро европейской цивилизации, всегда будут смотреть на новичков свысока, как на своих учеников, покуда те лишь повторяют, пусть как угодно блестяще, их уже известные достижения. Именно поэтому странам «полупериферии» необходимы прорывы, способные удивлять мир,

расширять его представления о человеческих возможностях. И объединять для этого усилия в научных, культурных и технических проектах, поднять которые поодиночке им не по силам.

Выражаясь более научно, *в сегодняшнем мире назрела необходимость не геополитических, но экзистенциальных союзов, предназначенных для борьбы с ощущением исторической мизерности человека и человечества.*